ЕФИМ ПЕРМИТИН



ЕФИМ ПЕРМИТИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ДРУЗЬЯ
повесть

СТРАСТЬ
книга рассказов



МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980

Р 2
П 27

Оформление художника
Е. ГОЛЬДИНА

П $\frac{70302-202}{028(01)-80}$ подписное

ДРУЗЬЯ

ПОВЕСТЬ

ГЕРОИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ГЛАВА I

Никодим совсем было выскользнул за дверь, но мать догнала его и схватила за плечи.

— Раздевайся, беглец! — притворно суровым голосом, тончайшие оттенки которого так хорошо понимал мальчик, сказала она и расстегнула рубаху Никодима.

Горячая краска залила лицо сына: его, единственного мужчину в доме, раздевают, как годовалого!

— Вчера скрылся чуть свет и отыскался к полуночи. Позавчера вернулся на рассвете...— В голосе матери и упрек, и смех, и затаенная ласка.

У жарко натопленной печи в домодельном теплом зипуне сидел дед. Он так был стар, что ему и в летний зной было зябко. Глаза деда смеялись. Мальчик потупился.

«Если бы вы только знали, что у меня там больной... в наморднике...»

Обнаженный до пояса, Никодим сел у окна. Широкая грудь и крупная, не по возрасту, голова мальчика выглядели забавно, но грудью и головой Никодим гордился больше всего: «В точности, как у отца».

За окном шумела и пенилась река. За рекой — стеной — тайга. Дальше — горы с маковками в вечных снегах. Снежные поля вершин горели.

Рядом на лавке с рубахой в руках сидела мать. Мальчик повернулся к ней и стал следить, как рука ее с взблескивающей в пальцах иглою взметывалась в уровень с правым виском, где билась у нее голубая извилистая жилка, как, нагибаясь к рубахе, обнажая белые ровные зубы, мать то и дело откусывала нитку.

Брови Настасьи Фетисовны сдвинуты к переносью, точно схваченные ниткой, глаза полуприкрыты.

«Наелся за троих. Ждите теперь меня... Там животная в наморднике с голоду пропадает...»

В нетерпении Никодим снова повернулся к окну. Яркое летнее утро вдруг потемнело от набежавшей тучки, и дробный теплый дождь, быстро отшумев по ветвям деревьев, ушел к горизонту, закрыв тайгу прозрачной, зыбкой сеткой. А вырвавшееся солнце снова засверкало на лаковых кронах деревьев, на обмытых цветах и травах.

«Господи, да скоро ли она?»

Наконец рубаха была готова.

— Вижу, не терпится. На, Никушка, и иди, иди, промышленничек ты наш!..

Никодим неторопливо оделся, туго перетянул себя по-мужицки, по кострецам, опояской, отчего живот выпятился, а спина казалась длиннее и шире (так всегда подпоясывается отец).

На голову с жесткими черными волосами он надел дедкину войлочную шляпу.

— Пузана вечером подгоните к избе поближе. Не ровен час, медвежишка не заломал бы. Конь старый — не отобьется.

Мальчик шагнул за дверь.

В сенях Никодим остановился.

— Овес здесь, мед здесь — все, значит...

Взял шомпольную винтовку и вышел.

После душной избы Никодим радостно вдыхал запахи освеженной дождем тайги.

Темно-зеленая трава в ртутных блестках у порога, в замшелых углах и даже на крыше ветхой охотничьей избушки. А тайга забежала и на самый двор. Высокие сухостойные пихты поддерживали углы скотника.

Мать и дед смотрели на него в окно,— Никодим чувствовал это. Не оглядываясь, он направился к реке и перешел ее по скользким от дождя жердяным кладкам [1]. Только на другом берегу, в тайге, мальчик облегченно вздохнул:

— Вырвался!

Но в следующую минуту он уже забыл и о матери и о дедке: охотник вошел в большой таинственно-сумрачный зеленый мир, к своим зверькам, зверям, птичкам и птицам, которых он, тринадцатилетний Никодим Корнев, знал чуть ли не наперечет, пересвистывался, перекликался с ними, как с добрыми друзьями.

---

[1] Жердяные кладки — мостик,

Но сегодня мальчик не обращал на них внимания. Он спешил: больной медвежонок не выходил у него из головы.

Как-то ранней весной корневскую заимку тайно посетил отец Никодима, скрывавшийся вместе с другими партизанами в горах. Вечером он сказал сыну:

— Ложись пораньше — утром подниму чуть свет.

Сердце мальчика вздрогнуло. Он не спал всю ночь, а на рассвете шагал за отцом, проваливаясь в жидком снегу чуть не по пояс. На лыжах идти было нельзя: мешала пóдлипь. Всю дорогу Никодишка боялся только одного — как бы отец не обнаружил его усталости.

Шли долго, а ни разу не отдохнули, не сказали ни слова друг другу: так всегда ходят зверовики в тайге.

Наконец отец остановился и, указав на небольшую мохнатую елочку, шепнул:

— Встань тут...

Мальчик снял ушанку, отер ею разгоряченное ходьбой лицо и огляделся. Ему показалось, что более жуткого места он еще не встречал в тайге. Они находились на дне скалистого ущелья. Вправо высились отвесные черно-коричневые скалы — «остряки», слева — рóссыпь, заваленная мертвыми, сухими елями. Вверху, над зубчатым лесным гребнем, огненной рекой разливалась заря, медью отливали кроны кедров. В ущелье же было темно и мрачно, как в раскольничьей молельне.

Два выворотня, упавшие вперекрест один на другой, лежали в нескольких шагах от отца.

Отец подошел к ним с заряженной винтовкой. Никодим только теперь вспомнил о своей шомполке. Трясущимися пальцами мальчик поднял курок. На щелк пружины отец обернулся: широкое, обычно темное лицо его было бледно. Отец прочно расставил ноги, обутые в короткие солдатские сапоги, и, схватив сук, с криком метнулся в черный зев.

Всего, что дальше произошло, Никодим не мог запомнить в строгой последовательности. И оглушительный рев, от которого оборвалось у Никодима сердце, и стремительно выскочивший огромный бурый медведь — настолько огромный, что лобастая голова вставшего на дыбы зверя возвышалась над головой отца,— и жиденький хлопок выстрела — казалось, все это произошло в какую-то долю секунды.

Потом огромный бурый медведь исчез. Отец же передернул затвор и выругался... А по каменистой россыпи, треща буреломом, мчался забавный, куцый, не более дворовой собаки черно-бурый зверек.

— Удрал, будь он трою-трижды на семи соборах проклятый!..

Только теперь Никодим заметил, что сидит на снегу рядом с пушистой елочкой, а незаряженная винтовка его валяется тут же. Он силился подняться и не мог. И что самое ужасное — отец заметил это и протянул ему руку.

— Я сам, я сам...— заспешил мальчик.

Никодим схватился за елочку и напряг все свои силы, чтобы подняться без помощи отца.

— Это он ревом сшиб меня с ног, стражила...— с трудом выговорил мальчик и, только поднявшись, увидел тушу убитого медведя. У головы зверя дымилось на снегу багровое пятно.

— Улепетнул, косолапик, вихорь сзади!..— засмеялся Гордей Мироныч и вынул измятую гильзу, недосланную второпях в ствол.— А что струхнул ты, это бывает... С мужиком бывает,— успокоил он сына.— Со временем обтерпишься. Со мной эдакая же оказия в твои годы стряслась, когда дедка попервости взял меня на берлогу...

Молчаливый, всегда замкнутый, отец был необычно говорлив.

— Давай-ка обдирать медвежицу, Никодимша! А пестунишка и сейчас, поди, скачет...

ГЛАВА II

Никодим спал на полатях. Ночью от взволнованного голоса матери он проснулся.

Отец опять снаряжался в горы. Мать, опасливо поглядывая на полати, негромко, со слезами в голосе говорила:

— Конечно, тяжко будет одним, но ты не думай об нас, Гордюша...

Никодим спрыгнул с полатей.

— Ну, Никодимша,— сказал отец,— на тебя оставляю и мать, и дедку, и все хозяйство.

Как равному пожал сыну руку и шагнул за дверь в темную предвесеннюю ночь.

И кончилась беззаботная жизнь мальчика.

Чем больше Никодим думал о самостоятельном охотничьем промысле в тайге, тем чаще вспоминал позорный случай на медвежьей охоте: «С отцом, да чуть греха не случилось, а ну-ка один на один...»

Живой, веселый характер Никодима изменился: мальчик стал хмур, задумчив и, как отец, замкнут.

«Хорошо утешать: «обтерпишься», а мне этой же осенью в самостоятельный промысел. Не колотиться же около избушки, а чуть подальше — медведь...» Страх перед медведем был так силен, что мальчик долго боялся отходить от двора.

До позорного случая с медведем Никодим никогда не думал о страхе, поражающем человека, как удар грома. Храбрость отца, как и все другие его качества — сила, ловкость, ум, честность, не только не подвергалась сомнению, а даже наоборот, отец во всем и всегда был гордостью и примером для сына.

И даже фразу отца: «Со временем обтерпишься» — мальчик понял только как утешение. И уж, конечно, с его отцом этого никогда, никогда не могло случиться.

«Нет, такой уж уродился я трус!» Приговор этот был так оскорбительно жесток, что впечатлительный мальчик потерял аппетит и сон.

Как-то Никодим вспомнил об убежавшем пестуне. Мчавшийся по россыпи куцый медвежонок был необыкновенно смешон.

«А что, если начать с пестунишки?..»

Эта мысль пришла так неожиданно, показалась такой простой и легко осуществимой, что Никодим больше ни о чем уже не думал.

«Сегодня — пестунишка, завтра — пестунишка, а там и с самим медведем слажу. Слажу, мохнатый дьявол, как ты ни реви, как пастищу свою зубастую ни скаль, а я тебя тяпну промежду глаз — и ты брык наземь, а лапищами вот эдак, эдак...»

В пылу борьбы с медведем Никодим вскакивал с постели, как подкошенный падал и скреб войлок пальцами.

«Завтра же отправлюсь к вострякам» и выслежу пестунишку...»

Знакомое по охоте с отцом ранней весной ущелье и летом выглядело мрачно. Но нигде Никодим не встречал такого обилия ягод: малины, крыжовника, красной и чер-

ной смородины, как в Медвежьем ущелье и в смежных крутых логах.

Выследить пестуна оказалось не просто, хотя в жизни тайги Никодим хорошо разбирался и мог разыскать даже летом белку и горностая.

С пестуном мальчик встретился неожиданно.

Устав от лазанья по горам, Никодим решил полакомиться малиной. Незаметно подвигался он в глубь зарослей, обрывал спелые, покрытые нежным сиреневым пушком ароматные ягоды. Вскоре он заметил, что кустарники были сильно измяты. Никодима манил куст, так густо облепленный малиной, что казалось — он был покрыт алым сукном. Мальчик шагнул к нему, споткнулся и стукнул о камень ложем ружья. В тот же миг спавший в малиннике пестун вскочил, испуганно и громко ухнул и так стремительно покатился под откос, что малинник зыбился, как взволнованная река.

Перепуганный не менее пестуна, Никодим не помнил, как взобрался на соседний утесик и посмотрел вниз. Медвежонка уже не было видно, но волнующийся след в кустарниках отмечал его путь. Не убавляя хода, пестун скакал в гору.

— На коне не догонишь! — громко сказал мальчик и нервно засмеялся.

Никодим спустился с утесика и осмотрел лёжку звереныша в малиннике. «Вот где ты хороводишься, куцый огрызок!» Там, где медвежонок сделал первый прыжок, глубокие следы когтей на вывернутых кусках земли да испачканная не переваренной еще малиной трава красноречиво свидетельствовали об испуге пестуна.

«Вижу, дружок, что перетрусил ты больше меня. Ой, больше — стыдобушка...» Никодим пошел по следу с заряженной винтовкой. На длинном увале медвежонок остановился, послушал немного, потом снова пустился вскачь. Все это следопыт прочел на свежем следу пестуна. После второй остановки медвежонок побежал тише, а вскоре пошел обычным развалистым шагом. Испуг звереныша прошел, и он стал завертывать то к муравейнику, то к трухлявым колодинам, раздирать их и лакомиться личинками.

Никодим тоже убавил шаг. След пестуна загибал к ущелью. Мальчик решил держаться под ветром.

«Уж высмотрю же я все твои лазы, песий сын...»

Звериная сакма[1] отвернула к топкой ржавой болотине. На илистом берегу болота он рассмотрел следы медвежонка. Ступни звереныша разительно походили на след босого человека: «Только подошва пошире».

Страх перед пестуном прошел.

Вскоре мальчик заметил пестуна и пополз между кочек. Он решил подобраться к звереныщу вплотную и выстрелить в голову.

Медвежонок был совсем близко.

Осторожно высунувшись из зарослей, мальчик едва удержался от смеха: в десяти метрах от него медвежонок прыгал за линяющими утками и, насторожив коротенькие ушки, уморительно слушал. Вот пестун нацелился и прыгнул. Фонтан грязной воды взметнулся над медвежонком.

Никодим уже стоял на берегу и, не сдерживаясь, громко засмеялся. Забывший всякую осторожность звереныш, поймав линялого селезня, громко чавкая, жрал его. Вода струйками сбегала с пестуна.

— Ты что это делаешь, грязная твоя морда?..— неожиданно спросил мальчик.

Пестун остолбенел. С недоеденным селезнем в зубах, он вытаращил на Никодима маленькие и круглые, как коричневые пуговицы, глазки. Вытянув свиной пятачок, шевелил ноздрями, залитыми горячей кровью птицы. Потом, как и в малиннике, сделал огромный прыжок и помчался, шлепая на все болото. Черный илистый след пролег через всю мочажину. Топкое место от воды до леса звереныш, словно на крыльях, перелетел и скрылся в чаще.

Никодим забыл о винтовке, о намерении убить пестуна — так насмешил его вымазавшийся в грязи медвежонок.

«Ну, братец, на сегодня довольно, места твои я вызнал, а завтра я к тебе снова явлюсь».

ГЛАВА III

На следующий день к Медвежьему ущелью Никодим пришел очень рано: по росистой траве легче было обнаружить след медвежонка. Днем от слепней и мух пестун

[1] Сакма — след в травах, кустарниках.

мог снова забиться в крепь: «Ищи тогда его, как иголку в сене...»

Расчет был верен. Никодим скоро нашел след приятеля. Мальчик рассмотрел, что ночью пестун поймал зайца: только клочки шерсти валялись на траве. Изловил тетерева и, оторвав крылья, съел вместе с перьями.

«Ишь где жировал, куцая бестия!..»

Следопыт с каждой минутой убеждался, что медвежонок совсем близко. Никодим умел ходить в лесу бесшумно, как звери. С детства бок о бок со зверями и птицами, он и сам был сыном леса.

Увезенный отцом из таежного села Маральи Рожки в захолустную охотничью избушку, оторванный от товарищей, мальчик обрадовался медвежонку, как другу.

«Ой, где-то ты, Бобоша, близехонько!»

Никодим неожиданно придумал медвежонку кличку: Бобоша. Так звали они маральерожского мальчонку Вахромейку Курилова за низкорослость, большое брюхо и маленькие круглые глазки на толстом, шишковатом лице.

Солнце взошло, роса на травах высохла.

Никодим увидел медвежонка на открытой поляне. Пестун стоял с высоко поднятой головой и настороженно шевелил короткими ушками. Никодим понял все: над душистыми цветами звенели пчелы. Медвежонок вдруг сорвался с места и, по-поросячьи подкидывая толстый зад, помчался.

Остановился он в напряженной позе. Потом, вновь уловив в воздухе звук пчелы, стремительно бросился и остановился, спрятавшись за дерево. Со стороны казалось, будто звереныш играет в прятки.

Найти мед диких пчел в лесу мальчику давно хотелось, но выследить их было трудно, только опытные таежники умели это делать.

«А ну, Бобошенька, ну, миленький!..»

Никодим перебегал и таился за теми же деревьями, где за минуту до этого прятался, наблюдая за полетом пчел, пестун. Пчелы на поляну с цветами летали издалека. Пестун и Никодим перебежали уже раз десять, а признаков «пчелиного дерева» не было. Как и медвежонок, Никодим крутил головой, смотрел на высокие сосны, отыскивая дупло. Иногда мальчик улавливал тугой, звенящий звук пчелы, на мгновение видел золотистую точку в воздухе и ожидал, что медвежонок сорвется и поскачет

за нею. И действительно, Бобошка безошибочно схватывал звук той же пчелы и мчался, не замечая кустов, не видя пней и кочек.

«Пчелиный след» привел и пестуна и Никодима на скалистый утес, к высокой сухой сосне. «Вот вы где!» — обрадовался мальчик и затаился.

Пестун ходил вокруг дерева с высоко поднятой головой и отмахивался от пчел то правой, то левой лапой. Вдруг он обхватил толстую свою голову обеими лапами и закричал тоненьким голоском.

— Ой, дурак! Ой, дурак! — зашептал Никодим, едва удерживаясь от смеха.

Разбежавшись, пестун быстро полез по сосне, цепко обхватывая ее лапами. Проворство медвежонка изумило Никодима: «Вот так Бобошка — туз козырный!..»

Медвежонок взобрался до половины дерева, и дупло было уже недалеко. Над головой звереныша угрожающе зазвенел пчелиный рой.

Пестун остановился и начал отбиваться.

Но силы были неравны. Армия пчел с размаху втыкала жгучие зазубренные жала в нос, в губы пестуна. Медвежонок неистово ревел, ерзал по стволу, терся мордой о кору, но и не думал отступать, а потихоньку продвигался к дуплу.

Почуяв запах горячего меда, пестун стремительно сунулся к летку.

Никодим вышел из-за укрытия. «Хоть в барабаны бей, хоть за уши его хватай теперь...» Звереныш засунул кривой черный коготь в леток и с силой рванул. С дерева полетели щепки. Отверстие дупла сразу же увеличилось настолько, что лапа прошла в него свободно. Медвежонок выдернул лапу и жадно обсасывал с нее мед. Выпяченные, распухшие губы его быстро шевелились. Налипших на лапу пчел он проглатывал вместе с медом. Пчелы жалили звереныша в язык, в нос, в губы. Медвежонок скулил, но не переставал чавкать.

«А ведь он все сожрет, пропастина!»

Никодим тревожно огляделся по сторонам, нашел клок сухого моха, высек искру и зажег гнилушку.

— Эй ты, пасечник бесхвостый! — громко крикнул мальчик, подходя к дереву.— Ты что же, брат, один думаешь все стрескать?!

Медвежонок вздрогнул. Шерсть на загривке вздыби-

лась. Опустив лобастую голову, он увидел Никодима. В первую минуту звереныш ощерил пасть и дернулся вниз, но Никодим сунул головню в зубы, подпрыгнул до первых сучков и бесстрашно полез навстречу медвежонку.

Измазанный медом пестун рванулся кверху. Пчелы устремились за ним. Никодим, поднимаясь с сучка на сучок, гнал медвежонка выше. Перед разломанным летком мальчик выбрал сук поудобней, сел на него верхом и погрозил пестуну винтовкой.

— Сиди у меня, браток, теперь смирнехонько, а не то стрелю. Вот провалиться, стрелю прямо в пузо. И шмякнешься ты у меня оттуда, как куль овса...

Медвежонку некуда было дальше лезть. Вверху небо, внизу земля, а на середине дерева — страшный двуногий зверь, которого он уже несколько раз встречал в лесу.

По пушистой шкуре звереныша струилась дрожь.

К вершине сучки были так тонки и хрупки, что от прикосновения ломались и со звоном падали вниз.

Никодим подкурил пчел в дупле, и они присмирели. Он заглянул в разломанный леток и ахнул: налитые свежим медом толстые соты унизали огромное дупло в несколько рядов...

«Да его здесь пуда три будет!..»

Мальчик выломил сот и стал есть горячий душистый мед. Пестун рычал, скаля белые зубы, однако спускаться не решался.

Но Никодим не съел и осотины, захотел пить. Он решил слезть с дерева, надрать бересты, сделать туес и часть меда унести домой.

Мальчик слез с дерева. Лишь только он отошел к своему укрытию, как медвежонок, стремительно спустившись с дерева, бросился вскачь по ущелью.

Никодим напился в ручье, отыскал подходящую березу, снял бересту и вернулся к дуплу. Пчелы, лихорадочно поправлявшие разломанный леток, бунчавшие и гудевшие, увидев его, замолкли. Никодим отошел и затаился. Пчелы снова загудели.

Вечерело. Мальчик принялся мастерить туес. И отец и дед не раз делали посуду из бересты. Но они тщательно проваривали ее в кипятке, тогда береста становилась мягкой и послушной. Посудина же Никодима получилась грубая, но он был доволен и тем, что вышло.

Пока возился с туесом, подкралась ночь. Никодим разжег гнилушки и, взяв туес в зубы, снова полез. Пчелы, несмотря на дым, изжалили ему лицо и руки. Никодим дымом усмирил разгневанную семью. Его удивило, что пчелы уже успели исправить поврежденный леток.

Наложив полный туес сотов, мальчик определил, что не взял и третьей части меда.

Ночь накрыла тайгу. Небо засеяли звезды. На пихтах замерцали таинственные светляки, делая их похожими на святочные елки. Поляна, стволы сосен, кустарники — все изменило облик, замерло, насторожилось. Тяжелый туес резал плечо. Ноги запинались за камни и кочки. Тишина угнетала Никодима. Пни, выворотни, небольшие сосенки казались ему вставшими на дыбы медведями, рогатыми чудищами.

— Дернуло припоздать, вот и шарахайся от всякой лесины, как ошалелый заяц,— вслух сказал Никодим.

Из-под ног с шумом и треском взлетел глухарь и зазвенел по лесу — упало сердце, дрогнули колени охотника. Пискнула мышь, схваченная горностаем, и, словно иглой, прокололо от головы до ног.

Никодим не боялся заплутаться в лесу: звери и птицы тоже безошибочно отыскивают свои гнезда и норы.

Румяноликая луна выкатывалась медленно, точно кто-то подталкивал ее плечом выше и выше. И вот уже поднялась она и покатилась по синему бархату неба над преображенной землей.

Горы, кроны деревьев, сверкающий ручей — все поплыло, закачалось в седом, холодном свете. Жутко и весело стало Никодиму. Он не сумел бы рассказать о красоте лунной ночи, захватившей его призрачным своим очарованием. Мальчик знал, что днем и высеребренные колонны кипенно-белых берез и сверкающий алмазами горный ручей будут выглядеть совсем иными. Сейчас же все было необычно, точно в волшебной сказке. Горы, похожие на облака, облака, похожие на горы. Небо, вычеканенное хороводами звезд, то опускалось, то поднималось, словно кто колебал расшитую парчовую ризу. Вдруг один из изумрудов оторвался и вместе с тонкою золотой нитью устремился на землю, как гонец, как ве-

стник иных миров. В ущелье хохотал, ухал филин. Гулкое эхо вторило крику птицы.

Никодиму хотелось как-то выразить переполнявшие его чувства. Он поставил на землю тяжелый туес, приложил пальцы к сложенным трубочкою губам и трижды приглушенно крикнул:

— Пшу-у-гу!

«Сейчас же дурачина в гости пожалует». Мальчик притаился в траве.

На старую березу, ломая сучья, опустился тяжелый ночной хищник. Огромные желтые глаза его горели раскаленными углями. Короткие уши на круглой кошачьей голове торчали, как рожки сказочного лешего.

Никодим хлопнул ладонями и крикнул:

— Я вот тебя, филя-простофиля!..

Птица сорвалась и бесшумно скрылась в ночи.

«Где-то теперь шалопайничает мой Бобошка!»

Через час мальчик был дома. Чтоб не будить мать и деда, Никодим вошел в избу разувшись и тихонько поставил туес с сотовым медом на стол.

ГЛАВА IV

— Клад нашел. Ждите меня опять с медом. На всю зиму запас сделаю...

— А ты бы, Никушка, буланку оседлал. Где тебе с эдакой тягостью по тайге,— посоветовала мать.

— Да сетку не забудь захватить. А то без сетки-то от дикой пчелы мед отбирать...— посоветовал дед.

Никодим нахмурился и ничего не сказал. На лбу, на щеках у него вздулись шишки, словно под кожу ему насовали булыжников. О мерине Пузане и о сетке от пчел Никодим думал еще вчера.

— Вы бы лучше мед в другую посудину переложили, а то мой-то туес на живую нитку связан.— Фразой о туесе, сделанном в тайге наспех, он заранее решил обезоружить их.— Без инструментов и вошь не убьешь...— словно про себя сказал Никодим и все с тем же хмурым видом вышел во двор.

Еще только надувало золотом небесный парус, но уже по тому, как высоко летали стрижи, как звенели птичьи

голоса, мальчик сразу определил, что утро загорается погожее.

На дворе мрачное лицо Никодима преобразилось. Он схватил узду, подогнул левую ногу и на одной правой запрыгал к мерину.

«Если до Пузанки допрыгаю — значит, и сегодня Бобошку встречу...»

Мальчик чуть не упал, споткнувшись о камень. Левая нога его опустилась, и он носком сапога дотронулся до земли.

— Не в счет! Это не в счет!..— выкрикнул Никодим и поскакал дальше.

Все силы его были устремлены на то, чтобы допрыгать на одной ноге до лошади.

Конь, как назло, пасся далеко. Правая нога Никодима онемела, левая несколько раз опускалась в траву, но он снова и снова поджимал ее.

Старый буланый мерин перестал пастись и смотрел на Никодима мутными фиолетовыми глазами. Мерину было двадцать четыре года, и, в переводе на человеческий возраст, он был старше, чем девяностолетний дедка Мирон, но, несмотря на большую разницу в годах, Никодим и Пузан были друзья.

— Здорово, Пузанша! — весело крикнул мальчик.

Его радовало и погожее смолистое утро, и то, что он поедет за медом на коне, а не будет гнуться под тяжелым туесом, как вчера, и — самое главное — подскакав на одной ножке, он был убежден, что и сегодня встретит медвежонка.

Конь поднял длинные, старчески обмякшие уши, но снова опустил их и обмахнулся жидким неопрятным хвостом. Как будто он приготовился слушать. Казалось, в тусклом, покорном взгляде коня Никодим ясно прочел: «рассказывай»...

— Во-первых, пестун. Ну, знаешь, Пузьша, это такой, я тебе скажу, чертенок! Ты бы видел, как он прыгал за утками по болоту,— со смеху лопнул бы...

Конь раздувал влажные ноздри и тянулся мордой к карману мальчика. Никодим вспомнил о приготовленном куске.

— На, жуй скорее да поедем. Дорогой все расскажу.

Мерин осторожно взял кусок хлеба и медленно стал жевать на корешках зубов.

Мальчик терпеливо ждал, когда Пузан прожует кусочек. У крупного и ладного в молодости коня теперь остались кости да кожа. Даже лохматая черная грива буланки, когда-то спадавшая чуть не до земли, теперь поседела, вылезла, а остатки ее сбились войлоком на тонкой и длинной шее. Но самым страшным у мерина был живот. Заросший длинной седой шерстью, огромный, отвисший чуть не до колен, с каждым годом он становился все больше. Никодиму казалось, что это живот так оттянул шкуру на мослаках и плечах, что хребет коня выступал, как острые углы стола: без седла на Пузана и сесть было невозможно. Чего только не делал молодой хозяин, чтобы мерин как-нибудь «вытряс и подобрал пузо». Пробовал кормить лошадь овсом, делал мешанку из сена и муки, тайком от матери таскал куски хлеба, но живот Пузана не уменьшался.

Никодим тревожно взглянул на пламенеющий восток.

— Да скоро ты?

Мерин медленно повернул голову, не переставая мусолить хлеб. В этот момент старый конь напомнил Никодиму деда Мирона, так же перекатывающего хлеб с одной десны на другую.

— Пойдем, пойдем! — рассердился Никодим.

С винтовкою за плечами и с двумя огромными туесами в сумах мальчик выехал с заимки. И снова глаза матери и деда через окно смотрели на него. Никодим, не оборачиваясь, всегда чувствовал их взгляды на своей спине: мать и дед знали, что он, как и отец, не любит нежностей, и не выходили провожать.

В гору мальчик слезал и вел мерина в поводу. Но и тогда Пузан несколько раз останавливался и подолгу отдыхал, прежде чем двинуться дальше.

— Нет, брат, видно, окончательно одолела нас с тобой дряхлость!

Конь, казалось, покорно соглашался.

Восток отполыхал. Поднялось солнце и подобрало росу. Наконец Никодим и Пузан добрались до «остряков».

— Сколько раз каялся ездить на тебе, хрычище... Без росы с собаками не разыщешь Бобошку.

Никодим был расстроен. Не доезжая до «пчелиного дерева», он остановил Пузана на густой сочной траве.

— Самый раз. А то как бы рассерженная пчела на старика не навалилась. Они, друг мой, как ножами порют,— небо с бычий глаз кажется...— Мальчик снял с коня седло и дружески сказал: — Пасись, отдыхай теперь...

Но усталый конь стоял, печально понуря голову. Никодиму очень хотелось взять посуду, сетку и поскорее отправиться к пчелам, но уйти от «расстроенного» чем-то товарища он не мог.

— Что это ты на самом деле? Ай, может, на меня разгневался?

Мальчик похлопал коня по тонкой, худой шее, взял в руки длинную его голову и прижался к ней щекой.

— Я ведь это все шутейно, Пузьша! — тихонько шепнул он мерину в волосатое ухо.

Никодим взял сетку и надел ее поверх шляпы. Низ сетки, чтобы пчелы не смогли забраться ползком, он заправил в штаны и завязал опояской.

— Вот теперь усеките, попробуйте!

В черной пасечной сетке мальчик походил на огородное пугало.

«Пестунишка встретится — обомрет!»

ГЛАВА V

Еще издалека Никодим почуял недоброе. Вокруг сосны белели щепки.

Мальчик подбежал к дереву.

— Батюшки! Батюшки! — испуганно закричал он и поднял щепку. На ней были видны свежие отпечатки кривых когтей.— Пестун! Вот черти догадали ворюгу несчастного!

В глубине души Никодим был уверен, что хотя звереныш и похозяйничал у дупла, но и на его долю меду осталось с избытком. С самым большим туесом в зубах он полез на дерево. Ствол сосны был в меду и медвежьей шерсти.

Сердце Никодима билось тревожно. Взобравшись на сук перед летком, мальчик заглянул в дупло и ахнул: там было пусто.

— Зарезал! Без ножа зарезал!

Никодим не помнил, как спустился на землю.

— Убью! Убью обжору!

Мальчик схватил винтовку и трясущимися руками стал заряжать ее усиленным зарядом. Из натруски с пулями он выбрал самую длинную свинцовую палочку и сердитыми рывками шомпола загнал в ствол.

— Эдакой бляблей тенькну в пакостливую голову, и душа из тебя винтом. Дрыгнешь лапотками разок — и отъел мед на веки вечные... Был Бобошка — и нет Бобошки!..

В гневе не разобравшись в следах пестуна, мальчик побежал в ущелье.

— На том свете сыщу!

Но пестун словно провалился.

— Нет, ты скажи, чертова перешница, за что меня искусали пчелы? За что я старого мерина потревожил? А как я домой глаза покажу? Врешь, голубчик, шкуру я с тебя сдерну!

Но ни у ручья, ни на склонах ущелья не было свежих следов пестуна.

«А что, если издох? Обожрался, брюшину разорвало, и издох»...

Чем больше Никодим думал о возможной гибели медвежонка, тем больше убеждался, что пестун издох.

«Стрескать столько и не сдохнуть невозможно! Дурак дорвался до сладости, с непривычки облопался — и каюк моему Бобоше...»

Никодиму вдруг стало жаль пестуна. Он раздумывал о глупой его смерти от собственной жадности, о том, что совсем еще недавно звереныш так весело и забавно ловил на болоте уток, выслеживал пчел,— и вдруг его милый смешной Бобошка уже мертвый лежит, раскинув когтистые лапы...

Мальчик опустил взведенный курок винтовки и закинул ее за плечи. «На самом-то деле, мед... Эка невидаль... В тайге да не найти меда...» Никодим окинул взглядом скалистые утесы, темные разливы тайги. Ему показалось, что без медвежонка поскучнел, осиротел лес, горы нахмурились.

«Подумать только: ручей (Никодим остановился на берегу ручья) так же будет звенеть по камешкам, а моего пестуна уже сроду-сроду не будет. Никогда не будет...»

Никодим опустился на землю и задумался. И чем больше думал он, тем тяжелее становилось у него на душе.

«А может, еще можно помочь ему? Может, он живой и только мучается животом? Ну конечно же можно! Слабительного подать... Ревеневого корню, например. Да ведь ревеню здесь пруд пруди...»

Никодим опрометью побежал к сосне. Мальчик решил взять туес, накопать ревеневого корня, напарить и выпоить больному пестуну лекарство, целительную силу которого на себе испытал не раз. Охваченный порывом помочь Бобошке, Никодим не думал ни о том, найдет ли он медвежонка, ни о том, как выпоить пестуну слабительное. В эту минуту он думал лишь о мучениях друга и что зверенышу не́кому, кроме него, помочь.

— Бо-бо-ша! — отчаянно громко закричал он.

«А-а»...— отозвалось эхо.

— Ухни, один разок ухни, миленький!

Говорить было трудно: Никодим обнаружил, что он все еще в сетке.

«Парню и без того плохо, а тут еще я в эдакой страхиле... Да он и не узнает меня в ней. Может, потому и не отозвался... Может...— Мысль работала лихорадочно.— А если с перепугу... Если...»

Никодим опустил туес на землю.

«Вот провалиться — поправится! С медведями это бывает. А ты слабительное варить собрался. Ну-ка, выпой ему, попробуй. Дурак! Толстолобый дурак!..»

Никодим побежал к дуплу. «Выслежу, подкрадусь да над самым ухом как бахну из винтовки, да как крикну во всю глотку, да в эдаком наряде прямо перед самое рыло как выскочу...» Никодим тщательно исследовал место под сосной. Вокруг дерева валялись мертвые пчелы, кусочки раздавленной вощины: пестун доедал соты и на земле. На траве капельки меда и шерсти. Потом след повел к камням и пропал. Никодим тщетно кружил в надежде найти «выходной» след.

«Здесь, чует мое сердце, что здесь!»

Но, как Никодим ни осматривал расселины утесов, как ни заглядывал под каменные плиты, пестуна нигде не было.

«Ну, погоди, уж я такой подыму грохот, такое землетрясенье, что мертвый в могиле подскочит!»

Никодим полез на вершину горы. Покуда добрался до гребня, несколько раз останавливался и отдыхал. Сердце в тревожном ритме, казалось, било в виски, звоном отда-

вало в ушах. Было жарко и душно. Никодим сбросил сетку и сунул ее в карман.

С хребта, насколько хватал глаз, открылись громады гор. На горизонте зазубренные, с тонкими гранями, они дрожали в нежно-сиреневом мареве. Ближе — густо-фиолетовые, гранитными фонтанами всплеснулись к небу. Гора — конская голова, гора — стол, петушиный гребень. Черная щетина тайги некоторым из них взбежала на самую макушку. Иных укрыла только до пояса, обнажив круглые плеши.

Косой солнечный луч вырвался из-под набежавшей тучки и облил жидкой позолотою девственную лазурь ледников: они засверкали, заискрились, точно в глубине их зажгли костер.

Волшебник! В сверкающие бриллианты убрал он сочный куст крыжовника на ближнем утесе. Проник в душистую храмину каждой ягодины с темными чаканками семечек в середине. Всеми цветами радуги горел на нежной кожице.

Не достиг, не пробил всесильный солнечный луч только сырое, темное ущелье, над которым стоял Никодим. Извечно прели там по крутым склонам мхи. По топким берегам ручья густел лапчатый черносмородинник, и голубоватый малинник, да кружевные папоротники в рост человека на первозданно-холодной, сырой, пахучей родной земле.

Склонившись, Никодим поглядел в ущелье, и у него мурашки пробежали по телу.

«Ну, Бобоша, держись!»

Никодим раскачал тяжелый валун над самым обрывом гребня, уперся и поставил на ребро. Теперь нужно было небольшое усилие, чтобы камень загремел в пропасть. Мальчик перевел дух и, затаив дыхание, пустил валун. Рванувшийся в кручу со страшной силой камень обрушил целый каскад мелких камней. Грохот и гул заполнили ущелье. Спущенный валун летел впереди всех, высоко подпрыгивая, с грохотом падая на камни, высекал снопы искр, срубал встреченные на пути деревца.

Нарастающая сила несущегося с кручи валуна была и величественна и страшна. Мальчик забыл о пестуне и спускал камни один за другим, пока не увидел, что солнце повернуло на запад.

ГЛАВА VI

Пестун пролежал весь день у скрытого в пещере родника. Он видел Никодима несколько раз, но не поднялся: живот его был переполнен медом и водой. Медвежонок следил за мальчиком. Ему понравилось, как Никодим пускал камни, с грохотом летевшие вниз.

Потом мальчик скрылся, и камни перестали катиться.

В расселине было полутемно, прохладно. Боль от пчелиных укусов прошла. Медвёжонок чутко дремал. А утром, когда в ущелье еще дымился туман, отправился на вершину горы.

На гребне погуливал ветер. Зыбкая пелена тумана двигалась как живая, но тумана не боялся медвежонок. Весь мир в представлении звереныша делился на «страшных» и «нестрашных», «съедобных» и «несъедобных».

К «страшным» принадлежал и Никодим. Следов его ног пестун боялся. В коричневых глазках звереныша вспыхивали искры, шерсть дыбилась: он казался и грозней и выше ростом. Но вскоре пестун привык к следам Никодима.

Первый камень, плоской формы, который отодрал и бросил медвежонок, упал плашмя и не покатился. Пестун удивленно посмотрел на него, подошел, обнюхал, взял в лапы, поднялся на дыбки и снова бросил. Но камень раскололся, куски его проползли немного и тоже остановились.

Как все это не походило на то, что наблюдал он вчера! Медвежонок стоял, опустив лобастую голову. Вдруг он круто повернулся и подбежал к большому круглому валуну. Звереныш с трудом облапил его и понес, широко расставляя лапы. На краю гребня пестун выпустил камень, и валун загремел в глубину ущелья.

Медвежонок упал на брюхо, свесил голову и замер, наблюдая за прыжками тяжелого камня. Короткие, словно обкусанные, ушки звереныша вздрагивали, пушистый хвостик возбужденно шевелился.

Никодим издалека услышал своего Бобошку, а вскоре и увидел его на гребне.

— Родители! Святители! — закричал мальчик.

Он и обрадовался, что медвежонок жив, и, увидев пестуна за пуском камней, изумился переимчивости и уму Бобошки. Мальчик затаился в ущелье и долго наблюдал,

как тешился медвежонок, пуская тяжелые и круглые валуны. Его поразила страшная сила звереныша. К обрыву он подкатывал камни, какие и мужику были бы не под силу.

От спущенных валунов по склону ущелья в кустарниках и травах образовалась широкая дорога. Стремительный бег камней внизу останавливала только крутая стена тайги. Многие из вековых пихт были серьезно поранены, белея сорванной корою.

А пестун все тешился. Вот он подкатил к обрыву такой валунище, что за ним не было видно самого медвежонка, и столкнул его.

Камень загремел. Перекосив лобастую голову, медвежонок слушал грохот в ущелье. Подпрыгнувший валун с разлета ударил в пихту на уровне человеческого роста и ссек ее, как былинку. Тяжелое дерево с треском рухнуло наземь, подминая под себя мелкие пихты.

«Уйти от греха. Убьет! Догадало эдакой игре научить чертушку...»

Недовольный, Никодим отправился домой. Дорогой он застрелил трех молодых глухарей.

Темнело что-то уж очень быстро. В лесу наступила та особенная мертвая тишина, когда даже и трепетная осина, точно окаменев, не дрогнет ни одним листом.

Миг этого, какого-то общего оцепенения обычно краток, но так разителен контраст движения и жизни с полным безмолвием, что его одинаково безошибочно отмечает все живое.

Мальчик тревожно взглянул на небо и увидел, что дальний край его угрожающе почернел.

«Быть грозе!»

От острого глаза Никодима не укрылась и жалкая серенькая пичуга, бесшумно скользнувшая в щель утеса, и фанатики труда — муравьи, побросавшие ноши в спешном бегстве к муравьищу.

Сгущаясь, темнота надвигалась стремительно.

— Эк занесло! — нарушая тягостное безмолвие, громко сказал Никодим и побежал в противоположную сторону от заимки.

Мальчик понял, что гроза застанет его в пути, если он побежит к дому. Поблизости от горы, похожей на конскую голову, была пещера. В нее и скользнул он перед

самым наступлением темноты, как серенькая пичуга в щель утеса.

Чернота ночи подступила к самым глазам.

Мальчик только что хотел развести костер, как налетел ураган с ливнем. Нарастающий шум его Никодим услышал издалека. Клокочущее кипение воздуха чувствовалось даже за стенами пещеры.

Разрубая свинцовую пучину неба, причудливым зигзагом скользнула нестерпимо белая молния. И тотчас же над горами, над вздыбленной тайгой с сухим, раскатистым треском ударил гром.

При вспышке молнии Никодим увидел, как столетний лес под напором урагана согнулся, точно гибкий тальник.

Рев и свист обрушился на пещеру. Жгучий накал молний разрубал чугунное небо теперь уже каждую минуту. Отблески их вспыхивали в расширенных зрачках Никодима, и вслед за тем к самым ресницам его подступали краткие промежутки непроницаемой черноты. Косые, бичующие землю полосы воды лились с неба, радужно сверкая. Гром гремел уже непрерывно. Под рев, стон и треск тайги, под шум ливня мальчик крепко заснул, зарывшись в мягкий, сухой мох.

ГЛАВА VII

Утро после урагана было сырое и серое. Земля, воздух, точно губка, пропитались водой. Вода сочилась из расселин утесов, стояла в чашечках цветов, ручьями падала с ветвей, шлепала под ногами.

Никодим развел костер и зажарил глухаренка. Дым от костра расползся голубым зыбким пятном; не поднимаясь, он долго еще плавал вокруг пещеры, острой смолью заглушая ароматы леса.

Позавтракав, мальчик раздумал идти домой. Дичь он набил веточками хвои и спрятал в камняк.

«Поиграю немножечко с Бобошкой и на обратном пути возьму».

Всюду Никодим натыкался на следы урагана. Широкая полоса ветровала пролегла по тайге. Груды мертвой, исковерканной древесины отмечали победительный его

путь. Точно рать крылатых всадников пронеслась здесь в огне и буре, сминая под копытами всех и вся. Таежный массив вблизи пещеры теперь представлял лесное кладбище. Все старое, неспособное к сопротивлению погибло. Что не согнулось — сломалось. Что не прочно зацепилось за землю — вывернуто с корнем.

Никодим заметил, что некоторые породы леса были особенно устойчивы. Даже молодые кедры и березы уцелели. Прямослойные же пихты и сосны, особенно те, что легкомысленно выбежали на отмет, ураган сломал, как былинки.

Тем удивительней показалась мальчику сосна в самом центре ветровала. Высокая и прямая, с гладким, точно отлитым из бронзы, стволом, в неравной борьбе она потеряла все сучья и ветви. Уцелел только крошечный зонтик на самой ее вершине. Даже кору сорвало во многих местах с могучего ее ствола, и она стояла, белея израненными боками.

Глядя на литой ее ствол, на толстые узловатые корни, глубоко запущенные в земную твердь, Никодим понял, что дерево это еще долго будет стоять здесь, что вместо потерянных сучьев и веток оно обрастет новыми. И так же стойко встретит оно сокрушительные ураганы.

Никодим уже далеко отошел от сосны, но еще несколько раз оборачивался, смотрел, и неясные мысли о силе, о стойкости роились в голове его.

Теперь мальчик все внимание свое сосредоточил на отыскивании медвежонка. Распутывать петли по едва заметным следам, доискиваться до подробного объяснения каждого поступка таежных обитателей увлекало молодого следопыта.

Следы пестуна на мокрой траве заметил издалека. Медвежонок тоже успел плотно позавтракать, поймав жирного барсука. Выгнанный ливнем из норы, барсук, очевидно, бродил утром по тайге, лакомясь личинками в поваленных гнилых деревьях. Пестун незаметно подобрался и сделал большой прыжок. Облитая кровью трава и недоеденные барсучьи лапы раскрыли следопыту драму в колоднике.

За утро медвежонок наделал множество петель, исколесил пространство вокруг ущелья, то продираясь густой чащей, то взбираясь на отвесные кручи.

Мальчик заметил, что медвежонок любил подниматься-

ся на колодины и ходить по ним, перепрыгивая с одной на другую с ловкостью гимнаста.

«Зачем это чертяки поднимают его на бурелом? — недоумевал следопыт.— Неужто с толку сбить, меня в дураках оставить? А может, из озорства? Может, зайца, тетерку высматривать ему сподручней сверху?»

По следу пестуна Никодим подошел к толстой трухлявой колодине и остановился в раздумье. Потом, стукнув по стволу, он по звуку понял, что в середине иструхшей колодины дупло. Мальчик исследовал колодину, и ему все стало ясно. Сбоку буреломина была разломана. По отпечаткам когтей медвежонка, по капелькам крови на мху Никодим понял, что здесь произошло совсем недавно.

Колодник — излюбленное место для кладовых у запасливых бурундуков и белок. Пестун подобрался к отверстию, стукнул когтистой лапой по стволу, выгнал бурундука и съел. Потом он уничтожил весь запас орехов домовитого хозяина.

«Ненасытное горлышко! Ничего не пропустит, все под метелку метет».

Лицо Никодима возбужденно раскраснелось, глаза сверкали. Счастливый удачным решением сложной головоломки, следопыт услышал характерный гул мчавшегося в ущелье валуна.

«Опять! Опять, собачий сын! Ну, подожди же, я тебя отучу!» Никодим решил подобраться к медвежонку с противоположной стороны горы и отвадить его играть в опасную игру.

Но все произошло совершенно иначе. В пагубном увлечении — обрушить с горы как можно больше камней — медвежонок подбежал к нависшему над кручей огромному валуну. Накануне он несколько раз пытался сдвинуть его с места, подрывал, снова толкал, но камень был неподвижен. Никодим смеялся вчера над пестуном. И вот сегодня пестун решил еще раз попытать счастья с этим камнем. Мальчик не выдержал и крикнул медвежонку снизу:

— Гашник лопнет!.. Пупок развяжется! Ты бы, дурова голова, весь утес попробовал сдвинуть...

Но ни Никодим, ни пестун не знали, что ливень, бушевавший ночью, подмыл камень со всех сторон.

Пестун подладился плечом и только собрался было толкнуть валун, как он с грохотом рухнул. Потеряв рав-

новесие, медвежонок перекувырнулся через голову и вместе с посыпавшимися камнями полетел с кручи.

Побледневший мальчик схватился за выступ утеса и замер с широко раскрытыми глазами. Грохот обвала, нараставший с каждым мгновением, мчавшийся в ущелье валун — обо всем забыл Никодим. Только Бобошку, подпрыгивавшего в воздухе, как мяч, осыпаемого градом камней,— его одного видел мальчик.

Постепенно гул стих, и даже мелкие камни перестали сыпаться. У подножия горы, на груде камней лежал окровавленный медвежонок, и мальчик стоял над ним.

Никодим был без шляпы: она свалилась на бегу. Волосы растрепались, прилипли ко лбу. Губы кривились, в глазах стояли слезы.

— Доигрался! Сколько раз я говорил тебе! — с тоской и упреком сказал Никодим.

Изувеченный звереныш был недвижим. Окровавленная голова его беспомощно лежала на камнях. Круглые коричневые глазки заволокло влажной дымкой. Казалось, пестун беззвучно плакал.

Никодим опустился на колени, обхватил медвежонка руками и прислонился к мохнатой груди. Сквозь густую, мягкую, пахнущую псиной шерсть звереныша он отчетливо услышал биение сердца.

— Живой! — радостно вскричал Никодим.

Пестун с трудом повернул голову и уставился на человека бессмысленными глазами.

— Живой! Бобошка, живой! — кричал Никодим, восторженно и дико прыгая.

Медвежонок со стоном положил разбитую окровавленную голову на прежнее место и устало закрыл глаза короткими рыжими ресницами.

Никодим опустился на корточки и начал внимательно осматривать пестуна. Правое ухо его было ободрано, правая бровь глубоко рассечена. Запустив пальцы в шерсть медвежонка на голове, Никодим ощупал ее.

«Черепуха цела!» — радостно отметил он.

Медвежонок вскинул на охотника глаза, опять посмотрел и снова закрыл их.

«Печенки отбил и из ума выстегнулся. Смотреть смотрит, а в глазах, видать, метляки летают... Дела-а!»

Внимательно ощупывая пестуна, Никодим обнаружил, что правая передняя лапа медвежонка переломле-

на, сломаны три ребра, шкура на правом боку кое-где тоже сорвана до мяса, а левая задняя нога вывихнута в коленном суставе и черная жесткая подошва ее уродливо запрокинулась вверх. Никодим встал. Вывернутая нога медвежонка неестественным своим положением больше всего угнетала мальчика.

Он вспомнил костоправку бабку Андрониху.

— Вот что, милый! — вдруг решительно сказал Никодим.— За Андронихой мне не бежать. И далеко, да и не пойдет она, скажет — медведь... Как будто у медведя не душа... Ты лучше потерпи, дружок, я сам попробую. Ведь ты у меня такой, та-кой!..— Никодим не нашел больше утешений, но слова «такой, та-кой» сказал, как говорила мать, когда собиралась вытаскивать у него занозу из-под ногтя.— Перво-наперво лапку на место вправим. Ты, браток, поддержись немножечко, а я легонечко-легонечко дерну и поверну...

Обеими руками Никодим взял тяжелую заднюю ногу звереныша за вывернутую когтистую подошву. Левой ногой мальчик уперся в живот медвежонка, правую прочно поставил на камень и рванул. От боли медвежонок дернулся с такой силой, что уронил Никодима. Падая, мальчик услышал щелк в вывихнутом суставе Бобошки, похожий на звук раздавленного ореха.

«На место встала!»

Потирая ушибленное колено, Никодим закричал на пестуна:

— А ты потише! Больной тоже!..

Медвежонок подобрал ногу под себя, и новоявленный костоправ увидел, что подошва легла как следует.

— Вот тебе и бабка! Ты, брат, не гляди, что я ростом мал, я, брат, до всего дошлый.

Никодим был радостно возбужден первой удачей, много и громко разговаривал с медведем, с самим собой.

— Ну, а теперь, братишечка, за переломленную лапку возьмемся. Хоть дело это и не бывало у моих рук, но не горюй, видел я, как Андрониха сломанную ногу телке складывала и в лубок вязала...

С медвежонком Никодим провозился до вечера. Сломанную ногу сложил, плотно обернул берестой несколько раз. Поверх бересты наложил две выструганные из пихтенки палочки и прочно обмотал лыком.

Работой Никодим остался вполне доволен.

Солнце опускалось, а дела было еще много. Мальчик боялся, что в раны звереныша мухи наплюют яиц и больного «замучают черви». Он не знал, что делать со сломанными ребрами медвежонка, и решил на них махнуть рукой.

— Зарастут! О ребрах ты не горюй, Бобоша! У нас в деревне Кузька Бурнашов с утеса упал — за ястребятами лазил, два ребра и ногу сломал, из ума выстегнулся. Хромой остался, а выжил...

Оборванное ухо и рассеченную бровь Никодим вздумал забинтовать. На нем, кроме верхних штанов, были еще бязевые низики [1], перешитые матерью из отцовского белья.

Мальчик решил пожертвовать своими низиками, которыми так гордился перед деревенскими ребятами. Надев их первый раз в праздник (дело было осенью, он уже ходил учиться, а по вечерам ученики собирались на школьном дворе у «гигантских шагов»), Никодим прибежал в кальсонах, оседлал веревку и начал залихватски подскакивать и кружиться.

Правда, учительница прогнала Никодима, заставив его поверх кальсон надеть штаны, но зато все ребята видели, что у Никодима Корнева есть настоящие бязевые низики, а не домодельные холщовые портки, как у большинства из них...

Эти низики он разорвал пополам и перебинтовал другу ухо и бровь. Вместе с бровью пришлось завязать и глаз, но мальчик считал, что теперь пестуну и одного глаза хватит.

— На охоту не ходить, лежи да лежи... а уж я прокормлю тебя, будь благонадежен, мой зверюга...

Перебинтовывать бок Никодим не стал, а нарвал листьев репейника, нажевал и горьким репейным соком залил раны. Беспокоила Никодима только неподвижность и полная безучастность больного.

Мальчик принес воды в шляпе, смочил нос, губы и голову пестуна. Потом еще раз сбегал к ручью, вырыл ямку перед мордой пестуна и вылил в нее воду.

— Может, ночью захочешь, так хоть грязцы полижешь... Уж я-то, брат, знаю, как больному да без воды...

Солнце скрылось, и в ущелье набежали тени.

---

[1] Низики — кальсоны.

— Надо домой. Домой мне надо, Бобоша. И ночевал бы я около тебя... И нехорошо бросать тебя, но знаешь, мать у меня, дедка Мирон, Пузан, Чернушка... Они ведь не понимают, что у человека больной, им будь дома — и разговор весь...

Забинтованный медвежонок выглядел очень забавно, но Никодиму он показался необыкновенно жалким. Мальчик несколько раз обертывался на лежавшего в белых перевязках пестуна и кричал:

— До свиданья, Бобошка! До свиданьица, зверище!..

ГЛАВА VIII

Утром Никодим издалека закричал пестуну:

— Здорово!

Незабинтованное ухо медвежонка вздрогнуло и насторожилось.

— О-го-го! — закричал на все ущелье Никодим и бросился вприпрыжку к больному.— Вот тебе глухари, братишка!

Никодим положил птиц к морде пестуна. Но медвежонок даже не притронулся к ним. Воду он тоже не пил. Больной звереныш тяжело дышал. Глаза у него опухли и гноились.

Принесенная птица начала припахивать.

— С воньцой-то, может, лучше поешь. Знаю я вашу медвежью породу.

За день мальчик нарвал пестуну несколько шляп красной и черной смородины и высыпал у самой головы. Накопал сладких корешков дикой моркови.

— Хоть ты и подвел меня, хоть и нечестно поступил со мной, Бобоша, но зла я на тебя не помню, меду тебе завтра же принесу.

И снова только поздно вечером ушел Никодим домой.

Зато на третий день картина резко изменилась. Еще с увала мальчик заметил, что медвежонок растрепал и съел птицу, отполз от места, где лежал эти дни, сорвал с глаза перевязку и с поднятой головой встретил Никодима.

Мальчик остановился и выразительно свистнул.

— Вот оно что! Ну, друг, спасибо! Обрадовал ты меня...— начал было он, подходя к пестуну ближе.

Шерсть на загривке медвежонка вдруг поднялась, а оскаленные зубы угрожающе сверкнули.

— Вот ты как! — Мальчик стал отыскивать глазами палку.— Хорош гусь! А если я орясину схвачу да отлуплю тебя, как сидорову козу, а?.. Ты не гляди, что я ласково говорил с тобой все эти дни... Я, брат, не до дна масляный... Я!..— Никодим боком подвинулся к березовому сучку и быстро поднял его.

С палкой мальчик смелее подошел к пестуну. Шерсть на звереныше улеглась. Никодим сел на корточки и укоризненно заговорил:

— Это что же, Бобоша? Видно, как туго пришлось, так, Никушка, помоги, миленький, помоги! А чуть отлегло — так «доктору» зубы показывать... А кто тебе, собакиному сыну, собственные низики изорвал? Как ты думаешь, спасибо мне за это мать скажет, а?

Медвежонок примирился с близким присутствием Никодима и смотрел на него, насторожив ухо. Никодим бросил палку и подвинулся еще ближе.

— А если я тебе вот эту штучку покажу, что ты мне скажешь? — Мальчик протянул пестуну осотину меда.

Ноздри медвежонка раздулись, он даже высунул красный язык, но осотину из рук Никодима не взял: его пугал запах человека.

Мальчик положил осотину у морды звереныша и ждал. Вскоре медвежонок, забавно чавкая, съел мед.

— Ну вот мы и помирились с тобой!..— радостно сказал Никодим и попробовал погладить пестуна, но больной угрожающе оскалил желтые острые зубы, заворчал и втянул голову в плечи.

— Ну, не буду, не буду... Ишь ты, недотрога какой!

Никодим только теперь заметил, что Бобошка за ночь съел и птиц и ягоды, которые он ему запас.

— На поправку, значит, пошло. Ну, подожди, уж я тебя накормлю!

Часа через два охотник вернулся к больному с зайцем и полной шляпой малины.

Медвежонок уже не ворчал, когда мальчик спускался в ущелье, и даже позволил погладить себя по спине. Но Никодим чувствовал, что звереныш дрожит. До зайца при мальчике он не дотронулся.

— И чего ты совестишься меня!..

Никодим спрятался в кусты. Пестун разорвал и съел зайца.

На четвертый день больной перебирался с места на место на двух лапах. Вывихнутая нога пестуна еще болела. Никодим умышленно разбрасывал пищу в разных концах лужайки и, затаившись, наблюдал, как голодный звереныш со стонами передвигался от одной тетерки к другой.

За дни болезни Бобошка страшно похудел, бока ввалились, шерсть потеряла лоск. Распухшая в коленном суставе задняя нога больше всего беспокоила «доктора».

«После вывиха раздуло...»

Никодиму хотелось приложить к ней компресс из холодной глины, но дотрагиваться до больной ноги пестуна теперь он боялся и все думал, как бы ему перехитрить Бобошку.

— Скажи, пожалуйста, зубы кажет... Подумаешь, птица в перьях...— храбрился Никодим.

«А что, если намордник сплести из прутьев? — подумал он.— С голыми-то руками браться за дурака... Куснет по глупости и полруки отхватит...»

Никодим нарезал прутьев и стал плести намордник. «Сплету, а надену как?» Плел и думал. Лицо мальчика было нахмурено. Против обыкновения, в этот день он не разговаривал со своим другом. Только поздно вечером закончил замысловатую свою работу; при помощи палки с расщепом на конце он накинул намордник пестуну на голову, бесстрашно вскочил зверенышу на спину и крепко связал концы прутьев вокруг шеи медвежонка.

Ворчавший, крутивший головою пестун теперь был не страшен ему. Он смело подошел к задней ноге звереныша.

— А ну-ка, давай сюда копыто, еловый шиш!

Мальчик наполнил глиной штанину, приложил к опухшему колену и прикрутил лыком.

— Вот так-то с вашим братом, с зубачами, управляются!

Темнота помешала Никодиму осмотреть пораненное ухо и перебинтовать ослабевшие лубки на переломленной лапе. Мальчик решил оставить медвежонка в наморднике, чтобы утром, после перевязки, снять плетенку.

— Зато, брат, я тебе и меду и овса принесу в подарок!

Теперь Никодим не только снова бесстрашно дотраги-

вался до медвежонка, но и чесал у него за ухом и даже поцеловал его сквозь намордник.

— Дурашка, дурашка ты мой, толстолобенький!..— ласково говорил он.— Уж я, брат, тебе за это завтра и овса и осотенку меду притащу. Понимаешь, ме-е-ду-у!..

Пестун смотрел на него, как казалось Никодиму, совсем ласково.

— Ну, братище, до скорого свиданьица! — Никодим потряс здоровую лапу медвежонка.

ГЛАВА IX

«Сижу, в утесовской тюрьме. Бьют лошадь невынисит. Ехрем».

Записка, написанная чернильным карандашом на обрывке папиросной коробки, истерлась, слова были едва различимы. Гордей Мироныч Корнев последний раз прочел послание друга, полученное через бежавшего из колчаковской тюрьмы в горы красногвардейца, и, разорвав на мелкие кусочки, пустил по волнам Иртыша.

Преодолевая сотни опасностей, Корнев шел из тайги в уездный городок Усть-Утесовск выручать друга.

Облако пыли висело над городом. Низкое, закатное солнце плавилось в окнах.

Партизан с тревогой взглянул на подходивший паром. Город был на военном положении: переправы охранялись. На пароме стояли два чубатых казака и у всех казавшихся им подозрительными проверяли документы. «Лучше бы подождать ночи — да лодкой»,— размышлял Корнев. Но было уже поздно: по прибрежной гальке на мокрый, скользкий припаромок двинулась последняя подвода. Запряженная в телегу худая серая лошадь с трудом тащила воз травы. Мальчик, одного возраста с Никодимом, с тоской в голосе погонял коня. На крутом зыбком припаромке упрямая кляча, не одолев подъема, попятилась. Гордей Мироныч подскочил к оглобле, схватился за тяж и, точно это был его воз и его лошадь, ободряюще закричал:

— А ну, Серко!.. Ну, милый!

Лицо Гордея Мироныча покраснело от напряжения. Он стронул телегу, надвинул хомут лошади к голове, но

слабосильная и упрямая кляча топталась на месте. Корнев повернулся к растерявшемуся мальчику и крикнул:

— Слезай, сынок! Да в повод бери его!

Мальчик проворно спустился.

— А ну, браток, подмогни! — обратился Корнев к казаку.

Высокий калмыковский казак сошел с парома, ухватился за тяж, и они вдвоем, подталкивая упрямую лошадь шлеей, вкатили воз на дощатый настил парома.

— Проклятая, как чуть в гору, вот и заозирается и попятится,— глядя в узкие глаза казака, сказал Гордей Мироныч.

Чубатый поправил портупею и осмотрел Корнева с ног до головы. «Чует собака волка»,— пронеслось в мозгу партизана. Корнев поднял мальчика на воз и сунул ему вожжи в руки. Не поворачиваясь, он почувствовал на себе пристальный взгляд казака. Казалось, и все, от мала до велика, на пароме разгадали партизана.

Гордей Корнев оправил мальчику рубашонку и застегнул пуговицу на воротнике.

«Сейчас спросит!» Колючий заморозок пробежал по спине Гордея Мироныча.

— Нет ли закурить, служба? С обеда без курева.— Корнев подвинулся вплотную к чубатому.

В этот короткий миг партизан твердо решил: «Спросит — вырву у него клинок из ножен и рубану сначала ближнего, потом дальнего и через борт в воду. Лови тогда зайца за хвост...»

Казак сунул руку в карман.

«Пронесло!»

Гордей Мироныч принял от казака кумачовый, обшитый черными кружевами кисет.

Тихий вечер наплывал с гор. В убогих пристанских домишках люди садились ужинать. В раскрытые окна были видны женщины, дети. Никодим, избушка в тайге встали перед Корневым: «Теперь они тоже ужинают». Голод мучил партизана, но, попав, наконец, в город, он забыл о голоде. «Бьют — лошадь не вынесет...» Широкая сутулая спина Ефрема Варагушина в черных кровоподтеках. Сотни таких же, как Варагушин, товарищей с желтыми лицами. Корнева неудержимо потянуло к тюрьме.

Старинная, времен Петра Великого, крепость обнесена толстым земляным валом. Слева крепость огибал Ир-

тыш, справа — горная река Гульба. На крепостном плацу тюрьма, обнесенная белыми каменными стенами.

Партизан смотрел на маленькие зарешеченные окна тюрьмы. Матовые, не пропускающие солнечных лучей стекла холодно и тускло отсвечивали, как бельма слепого.

«Будь ты проклята!»

Гордей Мироныч пошел в слободку. Там, на окраине, жил рабочий кожевенного завода, однополчанин Семен Старцев.

ГЛАВА X

— Слушай...— Семен Федотыч покосился на оконце.— Анисья, выдь-ка на час...

Женщина накинула платок на голову, понимающе улыбнулась мужчинам и покорно вышла.

Старцев помолчал, выжидая, пока жена выйдет на улицу.

— Еженощно, на свету, пачками выводят на берег Гульбы, за крепость...

— Семен Федотыч, ну, а вы?.. Вы-то что же думаете?! Да ведь так они всю нашу головку...

Большое, плоское, все вдавленное как-то внутрь лицо Семена Старцева с широким приплюснутым носом показалось холодным и чужим. Неприятно топорщилась борода — тонкая, рыжая, точно шерсть на корове.

— Думаете ли выручать товарищей?.. Или вы и крылья опустили?

Но по сбежавшимся бровям однополчанина Корнев понял нелепость своих слов и облегченно вздохнул.

— Слушай внимательно! — Старцев снова покосился на окно.— Пришел ты, значит, Гордей, очень кстати. Личность ты в городу неизвестная.— Старцев окинул Гордея Мироныча взглядом.— А нам такие личности, для нашего, значит, дела сейчас вот как требуются...

Женщина продрогла на улице, а они все говорили и говорили. Наконец Корнев вспомнил о высланной хозяйке:

— Анисью-то Матвеевну затомили...

— И то правда.— Старцев поднялся и, сильно прихрамывая на левую ногу, подошел к двери.— Анисьюшка! — позвал он жену из темноты.

Молодая женщина с той же понимающей улыбкой вошла в комнату и, передергивая плечами под легким, тонким платком, сказала:

— Гостеньку в сенях постелить, Федотыч. А то на нового-то человека да наш клоп...

* * *

— Пора!..

Корнев вышел. Даже признаков зари не было. Шумела на перекатах река. Прохладой обдало горячее после сна лицо. Гордей огляделся по сторонам: город и слободка спали. Ступая по-охотничьи бесшумно, спустился в заросший полынью, заваленный костями и обрезками жести овраг. Оврагом прошел до берега реки. Крепостной вал и высокий глинистый обрыв над Гульбою были рядом.

Дорога к месту казни проходила вблизи оврага. Гордей Мироныч вошел в пахучую полынную заросль и лег.

Тишина. Обостренный слух улавливал даже скрип половиц под ногами часового на ближайшей тюремной вышке.

Одновременно с тремя ударами колокола на пожарной каланче тюремный двор наполнился гулом и движением. Железные ворота пронзительно заскрежетали. Подковы лошадей, стук прикладов, топот кованых солдатских сапог вырвался с гулкого тюремного двора и замер, а где-то в глубине корпуса хлопнула тяжелая дверь, звякнула связка ключей.

«Ведут!»

Погожее летнее утро тихо занималось над миром. За рекой, на пойме, мелодично протрубил журавль. И, словно разбуженные крылатым горнистом, взметнулись жаворонки. Звезды гасли, как догорающие свечи в храме. С лугов наносило росным запахом цветущих трав.

В сладкой истоме нежилась, как розовый ясноглазый ребенок, просыпающаяся земля.

И вдруг из самой глубины тюрьмы по низким сводчатым коридорам вырвался наружу душераздирающий крик.

Тоска, боль и смертный ужас были в этом крике. Земля под Корневым качнулась.

Раздались свистки, крик мгновенно оборвался; по двору забегали люди, зацокали копыта лошадей.

«Ведут!»

Партизан заполз в глубь полыни и плотно прижался к теплой, унавоженной земле.

По быстро приближающемуся топоту конвоя Гордей Мироныч понял: «Торопятся: город вот-вот начнет просыпаться».

Цепь стражников с саблями наголо. Солдаты «местной команды» в фуражках без козырьков и, как факельщики, в черных мундирах и штанах.

За интервалами цепи «они»: четверо — раздетые до нижнего белья, связанные проволокой рука к руке.

В середине — широкоплечий, возвышавшийся над группой на голову казак станицы Усть-Утесовской Алексей Хайгин. Рядом, по левую руку, с опущенной на грудь белой, лысой на темени головой, красивый, как библейский пророк, еврей Соломон Брахман, часовщик. По правую, тяжело ступая желтыми босыми ногами, низкорослый (в плечо Хайгину), весь квадратный, матрос Евдоким Захарчук в разорванной полосатой тельняшке. На широкой груди его вытравлен портрет Ленина. Глаза на изображении недавно выколоты тюремным следователем, и раны сочились кровью. Коротко остриженная голова Захарчука тоже была вся в шрамах, а разбитое черное лицо так распухло, что глаз матроса совсем не было видно. Четвертый, крайний слева, рядом с Соломоном Брахманом, портной Никита Фомочкин. Он был в одних кальсонах. Узенькая, птичья грудь его, поросшая светлой шерсткой, вздрагивала от кашля. Желтый, худой до неправдоподобности, хромая на каждом шагу, при сотрясающем все тело кашле он хватался нескованной рукою за грудь. Казалось, все силы души этого человека были сосредоточены на одном: как бы скорее дойти до того места, куда их гнали.

Большой, грузный вершник с лицом толстым, красным и жирным, как семга, каждый раз, когда портной задерживал движение, наскакивал на него конем и, перегнувшись с седла, бил нагайкой по сухой гармошке ребер. Фомочкин из последних сил бросался вперед. В глубоко запавших черных глазах его залегла глухая, безысходная тоска.

Соломон Брахман, старческие серебряные кудри которого были испачканы запекшейся кровью, шел, низко опустив голову. Замученный ли пытками тюремщиков и страхом перед неотвратимо надвигающимся на него, задумавшийся ли о будущем родины, за которую он шел на казнь,— кто разгадает?!

Поравнявшись с оврагом, Соломон Брахман поднял голову, окинул идущих рядом с ним товарищей взглядом и... ободряюще улыбнулся.

Что старый часовщик именно улыбнулся, пораженный Гордей Мироныч с гордостью рассказывал потом «своим», как свидетельство несокрушимой силы большевистского духа.

Евдоким Захарчук с чугунно-черным распухшим лицом шел, беспокойно поворачивая голову.

Матрос, в первый раз выведенный на свет божий из подвала темной одиночки, где его продержали около полугода, тщетно пытался увидеть зеленый мир. Рассмотреть хотя бы травинку, жаворонка, звеневшего над головой.

Радость простора, хрустальная чистота и свежесть раннего утра, шум близкой реки — все это, после гнилой каменной дыры, в которой он задыхался столько ночей и дней, опьянило его. Вобрать и воздух, и немолчный звон воды на перекатах, горький на рассвете запах полыни. Обнять землю, теплую под босыми ногами, родную землю, о которой изболелась живая его душа. Нескованной рукой матрос все время пытался раскрыть хотя бы один заплывший глаз, и не мог.

Великан Алексей Хайгин смотрел прямо перед собой — в заречные луга: там, в двух километрах от города, казацкие надельные покосы. Голубые окна озер, грозди сизо-черной с дымчатым налетом ежевики в зарослях терпко пахнущего хмеля по тальникам...

«Парочку бы гранат!» — задыхался от злобы Гордей Мироныч.

В слободке молодежь доигрывала короткую летнюю ночь. Гармонист на одних басовых нотах вел проголосную песню, и чей-то низкий бархатисто-грудной женский голос слаженно выводил:

Ах, во реченьке водица холодна,
У Ивана жена молода...

Сам баянист и запевала, Алексей Хайгин встряхнул кудрявыми волосами, повернул в сторону слободки крупную голову и чутко ловил слова песни.

Прилетели гуси серые, замутили воду светлую, —

тише донеслось из-за реки.

И уже совсем тихо, так что и Гордей Мироныч не расслышал начала нового куплета, а схватил только самый конец, исполненный с хватающим за душу выстоном:

...дожидалася, пока вода устоялася...

Четыре связанных за руки товарища прошли. Прошли конвоиры с взятыми на изготовку винтовками. Группа конников проплыла мимо затуманенных глаз Корнева. И только лишь последние колчаковцы скрылись за поворотом крепостного вала, Гордей Мироныч спустился на дно оврага и пошел в город. Движение конвоя, лязг оружия некоторое время еще слышны были ему.

«Сейчас повернут на обрыв!»

...Прислушивающийся к словам песни Алексей Хайгин, ободряюще улыбнувшийся товарищам старый Соломон Брахман, матрос с чугунно-черным безглазым лицом, портной Фомочкин стояли перед его глазами. Слова песни: «Прилетели гуси серые, замутили воду светлую» — звенели в его ушах.

ГЛАВА XI

— Ровно в двенадцать в комендантском управлении. Повтори: писарь унтер-офицер Михаил Окаемов.

Гордей Мироныч повторил слова комитетчика.

— Мишу Окаемова ни с кем не спутаешь: высокий, плечи борца, талия балерины. Усы — в горсть не захватишь, и черны, как вакса. Брови — под стать усам... Одним словом, из всех отменный — к нему и подходи. Ну, товарищ Корнев, в добрый час...

Старший унтер-офицер Окаемов и точно выделялся из всех писарей и военных чиновников комендантского управления. Смуглолицый, с девически нежным пушком на гордом, властном лице, с карими глазами в таких гус-

тых и черных ресницах, что тень от них падала на матовые щеки. Смелые, широко распахнутые, как крылья взлетающего орла, черные брови, густые, пышные усы над красиво вырезанными губами. Сухой прямой нос, гладко выбритый голубовато-сизый круглый подбородок,— таких мужчин Корнев видел только на картинках.

Мундир в талию, сверкающие пуговицы, серебряные нашивки на погонах — все на Окаемове выглядело не так, как на других. Белоснежный платок, надушенный тонкими духами, распространявшимися по всей комнате, когда его неуловимо быстрым движением Окаемов встряхнул, прежде чем поднести к сочным своим губам, массивный серебряный портсигар, по крышке которого он поколачивал куркою толстой папиросы,— все вызывало восхищение Гордея Корнева.

«И этот молодец — наш!»

В управлении было людно, входили и выходили вестовые с замызганными разносными книгами под мышкой. В глубину комнат, откуда несся пулеметный треск «ундервудов», гремя саблей, прошел офицер в белом кителе, с лысиной во всю голову, проносились писари, слонялись какие-то два толстяка штатских — во френчах и необъятных галифе из японского сукна цвета хаки.

Корнев, побритый, подстриженный, в форме артиллерийского фейерверкера, пришел в управление без пяти минут двенадцать. Зеркало в передней отразило лицо партизана: без густой темной бороды, с коротко подстриженными волосами он выглядел вдвое моложе того Гордея Корнева, который неделю назад пришел из тайги в город.

Гордей Мироныч уловил беглый взгляд Окаемова, брошенный на часы: «Ждет!»

Ровно в двенадцать Корнев вошел в большую светлую комнату комендантского управления. В простенке между двух окон, прямо против входной двери, письменный стол, заваленный бумагами. Над столом литографированный портрет верховного правителя адмирала Колчака в позолоченной раме.

За письменным столом Михаил Окаемов. Влево и вправо вдоль стен массивные шкафы с «делами», письменные столы со склонившимися за ними фигурами военных писарей.

Окаемов поднялся навстречу Корневу.

— Фейерверкер Горбылев? Григорий Григорьевич? — быстро спросил он и посмотрел Корневу повыше переносицы.

— Так точно! — громко ответил Гордей Мироныч.

— Распишись вот здесь! — указал он в книге длинным, красиво отточенным ногтем.

Корнев нагнулся над столом и неловко взял в толстые свои пальцы перо. Окаемов, указывая, где расписаться в книге, тоже склонился над столом и шепнул Гордею Миронычу:

— Начальнику тюрьмы отрапортуй, чтобы зазвенело в ушах,— любит! Старший надзиратель Мамонов — истукан, но хитер! Будь осторожен... Иди! — грубо и громко закончил он.

Из той непринужденности, с какой, не изменяясь в лице, Окаемов сказал ему и о начальнике, и о надзирателе тюрьмы, Корнев сделал вывод, что парень он действительно настоящий, хоть и пахнет от него, как от конфетки.

Гордей Мироныч вытянулся, взял под козырек и, круто повернувшись на каблуках, «дал» такую «ножку» от стола писаря, что дремавший в соседней комнате военный чиновник вздрогнул, как от выстрела, выставил в дверь крошечную голову на тонкой, куриной шее и, стараясь придать суровость пискливому бабьему голосу, спросил:

— Что это у вас за плац-парады, Окаемов?

Михаил чуть заметно улыбнулся в пушистые свои усы.

— Новый надзиратель, господин военный чиновник.— И красавец писарь склонился над бумагами, удерживая расплывающуюся по лицу улыбку.

Окаемов был доволен: за последние два дня это был уже третий «надзиратель», посланный комитетом и оформленный им по всем правилам устава внутренней службы через комендантское управление.

* * *

Усть-утесовская колчаковская тюрьма, ее начальник — прапорщик запаса Подкорытов и старший надзиратель — девятипудовый идол, фельдфебель сверхсрочной службы Мамонов известны были во всей Сибири:

у тюрем тоже есть свои прочно установившиеся репутации.

«Усть-Утесовкой» администрация других тюрем пугала политических заключенных: «Вот отправим на курорт в Утесовку,— там тебе произведут точный подсчет, сколько зубов и ребер у человека бывает...»

Привратник позвонил. В глубине двора хлопнула дверь, другая. Тяжелые шаги смолкли у железных ворот. С противоположной стороны открылся «глазок». Гордей Мироныч вытянулся в струнку.

Прижавшийся к «глазку» человек точно вбирал его в себя. Привратник загремел связкой ключей. Калитка распахнулась, и перед Корневым появился огромный, как памятник, великан в форме фельдфебеля сверхсрочной службы.

Знаменитый старший надзиратель усть-утесовской тюрьмы Андрон Агафоныч Мамонов с минуту смотрел в зрачки Гордея Корнева.

Гордей Мироныч стоял не дыша, оцепенелый, словно он лишился рассудка под взглядом Мамонова. И действительно, взгляд фельдфебеля был тяжел. Красные, болезненно вывернутые веки без ресниц, расширенные зрачки выпуклых дегтярно-черных глаз неподвижны. Рассказывали, что Мамонов и спал с открытыми, неморгающими глазами.

Мясистая голова с длинными прямыми черными волосами по-раскольничьи подстрижена «под горшок». Красное бритое лицо. Тупой, короткий по лицу нос. Толстая нижняя губа далеко выдавалась над квадратным подбородком, тогда как верхняя губа явно коротка и не закрывала широких желтых зубов. Что-то бульдожье было и в короткой верхней губе, и во всем брыластом лице Мамонова с воспаленно вывернутыми веками немигающих выпуклых глаз.

— Пойдем! — сказал он неправдоподобно густым, утробным басом и повернулся широкой, как дверь, спиной.

Жирный складчатый загривок, пудовые кулаки. Казалось, булыжник двора под каменной его поступью гнется и стонет.

Гордей Мироныч перешагнул порог калитки.

ГЛАВА XII

Камень, кирпич, железо. И над всем неистребимый дух: смесь запаха сырых подвалов, кислого ржаного хлеба, едкого махорочного дыма и давно не мытых человеческих тел, набитых в камеры. Жгучее солнце, трескучие морозы бессильны побороть его. Густой, плесенно-влажный воздух облепил легкие, лицо, впитался в одежду Гордея Корнева, лишь только он вслед за Мамоновым вошел в тюремный корпус.

Полутемный, узкий и длинный, обшарпанный коридор с камерами по сторонам. Чуть видный в сумраке надзиратель вытянулся перед Мамоновым со связкою ключей в руках. Над окованной железом дверью каждой камеры жирная белая цифра. В двери «глазок».

На толстых засовах замки величиной с собачью голову. За закрытыми дверями камер страшная жизнь. Отзвуки ее доносятся в коридор сдержанным глухим гудом. «Там они!» Гордей Мироныч старался не отставать от Мамонова. Он скользил взглядом по цифрам над дверями: «Тридцать три, тридцать пять, тридцать семь...»

Из коридора выход на прогулочный дворик. В открытую дверь пахнуло полуденным зноем. Гордей Мироныч набрал полную грудь пыльного, жгуче сухого воздуха и выдохнул с таким шумом, что Мамонов обернулся.

На территории «малого» корпуса послышалось движение, крики надзирателей и звон ключей. Калитка с лязганьем распахнулась, и площадку прогулочного дворика, тесня один другого в проходе, заполнили усть-утесовские большевики.

Эта первая встреча с товарищами в тюрьме Гордею Корневу запомнилась на всю жизнь. Здесь были мужчины всех возрастов и национальностей: русские, тюрки, евреи, украинцы, мадьяры, поляки, латыши. Заросшие волосом лица их были какого-то неестественного голубовато-землистого цвета. Большинство в лохмотьях, в нижнем белье, заношенном до желтизны, некоторые и совсем без рубах.

Старший надзиратель Мамонов, остановившийся на каменных ступенях, как монумент, обводил вошедших выпуклыми дегтярно-черными глазами.

Гордей Мироныч встал за спиной старшего надзирателя.

В первом ряду шел он — Ефрем Гаврилович Варагушин. И хотя это была тень прежнего Ефрема, но Гордей Корнев узнал бы друга и в тысячной толпе. Густые и светлые, как пшеничная солома, усы на круглом его лице с твердыми, властными губами. Большой рост, медвежья сутулость, руки в золотистом пушку... Сколько раз этими руками он доставал из вещевого мешка кусок солдатского хлеба, разламывал пополам и половину протягивал ему. Ефрем был бос, без рубахи, в рваных, грязных кальсонах. Сутулая спина в свежих багровых ссадинах. На груди, под сердцем, с блюдце величиною, сине-черный кровоподтек.

— Раз! Два! Левой! — увидев Мамонова, нарочно громко стал подсчитывать Варагушин и так ставить босые, широкие в ступнях, ноги на булыжник, так рубить горячий воздух рукой, что идущие с ним невольно делали то же. Худоба друга, растерзанный вид его потрясли Гордея Корнева. Кровь от сердца так рванулась к лицу, что, обернись на него в эту минуту «идол», дело, ради которого он пришел из гор, погибло бы безвозвратно.

— Спокойно, Гордей, спокойно! — до боли стискивая в суставах пальцы, беззвучно зашептал Корнев.— Спокойно! — точно оглаживая и уговаривая норовистого коня, не переставал шептать он до тех пор, пока горячая волна крови не отлила от головы.

Рядом с Варагушиным маршировал юноша-подросток в синих трусах и полосатой майке. Худенький и еще нескладный, он был на грани той поры, когда кончается отрочество и начинается юность, когда плечи и грудь по росту еще узки, а руки длинны и слабы. Крупную кудрявую голову, серые глаза его, опушенные густыми детскими ресницами, странно было видеть среди волосатых лиц заключенных.

Это был Алеша Белозеров, как узнал позже Гордей Корнев. На бледном лице юноши, в серых глазах его был такой восторг от солнца, от движения на воздухе, что казалось, был он не в тюрьме, на крошечной площадке прогулочного дворика, а на торжественном и многолюдном параде.

Справа от Алеши шел высокий, худой, с рыжими волосами, с голубоватым бескровным лицом в крупных веснушках Марк Гроссман — культпроп Усть-Утесовского горкома. За несколько минут до прогулки он вместе

с Варагушиным побывал в руках фельдфебеля Мамонова.

Алешу удивило, что Гроссман как-то особенно горбился, трудно и хрипло дышал, шел не в ногу и все отставал от товарищей.

— Раз! Два! Левой! — в самое ухо Гроссмана прокричал Алеша Белозеров.

Но с трудом передвигающий ноги Марк вдруг, словно споткнувшись, не по-человечески тяжело, как падает сорвавшаяся балка, плашмя упал на булыжник.

Товарищи подняли, положили его вверх лицом.

Варагушин опустился на колени и припал ухом к сердцу Гроссмана. Все напряженно смотрели в лицо Ефрема, точно от него зависела судьба товарища. Варагушин медленно поднялся с земли и вскинул голову.

Гордей Мироныч понял, что творилось в душе Ефрема.

С перекошенным, покрывшимся пятнами лицом Варагушин рванулся к Мамонову. Следом бросился на Мамонова и бледный, хрупкий мальчик в полосатой майке.

— Куда вы! — крикнул Гордей Корнев и вышагнул из-за спины старшего надзирателя, как бы защищая начальника своей грудью.

Ефрем увидел друга, узнал его: это Гордей Мироныч почувствовал по неуловимой радости, мелькнувшей в глазах казака.

Варагушин остановился, повернулся к товарищам. Повернулся и Алеша Белозеров.

— Раз! Два! Левой! — скомандовал Варагушин.

Не проронивший ни одного слова, не сделавший ни одного движения Мамонов, тяжело ступая, сошел со своего постамента, подошел к трупу и тупым носком сапога ткнул в широко раскрытый глаз мертвеца.

— Г-готов! — пролаял он. Немигающие, выпученные глаза Мамонова в вывернутых кроваво-красных веках остановились на лице Ефрема Варагушина.— Загнулся! — торжествующе засмеялся он и шагнул к калитке.

— Идол! Идолище!..— пронзительно, на всю тюрьму, закричал вслед Мамонову мокрый от нервного пота мальчик.

Гордей Корнев бросил взгляд на Варагушина. В глазах друга он уловил непомеркший радостный блеск.

ГЛАВА XIII

События в тюрьме нарастали стремительно. В ночь с 22 на 23 июля был намечен расстрел тридцати пяти большевиков. За мертвую толщу стен и обитые железом двери камер все большие и малые события тюремной жизни проникают с быстротой телеграфа.

21 июля, через час после того, как был составлен и подписан список, вся тюрьма уже знала о предстоящей массовой казни и, затаившись, ждала.

За день до расстрела, рано утром, обреченных со всей тюрьмы заперли в камеру смертников. Из «третьей общей», где содержался Ефрем Варагушин, в смертники попало пятеро. Когда их, одного за другим, вызвал по списку старший надзиратель Андрон Мамонов, начав с Ефрема Варагушина, Алеша Белозеров дрожал безудержной крупной дрожью. Юноша был уверен, что «час его пробил», что вместе с головкой камеры он попал в страшный список. Об этом часе каждый из заключенных думал не раз. Думал о нем и Алеша Белозеров.

Он ярко представлял себе, как рано утром по длинному коридору, все нарастая, мерно застучат шаги конвоя. Вот они смолкли у дверей камеры. Войдут толпой, с наганами в руках, с саблями наголо. Камера перестанет дышать, оцепенеет. И в гробовой тишине старший надзиратель, снизив голос до шепота (чтоб не слышали в соседних камерах), но так, что его услышат в самом дальнем углу их камеры, чуть подавшись тушею вперед, заглянув в список, скажет: «Белозеров Алексей!» Два слова пулей рассекут густой воздух камеры и, где бы ни лежал он, попадут в сердце.

Все произошло почти так, как он представлял себе. И гулкие шаги по коридору (в камере никто не спал в эту ночь), и остановка надзирателей у двери, и поворот ключа в замке...

По лицам вошедших, по обнаженному оружию усиленного конвоя все было ясно. Все вскочили и, затравленно озираясь, сбились в кучу. У всех темный ужас стоял в глазах.

Старший надзиратель Андрон Мамонов присел на корточки с роковым списком и долго смотрел в него. Немигающие его глаза остановились на чьей-то фамилии, он давно прочел ее, но молчал.

«Два слова! Сейчас скажет два слова...» Сердце Алеши Белозерова металось в грудной клетке.

— Варагушин Ефим! — намеренно перевирая имя жертвы, прочел, наконец, Мамонов и взглянул на Ефрема Варагушина.

Ни один мускул не дрогнул на лице казака под взглядом Мамонова. Только в глазах его из тайных глубин души выплыла дымчатая тоска.

Мамонов взглянул на список и поправился:

— Варагушин Ефрем! — И снова поднял глаза на жертву, точно, всадив нож в сердце, поворачивал лезвие. Но лицо Ефрема было непроницаемо.

— Демченко Кирилл,— после долгой паузы назвал Мамонов новую жертву и снова пытливо поднял глаза.— Райзман Абрам! — не поднимая головы, прочел старший надзиратель.

Южный темперамент тщедушного черноголового человека Мамонов знал: на допросах Райзман дважды плюнул ему в лицо.

Лишь только надзиратель Мамонов после Ефрема Варагушина назвал фамилию Демченко, а вслед за ним Райзмана, как Алеша Белозеров понял: «Всех! Всю головку!..» Сомнений не оставалось. Колючий заморозок охватил его от головы до ног. Он чувствовал, что не выдержит дальше чтения Мамонова.

— Лагутин Никанор!..

«Упаду! Сейчас упаду!..» Алеша чувствовал, как подгибаются его колени, как холодным липким потом обливается тело. Он оперся о чьи-то плечи, собрав все силы своей души, подвинулся к Кириллу Демченко и схватился за его руку.

Но что это? Почему конвойный с такой силой оттолкнул его от Демченко?

— Каранов Михаил!

Ефрем Варагушин отстранил бросившихся к нему конвойных, вышел из толпы и встал лицом к смертникам. Ненавистная до того камера в этот миг показалась ему родной и милой, как отчий дом. Долгим взглядом окинул он ее; казалось, Ефрем вбирал в себя навсегда и тесно сжавшуюся толпу товарищей, и грязные стены камеры.

— К двери! Рылом к двери! — распрямляясь, залаял на него Мамонов.

Ефрем Варагушин даже и не взглянул на фельдфебеля. На Варагушина бросились трое. Одного из конвойных он схватил за горло и задавил бы, если бы двое других не оглушили его ударами револьверных рукояток по темени.

Тревожные свистки по всему корпусу, топот бегущих по коридору, звон оружия, глухие, чавкающие удары...

— По печенкам! По печенкам его! — приглушенно хрипел Мамонов в коридоре.

Дверь камеры захлопнулась. Алеша Белозеров опустился на пол. Зубы его все еще стучали неудержимо. Рот высох, язык распух.

ГЛАВА XIV

В час дня 22 июля к камере смертников и в коридоры корпусов тюрьмы должны были встать на посты Корнев и еще пять надзирателей новой смены. Двое из пяти были «свои». «Надзиратели» должны были пронести в тюрьму по четыре браунинга с запасными обоймами. Этим оружием в половине восьмого, сразу же после ужина, решено было вооружить, на первый момент, освобожденных из камер большевиков.

Захват караульного помещения, крепостного оружейного склада, паромных переправ через Иртыш и уход в горы — все предполагалось провести молниеносно. Вовремя порвать телефонную связь тюрьмы с комендантским управлением и городом должны были Михаил Окаемов и «тюремный электромонтер» — большевик Григорий Рябов.

День 22 июля с утра выдался нестерпимо жаркий.

В половине первого, обливаясь потом, с горячими красными лицами, новая смена собралась на развод караулов на плацу перед тюрьмой. Гордей Корнев стоял рядом с двумя единомышленниками: Петром Конищевым, плотным, короткошеим сибиряком, и кавказцем Лаврентием Гоглидзе с тонким и гордым профилем прирожденного воина. Процедура развода тянулась бесконечно. Солнце прожигало от темени до подошв. Еще когда собирались на площадь, Гордей Мироныч обратил внимание, что мясистое лицо Конищева угрожающе багровеет.

Дежурный офицер по караулам вручил караульным начальникам «секретные слова» — пропуск и отзыв; проиграл горнист. И в тот момент, когда после команды «По караулам — арш!» смена двинулась к открытой калитке тюрьмы, где стоял фельдфебель Мамонов, надзиратель Петр Конищев выпустил винтовку и рухнул на горячую пыль площади.

Мамонов приказал караульному начальнику вызвать тюремного врача.

«Через несколько минут Конищева доставят в приемный покой, разденут и найдут оружие. Начнется переполох. Мамонов перевернет тюрьму. Вызовут дополнительный наряд охраны...» — вихрем кружились мысли в голове Гордея Корнева. Он не видел ни тюремного двора, ни корпусов.

«Сейчас разденут!» Корнев остановился на крыльце главного корпуса.

«Но что же, что же делать?!»

Гордей Мироныч взялся за ручку двери и решительно открыл ее. Испытующим взглядом Корнев окинул длинный полутемный коридор главного корпуса тюрьмы.

Лаврентий Гоглидзе, оставшийся в этом коридоре, принимал ключи от старого надзирателя. Гордей Корнев должен был пройти в подвал, к камере смертников, где ждал смены отстоявший свои часы надзиратель, но он не стал спускаться в подземелье, а прижался к двери.

В главном коридоре все так же звенели ключи, щелкали отодвигаемые «глазки» камер, доносился тот привычный гул смены, который безошибочно угадывался через дверь.

«Сейчас сменившийся надзиратель уйдет». Гордей дождался, когда хлопнула дверь, и вернулся в коридор главного корпуса.

Лаврентий Гоглидзе бросился навстречу Корневу. Лицо его от проступившей бледности стало еще тоньше и красивее.

Корнев тихо, но властно, за один выдох сказал:

— Открывай камеры! Мамонов может нагрянуть ежеминутно. Войдут — бейте главных! Солдат разоружайте — и в камеры, под замок. Ждите меня со смертниками. Караульное помещение пойдем брать вместе.

Гоглидзе, не проронив ни слова, прыжком подскочил к

ближайшей камере и, не попадая от волнения ключом в отверстие замка, начал открывать ее.

Гордей Мироныч дождался, покуда Гоглидзе распахнул дверь. Он видел, как люди, бледные, оборванные,— не люди, а призраки,— испуганно вскочили с нар. Слышал, как Лаврентий крикнул волнующе-восторженно: «Товарищи!» Видел, как вспыхнули и загорелись их глаза. Но тут же и он и Гоглидзе увидели, что недоверие и испуг мелькнули на лицах заключенных. «Боятся провокации!» — поняли они.

— Товарищи! — повторил Лаврентий Гоглидзе страстно низким, грудным голосом.— Свободу добывают оружием! Вот оно! — И он протянул им блестящие никелем браунинги.

Гордей Корнев видел, как взметнулись над головами руки и жадно, точно хлеб, вырвали оружие у Гоглидзе. Как неудержимо устремились они в коридор!

«Началось!»

А из соседней камеры хлынул уже новый поток. Гордей Мироныч облегченно вздохнул. Азарт предстоящей битвы охватил его. Он открыл дверь в подвальный этаж и, не в силах сдержать себя, побежал по скользким каменным ступеням. Ожидавший смены у камеры смертников надзиратель, высокий рябой татарин Нигматулла Арсланов, тюремный палач, подручный фельдфебеля Мамонова, по необычному хлопанью дверей и гулу над головой понял, что в тюрьме творится что-то неладное. Вид же бегущего к нему Гордея Корнева так напугал его, что он выхватил наган и, дико вращая глазами, закричал:

— Н-ни падхады! З-застрелу!

Гордей Мироныч остановился в двух шагах от Нигматуллы и намеренно тихим шепотом, как бы опасаясь, чтоб его не услышали в камере смертников, сказал:

— Дурак! Спасай шкуру! Наверху пожар, слышишь? — Корнев указал по направлению к главному коридору.

Из подвала прямо во двор вела скрытая в стене железная дверь, в которую выводили смертников на казнь.

— Открывай! — указал он татарину на нее.

Рябой длиннорукий верзила сунул наган в кобуру и повернулся к двери. Гордей Корнев отвел руку и, падая всем корпусом на склонившегося Нигматуллу, со страшной силой ударил его. Арсланов ткнулся лицом в стену.

Связка ключей со звоном упала на цементный пол, и сам татарин рухнул к ногам Корнева.

Гордей поднял ключи, выхватил у татарина из кобуры наган и шагнул к камере.

С первых же шагов восстание не задалось. Не успел Лаврентий Гоглидзе освободить и пяти камер, как в окно коридора грянул залп. Гоглидзе был убит одним из первых. Упало еще несколько человек.

Начальник тюрьмы и старший надзиратель Мамонов, предупрежденные автоматическими электрическими звонками (наличия непорванной секретной сигнализации не предвидел Гордей Мироныч), вызвали караул, дали знать в комендантское управление и бросились в главный корпус.

Внезапность залпов и сокрушительный огонь в узком коридоре были так потрясающи, что растерявшиеся люди, спасаясь от ливня пуль, кинулись обратно в камеры. Коридор опустел, только убитые да тяжелораненые остались на залитом кровью, засыпанном штукатуркой полу.

Тюремщики (их было около двадцати человек) ворвались следом за заключенными в камеры. Опьяненные легким успехом, они разбились группами и начали избиение безоружных.

Гордей Корнев только открыл камеру смертников и протянул руки бросившемуся к нему другу, как услышал залпы. Тихо стало в сыром, полутемном склепе. Тихо и трепетно. Люди оцепенели: надежда, только что блеснувшая, оборвалась. Крик радости, готовый сорваться в уст, замер.

И вдруг эту тишину рассек голос Ефрема Варагушина, полный того исступленного подъема, который рождает смертельная опасность:

— Товарищи! Одной ногой мы на воле! Пошли!

Словно электрическим током бросило людей друг к другу: сомкнулись они так плотно, что казалось, нет в мире силы, способной разъединить их.

Гордей Мироныч, подхваченный волной, был вынесен из камеры. В стремительности потока он только переставлял ноги, ощущая во всем теле пьянящую силу слившихся в одно тридцати пяти ринувшихся на свободу людей.

Дверь главного коридора точно сама распахнулась перед ними. На пороге первой камеры, тяжелый, как монумент, неожиданно появился старший надзиратель Андрон Мамонов. Он, казалось, нисколько не удивился появлению смертников. Всегда расширенные зрачки выпуклых дегтярно-черных глаз его были неподвижны.

С секунду он смотрел на смертников. Красные вывернутые веки без ресниц ни разу не моргнули.

— А-а-а! — точно очнувшись, словно вспомнив забытое, негромко промычал он.

Понятие о мускульной силе так же относительно, как и понятие о силе духовной. Ефрем Варагушин, как и Гордей Корнев, как и все его товарищи, ощущавший удесятеренную силу в своих руках, вышагнул из толпы и, взмахнув зажатой в кулак тяжелой связкой тюремных ключей, ударил Мамонова в висок. Как подрубленный, рухнул девятипудовый идол. Огромная фуражка его упала с головы и покатилась по коридору. Прямые, черные, по-раскольничьи подрубленные ниже ушей волосы облились кровью.

Перепрыгивая через труп Мамонова, люди хлынули в открытые двери камер на штыки тюремщиков. Голыми руками они вырывали оружие и опускали его на головы врагов. Полосатая майка Алеши Белозерова мелькала всюду: он и выполнял роль связного между главным и малым корпусами, отыскивал носилки для переноски раненых.

Через десять минут тюрьма со всеми ее внутренними и наружными постами была в руках восставших. Железные ворота распахнуты. Женщины наскоро перевязывали раненых. Мужчины выбрасывали из глубины оружейного склада крепости винтовки с патронами, сносили их в кучу к крепостному валу.

ГЛАВА XV

Первым из усть-утесовских подпольщиков прискакал к тюрьме Михаил Окаемов.

Он был в кабинете коменданта полковника Незнанского, «на докладе», когда раздался телефонный звонок. Комендант отодвинул папку с бумагами и ленивым движением взял трубку. Отекшее, старчески желтое лицо его было устало и сонно. Но после первых же услышанных им

слов полковник вскочил с кресла. Седые брови его взметнулись испуганно и удивленно.

По репликам полковника Окаемов понял, что восстание в тюрьме уже началось. Он и испугался этой внезапности, и обрадовался, и лихорадочно обдумывал, чем помочь делу, которое было дорого и близко ему, как собственная судьба.

— Держитесь, действуйте, сейчас получите подкрепление! — Незнанский бросил трубку, сел и откинулся в кресле.— Соедините меня с командиром казачьего полка!

— Слушаюсь, господин полковник!

Окаемов схватил ручку телефона и дал громкий продолжительный звонок. Телефонистка тотчас же ответила, но он снова резко покрутил ручку.

— Станция! Станция! — раздраженно прокричал Окаемов в трубку.

Комендант нетерпеливо застучал белыми пухлыми пальцами по столу. Окаемов в третий раз бешено закрутил телефон, и левой рукой с усилием потянул шнур. Надрывающийся, нервный голос телефонистки погас.

Окаемов повернулся и, глядя в лицо коменданта растерянно и робко, сказал:

— Испорчен, господин полковник!

— Испорчен? — Незнанский было рванулся к телефону, но потом сел и подвинул кресло к столу.— Нарочных! Аллюр два креста! Полк в крепость! Вызвать ближайшие станицы! Отрезать переправы! — В волнении полковник думал вслух, набрасывая отрывисто и точно план расправы.— Подождите! — повернулся он к Окаемову и стал писать приказ.

Михаил Окаемов посмотрел на дверь. В комендантском управлении, как всегда, было шумно.

Унтер-офицер, точно собираясь просушить написанное комендантом, взял с письменного стола тяжелое мраморное пресс-папье с блестящей никелированной ручкой и подошел к креслу полковника.

Широкий затылок полковника прорезали клетки морщин. Хрящеватое ухо с припухшей жирной мочкой в серебряном ворсистом пушку. Солнце сквозь тонкую золотистую портьеру бросало лимонные блики на стены, на блестящий желтый череп полковника.

Окаемов наметил место удара: на темени полковника, как у ребенка, была впадина величиной с копейку,

«Подпишет, поставит точку...— Тяжелый пресс холодил руку.— Приказ полку исправлю по-своему...»

В дверь постучали. Окаемов вздрогнул, как от выстрела.

— Войдите! — сказал полковник, не поднимая головы.

В кабинет вошел ординарец. Молодое безусое лицо его было потно.

— Начгар приказал доложить господину полковнику, что через полчаса полк прибудет к тюрьме. По станицам объявлена тревога,— задыхаясь, отрапортовал ординарец начгара.

По дряблому отечному лицу полковника проплыла торжествующая улыбка.

Окаемов с трудом удержал вздох, с сожалением покрутил в руке тяжелый пресс и тихонько положил на стол.

«Через полчаса! Через полчаса!» — звенели в ушах слова ординарца.

Полковник поднял веселые глаза на Окаемова и, не сдержав радостного чувства, громко сказал:

— Сама судьба избавляет нас от этой сволочи. Идите, Окаемов.

— А приказ, господин полковник? — все еще цепляясь за возможность «поправить» приказ коменданта, спросил Окаемов.— Прикажете отправить?

— Не нужно. Можете идти. И прикажите немедленно исправить телефон.

Михаил Окаемов захватил папку с бумагами и вместе с ординарцем вышел из кабинета коменданта.

У коновязи стояла потная гнедая лошадь ординарца.

«Конь нам очень нужен!»

Окаемов швырнул папку с бумагами в зелень садика, развязал поводья и птицей влетел в седло.

Лошадь вынесла его на площадь. Ворота тюрьмы были раскрыты. Толпа полураздетых людей сваливала в кучу оружие.

Не в силах сдержаться, Окаемов ликующе закричал:

— Товарищи! Товарищи!

Красивого, мужественного всадника на разгоряченной скачкою лошади окружили большевики.

— Свой!.. Комитетчик! Комитетчик! — облетели толпу радостные возгласы.

Бледные, испятнанные тюремными палачами лица их

сияли восторгом. Мужчины сняли Окаемова с лошади, хватали за руки. Алеша Белозеров проскользнул сквозь горячую толпу к жарко дышавшему коню Окаемова, схватил за повод с явным намерением не уступать его никому.

Женщины плакали, гладили коня, целовали его ноздри. Сдерживаемый вихрь чувств, переполнявший сердца людей от ощущения свободы, голубого неба и яркого солнца над головой, вылился на первого прискакавшего им на подмогу из города. Радость измученных, обреченных людей была так велика, что прибытие одного всадника они встретили как приход освободительной армии.

— Товарищи! Через двадцать — двадцать пять минут сюда прискачет полк! — возбужденно закричал Окаемов.— Переправы через Иртыш и Гульбу займут зареченские станичники, и мы будем заперты в крепости, как в мышеловке!..

Тихо стало на площади. Все невольно обернулись к городу. Суровая решимость горела на лицах восставших.

Сквозь расступившуюся толпу к Окаемову прошел Ефрем Гаврилыч Варагушин, руководивший разгрузкой оружейного склада. Он был бос, в исподниках и без рубахи. В объемистой, как комод, груди его, в сутулой спине и покатых, толстых плечах угадывалась покоряюще большая физическая сила. В быстрых глазах под светлыми бровями — ум и непреклонная решимость. Все с надеждой смотрели на Варагушина: в первые же мгновения восстания он безмолвно был признан вождем.

— Двадцать минут, говоришь? — спросил Ефрем Гаврилыч.— Времени достаточно. Гордюш, ходи сюда! — нежно позвал Варагушин Корнева из толпы.

Гордея Мироныча пропустили к Варагушину и Окаемову.

— Ну, теперь давайте решать!

Алеша Белозеров вместе с конем протиснулся вперед. Ефрем Гаврилыч склонил голову, словно рассматривая босые свои ноги. Все еще плотнее сомкнулись в напряженном молчании.

— Народу у нас около трехсот душ. Правда, половина больных и женщин, но ведь полтораста же большевиков, товарищи, стоят подороже какого-то там полчишка желторотых казачат нонешнего призыва. Винтовок сто

десять штук. Патронов вполне достаточно... А крепостной вал чего стоит! Будем отбиваться до темноты! Ночью же...

На крепостном валу со стороны заречной слободы появилась группа людей. Впереди, припадая на хромую ногу, с тяжелым мешком через плечо, Семен Старцев, сзади — шесть человек кожевников, вооруженных охотничьими двустволками. С патронташами на поясах, с ягдташами и охотничьими ножами, они казались компанией охотников.

Как и Окаемова, их встретили радостными криками.

— Резервы подходят... с дробометами...— пошутил Варагушин.

— Прибавь к волчьей картечи двадцать восемь гранат Мильса! — в тон Варагушину сказал Семен Старцев и осторожно опустил мешок с гранатами к босым ногам Ефрема.

Рокот одобрения пронесся в толпе.

— Кашу маслом не испортишь! Это нашему козырю в масть!

Ефрем Варагушин ощущал всем существом своим, что шутливый оттенок его слов, спокойная неторопливость речи вливают уверенность в сердца людей.

— Гранаты и дробовики с волчьей картечью в засаду: на близкий, как говорится, на кинжальный огонь... В приданое десять винтовок и к ним двадцать отборных бойцов с тобой во главе, Гордюш,— повернулся командир к другу.

Гордей Мироныч улыбнулся. Он знал, что в засаду Варагушин пошлет его.

— Отбирай людей!

Гордея Мироныча окружили со всех сторон. Бросив повод коня какой-то старой женщине, задыхаясь от волнения, пробиваясь и худеньким, острым плечом и локтями, к Корневу протолкался Алеша Белозеров в своей, отменной от всех, полосатой, как зебра, майке.

— Товарищ! — Алеша не знал фамилии Гордея Мироныча.— Я!.. Меня! Ну, ради бога! Дядечка Гордюш!! — В девически длинных глазах юноши, на густых пушистых ресницах дрожали слезы.

Гордей Мироныч, казалось, не слышал его слов. Он отвернулся к седому, старчески сгорбленному большевику:

— И ты не посетуй на меня, останься, дед Рахуба... Пошли же, товарищи,— торопливо закончил Корнев, так и не взглянув в сторону залившегося краской Алеши Белозерова.

Семен Старцев поднял мешок с гранатами, взвалил его на спину и, прихрамывая, пошел следом за отрядом в засаду. Тридцать большевиков Варагушин отобрал в прикрытие больных, раненых и женщин и под командой Михаила Окаемова отправил к переправе через Иртыш.

ГЛАВА XVI

На полном карьере, соблюдая дистанцию между сотнями и равнение, как на параде, несся казачий полк по улицам Усть-Утесовска. И сотрясающий землю топот конских копыт, и бряцание оружия, и густое облако пыли над головами всадников — все было пугающе необычно.

Прохожие в страхе прижимались к заборам.

Впереди первой сотни, на вороной английской кобыле с коротко подрубленным хвостом скакал хорунжий Серебряный. Лошадь под хорунжим была высоких кровей и редкой красоты: все четыре ноги глянцево-вороной кобылы от бабок до коленных суставов были белы, точно на них были надеты чулки. Кобыла играючи несла молодого офицера, затянутого, как в корсет, в белоснежный китель.

Радостен и весел был хорунжий: вместо упившегося в гарнизонном клубе есаула сотню по тревоге вывел он, хорунжий Серебряный. Да и как вывел! На сборный пункт они прискакали на три минуты раньше срока. Командир полка, так же как и есаул Мокроусов, был «не в параде» и поручил полк старому, страдающему одышкой заике, подполковнику Брыжкину.

— К-к-к-командуйте, х-х-х-хо-рунжий,— покраснев от напряжения, с трудом выговорил, наконец, подполковник Брыжкин и, как на печь, кряхтя полез на своего гнедого мохноногого маштака.

Так что полком фактически командовал он — хорунжий Серебряный. Молодой, сильный, хорунжий Серебряный чувствовал, что им и его лошадью любуются в окна женские глаза. Впереди приятно щекочущее опасностью

«дело», могущее отличить его по службе. Радовало хорунжего и то, что по тревоге, как на бал, он выехал в белом кителе и в белых перчатках.

Место для засады Гордей Мироныч выбрал на выезде из города, в узком крепостном переулке, за плетеным забором.

— Лучше не сыщешь! — одобрил выбор Корнева Семен Старцев.— В эдаком рукаве да гранатой промеж рядов, да на прибавку картечью по картузам!..

Еще дорогой Корнев наметил это место: в тесноте полку не развернуться в боевой порядок, лошади не пойдут на высокий плетневой забор, если казаки вздумают броситься в шашки. Маленьким своим отрядом Гордей Мироныч решил намертво «заклепать» узкое горло переулка.

Вдоль длинного забора, на огороде, в картофельной ботве, легли на три шага друг от друга. Старцев роздал часть гранат, остальные положил в канавку между грядками моркови.

За решетчатым палисадником дома, как у всех усть-утесовских мещан, в садике сирень с пропыленными, пожухшими от зноя листьями. У многих через квартал родной дом, дети, исплаканные, высохшие от горя матери, жены.

Надвигающуюся лавину полка услышали за несколько кварталов. Гордей Мироныч приподнялся на локте, подтянулся к забору и расширил щель между прутьями на уровне глаз. Что и в какой момент скомандует он товарищам, что будет делать сам, об этом Корнев не думал, но что все будет сделано вовремя и совершенно точно, Гордей Мироныч не сомневался.

«Ггук-ггук»,— близился вместе с надвигающимся столбом пыли скачущий полк. Гудела земля под копытами лошадей. Офицера в белом кителе, скачущего на вороной белоногой лошади, увидели, лишь только полк с улицы повернул в крепостной переулок. Офицер был уже на дистанции броска ручной гранаты, но Корнев не поднимал руки.

Бледное лицо хорунжего с черной прядью волос, выбившейся из-под фуражки, белоснежные ноги кобылы промелькнули мимо партизана. «Еще! Еще!» — словно

нашептывал ему кто-то в уши. Уже две трети полка втянулось в узкую горловину переулка. Уже чувствуется острый запах потных лошадей, скрытых в облаке пыли.

— Пора! — Корнев взмахнул рукой с зажатой в ней гранатой.

Головная сотня, разметанная гранатами, расстрелянная картечью из двустволок, запрудила узкий переулок. Вторая и третья сотни налетели на завал из людей и лошадей, смешались и, заливаемые потоками огня, увеличили давку и панику. Гордей Корнев, сквозь грохот и крики, услышал отчетливый выкрик команды:

— В атаку! За мной!

Повернувшись, невдалеке на дороге он увидел красивого офицера на пляшущей, разгоряченной белоногой лошади. Голубая сталь клинка сверкала у офицера над головой. Всадник, хищно посунувшийся на шею лошади, всадил в бока кобылы шпоры и, подняв ее, птицей взметнулся над полутораметровым забором.

Прижавшегося к плетню молодого венгра офицер зарубил с непостижимым проворством и точностью.

Не оглядываясь на смешавшийся, расстроенный полк, на зарубленного им венгра, хорунжий повернул кобылу вдоль плетня и, сильно перегнувшись с седла вправо, точно падая, достал склонившегося в канавке над грудой гранат Семена Старцева.

Детски удивленно моргнули большие голубые глаза кожевника на отделившейся от туловища голове.

И смерть двух своих товарищей от руки лихого офицера, и кинувшихся на забор вслед за командиром с десяток смельчаков из охваченного паникой полка — все это Корнев увидел, покуда досылал застрявшую обойму в магазинную коробку трехлинейки.

Бросив бесполезную винтовку, партизан кинулся на офицера с такой силой, что вышиб его из седла. Падая на залитую кровью грядку моркови вместе с врагом, Гордей Корнев не разжал сомкнувшихся пальцев на горячей шее офицера, пока не смолкло прерывистое, сиплое хрипение.

— Ур-ра! — услышал он за спиной.

Ощетинившиеся штыками большевики не только отбили натиск всадников, но в азарте бросились через забор на казаков.

— К-куда? Куда вы? — крикнул им Корнев, но никто не слышал его слов.

В засаде на огороде он остался один. Умное животное, раздувая шелковистый розовый храп, обнюхивало мертвого хорунжего. Вместе с перчаткой Гордей Мироныч вырвал из крепко зажатой мертвой руки офицера шашку и, не дотрагиваясь до стремени, вскочил в седло.

Горсточку увлекшихся храбрецов, покинувших надежное укрытие и бросившихся с криком «ура!» на целый полк, стрелявших на бегу,— только их видел Корнев.

И безумная ли дерзость полуголых людей, гибель ли офицера, паника ли, охватившая всех, но только оправившиеся было после первого удара молодые казаки третьей и четвертой сотен круто осадили коней и, топча один другого, кинулись вспять.

— Ур-ра! — закричал Гордей, догоняя пригнувшихся всадников.

На мохноногом гнедом мерине тяжело скакал, все время поливая коня плетью, грузный старый офицер, в пылу бегства потерявший фуражку.

Гордей Мироныч чуть пошевелил повод, и послушная кобыла, заходя с правого бока, поднесла партизана к скачущему офицеру на короткий верный удар. Испуганно выкаченный глаз, желтую дряблую щеку, как в дыму, в облаке пыли увидел Гордей Корнев в момент взмаха, и кобыла уже вынесла его к группе всадников, скачущих разрозненно.

Трижды с правой стороны заходила послушная лошадь-птица, и трижды опускалась шашка — наотмашь, с оттяжкой, как удар лихого офицера.

Захлебистый лай пулемета из соседнего переулка остановил партизана.

Гордей Мироныч увидел из-за угла казаков-пулеметчиков, осадил лошадь и повернул к своим.

— Стойте, чертовы дети! — сжимая бока лошади, кричал он на всем скаку бегущим товарищам.— В засаду! В засаду!

Корнев завернул тяжело дышащих, разгоряченных боем людей в чей-то купеческий двор на углу крепостного переулка, с красным кирпичным домом в глубине. Витая железная решетка была укреплена на каменном цоколе. Тяжелые ворота закрыли на засов.

— Стрелять только по команде! И ежели кто за ре-

шетку выскочит!..— Гордей Мироныч окинул суровым взглядом уменьшившуюся горсточку своих людей и погрозил клинком сабли.— Держаться до невозможности... И ни один чтоб патрон даром не пропадал.

Гордей Мироныч вспомнил об оставшихся неиспользованных гранатах у морковной грядки на огороде.

— Джолдас! [1] — повернулся он к казаху со стянутым оспой страшным лицом и твердыми раскосыми глазами.— Ужом проползи, но гранаты доставь.

Казах положил винтовку к ногам Гордея Мироныча, вынул из кармана засаленных штанов две обоймы патронов и, быстро перебежав двор, скрылся за углом дома.

ГЛАВА XVII

В крепости оставались добровольцы, но их было больше, чем винтовок, и Варагушин в первую очередь стал готовить к переправе всех малоопытных в военном деле.

Алеша Белозеров уцепился за украинца Демченко и старался спрятаться от Варагушина: он боялся, что его отправят в группу первоочередных на переправу. Под взглядом командира руки и ноги его дрожали.

— Да не трусись, не трусись ты, Леша,— тихонько ободрял его друг по камере — Демченко.

Алеша расправил грудь, сурово сдвинул пушистые брови, стараясь казаться как можно воинственней. Варагушин направился к нему, но не успел он сказать и слова, как юноша сам подбежал к командиру:

— Можно мне остаться здесь? Можно?..— Губы Алеши дрогнули, а на глазах выступили предательские слезы.— Я стрелял в дни Октябрьской!.. Я...— торопился Алеша.— Товарищ Варагушин! Хоть без винтовки...— Алеша умоляюще посмотрел на Демченко.

Украинец подошел к Ефрему Гаврилычу.

— Оставь: наблюдателем, связным будет...

Варагушин махнул рукой. Лицо Алеши засияло; он не удержался, бросился на шею Демченко.

Окаемов увел колонну к переправе. Бойцы рассыпались в цепь, щелкая на бегу затворами.

Жаркая перестрелка, разгоревшаяся вскоре снова, пулеметные очереди и редкие разрывы гранат в глубине

[1] Джолдас — товарищ (*казах.*).

крепостного переулка приковали внимание бойцов за крепостным валом. От волнения Алеша выскреб ногами борозду на земляном валу.

Но вот огонь заметно стал ослабевать. Возбуждение сменилось напряженным ожиданием. Минуты текли медленно. Время, казалось, остановилось.

Алеша высунулся за бруствер по самые плечи.

— Подходят! Смотри! Вон, вон! Они...— Мальчик радостно повернулся к своим.

Но не успел он договорить, как из рощи застрочил пулемет. Зернистым крупным градом сыпанули пули, облачками вспыхнули по горбу крепостного вала, защелкали по крыше тюрьмы.

— Та сховайсь! Вот провалиться — сшибут!..

Демченко рванул мальчика за ногу. Алеша сполз и удивленно посмотрел на друга. Лицо «наблюдателя» пылало. Столько счастья, отваги, соединенной с детски восторженной наивностью, было в его длинных серых глазах, что украинец озлобленно сплюнул.

— Убьют за дурничку чертову дитыну!..

Но через минуту кудрявая голова Алеши Белозерова снова высунулась над бруствером. «Наблюдатель» подчеркнуто храбро держался под пулями, мысленно считая до пяти: «Четыре!.. Пять! Вот же, вот же вам!»

Алеше показалось, что остаться с добровольцами разрешили ему из милости, и он решил «доказать всем», кто он такой. Роль наблюдателя Алеша считал ответственной. И хотя большевики, лежавшие на валу, сами видели все, он то и дело высовывался и передавал:

— Слева в переулке кавалеристы спешиваются!.. Поползли!..

Осажденные берегли патроны, решив подпустить врага на верную дистанцию.

Было восемь часов вечера. Закатное косое солнце заливало крепость и ярко-зеленый луг перед нею с мелкой, выщипанной телятами и козами травой.

Свет бил в глаза. Алеша лег на бок, и ему стал виден изгиб Иртыша, весь в зыбких золотых пятнах. Дальше — контуры желанных гор в сиреневой дымке и над ними белые облака.

Большевики с минуты на минуту ждали извещения об окончании переправы.

Алеша подполз к Варагушину.

— Товарищ командир, разрешите разведать...

Но со стороны Иртыша загремела частая перестрелка. Головы всех невольно повернулись туда: от перевоза бежали люди. Они останавливались, падали и стреляли в сторону переправы.

— Обошли! — пролетело по цепи страшное в бою слово.

Коммунисты поняли, что и противоположный берег Иртыша тоже оцепили белые. Встав во весь рост на крепостном валу, Алеша закричал бегущим от переправы бойцам и женщинам:

— Сюда! Сюда, товарищи!

Ему обожгло кончик левого уха. Алеша упал и схватился за щеку.

— Та я ж казав ду...— упрекнул было его большой ласковый и ворчливый, как нянька, Кирилл Демченко, но захлебнулся на полуслове.

И когда мальчик округлившимися, изумленными глазами взглянул на товарища, по длинному телу Демченко пробегали судороги: пуля попала украинцу в переносье.

Не страх, а опьяняющий азарт и жажда мести за убитого товарища властно овладели всем существом Алеши. Трясущимися руками мальчик взял винтовку из мертвых, еще теплых пальцев друга, лег на бруствер и с упоением начал целиться в одного из ползущих по зеленой луговине казаков.

Варагушин и вернувшиеся от переправы о чем-то совещались, но Алеша уже не слышал, не замечал вокруг никого. Азарт его был настолько велик, ощущение силы и молодости так огромно, что ему казалось: он, Алексей Белозеров, с горсточкой храбрецов на валу, как древние греки, сомкнувшиеся фалангой, удержат какой угодно напор, а кинувшись в гущу врага, сомнут и опрокинут его.

Рядом с Алешей на бруствере лежали три матроса. Не чувствуя волнения прибежавших от реки товарищей, не замечая посеянной ими паники в рядах прикрытия, они, громко и страшно ругаясь, били на выбор перебегающих, ползущих по лугу белых...

Выделенные на переправу коммунисты решили прорваться из крепости бродом через реку Гульбу. И снова у крепостных ворот осталась только небольшая группа

бойцов. Колчаковцы под прикрытием пулеметов подползли еще ближе.

— Задержим до темноты! — сказал Варагушин и окинул всех строгим взглядом.

Большинство ушедших к Гульбе оставило подсумки с патронами. Алеше подкинули несколько обойм. Он быстро подвинул их к правому боку, благодарно взглянул на товарищей и снова открыл стрельбу. Древняя Греция, Фермопилы, Парижская коммуна — все это вихрем пронеслось в голове Алеши Белозерова, решившего умереть, но ни на шаг не отступить с земляного вала заброшенной уездной крепостцы.

И снова, уменьшившийся наполовину, вернулся отряд большевиков, встреченный заслоном белых и на броду у берега Гульбы. Осажденные заметались по двору крепости, пытались отыскать лазейку к спасительным просторам заречья.

Кольцо белых сжималось.

— Продержимся еще полчасика и в темноте ударим на правый фланг,— передал по цепи Ефрем Варагушин.

И вот тогда не слышавший и не видевший ничего, расстрелявший патроны Алеша Белозеров, в синих трусах и полосатой майке, вскочил на бруствер и, размахивая винтовкой, крикнул:

— Ура! Ура!..

Горсточка оборванных, наполовину безоружных людей поднялась и бросилась за ним на превосходящего во много раз по численности врага.

Пулемет широким стальным веером сметал большевиков. Люди спотыкались, падали. Некоторые поднимались и снова бежали, некоторые ползли с судорожно сжатыми винтовками.

Дрогнувшая было в первый момент цепь белых оправилась и с торжествующими криками стала смыкаться вокруг тающей на глазах группы большевиков.

Впереди других, с обнаженной шашкой, с широко раскрытым ртом, бежал густобородый, приземистый вахмистр Никита Солнцев. Он уже успел зарубить раненного в руку татарина Рамазана Алимова, бежавшего справа от Алеши Белозерова.

Ефрем Варагушин, расстрелявший все патроны, перехватил винтовку за ствол и, выдвинувшись в сторону вахмистра, приготовился к встрече. Солнцев тоже уви-

дел Варагушина. Не опуская занесенной над головой правой руки с шашкой, левой он расстегнул револьверную кобуру. Варагушин прыгнул к нему, но Солнцев, точно споткнувшись, упал лицом вниз, и шашка, гремя, отлетела к ногам Ефрема. Бежавший на Алешу молодой черноусый казак и рядом с ним двое казаков тоже упали. И тут только Варагушин увидел выскочившего из-за штабелей леса у берега Иртыша Гордея Корнева с десятком уцелевших бойцов.

— Ур-ра! Ур-ра! — радостно закричал Варагушин.

— Ур-ра! — подхватили все, кто только еще мог кричать.

Храбрость сильнее оружия, грознее численного превосходства. Сомкнувшуюся было цепь белых прорвали. Берег Иртыша был рядом. В поводу у одного из бойцов засады Варагушин увидел прекрасную белоногую лошадь. На нее двое большевиков безуспешно пытались посадить раненного в живот Михаила Окаемова.

— Товарищи, бросьте... Бросьте, прошу вас...— чуть слышно шептал он помертвелыми губами.

Красивое, гордое его лицо от потери крови и нестерпимой боли было неестественно бледно. Правой рукой Окаемов указывал на штабеля леса и что-то шептал. Левую прижимал к ране, и по ней, между пальцами, сочилась кровь.

— Бревна... плахи...— услышал склонившийся к нему Ефрем Гаврилович чуть внятный шепот Окаемова.

— Бросайтесь в воду! С плахами! С бревнами!..— закричал Варагушин скопившимся за штабелями леса товарищам.

Михаил Окаемов вскинул на Варагушина налитые страданием девически прекрасные свои глаза в густых черных ресницах, и радость мелькнула в них.

Варагушин с Гордеем Миронычем решили привязать Окаемова к седлу и вплавь перебивать быстрое течение реки. Но совсем было ослабевший Окаемов, собрав все свои силы, вырвался у них из рук.

Приседая и вновь поднимаясь, он пошел навстречу бегущим колчаковцам. В правой руке он держал поднятый с земли булыжник, левой по-прежнему крепко вжимал простреленный живот.

Вот Михаил повернулся к товарищам мертвенно-белым лицом и кивнул им головой в последний раз.

Вот он снова сделал шаг в сторону колчаковцев и присел на корточки от пронзившей все его существо неимоверной боли. Казаки уже окружили его со всех сторон. Уже бросились вязать его, стараясь захватить живым. Но Михаил Окаемов поднялся во весь рост и с непостижимой силой дважды взмахнул рукой и опустил тяжелый булыжник на обступивших его врагов. Два казака упали к его ногам. Сбоку, сзади, над головой Михаила Окаемова взвились сабли, приклады, и он медленно-медленно стал падать на вытянутые вперед руки, точно собираясь нырнуть в воду. А освирепевшие белогвардейцы все еще рубили шашками и кололи штыками уже мертвое красивое, сильное тело Окаемова.

Алеша Белозеров не умел плавать, но, прижатый к крутому берегу Иртыша, он вместе с товарищами кинулся в воду и схватился за брошенную кем-то доску.

Он помнил, как после залпа ему обожгло плечо, а двое товарищей оторвались от доски, и на месте их голов расплылись густые черно-багровые пятна по воде... Сцепившиеся вокруг доски руки Алеши так зашлись, что он с трудом разомкнул их, когда в непроницаемой темноте течением реки его выбросило на незнакомый берег.

ГЛАВА XVIII

Алеша лежал вниз лицом, вдыхая запах облитых росою трав.

И на берегу ему все еще казалось, что земля колышется под ним. Такое же ощущение он испытывал после первого продолжительного плавания на пароходе.

В лугах скрипели коростели, били перепела. Алеша повернулся на бок и от боли в плече вскрикнул. Рука от пальцев до ключицы распухла и одеревенела. Входное отверстие пули у венчика плеча чуть прощупывалось, но выходное было велико, из него сочилась кровь. Алеша с трудом снял мокрую майку и кое-как перевязал рану.

«Где я? Куда меня унесло?..»

Цепляясь за кочки, за траву, он пополз на крутой берег. Но, вспомнив о доске, вернулся и спустил ее на воду. Течение подхватило доску, повлекло ее в туманную зыбь. «Утром будут искать вдоль берега...» Алеша расправил прибрежную осоку.

Над лугами плавал туман. После тюрьмы запах скошенных трав бил в голову, как крепкое вино.

Алеша сделал несколько неуверенных шагов по лугу. Из-под ног с испуганным кряканьем сорвалась утка. Алеша похолодел. «С крыльями!.. Летает...» Ему тоже захотелось скорее уйти от берега, где его обязательно будут искать утром. Но туман был густ, а луг изрезан озерками, усыпан кочками. Полчища комаров набросились на него. Алеша решил укрыться где-нибудь до рассвета.

Вскоре он наткнулся на копны и забрался в одну из них. Теплое сено пахло чем-то мирным, знакомым с детства. На мгновение Алеше показалось нелепым сном, что его, безобидного, доброго, кто-то будет разыскивать, как хищного зверя. Но вчерашний день сделал его намного старше. Алеша осторожно высунул голову и посмотрел, не оставил ли следов, взбираясь на копну.

В тепле и покое он ощутил голод. Взял в рот былинку, пожевал и выплюнул. «Главное — не распускаться, держать тело в подчинении духу».

Алеша не помнил, откуда он взял эту фразу. Ему даже показалось, что она неожиданно пришла ему в голову, чтоб заглушить голод. Он задремал.

Утро объявили проснувшиеся птицы. Алеша открыл глаза. Ветерок колыхнул пелену тумана, и она, как сказочная молочная река, потекла вдоль луга. С удивлением горожанина Алеша наблюдал, как обнажалась от тумана луговина, оставляя на кошенине дымчатые капли росы, как выступали кустарники, темно-зеленая осока и луговые озерки. Точно невидимая рука медленно совлекала полог с большой, ярко выписанной картины.

«Пора!» Алеша хотел выпрыгнуть из копны и перебежать в дальние кусты, но на только что освободившейся от тумана дороге увидел фигуру всадника.

«Казак!»

Юноша затаился, точно застигнутый врасплох зверек. Конь всадника шел скорым «проездным» шагом, поматывая длинной сухой головой. Новое седло поскрипывало кожей. Сквозь просвет в копне Алеша не мог оторвать глаз от круглого лица кавалериста с длинной, благообразной бородой. Ничего страшного не было в лице человека, но зубы Алеши начали выбивать дробь.

Казак проехал мимо.

Алеша не мог понять, почему именно сзади всадник

выглядел еще страшнее. И даже больше: ему показалось, что, только рассмотрев спину кавалериста, он по-настоящему почувствовал страшную тупую силу в покатых его плечах, в длинных узловатых руках.

Сердце Алеши не переставало учащенно биться, хотя белогвардеец отъехал уже порядочно. Алеша почему-то ждал, что вот сейчас всадник, остановив коня, повернет и обязательно подъедет к копнам.

И действительно, кавалерист повернул лошадь и, подъехав к копнам, спрыгнул на землю. Закинув поводья на луку седла, казак вынул из ножен шашку и воткнул в копну.

Голубоватый клинок вошел в сено по самую рукоятку. Потом кавалерист направился к следующей копне и тоже проткнул ее клинком.

Алеша не мог оторвать глаз от кавалериста. Белогвардеец переходил от копны к копне. Струйки пота сбегали по спине Алеши, волосы шевелились на голове.

Копен на лужке было много, и кавалерист решил прощупывать только более крупные. Это Алеша предугадал необыкновенно обостренным чувством и твердо был убежден, что, пропустив справа небольшую копну, казак направится к нему.

Так и случилось.

Алеша сжался в комок, решив прыгнуть на кавалериста сверху, как только он подойдет ближе.

Но казак остановился и повернулся к реке. Потом он быстрыми, крадущимися прыжками побежал к лошади. И только тогда Алеша услышал крик, а через минуту выстрел и вслед за ним еще два выстрела.

Кавалерист вскочил в седло и помчался по лугу. Топот лошади смолк. Алеша услышал еще выстрел и понял, что кто-то из товарищей, как и в реке, своей гибелью спас его. В копне ему стало душно. Сухое сено прильнуло к потной спине, набилось в волосы, в уши, щекотало в носу. Алеша выставил голову и облегченно вздохнул.

Солнце выкатилось из-за синего хребта далеких гор. Роса из дымчато-серебряной стала огнисто-золотой.

Как хорошо!..

Алеша блаженно закрыл глаза. Но и с закрытыми глазами он отчетливо видел и траву в росе, и солнце, и ультрамариновые на горизонте горы.

Он решил просидеть в копне до темноты.

Вскоре на лугу появились женщина и мальчик-подросток. У копен они выпрягли лошадь. Женщина была одета в холщовые мужские штаны и, как молодуха, повязана белым платком. Мальчик прикрутил к гужу хомута толстую длинную веревку и поехал к копнам, где скрывался Алеша. Обвязав копну веревкой, мальчик повел лошадь под уздцы. Копна медленно поплыла по кошенине, оставляя темный след и тугие жгуты сена из нижнего пласта.

Копновоз остановил коня рядом с женщиной.

Вслед за первой он подхватил еще копну и поставил ее там же. Алеша думал, что теперь они будут складывать сено на телегу, но мальчик снова вскочил на лошадь и рысью погнал к копне, в которой затаился беглец. Алеша похолодел: «Значит, он и меня потянет!..»

А копновоз уже соскочил с лошади, быстро и ловко заправил веревку и тронул коня. Лошадь напружинила крестец, и Алеша вместе с копной поплыл к стогу.

«Спрыгнуть и бежать!.. Спрыгнуть?..» Но все медлил.

Мальчик уже подводил лошадь к стогу. Алеша, взметнув верхний пласт сена, спрыгнул на землю.

Застигнутая врасплох, испуганная лошадь ткнулась на передок и уронила мальчика. Женщина пронзительно вскрикнула.

Алеша, не чуя земли под ногами, мчался к зарослям кустарников. Как перебежал колкую кошенину, как выбрался из топкого озера, в которое вскочил, стремительно несясь по лугу? Ничего, кроме спасительной заросли кустарников, не видел Алеша.

Ветер бил в лицо; казалось, что он распирает, жжет легкие и грудь. До кустарников не менее километра, а они были уже рядом. Еще десяток прыжков — и он спасен. Но сердце готово лопнуть, ноги путаются в густых травах. Сделав последние два прыжка, Алеша повалился в кустарник и пополз через тальник, сквозь шиповник, обдирая колени, лицо, руки. Заросли хмеля остановили Алешу. Он упал навзничь и прислушался: не скачет ли по лугу погоня, не раздается ли дозорный свист? Но все было тихо, жарко млеющие кустарники недвижимы.

Алеша отдышался.

«Кулачка или батрачка у копен?.. Может, проработают до вечера?.. А может, уже послала за казаками в станицу?.. Дотянуть бы до темноты...»

Но жаркий день был бесконечен. Прямые огненные лучи солнца раскалили листву кустарников, и Алеша обливался потом. Голова кружилась от запаха хмеля. Чувство опасности и усталости на время убило все другие чувства, но лишь только успокоился Алеша, как голод вновь стал мучить его.

«Только бы добраться до гор...» — пытался отвлечься от мыслей о еде Алеша.

Багровое сквозь дым, как кровавое око, солнце наконец медленно опустилось.

«Минут через десять пойду....

Но двинулся Алеша много позже. Уже выбираясь из кустарников на кромку луга, понял, что босому ночью без дороги идти невозможно.

Исколотые подошвы при каждом движении причиняли нестерпимую боль. Удерживаясь от вскриков, он с трудом пробирался по кочкарникам.

«Город на юг, горы на восток — буду держаться на юго-восток».

Казак на север держит путь.
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе...—

попробовал подбодрить себя стихами Алеша, но наколол подошву о корень, от боли присел и страдальчески улыбнулся: «Хорошо было казаку держать путь на лошади».

...Шел мучительно долго. Первому камню обрадовался, как другу.

«Значит, горы близко...»

Поднявшись на холм, увидел огни города. Широкой подковой они растекались по равнине между двух рек.

Крепость, тюрьма, бой, гибель товарищей...

«Где-то, где-то уцелевшие мои друзья?» — вздохнул Алеша, повернул на юг и пошел прочь от страшных огней.

Боль в распухших подошвах была уже настолько острой, что с занесенной ногой Алеша стоял в нерешительности, прежде чем поставить ступню в предательскую траву: колючки мерещились ему всюду.

А горы были уже близко. Огромный массив их вырисовывался в сумраке.

...Восток уже зарозовел, когда Алеша добрался до первого ущелья и повалился у родника.

«Теперь спать, спать...»

ГЛАВА XIX

Алешу разбудил протяжный вой. Он сел и испуганно огляделся. «Сколько времени я проспал?..» Алеша помнил, что, когда дотащился до ущелья, начиналось утро. А теперь на востоке снова разливалась заря.

Вой повторился. Он несся с долины. И тотчас же совсем близко, в ущелье, завыло, завизжало, залаяло...

«Волки!» — Алеша вскочил и прижался к утесу.

Ущелье раскалывалось от множества голосов. В щенячий визг прибылых вплетались баритональные басы переярков. Горное эхо дробило, усиливало, повторяло страшные голоса.

Алеша невольно стал отступать по чуть заметной тропке.

Но вдруг в разноголосый вой волчьего выводка ворвались новые пронзительные звуки, надвигавшиеся из долины.

Беспомощно озираясь, Алеша остановился. Пронзительный визг был совсем рядом.

И вот в седоватом свете раннего утра на узенькой звериной тропке, по которой отступал Алеша, показалась длинная бело-розовая свинья, а по бокам, вцепившись в лопушистые ее уши, размашистым наметом скакали конвоирующие свинью два дымчато-серых волка.

Алеша Белозеров стремительно шарахнулся с тропинки, когда удивительная тройка пронеслась мимо.

Несмотря на страх, охвативший Алешу, он видел, как волки ударами тяжелых хвостов били пленницу по бокам, отчего она неслась еще быстрее и еще пронзительней визжала.

Опомнился Алеша далеко от страшного ущелья, на гребне хребта. Внизу, освещенная молодыми лучами солнца, сверкала речонка в небольшой долинке. Маленькая сказочная избушка «на курьих ножках» спряталась в березовой роще.

Алеша затаился в камнях. Ему очень хотелось спуститься к жилью человека и попросить хлеба. Большой вкусный кусок черного хлеба! И картошки, сваренной прямо в «мундире». Горячая тонкая шкурка прилипает к пальцам. Посыпанная крупной солью, она аппетитно хрустит на зубах, обдает нёбо ароматным, живительным теплом.

Снизу, от жилья, долетали удивительные звуки. Сначала Алеша подумал, что свистит перепел, но неожиданно перепел залился щеглом, малиновкой. А потом в этих звуках он уловил мелодию старинной песни.

Алеша понял, что это кто-то играет на незнакомом инструменте, и стал сползать с горы.

Теперь хорошо были видны ульи на зеленом лужке, белые конские черепа на шестах, омшаник, вырытый в земле.

«Пасека!»

Невидимый музыкант кончил. Алеша услышал в долине и подлинного щегленка, и свист перепела, и еще множество птичьих голосов.

Из-под навесика крошечной избушки вышел величественный седой человек.

Это был не старичок, не старик, как в первую же минуту отметил Алеша, а именно «седой человек». Выше среднего роста, прямой, широкогрудый и осанистый.

Пышная шапка волос на голове и длинная борода человека были настолько белы, что издали можно было подумать, будто он по пояс в мыльной пене.

Долгим взглядом пасечник окинул горы, посмотрел на небо и пошел к ульям. И только в походке человека, тяжелой, осторожной и медлительной, Алеша почувствовал старость.

Пасечник подошел к ближнему улью. Опустившись на колени, он приник к стенке улья ухом. Послушав, медленно, опираясь о землю рукой, встал и выпрямился.

Волосы на голове и борода, попав в полосу солнечных лучей, ожили, загорелись серебристо-искристым светом. «Величественная старость-то какая!» — вспомнил Алеша толстовское определение старости.

Он глядел на спокойное лицо благообразного человека, вспоминая изумительную его игру, и тревоги юноши таяли. Экспансивный и восторженный от природы, Але-

ша уже любил пасечника, бездумно и бестрепетно вверял ему свою жизнь.

А старик все ходил и ходил по рядам ульев. Одет он был в просторные черные штаны, заправленные в голенища сапог, и коричневую рубаху, подпоясанную кожаным поясом.

Пасечник вернулся к избушке, вооружился луком, какие Алеша видел в музее, и скрылся в кустарниках.

Вскоре Алеша услышал судорожное хлопанье крыльев. Затаив дыхание, он ждал появления старика на полянке, но вышел пасечник бесшумно почти рядом с камнями, за которыми лежал Алеша.

От изумления Алеша чуть не вскрикнул. Вблизи человек, с луком в одной руке и с убитой тетеркой в другой, показался ему еще необычайнее. До пояса мокрый от росы, с лицом детски розовым, с глазами по-детски светлыми и голубыми, как две капли воды из горного источника, он напомнил Алеше сказочного лесного старца. В волосах старика запутались веточки черемухи. Убитую тетерку древний охотник держал за лапки, вниз головой, и у нее из короткого толстого клювика падали рубиновые капли. Голова птицы беспомощно болталась на длинной мягкой шее. Через редкое летнее перо сквозило бледно-кремовое мясо.

Алеша смотрел на мясо: «Сейчас он будет варить птицу и есть. И тогда я выйду к нему. Он посадит меня... подвинет миску...» На глазах Алеши выступили слезы, но он не заметил их.

«Господи, какой дед! Какой дед!» — восторженно шептал Алеша.

«Лесной старец» подошел к сказочной своей избушке, бросил на траву птицу, повесил лук и призывно закричал:

— Манька! Мань-ка! — Голос его был густой, приятный.

На соседнем увале заблеяла коза. Алеша услышал цоканье копытец по камням.

Пушистая, белая, как голова старика, коза перепрыгнула через речку и остановилась у ног пасечника, подрагивая коротеньким хвостиком. Старик присел на корточки и стал доить Маньку. Струйки молока зазвенели по стенкам котелка. Пасечник доил козу и разговаривал с нею:

— Напаслась, налила вымечко... Стой, стой, глупая.
«Да это Робинзон какой-то!..»

Необыкновенная игра на таинственном инструменте, доисторический лук, голубые и ясные глаза старика, спокойный и величественный его облик — все покорило Алешу. Он уже не мог больше сдерживаться и поднялся из-за камней.

Но при первой же попытке шагнуть громко вскрикнул от боли.

Старик перестал доить козу и прислушался. Коза тоже повернула маленькую бородатую голову. Алеша выдвинулся из-за камней. Пасечник увидел его и поднялся. Алеша полз к нему, протягивая здоровую руку, улыбаясь и шепча:

— Дедушка! Милый дедушка!..

ГЛАВА XX

Алеша пил молоко прямо из котелка. Теплое, сладковатое, оно пахло козой, травами, милыми, добрыми руками деда... Алеша мог бы выпить его, кажется, сколько угодно. С каждым глотком он чувствовал, как в него вливается сила и бодрость. Алеша все запрокидывал и запрокидывал котелок, хотя на дне его остался только влажный дымчато-голубоватый налет.

Пасечник Поликарп Поликарпович Басаргин смотрел на голое худое тело гостя, на раненую руку, на поцарапанные в кровь икры и колени.

Алеша протянул деду пустой котелок, схватил руку старика и порывисто прижал ее к своему лицу. Крупная темноволосая голова его, острые плечи судорожно затряслись. Рука пасечника была большой и когда-то очень сильной. Сквозь тонкую светлую кожу на тыльной стороне ладони просвечивали вздувшиеся синеватые вены. Но Алеша не видел ни тонкой светлой кожи, ни расширенных старческих вен.

Он только чувствовал добрую руку у горячей своей щеки, хотел как-то выразить то невыразимое, чем полно было благодарное, порывистое его сердце к этому солнечному деду.

Когда еще полз Алеша, он ясно увидел, как в голубых светлых глазах деда отразился вначале испуг,

растерянность и еще какое-то непонятное Алеше чувство. А потом радость.

И эту лучащуюся радость, только радость он и сохранил в своей душе.

Пасечник тихонько освободил руку и молча отошел к избушке.

— Ну, вот что, парень мой,— после продолжительного молчания сказал он,— я буду тебя кормить...— Белые брови его были сдвинуты, лицо сосредоточенно.— И лечить буду. Вижу я, что ты совсем сел, прямо надо сказать, на бабки. Ну, а человеку без ног грош цена. Потому что ежели мокрец у лошади укоренится — труба коню. Это уж поверь мне, парень мой... Около лошади я зубы съел. Бывало, чем только не пользуешь такого коня, какой только дряни не прикладываешь, а как в строй — вот тебе и заприпадал твой конь то на левую, то на правую, а то и на все четыре...

С первых же минут Алеша заметил, что Поликарп Поликарпович любит поговорить.

И эту особенность «лесного старца», как и его пристрастие к словам «парень мой», Алеша полюбил так же юношески бездумно, сразу, как полюбил его белые волосы, голубые ясные глаза и детски розовое лицо, точно у елочного деда-мороза.

— А теперь пока суд да дело, пока ноги твои станут в строй, я тебе костыль вырублю. Ковыляй пока что на трех, парень мой...

Хотелось броситься на шею доброму деду, но Алеша только смотрел на него и улыбался без меры счастливыми, восторженными глазами...

— Рассказывай, парень мой...

Алеша и Поликарп Поликарпович лежали в избушке на нарах. На дворе была теплая, тихая ночь. В открытую дверь было видно небо, усыпанное звездами, слышались всплески волн в речонке. Посвистывали таинственные ночные птицы.

Днем пасечник промыл Алеше рану, приложил листики подорожника и туго перевязал чистым холщовым полотенцем. Из загноившихся подошв Алеши иглой извлек занозы, положил какой-то пахучей травы на тряпицы и подвязал под ступни.

В обед сварили тетерева. Алеша с жадностью набросился на мясо и хлеб. Перепугавшийся Поликарп Поли-

карпович с трудом вырвал у него огромный кусок хлеба и половину тетерева.

— Умрешь, что я буду делать?.. Что буду делать?..— бессвязно твердил старик.

При этом он так был взволнован, так растерянно топтался вокруг Алеши, что юношу до слез растрогала забота доброго пасечника. И хотя ему очень хотелось есть, он отодвинул на середину стола кусок хлеба, стараясь не смотреть на него.

Вечером пили козье молоко, закусывая ароматным черным хлебом, и чай с янтарной осотиной меда. Потом дед играл на изумительной своей жалейке, а Алеша лежал у его ног и смотрел пасечнику в лицо.

За день Алеша хорошо рассмотрел Поликарпа Поликарповича Басаргина. И вблизи он казался таким же величественным и, несмотря на свои восемьдесят два года, прямым и осанистым. Правда, высокая когда-то грудь его провалилась, правда, голубые глаза слезились немного, а в ушах и в носу рос кустистый желтоватый волос, но зрение и слух его были лучше, чем у Алеши, зубы целы все и никогда не болели. Память свежа настолько, что он помнил фамилии генералов, номера полков, имена и отчества сослуживцев, названия городов и местечек, где побывал за долгие свои походы.

— Рассказывай, парень мой...

Алеше и самому неудержимо хотелось рассказать деду все, что случилось с ним, поделиться планами об уходе в горы. Весь день он ждал вопроса пасечника. Несколько раз порывался заговорить, но не решался, а болтливый дед рассказывал все больше сам.

«Какой он деликатный и тонкий! Для него я человек, попавший в беду. И ему нет дела, уголовник ли я или опасный политический преступник». Алеше нравилось сознавать себя «опасным политическим преступником»...

— Я ничего-ничего не утаю от вас, Поликарп Поликарпович. Я расскажу вам все, как отцу родному...— Алеша перевел дух.

Сказал он все это порывисто и горячо, но ему показалось такое начало недостаточным.

— Если бы враги начали меня четвертовать или поджаривать на медленном огне, то и тогда никому, кроме вас, Поликарп Поликарпович, не рассказал бы я всего...—

Только после такого вступления Алеша приступил к рассказу.

— Собственно, партийного билета я не имею, но я абсолютный большевик в душе. И мой отец — московский врач Николай Николаевич Белозеров тоже сочувствует партии большевиков.

В охватившем Алешу волнении, он сел на нарах и подвинулся к деду.

Пасечник завозился на постели и из темноты спросил:

— А ты расскажи, парень мой, как из престольного города Москвы в наш город попал. Почему ко мне явился голый и откуда у тебя огнестрельная рана в плече?..

— На Алтай, в ваш город, приехал я год тому назад с этнографической экспедицией. К экспедиции присоединился на правах участника-любителя, по просьбе друга отца, профессора Почесова. В экспедиции ученые старички — беспартийщина. Добрались мы с грехом пополам до вашего города. В трех километрах от пристани пароход четверо суток на мели просидел. Остановились в номерах. Дело было ночью, поужинали кое-как остатками. А утром мои голодные профессора пристали с ножом к горлу: «Идите, Алексей Николаевич! Вы у нас самый молодой, к тому же горячий сторонник Советской власти,— и с эдакой издевкой: — идите разговаривайте с уездными продкомиссарами». А нужны были нам печеный хлеб, крупа, масло, сыр-брынза, ну и копчености там, сушености разные...

Не мог я отбиться — пошел. Иду. Улиц не знаю, у встречных спрашиваю: «Товарищи, где здесь уездный комитет партии большевиков?» Вначале я решил в уком зайти с просьбой оказать содействие научной экспедиции.

Смотрят на меня люди, точно глухонемые, молчат, идут дальше. Я к другим. Один только вместо ответа меня спросил: «Да вы что, с луны свалились?..»

Обиделся я и пошел к центру. Думаю: «А ну вас, не в лесу я, и сам найду кого нужно». Вышел на базарную площадь, а по ней вооруженные всадники разъезжают. Но я и на это внимания не обратил — уж больно меня мои профессора разозлили. В Петрограде, в Москве рабочие на голодном пайке сидят, а им сыр-брынзу,— будь он проклят, этот сыр-брынза! — и чуть ли что не птичьего молока...

Вижу, едет по улице красногвардеец. Я к нему. «Уж

этот,— думаю,— скажет». У нас в Москве красногвардейцы самый милый и обязательный народ. «Товарищ красногвардеец!» — кричу я. А он оглянулся на меня, и глаза у него словно дымом подернулись. «Волк,— говорит,— тебе товарищ в темном лесу». И погрозил плетью. «Что за народ,— думаю,— словно бы и не в Стране Советов я...» Дальше иду. На перекрестке встретились два толстых субъекта. По виду лабазники. Сняли фуражки и ну целоваться. «Христос воскрес!», «Воистину воскрес!..» А пасха давно прошла. Удивился я и пошел дальше. Смотрю, у пожарного депо кавалеристы конвоируют безоружных людей и открыто порют их нагайками. Среди несчастных женщина-еврейка; а с ней мальчик, кудрявый, черноволосый, лет двенадцати. Мать закрывает его телом своим от ударов всадника. Кавалерист огромный, толсторожий, со шрамом через левую щеку... А глаза у женщины большие и страшные...

Голос Алеши зазвенел. Поликарп Поликарпович поднялся на нарах.

— А конь под казаком не рыжей ли масти и не с лысиной ли во лбу был? — вдруг спросил он Алешу.

— Правильно! Рыжий и с белой отметиной на голове...

Алеша был так взволнован рассказом, что не заметил, как дед Басаргин нервно поглаживал серебряную бороду и как-то глуховато покашливал.

— И каждый раз, как налетал на женщину толсторожий негодяй, арестованные мужчины вталкивали ее в середину, а бородатый палач, размахивая нагайкой, пробивался и начинал сечь еврейского мальчика. «Товарищи! Что вы делаете?» — не помня себя, закричал я и бросился к бандиту. «А кто ты такой будешь, гражданин?» А на мне туристская клетчатая фланелевка, белая фетровая шляпа, через плечо фотографический аппарат. Выдернул я из кармана, показываю ему удостоверение личности: «Алексей Белозеров (беспартийный) командируется Наркомпросом РСФСР» и т. д.

Мыкал он, мыкал, вернул мне удостоверение, засмеялся и говорит: «Не велика же ты птица, не в свои дела вмешиваешься». Вскипел я: «Вы не смотрите, товарищ красногвардеец, что в документе написано «беспартийный»,— как всякий коммунист, как всякий гражданин Советской республики, я категорически про...» Он не дал

мне договорить... От первого удара у меня слетела шляпа. Схватился я за лицо и потом не помню, что они делали со мной. Очнулся я в тюремной камере, избитый, раздетый до трусов и майки. Только в тюрьме я узнал, что в ночь нашего приезда в городе произошел колчаковский переворот. А дальше — порки, издевательства, расстрелы, наконец, восстание, бой и бегство...

Поликарп Поликарпович зевнул:

— Поздно, пожалуй. Мне уж скоро Маньку доить. Давай-ка отдыхай, парень мой.

Дед повозился на постели и вскоре заснул.

Возбужденный собственным рассказом, Алеша лежал с открытыми глазами. Какой-то осадок горечи, неосознанная, неясная еще тревога поселилась в его душе. Алеша не смог бы объяснить себе почему... Заснул он не сразу.

ГЛАВА XXI

На солнцевосходе проснулся и Алеша. Плечо, ноги, как показалось ему, болели еще больше. Чувство тревоги, с которой заснул он, не прошло за ночь.

Алеша с трудом сполз с нар и выбрался на крыльцо.

Пасечник молился в нескольких шагах от него. Вдохновенный молитвенный экстаз деда показался ему прекрасным. Он следил, как шевелятся его губы, как взметывается рука, сложенная в щепоть. Сам Алеша не верил в бога, но непосредственная, слепая вера других трогала его недоступной ему, какой-то поэтической сущностью. Чувство горечи, тревога бесследно испарились из романтически восторженной души его.

Но молитва пасечника и созерцательное настроение Алеши были прерваны волчьим воем. При первых звуках знакомой ему песни у Алеши мурашки пробежали по телу. Как и в предыдущую ночь, на вой матерого разноголосо отозвалось гнездо в соседнем ущелье.

Поликарп Поликарпович встал с колен, увидел Алешу и радостно улыбнулся.

— Проснулся, парень мой!..— Поликарп Поликарпович подошел, похлопал Алешу по плечу.— Никак мои волчишки разбудили тебя? — спросил он Алешу.

— Как ваши? — удивился Алеша.

— Мои! — серьезно повторил пасечник.— Мои волки!

Потому, что сумежное с долинкой ущелье — мое надельное. А в нем аккуратно через год, много через два, волчица мечет волчат. А как только глазенки пролупятся у них, я — в ущелье. Нож за голяшку, винтовку за плечи — и к гнезду. Мечет же она из разу в раз в одном месте. И тут главное — волчицу из гнезда выжить. Бывает, и не застанешь ее — шляется. А ежели в гнезде — стрел дашь или огня подложишь, она и высигнет. И вот начнет крутиться поблизости. Иной раз напуск на тебя сделает. Ну, тут, конечно, еще раз стрелишь. И снова она отскочит. Тогда уж иди смело — и крючком: багорчик у меня такой есть. Да вон он стоит,— дед указал на заржавленный крючок, насаженный на тонкую пихтину.— Зачепишь какого и выудишь... А уж щенок об эту пору визг откроет — уши вянут... Волчица же на месте стоять не может — мечется, а ты на нее винтовкой нацелишься... Видит она, что ни с какого боку тебя не взять, выскочит на взлобок, поднимет морду в небо и вот-то завоет... Дура она, не знает, что не отбирать их и не убивать пришел я, а только на задних лапках сухие жилки подрежешь им и снова в логово поотпускаешь. Ну, управишься, руки об траву оботрешь, перекрестишь свое хозяйство — и домой. И уж о волках до самых снежков никакой тебе больше заботушки. Она их с материком [1] выкормит. А главное — в толк возьми, что никогда они твою скотинку не тронут, потому ты их сосед и тебя им обижать не с руки. А промышляют они верст за пять, а то и за десять от своего гнезда. Зверь — зверь, а шалобаном [2] соображает: зарежь-ка, скажем, он у меня Маньку — да я его со всем гнездом... Вот он и норовит подальше на стороне разбойничать.

Алеше хотелось сообщить пасечнику о встрече с волками, но, увлекшись, дед продолжал рассказ:

— По первозимку волчата станут с добрую собаку, и шкуры у них выкунеют — сизые с искрой, тогда идешь снимать урожай. Тут даже и пуль не расходуешь, возьмешь только батожок поувесистей и отправишься. А у них и разгулка-то всего, что свое ущелье. Куда он побежит с подрезанными-то жилами? Кружится раскорячкой на ста саженях, задние ноги у него срастутся крючком. Од-

[1] Материк — волк-самец.
[2] Шалобан — голова.

ним словом, плохая их тут положенья. Все равно что твое дело с израненными ногами.

Поликарп Поликарпович взглянул на Алешу и засмеялся:

— Пешком его в любой момент настигнешь... Смехота... Ускребается он от тебя на култышках по снегу, а ты идешь к нему, и вот он подожмется весь таким манером.— Дед Басаргин втянул голову в плечи и пригнулся.— Хвостишка, как у побитой собаки, меж ног, а сам норовит в куст забиться. Зубы ощерит, щелкает и прожигает тебя глазами наскрозь... А глаза у него в ту пору зеленые, доспеются, как у змеи. Ударишь его раз-другой по пятачку — из ноздрей юшка потечет, распустится весь, обмякнет — и готов. На полусотку с гнезда вытягивают. А полусотка, сам знаешь, что значит в нашем хозяйстве... Вот и теперь растят шкуры мои волки, а к осени, бог поможет, сыну в хозяйство и разоставок. Самому мне больше, чем гривенник богу на свечку, не требуется. Ну, а сыну — помощь. У него семья. Одних внуков у меня шестеро... Вот я и промышляю для них чем бог пошлет... А так, чтоб самому — боже упаси! Только и нужно мне грешное тело прикрыть да угодникам на свечки...

Алеша рассказал деду, как он попал к логову и как два серых матерых волка «вели» в ущелье огромную свинью.

Дед схватился за живот и присел, трясясь от смеха.

— Да это... это га-а-а... Это га-а...— бессвязно выкрикивал пасечник; из голубых его глаз покатились слезинки.

Алеша долго не мог понять смысла его слов.

— Ганькину они, пасечника из Аблакетской речки, свинью утарабанили,— объяснил он, утерев слезы.— Вот-то почертыхается, старый пес. Вот побегает, почушкает свою Ховрю,— и дед снова захохотал весело и беспечно.

И во время рассказа о волчатах, и теперь, когда дед смеялся над бедой соседа, Алеша думал, как рядом с добротой и кротостью в старике уживается жестокость. Но чувство любви и восторженной признательности к деду тотчас же нашло оправдание его поступкам:

«Он как природа — прост и мудр. Велик и жесток. Попробуй сердиться на гром, убивающий путника в грозу».

Алеша вспомнил рассказ деда о семье, о внуках, для которых он живет и бескорыстно работает.

«Да это же король Лир!..»

Дед осматривал ульи, доил козу Маньку, а Алеша лежал на полянке и, подставив ноги солнцу, смотрел на неторопливые движения пасечника.

— Ну, парень мой, и проголодаться пора. Я ухой тебя свеженькой угощу. У меня рядом в омуте четыре харюза добреющих кормятся...

Старик взял удочку и пошел к речке. Вскоре он пришел к Алеше с двумя крупными крапчатыми рыбами.

— Уж и уха же будет, парень мой!

— Смотрю я на вас, Поликарп Поликарпович, вы кудесник. Вы прямо лесной кудесник. И птицы, и рыбы, и пчелы, и волки — все вам подвластны...

Алеша прожил на пасеке семь дней. Рану на плече затянуло. Ссадины и проколы тоже подживали. На месте отваливающихся струпьев белела новая кожа. Алеша посмотрел на свои ноги и закричал:

— Дед! Смотрите! Смотрите! Через день я плясать смогу.

Алеша повеселел, пробовал играть на пасечниковой жалейке.

Все чаще он заговаривал с Поликарпом Поликарповичем об уходе в глубь гор. И каждый раз Алеша замечал, что красивое лицо деда хмурилось, а голубые глаза становились беспокойными, скорбными.

«Как он привязался ко мне!»

И Алеша, щадя пасечника, старался реже напоминать о минуте разлуки, продолжал ходить с костылем, хотя потребности в нем и не было.

В последние дни дед окончательно утратил спокойствие: потерял аппетит, тяжело вздыхал, не брался за жалейку, часто и подолгу смотрел в сторону города.

«Ну и где пропал? Где пропал человек?..»

От сына пасечник слыхал о восстании в тюрьме, знал, что разыскивают убежавших большевиков. Старик ждал его на пасеку с запасом печеного хлеба. От сына же узнал пасечник о денежных наградах, об обещанных производствах за поимку большевиков. Поликарпа Поликарповича, бывшего вахмистра и георгиевского кавалера всех степеней, огорчало, что сын его за всю свою службу, несмотря на усердие, оставался строевым казаком.

Вот почему с первого же дня появления беглеца на пасеке Поликарп Поликарпович Басаргин твердо решил,

что поимку большевика объявит по начальству сын: «И деньги, и производство!..»

И вдруг — сын словно пропал, а беглец засматривается на горы и только и думает об уходе.

«Да ведь как обводит, как подъезжает! Любящим, чуть ли не сыном родным прикинулся. Посмотрим, кто кого перехитрит...»

Вечером долго засиделись у костра. Алеша был особенно оживлен: первый раз сегодня без боли он поднял раненую руку в уровень с плечом.

В печальных глазах деда Алеша видел тоску близкой разлуки. Мальчику хотелось сгладить печаль старика, рассеять его мрачные мысли, и он стал рассказывать о Москве, о своем отце, о сборах в экспедицию.

Дед тяжко вздохнул и с неподдельной тоской сказал:

— Известно, хоть до кого доведись. Каждому родителю лестно своего дитенка в люди вывести. На то мы и отцы.

Алешу растрогала глубина и искренность сочувствия деда. Он нервно разгребал веточкой угольки в костре. Вспыхнувший синеватым пламенем костер осветил хмурое лицо деда.

— Вы понимаете, Поликарп Поликарпович, мне трудно выразить вам...— Алеша замялся. Молодое его лицо приняло серьезный, сосредоточенный вид.— После того как я вырвался из пасти смерти, мир мне кажется совершенно новым. Вот смотрю на этот догорающий костер и ликую. Слушаю, как плещет речонка, и в шуме ее мне чудятся симфонии. Эти горы, ваша избушка, где я провел счастливейшие в моей жизни дни,— все воспринимаю по-новому.

Пасечник перебил Алешу:

— Так неужто, парень мой, ты завтра в ночь уходишь от меня?

И в вопросе и в глазах старика Алеша почувствовал такое неподдельное страдание, что не решился подтвердить свое решение.

— Да нет же, успокойтесь, Поликарп Поликарпович! Куда мне спешить? Поживу, пока не надоем вам.

Пасечник повеселел:

— Ну, парень мой, спать! Спать со Христом, а утро вечера мудренее...

ГЛАВА XXII

На следующий день Алеше еще более бросилось в глаза беспокойство деда. Пасечник не мог даже молиться; он поднялся на гору и долго сидел, оцепенело уставившись в пространство.

Алеша разложил костер под треногой, вскипятил чайник, сварил картофель, а дед все не возвращался.

За завтраком пасечник не притронулся к картофелю.

— Поясница расклеилась, в ногах мозжание открылось — свет не мил,— объяснил он Алеше отсутствие аппетита.

За обедом дед тоже ничего не ел, тяжело вздыхал, был молчалив, рассеян.

«Как все-таки эгоистичен человек! Явился неизвестно откуда, заставил полюбить себя — и до свиданья... оставайся старик с пчелами и козой...» Алеша вспомнил отца своего в последние дни сборов. Он также прикинулся больным и в день отъезда не пошел на работу. Чаще обычного отец заходил к нему в комнату и под всякими предлогами засиживался у него.

Алеша взглянул на пасечника:

— Поликарп Поликарпович! Я все вижу и чувствую...

Дед вздрогнул и поднял на Алешу испуганные глаза.

— Поверьте, если бы мог я прожить у вас до осени, с радостью прожил бы... Но, сами понимаете, пасека близко от города, заглянет посторонний — и я пропал. Вот почему я твердо решил сегодня ночью уйти.

Лицо деда покрылось мертвенной бледностью, губы так затряслись, что Алеша раскаялся в своей безжалостной прямоте.

— Нет, парень мой, как хочешь, а сегодня я тебя не отпущу. Знаешь, какой сегодня день?

Алеша удивленно взглянул на деда.

— Сегодня праздник батюшки Ильи-пророка. И никакие самомалеющие дела сегодня не затевают. В этот день добрый хозяин коня не заседлает. А ты вздумал в опасный такой поход... Не пущу! До завтрашнего вечера не пущу, так и знай!..

Алеша согласился. Пасечник повеселел. Вечером дед сварил пшенную кашу на козьем молоке. Тотчас после ужина он заторопил Алешу:

— Спать! Спать, парень мой! А то мы с тобой весь клев наутро провороним.

Алеша покорно пошел за дедом в избушку. Лежали молча. Скоро он услышал храп Басаргина.

«Неужто уснул?»

— Поликарп Поликарпович! — негромко окликнул деда Алеша, но старик не отозвался.

«Переволновался, устал старик... Пусть спит. Усну и я последнюю ночку на этих нарах».

Однако сна не было: Алеша старался представить далекий путь в неведомые горы, в глухую алтайскую тайгу, встречи с опасными зверями и с еще более опасными людьми.

«Жизнь — борьба! И чем серьезнее, опаснее борьба, тем острее, ярче ощущение жизни»,— философствовал Алеша.

На пороге юности, когда формировалось, росло тело, росла и душа Алеши, пробуждалась мысль. Книжный мир переплетался с миром, выдуманным им самим. Чужие мысли сливались со своими, и не было силы провести границы между ними.

«Однако же спать, спать...» Но перед ним вставали таинственные ущелья с шумными белоснежными потоками, бескрайная зеленая тайга, страшные лесные звери.

Вдруг его внимание привлек дед. Он осторожно поднялся и прислушался. Алеша невольно замер.

— Спит! Слава богу! — таинственным шепотом произнес старик и тихонько полез с нар.

Сердце Алеши тревожно екнуло. Он собрался было окликнуть деда, но что-то удержало его. Юноша стал пристально всматриваться в темноту. Поликарп Поликарпович бесшумно обувался.

«Куда это он в полночь? Куда?..»

Ничего особенного не было в том, что дед ночью собирается выйти из избушки, но Алеша страшно обеспокоился. Надвигающуюся опасность он чувствовал теперь так же остро, как в копне, когда к нему с обнаженной шашкой подходил казак.

Пасечник обулся и, бесшумно ступая, вышел за порог. Алеша, вытянув шею, стал напряженно слушать, потом спрыгнул на пол и подошел к двери.

Поликарп Поликарпович стоял с костылем в руках. Луна освещала его лицо с сурово сдвинутыми бровями.

Старик перекрестился, тревожно взглянул на высоко поднявшуюся луну и быстро пошел по тропке.

— К утру... успеем,— расслышал Алеша негромко сказанные пасечником слова.

«Куда? Куда успеем?..»

Алеша выскочил из избушки и пополз по тропинке за Басаргиным, скрывшимся за выступом утеса. С перевала мальчик увидел фигуру пасечника: дед направлялся по тропинке в город.

«А если старик для меня за хлебом?.. Если он мне сюрприз готовит... «К утру успеем... Успеем»,— повторил он обрывок фразы.— Почему не «успею», а «успеем»?! Действительно, почему?!»

Тревожно бившееся сердце подсказывало: «Бежать!»

И лишь только Алеша вслух произнес это слово, как понял, что другого выхода нет.

«Бежать как можно скорей!..» Алеша бросился к избушке.

«Надену старые сапоги деда...— Он знал, что они лежат под нарами.— Штаны и рубаху красную, шляпу с проношенным верхом... Возьму нож, ковригу черного хлеба и два коробка спичек...»

Обо всех этих вещах Алеша думал не раз. Он собирался попросить их у деда перед уходом. Не раз Алеша мысленно примеривал сапоги и представлял себя в широкой красной рубахе деда и в шляпе: «Крестьянский парень с заработков из города».

Алеша метнулся в избушку, плотно прикрыл за собой дверь и даже захлестнул ее на крючок. Потом завесил окно дедовым зипуном, нащупал спички и зажег лампу. Достал старые сапоги с порыжелыми короткими голенищами. Из деревянного сундучка взял штаны и рубаху. Одевался Алеша быстро и, несмотря на то что в избушке и во всей долинке он был один, совершенно бесшумно. Вскоре Алеша был готов. Ему казалось, что задержись он на несколько минут — и его возьмут. Алеше стали мерещиться шаги за стенами избушки. Он потушил лампу и долго прислушивался, припав к двери ухом.

— Давай-ка! — громко сказал Алеша и решительно открыл дверь.

Луна. Посеребренные росой травы, ульи с пчелами на полянке. Тишина. Алеша достал с крыши сарайчика старую шляпу деда, надел и пошел мимо ульев.

И странно: лишь только он покинул пасеку, как страх начал спадать, вернулись сомнения.

«А что, если я действительно ошибся? — Алеша остановился.— Каким подлецом я окажусь!..»

Быстрая смена настроений была особенностью его характера. Алеша убеждал себя вернуться, но страх все же был так силен, что он не смог противиться ему.

«А если хоть один процент опасности реален?»

Алеша пошел прочь от пасеки.

За кустарниками узкая долинка, заросшая высокой травой. Слева и справа скалистые хребты. Алеша решил подняться долинкой.

Пасека была уже чуть видна.

«А что, если вернуться на минутку и написать записку? Чернильный карандаш на полочке».

Мысль понравилась ему, он побежал вниз.

Только теперь, возвращаясь на пасеку, он обнаружил, что за ним тянулся издалека заметный на росистой траве след. Намокшие штаны прилипали к ногам, шлепали на бегу, холодили тело. Бежать под гору было легко.

Избушка выросла неожиданно быстро. Алеша вскочил в незакрытую дверь, нащупал на полочке огрызок карандаша. Под навесиком у деда стояли гладко оструганные доски для ульев. Алеша вытащил одну. Ковригу хлеба положил рядом.

«Милый, неоцененный дед!» — размашисто написал Алеша, но след от карандаша был еле заметен. Алеша протянул доску по росистой траве.

«Милый дедушка Поликарп Поликарпович! — снова написал он жирными черными буквами.— Простите меня за мерзкий поступок. Но верьте, что за все, за все я отплачу вам сторицей.— Слово «сторицей» Алеша подчеркнул дважды.— Признательный *Алексей Белозеров»*.

Алеша поставил доску к двери избушки. Облитая луной, она выделялась издалека.

Забыв о ковриге хлеба, Алеша побежал по следам деда к городу: он изменил план ухода. Тропинкой мальчик дошел до первых камней и одним прыжком вскочил на них. Перепрыгивая с плиты на плиту, он поднимался к гребню ущелья. Солнечная сторона этого ущелья была покрыта низкой выжженной травой, и след был почти незаметен.

Взобравшись на вершину гребня, Алеша пошел на юг.

ГЛАВА XXIII

Сына пасечника Басаргина звали тоже Поликарпом, но в полку, где проходил он строевую службу, за чрезмерное усердие и готовность в любую минуту бежать к вахмистру сослуживцы прозвали его «Поликаха, вахмистр кличет».

Кличка стала вторым именем казака. Облегченно вздохнул Басаргин, только вернувшись в станицу, когда он стал снова просто Поликахой. Но лишь его мобилизовали во время мировой войны, как снова неведомыми путями кличка воскресла. И вновь так же бесследно умерла она по возвращении в станицу. Но через год участник казачьего переворота, крепко зажиточный станичник, пятидесятилетний, седобородый уже колчаковец Басаргин, с отметиной через всю левую щеку, полученной от немецкого драгуна, снова стал «Поликахой, вахмистр кличет»...

Поликарп Поликарпович, поспевая за сыном на серой вислобрюхой кобыле, кочкой трясся на седле. Перекинутая через плечо винтовка больно колотила его по мослаковатым плечам.

— Ой, да... сдер-жи ты, ра-а-а-ди самого создателя...— выкрикивал старик.

Поликаха придержал поводья. Старик поравнял кобылу с конем сына.

— Как в ступе... Как в ступе толкет, будь она проклята!.. Успеем! Храпит еще твое производство,— угадывая состояние сына, успокоил пасечник Поликаху.

Но сын снова заторопил коня.

Сообщение отца о скрытом на пасеке большевике, его хитрость с откормом полуживого несовершеннолетнего беглеца глубоко взволновали Поликаху.

— Сынок, помни: большевика взял с боем, с опасностью для жизни. Он, мол, не глядите, что молодой, а хичнай — дрался, как лёв...

— С боем так с боем! — Поликаха понимающе улыбнулся: «Нет, голова-то, голова-то у старика!..»

Неделю тому назад Поликаха завидовал сослуживцу Гаврилке Салакину. На прииртышских лугах захватил он совсем старого, безродного бродяжку и выдал его за пойманного им большевика.

Всю дорогу Гаврилка Салакин гнал бродяжку впереди коня. Плетью окровянил ему лицо и спину. Получил он за него сотню рублей и был представлен в урядники, да загулял на радостях, а в пьяном виде проболтался. Соседи же и донесли. Деньги Гаврилка успел пропить, но производство пропало.

«А тут и настоящий, без подмесу, большевик, и эдакая придумка насчет поимки с сопротивлением, с опасностью для жизни. Вот тебе и геройский подвиг казака Басаргина».

Ехали молча. Вдруг Поликаха заговорил:

— Батяка! Сказывают, Кузьма Крючков уж вовсе не такой герой, а какими милостями, какой славой попользовался... Да и кто на службе не обманывает начальство, чтоб заработать крест иль производство? А тут собственная физиогномия... исхлюстай ты меня, батяка, по самым видимостям. Подумаешь, важность какая,— в пьяном виде за здорово живёшь рвём друг другу морды... Только бей батяка, без никакой жалости, чтобы всякому явственно было, что дрался я с большевиком не на живот, а на смерть. И что большевик мой, как ты правильно говоришь, не парнишка, а лёв. Через десяток дён присохнет, как на собаке...

До пасеки оставалось не более километра. Поликаха внезапно остановил лошадь.

— Пожалуй, сейчас, батяка, разрисуй ты меня под лихого героя, лишей израненного Кузьмы Крючкова. А то при постороннем-то, хоть и большевик он, а все будто неловко как-то. Да к тому же выдать, осмеять может.

Поликаха огляделся по сторонам. В горах было безлюдно и тихо. В синем небе меркли звезды.

— Ну что ж, сейчас так сейчас, сынка.— Старик объехал Поликаху справа, поставив сивую кобылу так, что голова ее была в уровень с крупом рыжего, а левое стремя отца соприкасалось с левым же стременем сына.

«Заехал правильно, как для рубки»,— невольно отметил Поликаха.

— Сперва по скуле снорови,— попросил казак.

Во время широкого замаха отца Поликаха невольно откинулся в седле и закрыл глаза.

Поликарп Поликарпович с тяжелым выхрипом ударил сына в левую скулу. Бородатая голова казака сильно

мотнулась, а строевой конь, не ожидавший толчка, качнулся под Поликахой.

— Тпру! Тпру, проклятый! — закричал на лошадь казак и схватился за разбитую скулу.

— Однако ты еще дюж, батяка!.. Думаю, что об этом месте такая кила набухнет, что за версту видно будет...

Поликарп Поликарпович испытывал и радость от похвалы Поликахи за не утраченный еще «басаргинский удар», и ему было жаль сына, крепко зажмурившегося во время замаха. Несмотря на длинную седеющую бороду, в эту минуту он напомнил ему того маленького, ласкового Поликашку, которого не раз дирывал за всякие провинности. Он, как настигнутый зайчонок, сжимался весь и от страха закрывал глазенки. Старику хотелось и ударить сына, и как-то так, чтобы удар был не особо чувствителен. «Лучше бы кто другой за меня...» Но на помощь другого рассчитывать в этом деле было нельзя, и он медленно и глубоко дышал, готовясь ко второму удару.

— Теперь по правой, батяка,— уж пухнуть, так пухнуть.

В голосе сына отец уловил и страх, и боль от полученного удара.

Поликарп Поликарпович покорно тронул сивую кобылу и заехал к Поликахе слева.

— Ты бы на землю слез, батяка. На земле-то оно упористей, а я бы пригнулся с седла,— посоветовал сын.

Но по тону его голоса отец понял, что он храбрится и говорит, лишь чтобы ободрить себя.

— Ничего, я приподнимусь на стременах,— и старик с присвистом ударил Поликаху справа.

Второй удар был еще сильнее первого и пришелся не по скуле, а в подглазницу.

Поликаха вскрикнул и выронил из рук поводья. Из подбитого глаза обильно потекла слеза.

— Сослепу-то я, однако, в глаз тебя тюкнул...

— Бей, чертов старик! — закричал во весь голос Поликаха и, чтобы удержать сжатые в кулаки руки, закинул их за спину и крепко ухватился за заднюю луку седла.— Бей, тебе говорят!..

Крик его был так грозен, что старик, уже не раздумывая, удар за ударом начал опускать на разбитые нос и губы сына. На седых усах Поликахи выступила пена, а он все кричал:

— Бей! Бей!

Крик его был уже теперь истерически-злобный, переходящий в визг.

— Будет, сынок, будет, милый! — попробовал успокоить Поликаху испугавшийся пасечник, но раскипевшееся сердце казака горело, и он закричал на отца:

— Бей, чубуковый огрызок, а то я сам ударю...

Поликарп Поликарпович окончательно задохнулся.

— Подожди, ради бога... Дай ты мне проздышаться...

В этот момент и услыхал старик Поликарп глухое покашливание в кустах слева от тропинки. Поликарпа Поликарповича бросило в жар. Он повернул голову и увидел стоявшего без шапки соседа по пасеке, злоязычного, ехидного старичонку Гаврилку Бедарева.

— Бог в помощь, Поликарп Поликарпович. А я свиньюшку свою ищу...— сказал Бедарев и поклонился Басаргину.— За что это ты его утюжишь? — Но он не докончил вопроса и не по-стариковски проворно юркнул в кусты.

Услыхавший голос Бедарева Поликаха глянул в его сторону, по-волчьи ощерил крупные зубы и вырвал из ножен шашку.

— За-а-арубблю-у старого кочерыжку! — прохрипел он и тронул коленями мерина.

Но Поликарп Поликарпович схватил рыжего за повод и шепнул сыну:

— Поедем!.. Светает!

Поликаха, не вкладывая клинка в ножны, поднял коня в карьер.

От быстрой скачки бороду его закинуло на плечи. Разбитое, горевшее лицо его освежал горный воздух.

Утес, речка, вынырнувшая из-за поворота избушка стремительно неслись навстречу, а Поликаха все бил коня обухом клинка по крутым ребрам.

ГЛАВА XXIV

Идти было легко и весело. Время от времени Алеша останавливался, ставил сильные, здоровые свои ноги, обутые в кожаные порыжевшие сапоги, на камень и любовался ими.

«Хоть на край света!..»

Прохладный горный воздух бодрил. Впереди, насколько хватал глаз, облитые луной, громоздились хребты гор, один другого выше и длиннее.

«Просторище-то какой!..»

И широкая красная рубаха деда, и прорванная на верхушке черная шляпа — все радовало Алешу.

Ему казалось, что в эту тихую, светлую ночь он один на всем земном шаре — не идет, а скользит по земле без мысли о том, куда, к какому дому спешить ему, что встретит он на пути. Не всюду ли его дом... Не везде ли он найдет приют и радость...

«Господи, какая тишина и красота!»

Алеша вспомнил о пасечнике и уже не мог не думать о нем.

«А как говорит, как говорит!..— Вспомнились слова деда, когда он уговаривал его остаться еще на ночь: «Каждый кустик ночевать пустит», «Где стал, там и стан». Лесной мудрец!»

Ночь была на исходе. Пошли увалы, овраги. Склоны их заросли белым и розовым шиповником, золотистой акацией и какими-то никогда не виданными Алешей, величиной с блюдце, темно-пунцовыми цветами на высоких бархатисто-зеленых ножках.

Цветочная река прибоем била в утесистые берега. Пенные брызги ее взлетали на карнизы, неудержимо ползли по ним выше и выше. Алеша хотел проследить стремительный их взлет и, подняв глаза на скалистый утес, счастливо сощурился: из-за далекого снежного хребта поднималось солнце, яркое и молодое, обмытое в хрустальных ледниках...

«Ну вот, пусть теперь этот кустик передневать меня пустит»,— и Алеша лег под куполами сросшихся акаций.

Было около полудня, когда словно от толчка проснулся Алеша. Раскаленное солнце стояло над головой. В кустарниках и разогретых травах томила нестерпимая духота. Алеша был весь в поту. В просвете акаций он смотрел на беловатое от зноя небо. Но лежать бездумно не мог. Тревога охватывала его. Чтобы отвлечься, Алеша стал наблюдать мир над головой.

На шиповнике, облитые солнцем, звенели золотисто-рыжие пчелы, жужжали празднично-нарядные мохнатые шмели. Опускаясь на белые и нежно-розовые чаши цветов, они проникали в душистую их храмину, погружаясь

и как бы засыпая там. Зеленые, как изумруд, и красные, как рубин, толкались, гудели в воздухе мухи.

Алеша поднялся, окинул взглядом долинку и, еще не разобравшись в том, что успел увидеть, быстро присел на корточки. Солнце, цветы, пчелы, весь зримый и незримый мир вдруг исчез, а все существо его сосредоточилось только на том, что схватили хрусталики его глаз на соседнем хребте:

«Разъезд!»

Кавалеристов Алеша научился отличать издалека по посадке. Его больше всего испугало, что всадники ехали прямо к нему: «Как собаки по следу!»

Алеша припал к земле. Ему хотелось врасти в нее. Но пролежать спокойно он не мог и полминуты и стал озираться по сторонам. Кругом были кусты шиповника и акации, но Алеша проклинал себя, что так близко от гребня остановился на дневку.

Он уже хотел ползти вглубь, но перерешил: «А вдруг заметят по движению кустарников, что тут кто-то есть...»

Вскоре до слуха Алеши долетел звук подков о камни. По нарастающему топоту он определил, что разъезд не далее пятидесяти метров.

Алеша закрыл глаза. Ему казалось, что кавалеристы уже заметили его и через минуту он будет схвачен.

«А что, если вскочить и броситься по косогору вниз!.. Вскочить! Вскочить!..»

Эта мысль так властно овладела им, что Алеша, боясь поддаться искушению, крепко уцепился за корни акации.

«Цок, цок, цок...» — короткий металлический звон.

«На меня! Прямо на меня!»

Алеша все прижимался и прижимался к земле животом, лицом. Казалось, не было силы, способной отодрать его, казалось, не поднимет он головы даже и тогда, когда всадники остановятся над ним и прикажут встать.

«Буду лежать, как мертвец. Пусть убивают...»

И вдруг до слуха Алеши долетел голос одного из всадников:

— Кобыла ухи распустила, запинаться начала, того и гляди, станет... Отдохнуть бы в этих кустах.

Алеша вздрогнул, оторвал от разогретой, отдающей сладковатой прелью земли лицо и не далее как в десяти метрах увидел пасечника Поликарпа Поликарповича Ба-

саргина верхом на сивой лошади. За плечами у старика болталась винтовка, и весь вид его был совсем иной. «Бандит от головы до ног!»

Алеше показалось, что он перехватил даже взгляд хищных его глаз. С затаенной злобной улыбкой Басаргин двигался прямо на него. От бессильной ярости Алеша утратил страх и, стиснув зубы, стал ждать ужасного старика. Пальцы Алеши впились в землю с такой силой, что из-под ногтей выступила кровь.

Следом за стариком ехал его сын. Сходство их было так велико, что несмотря на необычно толстое, в багровых кровоподтеках, словно изжаленное осами, лицо, он был похож на отца, как походят одно на другое два яблока с одной яблони. Тот же размах бровей, те же плечи и грудь, только сильнее, чем у отца. И если бы побелела у сына такая же густая грязно-серая борода да спала опухоль на толстой морде, он, как и отец, стал бы похож на бога Саваофа, каким рисуют его владимирские иконописцы.

Всадники были не далее пяти метров, и беглец рассмотрел, что на левой щеке младшего Басаргина, от виска до мочки уха, широкий шрам. «Палач, истязавший женщину с ребенком»,— Алеша узнал казака и рослую рыжую, с лысиной на голове, лошадь, на которой он ехал.

Сын что-то буркнул в ответ на предложение отца об отдыхе, но что — Алеша не разобрал.

Казаки уже проезжали Алешу, и он не удержался, повернул голову вслед за ними. Треснувший ли сучок или дрогнувшая ветка выдала присутствие живого существа в кустах. Конь младшего Басаргина чутко вздрогнул, раздул ноздри и громко фыркнул. Выпуклый глаз его с вывернутым белком испуганно покосил в сторону беглеца.

«Пропал!» — оборвалось сердце Алеши. Но казак поднял толстую плеть и рубанул ею коня по потному, лоснящемуся крупу. Лошадь сделала прыжок и, осаженная сильной рукой, затанцевала на месте, не зная, с какой ноги ступить, и только через несколько секунд пошла вприпляс, грызя удила и отфыркиваясь пеной.

Старая же кобыла пасечника как шла, понуро опустив голову, так и прошла, не пошевелив даже отвислым ухом. И сам Поликарп Поликарпович, разбитый и усталый,

даже не оглянулся на сына и продолжал ехать, ссутулившийся, погруженный в свои думы.

Алеша повернулся и стал следить за проехавшими казаками. Он ни на секунду не отводил от них глаз, пока всадники не скрылись за смежным с долинкой хребтом.

Юноша поднялся в кустарниках во весь рост и сразу же почувствовал, что смертельная усталость давит ему на плечи. Он снова опустился и закрыл глаза.

— Гады! Гады! — шептал он.— Гуманничали мы с вами.

Алеша не знал, кто и когда гуманничал с Басаргиными, но то, что они существуют на земле, наполняло его злобой. «Идиот! Вернулся — записку написал подлецу!.. «Милый дедушка!» — с презрением вспомнил он слова записки.— Глупый, желторотый птенец! Наивный мечтатель! Когда ты повзрослеешь, бросишь мечтать и станешь думать?» Алеше казалось, что вот сейчас, с этой минуты, он, глубоко осознав случившееся, начинает мыслить.

«Да ведь он тогда еще выдал себя! — вспомнил Алеша фразу старика о рыжей лошади во время его рассказа.— Как мог пропустить ты ее мимо ушей?.. «Лесной кудесник... Вы мне так же близки, как родной отец...» И эту мразь я сравнивал с отцом! Господи, до чего же я был слеп!..»

День до вечера тянулся невыносимо долго. Два раза Алеша спускался в долину, пил холодную родниковую воду, обливал голову и мыл лицо, а солнце все еще стояло почти в зените. «Теперь бы краюху хлеба сюда, да с родниковой водой!..» Алеша снова стал проклинать себя за возвращение на пасеку, за глупую рассеянность. Мир внезапно потух. Путь в неведомое показался страшным.

«Издохну где-нибудь, как голодная собака...»

Все злило его теперь: неспадавший жар, пряная духота цветов, мухи. В раздражении Алеша сорвал несколько чашечек белых и розовых шиповников. Нежные, пахучие, они лежали у него на потной ладони, легкие и прозрачные. Он взял в рот мягкий, сочный лепесток и незаметно съел его. Нарвал полную горсть и тоже съел. Рот его пропитался запахом роз, но ощущение голода уменьшилось. И все-таки раздражение не проходило. От духоты ли, от пережитого ли волнения разболелась голова. Мнительному Алеше показалось, что он серьезно заболевает.

— Этого еще не хватало! — громко сказал он.

В ледяной воде родника долго мочил голову.

«Конечно, это что-то серьезное... Ну и пусть! И сдохну!» Он взглянул на свое отражение в прозрачной, чистой воде. Длинное худое лицо, завитки мальчишечьих еще кудрей...

Ему стало жаль себя, и он заплакал. В слезах Алеши выливался и неутоленный голод, и кровная обида на пасечника, и крушение веры в людей, и стыд за легкомысленную свою доверчивость.

Слезы омыли душу Алеши: он уснул и проспал до вечера.

Сон не утолил голода, но подкрепил силы. Головная боль прошла. Раздражение начинало спадать. В тугих, отрывистых звуках кузнечиков, наполнявших воздух в эту пору лета, слышалась бодрость и беззаботность. Молодость, неизрасходованные силы жизни затопляли первое большое горе Алеши, горькое разочарование в самом себе.

Вспомнив толстое, в радужных кровоподтеках лицо младшего Басаргина, Алеша не смог удержать улыбки.

— Кто-то хорошо отплатил ему все-таки за мальчика и женщину,— сказал он и поднялся с земли.

ГЛАВА XXV

В горах и на полях было безлюдно: покос кончился, жатва еще не наступила. Алеша шел четвертую ночь и не встретил ни одного человека. Несколько раз он выходил к деревушкам, но, заслышав собачий лай, обходил их стороной и снова спускался из пади в падь, переваливая хребет за хребтом.

Голод не страшен только тогда, когда человек уверен, что скоро утолит его. За эти четыре дня Алеша хорошо узнал, что такое голод. Цветы шиповника, поглощенные в неумеренном количестве, вызвали мучительную рвоту и такую слабость вслед за нею, что он долго лежал недвижимый, с закрытыми глазами.

Зато на следующий день у него был праздник. Он наткнулся на покинутый покосниками балаган и, обшаривая углы, нашел краюху настоящего черного ржаного хлеба. Правда, хлеб сильно заплесневел сверху, но это

все-таки был самый ароматный, самый питательный и вкусный хлеб, какой когда-либо ел Алеша.

Вначале он даже не поверил глазам, когда, приподняв пласт сена, в темном углу балагана наткнулся на что-то черное и упругое на ощупь. Но, выскочив с караваем на свет и рассмотрев его, он не сдержал радости и закричал ликующе громко.

Да, это действительно был счастливый день. Вблизи балагана, в овражке, прямо из утеса бил родник. Покосники вставили в расселину скалы зеленую, полую внутри маралку, и из сочной, прозрачной дудки лилась кристальная струя воды. Алеша устроился на обомшелом камне и подставил рот под холодную струю.

Счастье весь день сопутствовало ему. Тут же, у потухшего костерка с грудой голубоватого пепла и сизочерных углей, беглец нашел обглоданную покосниками большую кость. Кость лежала в траве и была влажной от росы. Мяса на ней не было, но внутри кости был янтарный жир. Алеша схватил находку и, согнувшись, побежал с ней в овражек.

В этот день он впервые убедился, как немного надо человеку, чтобы почувствовать себя счастливым.

На шестую ночь Алеша подошел к тайге. Деревни и заимки встречались теперь совсем редко. Алеша решил идти днем. Ночью легко натолкнуться на зверя или погибнуть при переправе через быстрые горные реки.

Краюха хлеба была давно съедена. Несколько раз в прозрачном воздухе высокогорной тайги Алеша замечал кудрявый дымок, как синяя шерстинка вьющийся от костра, но тотчас же забирал в сторону и уходил от него.

«Люди!» Алешу тянуло к ним, но он боялся их больше зверей. Боялся и хотел встречи с ними. Еще в тюрьме не раз слышал он, что в тайге, в глухой и непроходимой ее части, формируются партизанские отряды. К ним и держал путь. Других путей не было у Алеши.

В тайге стояли вечные сумерки. Зеленые кроны прямых высоких сосен шумели над головой. Цепкие лапы пихт хватали за лицо. Под ногами мягко пружинил мох. Ручьи и речки встречались в каждом ущелье. Прозрачные и голубые, они были переполнены проворными хариусами, ускучами, красноперыми тайменями.

Часто из-под ног с громом вырывались пепельно-серые глухари. Алеша вздрагивал и голодными глазами смот-

рел, как улетало от него мясо. Прекрасная и богатейшая природа южного Алтая окружала его, а он уже третьи сутки питался лишь водой и воздухом.

Как Алеша ненавидел себя! Он, перечитавший сотни книг, не умел поймать рыбу в пенистом потоке, отличить съедобные корни и травы от вредных. Как жалел Алеша, что утратил способности предков добывать себе пищу всюду, где бы она ни находилась.

Тайга пугала Алешу каждым поворотом, пещерой, зарослью. Первый день измучил его страхами. Алеша с ужасом думал, как проведет он первую ночь в тайге, в соседстве с хищными зверями.

Он срезал березку и решил нож свой насадить на конец ее, подобно рогатине. С рогатиной провозился не менее двух часов, но зато ручку ножа так прочно вогнал в хорошо оструганный березовый черенок, что у него получилось надежное оружие.

Вскоре путь преградила порожистая река. Крутое падение воды Алеша услышал издалека. Он подошел к высокому утесу, с которого огромной живой стеной прыгала река на каменистое ложе и, разбиваясь на тысячи радужных струй, неслась, белая, клокочущая, меж мокрых черных валунов в ущелье.

Захваченный величием водопада, Алеша стоял не менее часа и смотрел то на бушующий поток, то на прибрежную, почти сухую пену. В омуте он увидел высоко выпрыгнувшую рыбу, а подкравшись к камням, рассмотрел в прозрачной до дна воде крупного розовоперого тайменя.

Алеша взобрался на валун и, дрожа от нетерпения, стал целить в сине-стальную спину рыбы. Но или сильно волновался он, или руки и ноги его ослабели от усталости и голода, только во время удара он не сохранил равновесия и упал в омут.

Алеша выпустил оружие из рук, схватился за камень и стал выбираться к берегу. Только на берегу он вспомнил о своем ноже. Алеша бросился к воде и увидел, как течение, подхватив его, стремительно несло по волнам.

Алеша бросился вдоль берега, но на первом же повороте ему преградил путь густой кустарник и бурелом; он запутался в нем.

Обессиленный, Алеша опустился у подножия огромной сосны.

Близился вечер. Небо заносило черными тучами.

Беда не живет одна: Алеша обнаружил, что, упав в омут, он утратил и второе свое сокровище — спички.

ГЛАВА XXVI

Алешу поразила какая-то особенная тишина. Травы, цветы как будто оцепенели.

Несмотря на близкий вечер, прохлада не только не наступала, но воздух стал гуще и удушливей. Алеша тревожно озирался по сторонам. Он только теперь заметил, что птицы исчезли. Мокрый, в прилипающей к телу одежде, Алеша пошел искать укрытие на ночь. Но не успел он дойти до первой лужайки, как услышал взволнованный шорох листьев над головой: казалось, деревья задрожали от страха.

Тьма сгущалась. Вечер разом перешел в черную слепую ночь. Едва Алеша успел перебежать лужайку и прислониться к дуплистому стволу сосны, как с неожиданной силой налетел ураган. Большое дупло, где затаился Алеша, внутри выгорело от удара молнии, но сила жизни, заключенная в корнях дерева, поборола огонь, и старая искрученная сосна упрямо зеленела. В глубине дупла, под ногами, Алеша почувствовал мох и листья.

«В чужую чью-то квартиру вскочил...» — подумал он, но, ослепленный оранжево-красной молнией, закрыл глаза. Следом ударил гром. Шум урагана, треск ломающихся деревьев — все покрыл удар оглушительного грома. Казалось, небо и земля раскололись, горы сдвинулись с места и обрушились в пропасть. Алеша никогда не слыхал такого удара. Громовые раскаты усиливались горным эхом, обвалами скал, подмытых хлынувшими потоками. Непрерывные зигзаги молний были огромны и причудливы. Нестерпимо яркий накал их мгновенно вырывал из мрака ночи и высокий скалистый увал за рекой с согнутыми соснами, и близкие деревья, освещенные от корня до вершины так ярко, что блестел и выделялся каждый листик, и белую от пены, стремительную реку.

Ливень, как и ураган, был страшен. С неба падали тяжелые потоки воды, словно скопившиеся в воздухе океаны обрушились на землю.

В один из взмахов огненного крыла Алеша услышал плеск поспешных ног по залитой водой лужайке.

«Медведь!»

Юноша раскрыл глаза и увидел, как к дуплу, в котором схоронился он, вприпрыжку бежал ночной бродяга — барсук. Барсука секли алмазные розги ливня. Ураган бросал его из стороны в сторону. Промокший, перепуганный, под ливнем барсук выглядел жалким. От страха он закрыл маленькие свиные глазки. Каждая шерстинка его блестела.

Но свет молнии потух так же быстро, как и возник. Алеша не успел отодвинуться от входа в дупло, как почувствовал, что вскочивший в логово барсук ткнулся ему в ноги.

Алеша так растерялся, что стоял недвижно, затаив дыхание. Перепуганный барсук в первый момент тоже не учуял гостя в своей квартире, но в следующую секунду так громко фыркнул и с таким шумом шлепнулся на залитую водой землю, что Алеша не выдержал и громко вскрикнул: ему показалось, что вслед за барсуком к спасительному дуплу ломится застигнутый грозой медведь.

Страх все сильнее и сильнее охватывал Алешу. Каждую минуту ему слышалась тяжелая поступь зверя. При вспышке молний широко раскрытыми глазами Алеша оглядывал лужайку. И лишь только свет гас и чернота смыкалась вокруг, как он за каждым стволом представлял медведя.

Беспрерывно бил гром, земля содрогалась. Алеша дрожал, прижавшись к дуплу. Казалось, рассерженное небо в исступлении топтало землю, деревья, разрушало скалы, дробило горы. Обрушившийся на землю ливень был так грозен, что шумевшие с гор потоки переполнили одичавшую реку и она вырвалась из каменных берегов.

Неистовствующей ночи не виделось конца. На мокрое от водяных брызг лицо Алеши упали выбившиеся из-под шляпы волосы. Сырая рубаха и штаны прилипли к телу, покрытому «гусиной кожей».

ГЛАВА XXVII

Утром все показалось обычным.

«Одного человек должен стыдиться — страха».

Алеша вылез из дупла на залитую водой лужайку. Голод мучил его, и он пошел добывать пищу.

С деревьев каскадами обрушивалась вода. Чаши цветов были полны до краев. На широких листьях лопуха крупные капли дрожали, перекатываясь, блестели, как ртуть. От продолжительного ливня воздух был полон дождевой пыли.

Алеша промок и продрог до костей. Он решил пойти вниз по течению реки, рассчитывая найти прибитую к берегу рогатину. Голод теперь не оставлял его в покое ни на минуту. Алеша начал разбирать густую, спутанную ураганом и ливнем траву руками, пытаясь найти грибы. Из-под ног с тревожным квохтаньем взорвалась глухарка и, отлетев до первой сосны, села на нижний сук. Алеша бросился к ней, но глухарка переместилась на другое дерево и села еще ниже. Алеша сообразил, что глухарка отводит его от выводка, и вернулся к месту взлета птицы. Припав на колени, осторожно разбирал мокрую траву и пристально всматривался. Он решил вершок за вершком обследовать лужайку. Глухарка, вытянув шею, беспокойно квохтала.

Наконец Алеша увидел ржаво-коричневого глухаренка, лежащего между двух кочек. Спина птицы сливалась с прошлогодними желтыми и блеклыми стеблями травы.

Алеша подвинулся и осторожно протянул к нему дрожащую руку.

Глухаренок смотрел на Алешу круглыми, черными, как черемуха, глазами и только плотнее прижимался к земле. Надбровные дуги птицы были уже карминно-красного цвета, и на хвосте заправилось длинное дымчато-серое перо.

От страха глухаренок на мгновение закрыл глаза тонкими голубоватыми пленками. Рука Алеши подвинулась еще ближе, но глухаренок вдруг взлетел, оставив в сжатых пальцах Алеши горсть мягких теплых перьев.

Алеше показалось, что он потерял равновесие и падает в пропасть. Он опустился на траву и в изнеможении закрыл глаза. Но оцепенелое равнодушие длилось не более минуты.

«Где был один, должен быть и другой. И этого-то обязательно поймаю!..»

Алеша снова принялся разбирать мокрую густую траву. На неудаче с первым глухаренком он убедился: «Нужно действовать быстрей. Надо упасть на птицу всем корпусом...»

Однако, как он ни искал, глухарята пропали. Мысль о мясе ни на минуту не оставляла его. Алеша решил вернуться к дуплу и подстеречь барсука: «Должен же он снова явиться домой». Алеша выломал дубинку и залег вблизи дупла. Но веки его тотчас же слиплись, и он уснул. От сырости и холода проснулся ночью и заглянул в дупло. Там никого не было.

«Бросил свой дом барсук»,— решил Алеша и сам забрался в мягкое логово.

Проснулся на рассвете и ходил по открытым полянам в надежде вспугнуть глухарку от выводка.

— Мяса! Хочу мяса! — разговаривал вслух Алеша, чувствуя, как с каждым часом слабеет все более и более.

Вечером вновь вернулся к дуплу и решил еще раз попытать счастья с барсуком. Алеша так сильно хотел этой встречи, что несколько раз перед воспаленными его глазами барсук появлялся то лениво бегущим через лужайку, то просовывающим свиной свой пятачок в логово.

«Убью же я тебя, проклятого, когда-нибудь...»

Алеша больше всего боялся отчаяния и все время боролся с ним.

«Утром пойду вниз по реке и отыщу нож...»

Но утром дошел до полянки и снова разыскивал глухариный выводок. Попутно собирал ягоды костяники, но, сколько ни ел, не мог утолить голод.

Уйти с того места, где встретил глухариный выводок, и от дупла с барсуком оказалось очень трудно. Алеша снова и снова принимался отыскивать птиц и еще ночь прокараулил барсука.

— Уйду! Будь же ты проклято, это место! — решительно сказал он и, не дождавшись рассвета, поплелся вблизи реки.

Алеша прошел уже порядочно, когда вспомнил о погибшем ноже.

«Кажется, начинает ослабевать память. Ну и пусть!»

Равнодушие подкралось незаметно. Алеша лег на берегу. В голове не было ни одной мысли. Он закрыл глаза.

Потом усилием воли заставил себя подняться и снова пошел.

— Вниз по реке... Вниз...— твердил Алеша.

Решив идти по течению реки, он рассчитывал встретить людей.

Голод пересилил чувство страха.

Впереди, справа, слева, за рекой была тайга: сосны, пихты, березы, изредка осины. Лес угнетал Алешу бескрайностью и однообразием. Захотелось лечь и полежать с закрытыми глазами, чтобы хоть ненадолго не видеть опостылевшей тайги.

Потом снова пошел, запинаясь за скрытые колодины, разбирая высокую траву руками, заплетаясь и падая.

Так прошел до полудня. В полдень, у небольшого ручья, вошел в заросли черной смородины и наелся до оскомины на зубах. Тут же у ручья увидел зеленую крапчатую травяную лягушку и убил ее камнем. Малиновая кровь из разбитой головы смешалась с грязью и стала синевато-черной. Алеша обмыл лягушку. Лягушка была холодна и скользка.

«Едят же китайцы, французы...»

Алеша вырвал заднюю ножку, положил в рот и, преодолевая отвращение, стал жевать. Но проглотить белое липкое мясо не смог.

Он перешел ручей и пошел отыскивать место для ночлега: спать на открытой поляне было холодно. Вскоре нашел промоину в каменистом берегу реки, нарвал травы и сделал мягкое ложе. Другой охапкой укрылся с головой. Согнулся калачиком, худой, тоненький, жалкий, и тотчас же закрыл глаза.

«Спать... спать...»

«Добуду огонь трением. Согреюсь, высушусь у костра и три часа без отдыха буду идти. За три часа сделаю десять верст. За трое суток — тридцать. Не может быть, чтобы на этом пути я не встретил у реки людей... Я знаю, первый вопрос будет: «Кто ты и куда идешь?» — «Участник экспедиции. Заблудился в тайге...» Утром найду грибов и поджарю в углях...» При мысли о грибах у Алеши стало больно под ложечкой.

Тяжело опираясь о края промоины, Алеша поднялся. Серые толстые тучи разносило, и на небе кое-где проглянули звездные окна.

Всякое новое дело поднимало дух Алеши. Он нашел поваленную бурей старую березу, наломал сучьев, выбрал сучки посуше, ободрал с них бересту, уселся поудобнее и стал «добывать огонь».

Вскоре лоб и спина его взмокли, сердце так забилось,

что захватило дыхание, а не только огня, но даже и дыма не было. Он дотронулся до мест, по которым тер. Сучки нагрелись, но сил не было больше.

Алеша лег на землю:

«К людям как можно скорее...»

Сырое, холодное утро лениво занималось. Алеша поднялся и побрел.

Чтоб заставить себя идти, он рисовал радужные перспективы во время отдыха: «Согреюсь, высохну в пути, а потом найду глухарей, поймаю одного и съем всего зараз...»

«Доберусь до поворота реки и лягу на одну минуточку... На одну минуточку...»

Медленная ходьба не согрела, а утомила.

Попутно Алеша срывал чашечки цветов, семена трав и жевал их. Во рту у него было горько, губы растрескались до крови.

Шум реки то пропадал, то вновь возникал, хотя река все время была рядом. Он шел уже в забытьи, не видя трав под ногами, не отдавая себе отчета, сколько времени идет. Порою ему казалось, что он идет вечно. Красные, воспаленные глаза его были опущены в землю.

«Дойду и лягу...»

Алеша поднимал голову и смотрел на изгиб реки. Намеченный им рубеж то отодвигался, то подступал почти вплотную. Он напрягал все усилия, чтобы одолеть последнюю долинку.

«Не менее шестисот шагов... Шестьсот раз нужно передвинуть ноги...»

Алеша начал считать, но счет скоро утомил его, и он бросил. Все тело его молило об отдыхе, но он шел. Шаги становились все короче и короче. Алеша наметил для остановки новый, более близкий рубеж, но, чувствуя, что израсходовал еще не весь запас сил, брел.

Выскочил саврасый ветвисторогий марал. Зверь сделал огромный прыжок и встал. Малиновые его ноздри раздувались и дрожали, как лепестки мака. Тонкие сильные ноги, казалось, были сплетены из жильных струн. Орехово-темные глаза удивленно смотрели на человека. Но ничего не видел Алеша, кроме мягкой, жирной, лос-

нящейся спины зверя: «Впиться бы зубами и рвать кусок за куском...»

И когда исчез марал, в воспаленных глазах юноши долго еще стояла мягкая колышущаяся спина зверя. Идти дальше Алеша не мог. Волнение, охватившее его при виде зверя, убило остатки сил. Он опустился на траву и закрыл глаза.

Алеша пролежал до полудня, под всякими предлогами увеличивая минуты отдыха. Озноб, начавшийся ночью, не проходил, несмотря на то что день был жаркий.

«Значит, я заболел все-таки... А осталось совсем-совсем пустяк»,— пытался он подбодрить себя во что бы то ни стало.

Алеша лежал с закрытыми глазами, бессильный подняться, чтобы идти дальше.

Вдруг ему почудился отдаленный лай собаки. Алеша перестал дышать и в напряженном ожидании раскрыл рот.

«Ну конечно же лает...»

Он долго поднимал отяжелевшее тело с земли, встав сначала на четвереньки. Потом, схватившись за дерево, поднялся на ноги и побрел дальше. Через каждые три шага останавливался и слушал, но лай не повторялся.

«Может быть, это почудилось мне?! — испуганно подумал он.— Но нет же, нет!.. Я слышал... слышал,— с дрожью в голосе твердил Алеша.— Не буду отдыхать, пока снова не услышу лая».

Мучительное ощущение голода вдруг пропало, и его заменило новое для Алеши ощущение физической легкости. Как будто тело его утратило вес и ноги ступали по воздуху. Это новое состояние удивило Алешу, но он так ослабел за эти дни, что мысли и чувства подолгу уже не могли сосредоточиваться на чем-либо одном.

И вдруг Алеша набрел на узенькую тропинку.

Вышел он на нее, ступил и, пораженный, остановился. От волнения он не мог сделать ни одного шага. Алеша опустился на колени и стал гладить выбитую в высоких травах землю исхудавшими ладонями. Потом он поцеловал тропинку.

«Теперь усну на ней до завтрашнего утра. Вот она, родная...»

Алеша еще раз пощупал тропинку и лег, прижавшись к ней пылающей щекой. Худое, землисто-серое лицо его блаженно улыбалось.

ГЛАВА XXVIII

Никодим с тревогой взглянул на солнце.

«Медвежонок больной, голодный, в наморднике, а тут никак из дому не вырвешься...— беспокоился мальчик.— Ах, если бы вы знали о моем пестуне!.. Но о Бобошке я ни бум-бум... Чего доброго, встречаться с ним запретите. Медведь! Зверь!.. А мой зверь смирнее и понятливее любой собаки. Вот погодите, я его выучу дрова носить, сено возить выучу...»

Никодим придумывал самые невероятные вещи, которым он выучит своего Бобошку.

«За мед, за овес всему выучу...»

На повороте тропинки из-под ног у него с шумом вырвался старый глухарь и замахал над мелколесьем. Глухарь забирал все круче и сел на высокую сосну. Ветка, на которую опустилась птица, закачалась; закачалась и грузная птица.

Никодим упал на тропинку и пополз. Колея была глубоко выбита, и по бокам ее росла трава. Птица была уже недалеко, но мальчик решил подползти ближе, чтобы выстрелить наверняка. Никодим наметил себе рубеж — крутой поворот тропинки. Полз, не поднимая головы.

Птица спокойно пощелкивала крепким клювом, издавая отчетливый звук: «цо-о, цо-о, цо-о...»

«Сейчас начнет клевать хвою».

Никодим передвинул локти, бесшумно подтянул распластанное тело. Но словно его кто в бок толкнул. Он поднял голову и вздрогнул: не далее как в пяти шагах от него, поперек тропинки, вниз лицом, лежал человек.

Забыв о глухаре, мальчик испуганно вскочил. Первой мыслью его было — бежать. Он сорвался было с места, но неожиданно негромко и робко окликнул:

— Эй!

Человек не отозвался, даже не поднял головы. Никодим подбежал, склонился над самым ухом Алеши и с отчаянием и страхом в голосе закричал:

— Дяденька! Проснись!

Алеша чуть поднял голову и невидящими, тусклыми глазами посмотрел на Никодима. Вид исхудавшего незнакомца с бессмысленно остекленевшими глазами был так страшен, что мальчик отпрянул от него.

— Кто ты такой? — преодолевая страх, еще громче прокричал Никодим.

Алеша оторвал голову от земли и пошевелил сухими, растрескавшимися губами. Серо-землистое, ссохшееся лицо умирающего вызвало такую жалость и боль, что Никодим, забыв всякий страх, стал поднимать его. Алеша тоже делал усилия встать. С трудом он выкинул костлявую руку и попытался опереться, но рука тотчас же опустилась. Больной ткнулся лицом в землю.

Никодим повернул Алешу навзничь и увидел, что из закрытых глаз его по ввалившимся, худым щекам текут слезы.

«Года на полтора-два — не старше! Никак не старше меня...» — подумал Никодим.

И хотя ясно было, что больной был старше, Никодим продолжал уверять себя, что он не старше, чем на полтора-два года...

— А ты не плачь! — сказал Никодим и вытер рукавом мокрые свои глаза.— Не плачь! — Мальчик положил руку на лоб незнакомца.

Голова больного горела. Никодим не знал, что ему делать. Алеша опять зашевелил губами. Никодим скорее догадался, чем услышал, что Алеша произносит слово «есть».

Дрожащими руками мальчик стал выжимать осотину в раскрытый рот незнакомца, измазал подбородок и щеки больного, но немного меда Алеша все-таки проглотил.

— А ну-ка, братша, давай подниматься да потянемся потихоньку! — вдруг решительно сказал Никодим.

Мальчику казалось, что тон его слов вольет бодрость в больного, прибавит сил ему самому, чтобы поднять незнакомца с земли и повести его на заимку.

Никодим схватил Алешу за плечи.

— А ну, ну еще, еще! — поощрительно закричал он, как кричал отец, помогая старому Пузану в гору.

Никодим окончательно убедился, что больного ему не поднять и, уж конечно, не довести до заимки.

«А что, если сделать плот и уплавить?..»

Мальчик вынул из-за опояски топор и побежал к ре-

ке. Перерубить сухостоину, накрутить виц и связать небольшой плот — все это казалось очень легким Никодиму, но, когда взялся за работу, дело оказалось и тяжелым, и сложным, и длительным.

Березовые вицы рвались, и их пришлось заменить ветвями акации. Даже затесать клин нужной величины и формы было не так просто. Еще труднее было удержать на быстром течении реки бревна, пока Никодим не догадался привязать их деревянными кручеными веревками.

Чтобы не замочить одежду, Никодим разделся. Его больно кусали слепни, но плот он все же сплотил.

Мальчик вернулся к Алеше. Незнакомец лежал все так же с закрытыми глазами.

— Ну, брат, подвода у нас с тобой готова. Надо подниматься...

Он с трудом сдвинул больного, чувствуя, что у него не хватает сил, чтобы протащить его хотя бы шаг. Никодим опустился рядом с Алешей и заплакал от злобы и обиды.

«Мураш в пять раз больше себя мертвую пчелу тащит, а ты?! Вот тебе и на полтора года старше... Надо бежать за матерью!..»

Но после того, как он сделал плот и уже представлял себя подплывающим на нем с найденным в тайге спасенным человеком, бежать на заимку за матерью Никодиму казалось невозможным.

«Попробую ко́том».

Мальчик опустился на колени и, напрягшись изо всех сил, перевернул больного на бок. Алеша застонал. Никодиму вновь удалось перевернуть его — сначала вниз лицом, потом лицом кверху.

Тропинка осталась позади...

Через час Алеша лежал на плоту. Винтовка, натруска, сапоги, штаны и шляпа уложены рядом. Никодим, босой, в одной рубахе, стоял на плоту с шестом в руках.

Покачивающиеся на волнах бревна рвались с привязи. Мальчик собрался было перерубить крученый деревянный канат, но свесившаяся с плота в воду рука Алеши натолкнула его на мысль привязать больного.

Мальчик перерубил причал и схватил шест.

«Вот теперь в добрый час, Никодим Гордеич!»

Плот рванулся и, качаясь на волнах, помчался мимо мелькающих берегов.

ГЛАВА XXIX

Несмотря на то что время уже перевалило за полдень, а на реке было прохладно, по разгоряченному лицу мальчика струился обильный пот, волосы слиплись, глаза горели возбужденно.

Только вскочив на плот, подхваченный быстрым течением, Никодим понял всю опасность своей затеи. Крутые повороты реки, мели и подводные камни, на которые налетал жалкий плот, перепугали его. А поваленные в воду ураганом деревья! А узкие рукава, куда неудержимо затягивало плот коварное течение!..

Сколько раз прыгал в Быструшку Никодим и, надрываясь, выводил свой «корабль» на большую воду. Сколько раз, налетев на подводный камень, падал он в реку со скользких бревен. И сколько же раз успел бы он утопить своего больного, одежду и винтовку, если бы не прикрутил их крепко вицами к бревнам...

Но все это уже осталось позади, а сейчас последний поворот к заимке. Скотный двор, мостик через Быструшку стремительно неслись на Никодима.

— Ма-а-а! Ма-а-а! — пронзительно закричал мальчик.

На его крик из избушки выскочила Настасья Фетисовна и бросилась к реке. Следом за ней поспешал и спотыкался дед Мирон.

Со стороны лужайки брел старый мерин Пузан. Конь, так же как и дед Мирон, часто останавливался, а на ходу сильно раскачивал головой, словно здороваясь с Никодимом.

— ...Я упал и пополз... Полз, полз, и вдруг — лежит... Лежит и не дышит уже... И совсем как мертвый...— Никодим, захлебываясь, рассказывал матери и подталкивал плот к берегу.

Глаза Настасьи Фетисовны были испуганно устремлены на человека.

— Скорей! Скорей! — торопил ее сын.

— Никушка, кто это? — спросила, наконец, мать, когда они подтянули плот на захрустевший под бревнами галечник.

Никодим взглянул на мерина, на дедку Мирона и вдруг рассердился:

— Туда же, весь народ на берег сбежался!..

Всю дорогу мальчик только и думал, как, появившись на плоту с найденным в тайге умирающим человеком, он увидит заимку, начиная от мерина до дедки Мирона. Очень хотел, чтобы к берегу собрались все, но теперь сурово нахмурился:

— После поговорим. Помогите, мама, человека в избу внести...

Настасья Фетисовна взялась было за крученую вицу и хотела развязать, но Никодим поспешно сказал:

— Я сам... Я сам...

Ударом топора он перерубил мягкие вицы, и они упали в воду. Мать с сыном с трудом подняли с плота вялое тело Алеши. Даже сквозь рубаху они чувствовали, что больной был в сильном жару.

— А ну, мама, поведемте! — И они сделали первый шаг.

Ноги Алеши, словно вылепленные из теста, подогнулись, и если бы не Настасья Фетисовна, крепко ухватившая больного за руку, и не Никодим, прочно расставивший свои ноги на берегу, он бы упал вниз лицом.

— А ну еще, ну еще! Да с одной ноги норовите...— помогал советами дед Мирон.

Настасья Фетисовна и Никодим сделали одновременный шаг с левой ноги и, приподнимая беспомощное тело незнакомца, повлекли к избушке. Ноги Алеши чертили землю.

Сзади поспешали дед Мирон и мерин Пузан.

Больного положили на лавку. Настасья Фетисовна стащила с Алеши продырявленные рыжие сапоги и порванную в клочья рубаху.

Горячее белое тело больного с отчетливо проступавшими ребрами, со втянутым, точно присохшим к позвоночнику, животом было страшно.

— Краше в гроб кладут...

Синие добрые глаза женщины стали влажными и темными. Настасья Фетисовна налила в чашку молока и подошла к больному.

Никодим решил разжать рот Алеше.

— Ложкой, ложкой, сынок...— посоветовал дед.

Остаток дня и ночь три человека на глухой таежной заимке провели у постели больного. Алеша плакал, кричал, проклинал какого-то Поликарпа. Просил есть и

снова впадал в тяжелое забытье. Свесившаяся с лавки худая, высохшая рука была горяча и беспомощна. Затаив дыхание, Корневы прислушивались к бреду больного.

ГЛАВА XXX

Настасья Фетисовна мочила полотенце в ледяной воде, выкручивала и прикладывала к горячему лбу больного. Через несколько минут полотенце становилось теплым, и она снова и снова мочила его.

Никодим заснул у ног Алеши. Ему снился пестун Бобошка, прикованный на железную цепь. Цепь толста и коротка. Медвежонок силился дотянуться лапой до миски с остатками щей, но черные когти его не доставали до миски. Голодный пестун визжал и рвался. Никодим хотел подойти к другу, чтоб подвинуть ему пищу, и не мог. Высохшие, худые руки и ноги не подчинялись ему.

А пестун рвался, визжал и смотрел на Никодима плачущими глазами. Короткое лохматое его тело на глазах у Никодима вытягивалось, худело. Вот на черной когтистой лапе звереныша вдруг появились длинные человеческие пальцы. Мохнатая шкура исчезла, и под ней показалась гармошка проступивших ребер... И уже это больной человек, а не медвежонок, прикованный на цепь, тянется к миске со щами и не может дотянуться и смотрит на Никодима большими плачущими глазами.

Никодиму тяжело. Он пытается подняться и помочь своему найденышу, но словно тяжелая гора давит на него, и он чуть шевелит пальцами. «Надо дать знать матери и дедке. Они рядом...»

Никодим напряг все свои силы, рванулся и крикнул.

— Чего ты стонешь, Никушка? — Над Никодимом стояла мать и щупала его лоб своей жесткой ласковой ладонью.

Никодим поднялся с лавки. На этой же лавке лежал Алеша. Полотенце белело на лбу. Кудрявые волосы растрепались на подушке. У печки дремал дедка Мирон.

— Это я, мама, во сне...— сказал мальчик. Ему было и стыдно, что он, как и дедка Мирон, уснул, и жаль не спавшей всю ночь матери.— Ложитесь, мама, уж я... теперь не засну.

На бледном, утомленном лице Настасьи Фетисовны скользнула чуть заметная улыбка.

— Когда же спать, сынок? Заря занялась. Чернушку доить пора да завтрак готовить...

Никодим взглянул в окно и увидел, что утро действительно наступило.

«Батюшки! Да ведь Бобошка-то у меня в наморднике!»

Никодим вспомнил об оставленном им пестуне.

«Умрет! С голоду умрет медвежишка! Да теперь, поди, и сдох уже... Шутка в деле,— с эдаким увечьем две ночи и целый день не пивши, не евши...»

Тихонько открыв дверь и ступая на носки, с подойником молока в руках в избу вошла Настасья Фетисовна.

— Ну как? — негромко спросила она с порога.

— Спит! — так же тихо ответил Никодим.— Вы, мама, смотрите за ним. Вам заодно теперь печку топить... А я побегу глухаришка промышлю. Харюзишек дедке на уху надергаю...

Никодим надел шляпу и выскочил в сени. Вместе с винтовкой он решил взять и удочку, чтобы на обратном пути наловить хариусов.

Утро было свежее, тихое. Никодим побежал к мостику через реку. Мерин пасся все на той же лужайке.

Никодим остановился.

— Да, брат Пузан, заботушка упала на мои плечи. Тут умирающий — сам ты его видел вчера — в жару, в беспамятстве, а там Бобошка в наморднике. Обоих жалко. Одним словом, хоть матушку-репку пой.— Мальчик махнул рукой и побежал к реке.

Но найти выводок глухарей, хотя его и давно выследил Никодим, оказалось не так просто. Да и найденные, они поднялись в такой крепи, что охотник только услышал их взлеты, а куда улетели, не заметил.

Никодим знал, что в соседнем логу живут два выводка тетеревов. Разрытые муравьиные кочки, перышки птиц, принимающих пылевые ванны в кротороинах, и свежий помет — лучшие признаки. Но стрелять тетеревят на лету из винтовки было невозможно, а на деревья молодые тетерева еще не садились.

Мальчик решил попробовать применить способ, которым пользовался отец в охоте на молодых тетеревов. Он вырубил небольшую березку, с кудрявых ветвей вершинки обдергал листья.

«Вот и ружье. Не совсем дальнобойное, но попытаю: на фарт[1] мужик репу сеял...»

К Никодиму вернулась вся его самоуверенность и энергия. Найти тетеревов в узком логу труда не составляло. Никакая другая птица не держится с таким постоянством на облюбованном месте, как тетеревиные выводки.

Первой с оглушительным треском и квохтаньем поднялась ржаво-серая тетера. Никодим поднял березку над головой и сделал еще несколько шагов. Вырвавшийся из-под самых ног тетеревенок тоже улетел «без выстрела». Но зато второго поднявшегося молодого черныша охотник так ловко сшиб березкой, что он, не вылетев из густой травы, беспомощно забился, накрытый ветками.

Еще двух отпустив «без выстрела» и одного убив, Никодим побежал к реке.

Дрова не прогорели в печи, как охотник принес десяток крупных, жирных хариусов, нанизанных на кукан из ивового прута, и пару молодых тетеревов.

— Ну как? — шепотом спросил он Настасью Фетисовну.

— Плохо. Все в жару.

— Дела!..

Никодим ни слова не сказал о добыче, но по лицу матери заметил, что она увидела птицу и рыбу и восхищается стремительностью его лова.

Ему хотелось похвастать: «Все равно что из ящика взял и харюзов, и тетеревят», но он удержался и, словно про себя, закончил:

— Табашные, надо прямо сказать, табашные делишки...

ГЛАВА XXXI

Медвежонок поправлялся, но сломанная передняя лапа и растянутая задняя прочно приковали его к месту. Попытки передвигаться на животе причиняли острую боль. Пестун стонал и визжал. К наморднику, надетому Никодимом, звереныш относился явно враждебно. С первой же минуты он всячески пытался избавиться от него, но, чтобы поднять к голове здоровую левую лапу сидя, нужно было опереться на сломанную правую. Встать же

[1] Фарт — счастье.

на дыбки и орудовать здоровой передней лапой он тоже не мог из-за больной задней ноги.

Пестун неистово крутил головой, терся о кустарник, о камни, но сплетенный из прочных ивовых прутьев и крепко завязанный под шеей намордник словно прирос к голове.

Всю ночь после ухода Никодима медвежонок промучился с плетенкой. Вытолочил траву на полянке, расцарапал о кустарник пораненное ухо, но избавиться от ненавистного намордника не мог. От бешенства пестун ревел на все ущелье. Перед утром затих: стал ждать Никодима с едой.

Чтобы заметить появление мальчика раньше, медвежонок пополз на бугор, положил голову на кочку и лежал, чутко прислушиваясь. Совсем близко бегали и пищали мыши. В другое время он бы ловил и глотал их. На солнцепеке пронзительно «купикали» жирные сурки. Одного сурка медвежонку хватало на сытный завтрак. Легкими, пружинистыми скачками проскакал на заре по набитой горной тропе архар.

Теплая тихая ночь была полна движения и скрытой жизни. Недалеко от больного медвежонка, на каменистом увале, нора лисицы. А вот и сама она, позевывая и в то же время осторожно озираясь, вылезла из своего логова и потянула по увалу, распустив пушистое прави́ло[1].

Дважды сверкнули зеленые огоньки волчьих глаз в прогалах пихтача.

Проснулись жадные кедровки и истерически закричали, заскрипели, растаскивая по расселинам утесов урожай кедровых орехов. Сколько раз пестун выслеживал их склады и выедал начисто все запасы!

Взошло солнце и выпило с трав и кустарников прохладную росу. В воздухе прозвенела пчела. Медвежонок поднял уродливую в наморднике голову в небо.

Ах, если бы не ноги, как бы вскочил пестун и помчался за нею! Пчела скрылась, но звереныш все еще не опускал головы с настороженными ушками. Появившаяся над медвежонком сорока отвлекла его от пчелы. Глупая назойливая птица громко стрекотала на вершине березы. Потом опустилась ниже и, вертя приплюснутой головой, рассматривала пестуна разбойничьими черными глазами.

---

[1] Прави́ло — хвост.

В другое время пестун огрызнулся бы и прогнал ее, но теперь он положил голову на кочку и закрыл глаза.

Солнце поднялось высоко, стало жарко, а еды все не было. Несколько раз медвежонку чудились шаги мальчика и даже голос, со звуком которого в представлении звереныша неразрывно была связана пища. Пестун радостно визжал и нетерпеливо ерзал с высоко поднятой головой.

Но ни шагов, ни голоса не повторялось, и медвежонок затихал. Стянутая прутьями голова звереныша снова падала на траву.

Наконец пестун не выдержал и пополз.

При переходе через ручей он невольно оперся на сломанную, толстую и тяжелую от лубка лапу. Боль пронзила его до самого предплечья, но он почувствовал, что опираться на нее можно. Хромая и визжа от боли, пестун заковылял на трех ногах.

Следы друга сошлись в одну большую тропу. Пестун побрел по ней. Тяжелее всего было передвигаться в гору и по камням. Шаг звереныша был короток. Брел он, уныло опустив голову, поминутно рявкая от боли.

Человеческое жилье, вынырнувшее из-за поворота, медвежонок увидел впервые. Оно и испугало, и обрадовало его. Следы мальчика, близкой еды вели прямо к нему. Невдалеке от страшной человеческой берлоги пасся черный зверь с острыми короткими рогами и длинными, как у лося, ушами.

Медвежонок припал к земле. Глаза его вспыхнули. Но рогатый зверь заметил его, испуганно и протяжно замычал и, треща кустарником, кинулся прочь.

Звереныш встал и побрел. Запахи человека угрожающе обступали его со всех сторон. К знакомым следам Никодима примешивались незнакомые. Шерсть на загривке поднялась. Медвежонок остановился и в нерешительности топтался на месте. Но голод пересилил чувство страха, и он шагнул к берлоге двуногого зверя.

Пасшийся на поляне старый Пузан поднял длинную голову, навострил уши и, раздув ноздри, храпнул. Пестун, обходя коня, прохромал стороной. У избы все следы разом оборвались. Медвежонок насторожился. За стенами избы он отчетливо услышал голос Никодима.

Забыв об осторожности и боли, медвежонок бросился к жилью человека, но стукнулся лбом в стенку и изумленно остановился.

Он решил обойти берлогу, поискать лаз в середину, где так хорошо слышен был знакомый ему голос. Но лаза в берлоге не было. Только со стороны реки медвежонок обнаружил небольшое прозрачное отверстие. Голос Никодима в этом месте слышался много громче.

Пестун осторожно подошел к окну и, заглянув сквозь щели прутьев в наморднике, увидел своего коварного друга.

ГЛАВА XXXII

Дед Мирон сидел на голбчике против окна и слушал рассказ внука, как он охотился на тетеревят.

Никодим устроился на лавке лицом к деду.

В избушке и днем было сумеречно, но вдруг стало совсем темно. Дед Мирон вскинул слезящиеся, подслеповатые глаза на окно и замахал руками:

— Цыля! Да тпрусь ты, окаянная! Окно! Окно выдавит! Стрель ее в бок!..

Настасья Фетисовна подцепила из печки горшок с картофелем и повернулась с ним к столу. Взглянув в окно, она вскрикнула и уронила горшок: к стеклу прильнуло уродливое полосатое рыло.

Никодим тоже повернулся к окну.

— Бобошка! — вскрикнул он и опрометью кинулся из избы.

Настасья Фетисовна, дед Мирон — за ним.

То, что они увидели на дворе, еще больше испугало мать и деда. Никодим обнял за шею большого, величиной с годовалого телка, мохнатого медведя и, пронзительно визжа, развязывал какие-то прутья под страшной мордой. Он сорвал маску с головы медведя, и Настасья Фетисовна увидела лобастую голову, желтозубую пасть. А Никодим треплет загривок страшного зверя и прищелкивает языком:

— Цав, цав, цав, Бобошенька!.. Цав, цав, цав, миленький!

Дед Мирон шагнул к медвежонку, но пестун ощерил зубы и угрожающе зарычал.

— Ишь ты, ишь ты какой!..— попятился старик.

Ослабевшими руками Настасья Фетисовна схватилась за угол избы.

— Это еще откуда? — отступая к дверям, сказала она тихим, не предвещавшим ничего доброго голосом.

— Это... это, мама, мой Бобон Вахрамеич! — заикаясь от волнения, сказал мальчик.

Называя пестуна по имени и неожиданно придуманному отчеству, он хотел придать ему больше веса в глазах матери и деда.

— Это мой друг! По гроб жизни, мама...

— Вон. Вон отсюда этого друга!..— все еще пятясь к дверям, выкрикнула с перекошенным и бледным лицом Настасья Фетисовна.

Никодим взглянул на голодного, отощавшего медвежонка с лубком на правой лапке, со сбившейся перевязкой около уха, потом на мать, и крупные слезы побежали из его глаз.

— Мама! Мама! Я его раненого подобрал... Он у меня один, он умней всякого человека! — выкрикнул мальчик и то бросался к матери, то возвращался к пестуну. Забыв страх и осторожность, Никодим ощупывал раненое ухо звереныша и даже ногу в лубке.— Смотри, смотри, какой он... Цав, цав, цав, Бобошенька! — прищелкивал он языком звереныжу.

Медвежонок вытягивал морду, смешно чавкал губами и тянулся к руке Никодима бледно-розовым языком. Испуганная Настасья Фетисовна наконец рассмотрела чавкающие губы, просящие глаза медвежонка.

— Тоже, видать, голодный... Везет нам нынче на голодающих...

В тоне матери Никодим уловил первые мирные нотки. С мгновенно высохшими глазами он подбежал к ней и, схватив за руку, горячо заговорил:

— Я его, мама, дрова пилить выучу! Пчел диких разыскивать. Пасеку разведем! Медом зальемся!..

— Медведя!.. Медведя... заместо пасечника посадишь... Никушка! Никушка ты мой!..

Она крепко прижала сына к груди, и Никодим не вырывался, не протестовал, как бы он непременно сделал это при других обстоятельствах, а приник к матери всем своим телом, поймал большую жесткую ее руку, и первый раз в жизни крепко поцеловал.

— Он, мама, ловкий. Как уток в болоте ловит!.. Как пчел дозорит!.. Я его всему выучу. В сани запрягать буду... Сено на нем буду возить. Пузанка-то не сегодня-за-

втра ноги вытянет...— Прижимаясь к матери, Никодим и говорил и, не отрываясь, смотрел ей в лицо, но по выражению ее глаз он еще ничего не мог понять.

И вдруг на помощь Никодиму пришел дед:

— А ты не смейся, дочка. Медведь — он, правильно, умней которого человека... И если с молодых годов его... Вон цыганы и плясать, и горох воровать, и разные штуки проделывать медведей выучивали...

Никодим перебежал к деду и взял его за руку. В этот миг он навсегда простил дедке все его обиды и насмешки.

— Вы, батюшка, известный потворщик! — примирительным тоном сказала Настасья Фетисовна.— Вот погодите, он вам, этот умник, натворит... Еще Буланку не задрал бы. А Чернуха! Да она и во двор не зайдет, почуя эдакого страхилу...

— Это, мама, моя забота. Я их так подружу — водой не разольете.

— Вот погодите, отец приедет, он вам покажет медведя...— сказала мать, но внук и дед поняли, что она сдалась и ссылкой на отца лишь прикрывает отступление.

— Да уж батя... Батя-то сродушки за медведка ничего не скажет! — Никодим гладил Бобошку за ухом и, заметив сбившуюся на сторону перевязку из штанины, потихоньку отвязал, уронил на землю и незаметно наступил на нее ногами.

— Да чем ты ему этакую брюшину наполнишь? Он с руками, с ногами съест...

— Об этом не думайте, мама... Как только лапки подлечу ему немножечко, я его на подножный корм определю... Вы не смотрите, что он будто с виду кургузый да толстый,— он все на свете поймает... А насчет Пузана и Чернушки... будьте спокойненьки... Я его в такой бараний рог скручу, что он и глядеть на них не посмеет...

Никодим воспрянул духом. Бездействовать он уже больше не мог. Мальчик сбегал в сени и притащил кусочек меда. Он протянул медвежонку осотину.

— Цав, цав, цав, Бобошенька!..

Пестун раздул черные ноздри и захромал к мальчику.

— Двигай, двигай, калекушка! — он стал зазывать его в открытые двери сеней.

Медвежонок вошел за ним, как собака. Никодим угостил его медом и снова вывел во двор.

— Видели, мама, какой он у меня...

Настасья Фетисовна махнула рукой и пошла в избу. Вслед за матерью прибежал Никодим.

— Тебе, поди, молочка надо для твоего чертушки? — в упор спросила Никодима Настасья Фетисовна.

Мальчик поднял на нее раскрасневшееся лицо и сказал:

— Пожалуй, дайте немножечко... Самую малость...

Никодим выскочил за дверь и явился с лоханью.

ГЛАВА XXXIII

Болезнь Алеши затягивалась. Истощенный организм плохо боролся с воспалительным процессом в легких. Настасья Фетисовна дни и ночи просиживала у постели больного. Вся работа по хозяйству легла на Никодима.

Мальчик с радостью взвалил на себя все заботы... Сознание, что он единственный кормилец, глава так неожиданно увеличившейся семьи, окончательно изменило его характер.

— Вы, мама, соберите все, что требуется. Завтра я чем свет отправлюсь на покос. Зима не за горами. Вот-вот погода испортится...— сказал Никодим и полез на полати. (Перед большой и тяжелой работой отец также с вечера распоряжался и рано ложился спать.)

Но серьезности хватило ненадолго. Никодим вспомнил о пестуне, устроенном в углу сеней на охапке моха: «Сбегаю на минутку к пестунишке,— ночь длинна, выспаться успею...»

Никодим слез с полатей и выскользнул за дверь.

— Бобош, ты где?

В сумраке сеней завозился и радостно взвизгнул медвежонок. Мальчик увидел светящиеся глаза звереныша и двинулся к пестуну, но по дороге споткнулся о пустое ведро.

— Наставлено тут — черт ногу сломит!..— в точности как отец, заругался Никодим. Он шел ощупью, широко разведя руки.— Ну, Вахрамеич, к тебе добраться в эдакой темноте!..

Медвежонок возбужденно топтался и тихонько повизгивал. Когти его стучали по деревянному полу. Наконец рука мальчика коснулась головы пестуна.

— Ну, Бобошенька, как тебе новая квартира?.. Ничего? Никодим знал, где тебя устроить. И мягко, и за ветром, и какие остатки от обеда выставить — под рукой...

Мальчик присел на корточки. Медвежонок шумно обнюхивал лицо и голую теплую шею друга. Холодным, влажным носом он прикасался к нему, и Никодим вздрагивал.

— Сопатка у тебя как лед стала. Видать, наше дело в гору пошло... А я, Бобоша, завтра иду траву косить. Все думаю, взять ли тебя с собой, да не знаю, как у тебя ноги... Тяжелая, брат, работа переросшую траву косить, но ничего не поделаешь. Сам знаешь: и Пузан, и Чернушка. Твое дело барсучье — за лето сала накопил, а зиму спи да спи... Скотина же в мороз сено как на мельнице мелет...

Раздетый Никодим продрог, но уходить от ласкавшегося пестуна не хотелось. Мальчик чесал звеpенышу за ухом. Медвежонок ласково урчал. Никодим проводил ладонью по животу, и пестун, раскинув лапы, валился на бок. «Слаще меда, вижу, ласка тебе, свиненышу...»

Медвежонок явно соскучился о друге. От сидения на корточках ноги у мальчика затекли.

— А ведь мне пора, Бобошук, давно пора...

Но медвежонок терся головой о грудь Никодима, старался просунуть холодный нос в пазуху, под рубаху.

В неплотно прикрытую дверь Настасья Фетисовна слышала разговор сына со зверем, и улыбка не сходила с ее лица.

— Однако будем прощаться. А ну, дай лапку! Лапочку дай, Бобоша! Да правую, правую дай,— экая необразованность...

Скрипнула дверь, Настасья Фетисовна тихонько засмеялась и отвернулась к окну.

Никодим шмыгнул на полати.

Настасья Фетисовна в сумку Никодима положила два горячих, дымящихся калача. Запах свежевыпеченного хлеба наполнял избу.

Так рано и так заботливо она всегда собирала мужа. А вот теперь мать собирала его, Никодима. И не отец, а уже он завтракал, когда за окном еще чернела ночь. Мальчик взглянул последний раз на белеющее в сумраке лицо больного, на мать и тихонько сказал:

— Ждите меня к ночи, мама! А медвежишку я, пожалуй, с собой возьму...

Никодим тихонько открыл дверь. Пестун, казалось, только и ждал появления мальчика. Он завозился на подстилке, поднялся и захромал навстречу.

— Ну, как ночевал, друг? А ведь я надумал тебя с собой на покос взять. Скучно тебе одному здесь будет...

Медведь лизнул руку мальчика.

— Обрадовался, дурашка! Повремени чуток — я медишку для тебя прихвачу...

Никодим положил в сумку осотинку меду, перекинул винтовку через плечо, взял косу, и они вышли.

Густо-синее небо в звездах. Похожий на скалы, на зубчатые стены волшебного замка, чернел, громоздился за рекой лес, и сквозь узорные ветви его сверкал золотой рог ущербленного месяца. Россыпью переливался Млечный Путь. Волны речонки, залитые фосфоресцирующим серебристо-голубым светом, казались живыми. Переплеск их напоминал мотив знакомой песни. Воздух был свеж и хрусток. Сладко и тонко пахло можжевельником, грибами, лесными травами, тронутыми первым инеем.

— Хорошо, Бобошонок!

Маленький хозяин в этот первый свой выход на тяжелую работу был настроен необыкновенно бодро. Узенькой тропкой он направился через луговинку, где паслись мерин и Чернушка. Пестун увидел их, остановился на тропинке и стал шумно нюхать воздух. Глазки его сверкнули. Он испуганно оглядывался, и по всему было видно, что звереныш не прочь удрать в сени.

Заметил медвежонка и конь — насторожил уши и захрапел. Чернушка тоже перестала щипать траву и угрожающе наклонила рогатую голову.

— Вы что же это, друзья! — укоризненно закричал мальчик.— До каких пор крыситься друг на друга будете? Пузан! Бобошка! Идите сюда! — приказал он, но ни лошадь, ни медвежонок не двинулись с места.

Никодим бросил косу, достал из сумки кусок хлеба и осотинку меду...

— Цав, цав, цав, Бобошенька! — протягивая в правой руке пестуну мед, манил мальчик, а в левой протянул хлеб мерину и тоже подзывал его: — Иди, да иди, старый хрычище!..

Первым преодолел робость пестун: мед влек его не-

удержимо. Припадая на больные ноги, он приближался к мальчику.

— Пуза! Пузанька!..— уговаривал мерина мальчик и тихонько подвигался к коню.

Наконец и лошадь почуяла хлеб, медленно двинулась навстречу. Никодим дрожал от нетерпения. Медвежонок подобрался близко и смешно вытягивал губы, но мальчик отодвинулся еще дальше.

Чернушка стояла, словно высеченная из гранита.

Наконец и мерин, и пестун вплотную приблизились к Никодиму. Мальчик всунул мерину хлеб в губы. Медвежонок слизнул мед с ладони Никодима. Конь начал перекатывать хлеб на остатках зубов.

— А теперь, Бобон Вахрамеич, и на покос! Посторонись-ка, Пузан!

Никодим отогнал мерина с тропинки, взял косу, и они пошли. Пестун все еще боялся лошади, шел, поджимая зад, словно ожидая удара. Он озирался то на мерина, то на Чернушку с выставленными рогами.

ГЛАВА XXXIV

Работая, охотясь, собирая ягоды и грибы, Никодим не переставал наблюдать жизнь тайги. В лесу он отмечал все новости и происшествия в жизни зверей и птиц: кто кого съел, у кого прибавилась или убавилась семья. От острого глаза молодого следопыта не ускользало ничто.

Так, он неожиданно обнаружил, что во время грозы лисы лают, как собаки, что большинство зверей и птиц необычайно любопытны и нередко следят за ним, когда он греется у костра или отдыхает в гуще кустарника. Разжигая их любопытство, Никодим часто проделывал забавные штучки. С середины большого горного озера он подманивал осторожных гусей к берегу, подбрасывая из камышей в воздух войлочную шляпу. Иногда мальчик обманывал гусей простым приемом: задрав кверху ноги, двигал ими. Подплывшие птицы платились за любопытство, а молодой охотник придумывал новые способы охоты.

Так подсмотрел Никодим, что колонок, поймав крупную добычу, которую не в силах ни съесть сразу, ни унести, оставляет ее, но кладет на добыче «свой знак» мочой.

Ежедневно Никодим читал увлекательнейшую книгу тайги, раскрывая лики зверей и птиц с какой-то новой, неведомой ему доселе стороны. В лесу с прирученным медвежонком мальчик чувствовал себя как с верным другом. Пестун всюду ковылял за Никодимом — теперь уже без повязок и лубков. Нередко звереныш заменял мальчику охотничью собаку, издалека причуивая зайца в кустах или козла на горном хребте.

Настасья Фетисовна смеялась над неразлучными друзьями.

— Батюшка! Смотрите, смотрите, вон наши охотнички домой возвращаются! — улыбалась она деду Мирону.

— Чем ты прикормил его, толстолобого,— от ног не отходит. От матери отбился со своим пестуном. Меня даже зависть берет. Женю, однако, я тебя, Никушка, на медвежонке — сноха у меня будет мягкая да гладкая.— Настасья Фетисовна весело смеялась и привлекала сына к своей груди.

Однажды Никодим с пестуном удили хариусов. Рыбак в засученных до колен штанишках стоял в воде и время от времени бросал другу холодную, упругую рыбу. Медвежонок, сидя на берегу, ловко хватал трепещущую добычу на лету, аппетитно хрустел и чавкал. Никодим каждый раз оглядывался на пестуна и смотрел, как звереныш съедал хариусов.

Но вдруг медвежонок замер. Голова его была повернута вверх, против течения реки. Никодим взглянул и увидел лисицу, забредавшую в воду с клочком сухой травы в зубах. Для купания лиса выбрала неглубокое, но быстрое место и подвигалась так медленно, что шерсть ее должна была промокнуть насквозь.

Пестун и Никодим не отрывали от нее глаз.

Вот лиса вошла в воду так глубоко, что на поверхности осталась видна только голова с бархатисто-черными острыми ушами. Вдруг лиса поднялась на задние лапки, словно перед прыжком на мышь, а передними стала быстро-быстро сметать что-то с мордочки и из-за ушей. Проделывала все это она старательно и довольно долго. Потом, бросив клок травы, лиса выскочила из воды и исчезла в зарослях. Траву, покачивая на волнах, понесло к ногам рыбака.

Никодим поймал клочок и увидел, что сено густо усеяли блохи.

— Бобошка! Да ведь это она блох выживала!..

Пестуна тоже донимали блохи. Никодим затащил медвежонка в воду и, погружая звереныша все глубже и глубже, заставил выбравшихся из шерсти пестуна блох пропутешествовать по реке на листе лопуха.

Выкупанный медвежонок вырвался из рук, отряхнулся и обдал Никодима брызгами.

ГЛАВА XXXV

Выздоровление принесло Алеше неимоверный аппетит. Когда он ел, ложка в исхудалых руках тряслась. За завтраком Алеша мечтал о том, что будет есть в полдень.

Ночью им безраздельно завладевал страх.

Больше всего Алеша боялся кроткого, тихого деда Мирона: «Подозрительное лицо! Страшно подозрительное...» Алеша боялся и Настасьи Фетисовны, и даже смешного, веселого Никодима. Мальчик несколько раз приводил к нему ручного своего медведя и рассказывал забавные истории про него.

Даже стены избы казались враждебными Алеше: «Нет, предчувствие еще никогда не обманывало меня...» Алеша не спал длинные осенние ночи, прислушиваясь к вою ветра и шуму тайги. Ждал — вот-вот откроется дверь, в избу ворвутся вооруженные люди и крикнут: «А, голубчик, вот где ты!» Алеша напрягал зрение и слух: ему чудился, явственно чудился топот лошадиных копыт на дворе, лязг оружия.

Алеша прижимался к стене. Ровное дыхание Настасьи Фетисовны и возня Никодима на полатях ненадолго успокаивали расстроенное воображение больного. «Ждать беляков в такой глуши — нелепость... Нелепость...» — убеждая себя, твердил он.

Задолго до рассвета поднималась Настасья Фетисовна и разжигала приготовленные с вечера дрова в печи. Экономя керосин, женщина не зажигала лампу и при отблесках огня из печки бралась то за раскройку холста на мужские рубахи, то за шитье штанов.

«Кому шьет она? Где ее муж? Кто отец Никодима?..»

В печи нагорали угли. Настасья Фетисовна откладывала шитье и готовила завтрак. Судорожные спазмы подступали к горлу больного. Он следил за ее руками, слу-

шал шипение сала на сковороде и жадно вдыхал вкусные запахи, наплывающие от печи.

Целыми днями Алеша потихоньку наблюдал за семьей Корневых. Подозрительность его росла. Как-то вечером, когда дед спал, а Настасьи Фетисовны не было, Алеша решил выведать у мальчика, кому шьет рубахи его мать. Никодим потупился и ничего не ответил.

Тогда Алеша начал расспрашивать Никодима о тайге, о близком осеннем промысле.

— Как же ты думаешь один прокормить и мать, и деда? — приблизив бледное лицо к загорелому лицу мальчика, спросил Алеша.

— То есть, мне это раз плюнуть! То есть, десять дедок, десять матерей и сотню Бобошек прокормлю! — гордо и заносчиво ответил Никодим.— Ты, я вижу, все по росту моему судишь. А рост — дурак. Другой и большой, да пустой... Вот подожди...

Никодим рассказал, где и сколько он присмотрел белок, где нарубит ловушек для колонков и хорьков, как будет стрелять рябчиков и тетеревов по первым снежкам на чучела.

— Тайгу, брат, я знаю навылет. И зверя в ней тоже знаю... Недаром отец сказал мне: «Ну, Никодимша, на тебя оставляю и мать, и все хозяйство...» А уж мой отец!..

В избу вошла Настасья Фетисовна и строго взглянула на сына. Сердце у Алеши похолодело, и он бесповоротно решил: «Бежать!..»

Вечером, краснея и запинаясь, Алеша рассказал придуманную им неловкую историю, как он отстал от колчаковского отряда и заплутался в тайге.

Никодим смотрел Алеше в лицо, и глаза его смеялись. Алеша понял, что даже мальчишка Никодим не поверил ему.

— Видать, одежка-то у Колчака — что шляпа, что сапоги, что рубаха...— не выдержав, громко рассмеялся Никодим.

Алеша сел на постели. На бледном лбу его выступила испарина. Он чувствовал, что, начав разговор, должен убедить их в правильности сказанных слов — иначе гибель.

— Конечно же... Конечно, заблудился... А что рубаха, штаны и шляпа на мне, так это с хитростью...

Настасья Фетисовна сидела у печки, и глаз ее Алеша не видел.

— Нарочно переодели меня, чтоб легче выследить, где скрываются по тайге партизаны...

Алешу удивило, что Никодим вдруг отвернулся от него, но по вздрагивающим плечам его чувствовал, что мальчик с трудом удерживает смех.

— Пойду-ка я к скотам своим,— сказал Никодим и, пряча от Алеши глаза, вышел на двор.

Алеша лег.

Настасья Фетисовна вскоре уснула, а Никодима все не было.

Разгоряченное воображение Алеши рисовало картину за картиной: вот Никодим седлает коня и скачет в ближайшую станицу; вот выехали белые и, побрякивая шашками, двинулись по таежной тропинке.

Лежать он больше не мог, тихонько поднялся, натянул сапоги и двинулся к порогу.

Алеша взялся за скобку двери, но услышал разговор Никодима с пестуном в сенях:

— ...А как врет он, как врет, как сивый мерин... Знаем мы, какой он тайный колчаковец... Он большевик. Из тюрьмы. Сам в бреду выболтал.

Алешу точно кипятком обдало. Он, шатаясь, добрел до постели, упал на нее и обхватил голову руками.

ГЛАВА XXXVI

Холодная, слезливая осень налетела вдруг. Всю ночь за стенами избушки свистел, завывая в трубе, ветер. Тайга стонала, ревела и только на рассвете затихла, а из низко нависших туч посыпался мелкий, затяжной дождь.

Утром полураздетым выскочивший к медведю в сени Никодим вернулся в избу с красным носом и подбежал к печи:

— Ой, мама, надевайте зипун! Осень на рыжей кобыле приехала!..

Алеша посмотрел в окно и увидел, что зеленая железная крыша мокрых лесов за рекой в одну ночь проржавела. Рябины, осинники загорелись огненно-желтыми шапками.

— Действительно, осень на дворе...— согласился он.

И дневной ли свет, простые ли слова мальчика о рыжей кобыле успокоили Алешу.

«Нет! Не могут они меня предать! Избушка беднее бедного...»

А когда в полуоткрытую дверь избы просунул лобастую голову пестун, завизжав просительно, и дед Мирон сказал внуку: «В тепло просится! Впусти его, сынок! Всякую тварь жалеть надобно...»,— ночные страхи Алеши окончательно прошли. Алеша благодарными глазами взглянул на старика и с трудом удержался от слез.

Никодим гостеприимно распахнул дверь, и на пороге они увидели пестуна на задних лапах с охапкой моха.

— Э, да ты, дружище, с постелью! А ну, заходи! Заходи живей! Избу выстудишь,— засмеялся Никодим.

Пестун с охапкой моха был так смешон на своих мохнатых ногах, так забавно моргал, такой ум светился в круглых его глазах, что Алеша, как и Никодим, обрадовался ему.

Медвежонок сунулся сначала под стол, потом под кровать, повозился, посопел и снова вылез. Он внимательно осмотрел, обнюхал все углы в избе, не выпуская из лап постели. Потом подошел к широкому зеву подпечья, заглянул туда и решительно полез.

— Дедынька! Дедынька! Да он никак берлогу себе ищет! — радостно закричал Никодим.

Вскоре пестун завозился, зафыркал, загремел в темном подпечье. Алеша с Никодимом увидели, что медвежонок выгребает оттуда закатившиеся картофелины, выпихивает клюку, ухват и сковородник.

Никодим подбежал к Алеше, схватил его за руку и, задыхаясь от смеха, выкрикивал:

— Смотри! Смотри! Хозяин! Квартиру!..

К приходу Настасьи Фетисовны пестун выгреб из подпечья все ненужное и вылез в пыли и клочьях моха.

— Мама! Мамунечка! Бобошка! — Никодим бросился к матери и чуть не сбил ее с ног.— Бобошка! Берлогу под печкой! Ваши ухваты... к чертовой бабушке!..

После завтрака пестун исчез в лесу и не показывался на заимку, несмотря на надвигающийся вечер. Никодим и в первый раз поднявшийся с постели Алеша забеспокоились, то и дело выходили во двор и звали медвежон-

ка. Исчезновение забавного пестуна незаметно сблизило их. Они строили всевозможные догадки.

— Не понравилось, значит, ему под печкой, вспомнил об ущелье и убрался. Сколько зверя ни корми, видно...— Никодим с трудом удерживался от слез.

Но Алеша, дед и даже Настасья Фетисовна всячески утешали мальчика.

— Близкую зиму чует медведок — вот и подался в тайгу корешки жрать. Пожрет — прочистит ему кишки, он и ляжет. Какой праздник у нас над головой, дочка? Уж не святой ли Дмитрий Солунский? [1]

Настасья Фетисовна подтвердила догадки свекра.

— Так я и знал! Дмитрий Солунский завсегда перевозу не просит. Речки мерзнут, а медведь в мерлог [2] ложится. И никакими силами не удержишь ты об эту пору своего медвежонка...

Поужинали, а пестуна все не было. Никодим разделся, но не лез на полати и, лишь только Настасья Фетисовна затушила огонь, юркнул на постель к Алеше.

— Где-то наша забубенная головушка?..— тихонько шепнул он.

Алеша крепко обнял мальчика и долго не выпускал. В эту ночь они проговорили до рассвета. Несколько раз выходили во двор, кликали пестуна, ждали и снова ложились в постель, прижавшись друг к другу. Никодим рассказывал Алеше про пестуна, про тайгу и про зверей, Алеша — про Москву, «в которой жил его близкий товарищ»; о том, как «этот товарищ» попал в тюрьму, бежал от белых, тоже заблудился в тайге и чуть не умер от голода...

Лица Никодима не видел Алеша, но по тому, как мальчик, затаив дыхание, слушал его и как все доверчивей прижимался к нему, он чувствовал, что Никодим всецело на стороне «его товарища»...

Уснули они, как показалось им, на одну минутку, но Настасья Фетисовна уже будила их:

— Да вставайте же! Явился ваш Бобошка. Поджарый. Есть ничего не стал и без разговора прямым трактом под печку...

---

[1] 26 октября старого стиля.

[2] Мерлог — берлога.

ГЛАВА XXXVII

В ожидании охотничьего промысла Никодим и Алеша направили старенький шомпольный дробовик, с которым охотился еще дедка Мирон. Ствол у дробовика был рыжий от ржавчины, в двух местах на нем белели оловянные заплатки, но стрелять из него было еще можно.

Алеша уже выходил во двор и с радостью помогал Никодиму в его несложном хозяйстве. Настасья Фетисовна подарила Алеше новое холщовое белье, свой новый зипун с расшитым плисовым воротником, а дед Мирон — заячью шапку.

Первый раз, когда они всей семьей весело и любовно обряжали Алешу, ему хотелось схватить их всех в охапку, и целовать, и смеяться, и плакать. Но усилием воли он подавил свои чувства и только краснел и застенчиво улыбался под сияющими их взглядами.

В зипуне Настасьи Фетисовны, подпоясанном цветной домотканой опояской, и в заячьей шапке деда Алеша походил на молодого деревенского парня.

Ежедневно после ужина Никодим выходил во двор и с замиранием сердца прислушивался: не фыркает ли Пузан перед переменой погоды? Пытливо глядел на небо: не наливаются ли снеговые тучи? И, наконец, дождался. Снег начал падать с вечера и шел всю ночь. Алеша и Никодим несколько раз выбегали во двор и подолгу стояли, наблюдая, как безмолвно преображается земля.

Мягкие хлопья бесшумно падали на тайгу, на побуревшую, точно притихшую реку. Ультрамариновые сумерки отстаивались меж колонн деревьев. Тихо и торжественно обряжалась тайга в парчовые одежды.

Говорить не хотелось.

Свет лампы из окна избушки по-новому — золотым искристым лучом лег на снежную пелену. И еще синей и гуще придвинулись сумерки к самым стенам таежной заимки.

— Ну, Алексей, пойдем! А уж завтра пороша!.. Всем порошам пороша будет!

Завтракали при огне. Никодим ел торопливо, часто поглядывая на окно. Насколько Никодим спешил во время завтрака, настолько медленно и обстоятельно одевал-

ся. Несколько раз он тепло запахивал зипунчик, туго перетягивал его опояской. Потом делал взмах руками, словно прикладывал винтовку к плечу, снова распоясывался и пробовал свободу движения рук, перетянув себя опояской.

Ружья и лыжи приготовлены были с вечера. Алеша, спортсмен и лыжник, робко встал на широкие подволоченные охотничьи лыжи. Шомпольный дробовик он повесил за спину. В руки взял длинный пихтовый каек — тормозить и управлять лыжами на крутых спусках.

Его удивило, что Никодим отказался от кайка.

Небрежным, как показалось Алеше, щегольским каким-то движением мальчик всунул ноги в юксы, присел почти к земле с вытянутыми вперед руками и легко подпрыгнул вверх на полметра.

Лыжи, подошвы сапог и весь корпус охотника составили одно целое. Подавшись слегка вперед, он заскользил беззвучно.

Алеша пошел следом. На дворе Никодим вынул из чурбака топор и сунул за опояску.

— Это еще зачем такую тяжесть? — не удержался, спросил Алеша, но по безмолвному и вместе с тем насмешливому взгляду мальчика понял, что в этот момент он потерял уважение и как охотник, и как старший на несколько лет.

— Без топора в тайге погинешь, как муха! — осуждающе сказал мальчик, и по тону его Алеша понял, что отныне Никодим безраздельно руководит им.

Через реку перешли по засыпанным снегом кладкам, неся лыжи на плечах. Под ногами вода казалась густой, буровато-желтой, и от нее дымными волокнами поднимался пар.

За рекой нырнули в синюю глубину леса.

Колодник, мелкий подлесок — все укрыло, засыпало, все сровняло. Тяжелые комья снега, повисшие на лапах дерев, гулко падали в мягкое ложе, обдавая охотников искристой пылью. За воротники зипунов, в рукава — всюду набивался пухлый снег и таял, обжигая разгоряченное тело.

— А лыжина в промысле сломится, а ночь пристигнет, а буря?..— неожиданно возобновил разговор о топоре Никодим и на ходу повернул к Алеше веселое, раскрасневшееся лицо с черными сверкающими глазами.

Алеша виновато улыбнулся и безнадежно развел руками. Никодим остановился, шагнул навстречу другу, молча снял шомпольный его дробовик с плеча, повернул стволом вниз и снова повесил ему за спину.

— То-то я вижу, лесное дело у твоих рук не бывало. Набьется в стволину снег, вгорячах выстрелишь, а его и ро́зорвет...

Он так и сказал: «ро́зорвет», припадая на «о», затем повернулся и заскользил по снегу. Охотники изрезали вдоль и поперек широкий увал тайги, сбежали в крутую падь, поднялись на следующий хребет, а следов белок не встретили. «Запала, окаянная!» — еще на первом увале определил Никодим.

Не удерживая лыж, он катнулся под головокружительный откос. Полы его зипунчика трепыхались от стремительного бега. Снежный вихрь крутился следом, густо запушил спину и шапку.

У Алеши замерло сердце, когда он, крепко опираясь на каек и тормозя, пустил с горы ходкие подволоченные лыжи. На первых же снежных наструга́х его подбросило, и он упал, зарывшись в снег головой.

Одна лыжина у него слетела и покатилась в лог, а когда Алеша спустился за ней, то увидел Никодима уже в полугоре следующего, еще более высокого хребта. Он таинственно махал шапкой, указывая на снег.

Запыхавшийся, красный и потный Алеша подошел к нему и опустился в мягкое, пухлое ложе.

Никодим указал на следы и изменившимся голосом сказал:

— Свежехонький! Видишь, куда отправилась.

Не глядя на след, Алеша утвердительно кивнул головой, желая только одного: подольше отдохнуть на снегу. Никодим не мог успокоиться. На крутиках поднимались зигзагами. Беличий след шел то открытой поляной, то густым пихтачом. Зверек часто поднимался на вершины деревьев и шел лесом. Никодим оставлял Алешу на «входном» следу, а сам окружал значительный участок тайги, отыскивая «выходной».

Алеша не знал, на какой пихте нужно караулить белку, так как путь ей ве́рхом по всем пихтам островка был открыт. Но мальчик посмотрел на вершины деревьев, покрутил головой по сторонам и уверенно сказал:

— Тут.

Алеша взглянул на указанную пихту и согласился, что белка действительно должна быть на этой, с густой разлапистой верхушкой, пихте. Но как они ни рассматривали переплетенные ветви, белки увидеть не могли.

— Стань здесь! — приказал Никодим.

Алеша взвел курок и приготовился. Никодим стесал небольшой лоскут мерзлой коры с дерева и с криком «Смотри!» ударил обухом по пихте. Голубой лентой белка метнулась по стволу. Алеша поймал ее мушкой, но зверек укрылся на другой стороне пихты. Заряд дроби, сшибая сучья и хвою, ударил в дерево, а пушистохвостая летунья перемахнула на другую вершину.

Никодим укоризненно посмотрел на Алешу и сказал, сплевывая:

— Разиня!

От второго выстрела Алеши белка тоже увернулась, и снова настиг зверька Никодим. Алеше казалось, что охотник, как собака, чует белку. Напуганный зверек, перепрыгивая с дерева на дерево, на мгновение подставил себя, и Алеша навскидку ударил по нему влет, как когда-то в Москве на стенде учился стрелять по летящей тарелочке.

Падая, белка зацепилась лапкой за ветку и повисла недалеко от вершины. Охотники бросали в нее палками, сучками, но они, не долетая, застревали в ветвях.

— Закоченела! На-ко, держи!

Никодим для чего-то снял шапку и подал ее Алеше. Потом стал снимать и зипунчик.

Алешу поразило упорство этого маленького человечка, отважившегося лезть на высоченную пихту в пол-обхвата толщиной. Но судьба сжалилась над охотниками: белка дымчатой сережкой упала в снег.

Никодим схватил ее и, подавая Алеше, сказал:

— Молодчина! Как ты ее на полету!..

Похвалу Никодима, которого в душе с первых же шагов в тайге Алеша окрестил «профессором», он принял как величайшую честь.

Охотники прокружили до обеда. Белки было мало. Никодим объяснил, что зверь после первой пороши целый день лежит «как дохлый». В диковинку ему снег — он и «стесняется».

После полудня мальчик все чаще и чаще взглядывал на курившиеся вершины гор. Потом он увидел белку, ме-

гущуюся по пихте сверху вниз с тревожным цоканьем. Они убили и ее.

Никодим сказал Алеше:

— Надо убираться. Видишь, горы топятся, белка свистит и мечется — быть буре.

Вдали от дома охотников настигла пурга. Старую лыжницу замело. Они шли ощупью, натыкаясь на пихты. Никодим время от времени останавливался и, казалось, по-собачьи нюхал воздух. К заимке они вышли с другой стороны, но вышли, по уверению «проводника», кратчайшей дорогой.

ГЛАВА XXXVIII

Красиво мертв лес. В серебряную броню закован: сквозной, прозрачный, в коралловых арках согнутых берез, в узорном сплетении обындевевших сосен и елей. Мятежный бег туч свинцовых. Горизонт низкий, густо-синий.

Поляны, испещренные хитрой прошивью стежек. Умолкшие ручьи, засыпанные кочи: широкое раздолье зверю...

Охотничий промысел опьянил увлекающегося Алешу. Стремительный бег на лыжах по глубоким хрустким снегам за уходящим зверем, азарт преследования и радость удачи, короткие отдыхи у разведенного на снегу костра, величавое безмолвие зимней тайги, крепкий сон без сновидений заслонили от него мир с его борьбой, страданиями и горем.

Мускулы Алеши наливались и крепли. За время болезни он вытянулся, повзрослел, плечи раздались. Бледное, худое лицо его, как и у Никодима, покрылось полудою морозного темно-вишневого загара, а над верхнею губой загустел пух.

Охота сдружила мальчиков.

Хмурый, замкнутый, с виду суровый, Никодим на самом деле был необыкновенно весел, открыт, прост и доверчив... Доверчив во всем, кроме одного: десятки раз заводил с ним разговор Алеша о колчаковщине, о партизанах — Никодим отмалчивался или заговаривал о другом.

Как-то, гоняясь за подраненной лисицей, они пересекли свежий лыжный след, а вскоре увидели двух человек,

вооруженных трехлинейными винтовками. За плечами необычных лыжников были тяжелые сумки.

— Кто это? — догнав Никодима, спросил Алеша.

Мальчик помолчал немного и не располагающим к разговору тоном ответил:

— Мало ли по тайге народу шляется...

След лыжников шел от корневской заимки, и Алешу еще больше удивило, что вечером ни Настасья Фетисовна, ни дед Мирон не сказали о людях, побывавших у них. Посещения заимки неизвестными людьми, после того как сковало болота, ручьи и реки, стали часты. Ночи напролет Настасья Фетисовна кроила из грубого крестьянского холста мужские рубахи и шила. Из овечьей шерсти вязала варежки с указательным пальцем на правой.

Однажды ночью Алеша услышал топот множества лошадей на дворе. Проснулся и испуганно затаился.

В окно тихонько стукнули. Настасья Фетисовна, накинув зипун на плечи, вышла и открыла сени. Мороз за ночь усилился. Снег скрипел и взвизгивал под ногами.

В избу, вслед за хозяйкой, с белым клубом мороза вошел человек. Был он приземист и широкоплеч. На усах и бороде густо осел иней. Казалось, в зубах он держал зайца. Военная шинель ловко сидела на нем. Настасья Фетисовна звала его «Гордюша».

Гость был в избе не более пяти минут.

Широко раскрытыми глазами смотрел Алеша на незнакомца. «Где-то видел я этого человека... Где-то видел...» — мучительно вспоминал он.

Настасья Фетисовна шепнула что-то Гордею, очевидно об Алеше. Военный вскинул небольшие, но острые, как у Никодима, черные глаза, встретился с Алешей взглядом и улыбнулся из-под смелых бровей.

— Сынку скажи, чтоб больше налегал на косачей и глухарей: начинается настоящее — мяса много требуется...

Обрадованный Алеша решил выпрыгнуть из-под зипуна, но гость повернулся и скрылся за дверью, а Настасья Фетисовна истово перекрестила его вслед.

«Да ведь это же партизан!»

Открытие обрадовало Алешу. Наутро, как всегда, отправились на охоту.

— Никодим, я все знаю. Твой отец партизан...— сказал Алеша, как только они перешли реку и вошли в тайгу.

Мальчик остановился и спокойно спросил:

— Ну, а дальше что?

— Дальше? Дальше начинается настоящее, а мы с тобой белок бьем, когда нужно бить не белок, а белых!..

— А если нам с тобой на заимке нужно жить, тогда что?

— Да что ты все вопросами да загадками? Давай поговорим наконец серьезно!..— Алеша рывком сбросил с ног лыжи и, смахнув с верхушки пня снег, сел на него.

Никодим пошел от Алеши.

— Никодим! — обозленно закричал Алеша.

Мальчик остановился:

— Надевай лыжи, и пойдем. Пойдем, пожалуйста, не серди ты меня...

— Не пойду! — уперся Алеша.

Никодим подошел вплотную к Алеше, наклонился к самому уху и, несмотря на то что в тайге они были одни, тихонько зашептал:

— Приказ нам с тобой косачишек, глухарей бить — мясо требуется. Деньги нужны, а пушнина — те же деньги. Да что мы с тобой — митингу открывать будем?.. Пойдем!

Но Алеша упрямо покачал головой.

Никодим опасливо посмотрел по сторонам. Еще ближе склонился к уху Алеши и закончил решительно:

— Когда потребуется — нам скажут. Я и сам не хуже бы твоего в отряд. «А нет,— говорят,— Никодим Гордеич, хорош ты пока и на заимке...»

— Так скажут, позовут, говоришь? — обрадовался Алеша.

— А то? — все так же вопросом ответил Никодим и тронул лыжи.

ГЛАВА XXXIX

Никодим и Алеша убили уже более сотни тетеревов да десятка два тяжелых глухарей.

— Как глухарь, так пятеро до отвала сыты. Пятерых мужиков одним молодецким выстрелом мы накормили с тобой,— радовался Никодим всякой удаче.

Партизанский отряд находился, очевидно, не так далеко от заимки Корневых: люди из отряда покрывали расстояние за дневной переход на лыжах.

Настасья Фетисовна не раз для гостей топила баньку. Относилась она ко всем партизанам одинаково тепло и заботливо. Несмотря на молодой ее возраст, бородатые мужики звали ее «мать».

— Ты, мать, поглядывай тут, пока мы с веничком пожаримся на полке. Не ровен час... расшевелили мы гнездо...— улыбались партизаны.

— Мойтесь, мужики, без думушки, в случае чего, я стрел дам.

Настасья Фетисовна брала первую попавшуюся винтовку, надевала лыжи и уходила на «гляден» — гору вблизи заимки. Сколько таких заимок было разбросано по тайге в близком расположении к отряду, Алеша не знал, но корневская заимка для партизан была надежным местом.

Дважды Никодим бегал на лыжах в родное свое село Маральи Рожки с секретным поручением и оба раза благополучно возвращался. Несмотря на большую усталость, возбужденный мальчик подробно рассказывал матери и деду все новости села, из которого они, бросив родной свой дом, вместе с отцом бежали от колчаковцев.

Ночами он сообщал Алеше, как «пощипали» партизаны белых, какое настроение у маральерожцев и смежных с ними деревень и кто в ближайшее время из крестьян «обязательно подастся в отряд».

— Дело наше ясное, как солнце, вот и тянутся к нему люди,— повторял мальчик услышанную от агитатора фразу.

Алеша завидовал Никодиму, участвовавшему по-настоящему в серьезном деле. И не скрывал зависти.

— Ну, а меня, меня-то когда же позовут? — спрашивал он.

— Поправляйся как следует, признакамливайся к тайге, к лыжному ходу — позовут и тебя. Успеешь еще ноженьки намять...

На заимку Корневых нагрянула беда.

Никодим и Алеша затемно ушли в дальние березняки бить тетеревов на утренней и вечерней заре. Настасья Фетисовна после обеда проводила «гостей» с заплечницами, туго набитыми дичью, привела в порядок избу и села за

вязку варежки, как вернувшийся со двора дед Мирон сказал:

— Дочка, кого-то опять бог дает к нам, да много вершны...

У Настасьи Фетисовны дрогнуло сердце: она знала, что «своим» днем на заимку на лошадях незачем. Привычным движением женщина оправила платок на глянцево-черных волосах и быстро оглядела избу.

К сеням, бряцая оружием, уже подходили. В окно избушки заглянул широколицый бородатый человек со шрамом через всю левую щеку.

Настасья Фетисовна, склонившаяся над варежкой, невольно повернула голову к окну: человек пытливо оглядывал внутренность избы. Потом бородач сорвал с головы барашковую папаху и махнул ею. И тотчас же дверь в сенях загремела под ударами сильных ног.

— Отворяй!..

Настасья Фетисовна положила недовязанную варежку на стол, воткнула стальную спицу в клубок с шерстью и пошла в сени мимо деда Мирона.

— ...на дорогу выставить часового...— услышала она, открыв дверь.

— Что вы тут на семи запорах!..— визгливым тенорком закричал и замахнулся на женщину обнаженным клинком маленький казачишка в необыкновенно высокой чернобарашковой папахе.

Настасья Фетисовна невольно заслонилась рукой и, стараясь казаться спокойной, сказала:

— Дверь не заперта, пожалуйста, заходите.

— Басаргин!

Из-за угла избушки вырос огромный, грузный казак, заглядывавший раньше в окно; он застыл с широко выпученными глазами. Даже в необыкновенной своей папахе казачишка был ему в плечо.

— Что изволите, господин вахмистр?

— А-с-с-мотреть!

Басаргин схватил женщину за плечо и скомандовал:

— Иди передом!

Настасья Фетисовна вошла в избу. Казак, вытянув шею, сначала заглянул внутрь и только потом перешагнул через порог. На голбчике он увидел сидевшего дедку Мирона и оглушительно заревел:

— Руки вверх!

Дед Мирон поднял худые, сморщенные руки и слезящимися глазами испуганно уставился на казака. Басаргин заглянул под кровать, на полати и даже, встав на колени, посмотрел в черный зев подпечья.

Настасья Фетисовна стояла, опершись на стол, и смотрела то на широкую спину казака, то на свекра. Руки деда Мирона дрожали от старости и слабости и невольно опускались, а он все силился держать их над головой...

— Опустите, батюшка, вы же из годов вышедший...

— Ма-а-лчать! — взвизгнул Басаргин.

Он открыл шкафчик с посудой и заглянул в него. Потом сорвал одеяло с кровати, подушки и постель и бросил на середину избы.

Убедившись, что и под постелью нет никого, он, ступая прямо по подушкам, пошел к порогу.

Настасья Фетисовна нагнулась и хотела было сложить одеяло и подушки на кровать, но казак обернулся и еще более грозно закричал:

— Ма-а-лчать!

Не закрывая распахнутой настежь двери, Басаргин громко доложил:

— Все мышиные норки перерыл — одного партизана захватил, господин вахмистр!

— А бомбы у него нет?

Стоявшие у дверей промерзли и вошли в избу. Карателей было семеро.

— Никак нет, господин вахмистр, бомбов не оказалось!

Вахмистр пытливо взглянул на деда Мирона выпуклыми рачьими глазками, нахмурился и прошел в передний угол. В избе, без папахи, вахмистр выглядел сказочным «карлой». Короткие ноги его были кривы. Настасья Фетисовна схватила белье с пола и бросила на кровать.

Старческие колени дедки Мирона тряслись, поднятые руки опустились ниже головы.

Настасья Фетисовна не выдержала и снова сказала:

— Да опустите вы, батюшка, руки, ведь у вас же в чем душа держится...

Вахмистр подошел вплотную к женщине и в упор взглянул ей в глаза своими выпуклыми глазками.

— Ты кто? Кто ты тут командовать? — И, повернувшись к карателям, приказал: — Связать его! На мороз! Под горячие плети! Без подробных сведений не являться!

— Слушаюсь, господин вахмистр!..

Каратели во главе с Басаргиным подхватили часто мигающего слезящимися глазами деда Мирона и поволокли из избы.

— Прощай, дочка! — обернувшись, сказал дед и уже из сеней крикнул: — Обо мне не думай! Отжило дерево — можно и в поленницу...

Дверь за карателями захлопнулась.

— Ну-с, Корниха, а я уж, видно, сам поговорю с тобой! Са-а-ам! — срывающимся в фальцет голосом закричал белогвардеец.— Но сначала угости гостя. Перемерзли, отощали в дороге. Попотчуй, как своих гостей потчуешь. Я про тебя все знаю, партизанская ты мать!..

Настасья Фетисовна достала из печки горшок с кашей.

— Так, так,— хмыкал себе под нос «карла».— Ну, а как бы там перед едой, хозяюшка, того-этого...— Маленькое личико вахмистра сощурилось, искательная улыбка мелькнула в глазах.

Женщина молчала. В избу со двора вошел Басаргин и вытянулся у порога:

— Кровью подплыл. Посинел весь, чуть дышит, а молчит, господин вахмистр.

— Посолить сверху да дать еще — заговорит!..

— Пробовали, солили. Хорошо того бить, кто плачет, господин вахмистр, а этого — как по дереву...

— А ну-ка, я сам на подмогу выйду! Так приготовь тут...— повернувшись к хозяйке и выразительно щелкнув себя пальцами по воротнику, сказал вахмистр.

Он надел папаху и, часто шагая короткими ногами, вышел за Басаргиным.

«Через окно. Надеть лыжи — и в лес... Часовой поставлен на дороге... Зипун! Топор!..»

В одну руку Настасья Фетисовна схватила зипун, в другую — топор. На носках она подошла к окну и сильно надавила на створчатую раму. Забухшая рама только подалась под рукой. «Ой, накроют! Ой, накроют!..» Настасья Фетисовна нажала плечом, и рама распахнулась, обдав разгоряченное лицо морозом.

Единственное окно избушки выходило к реке. На дворе она услышала свист плетей, крики карателей и предсмертные стоны свекра. Распластавшись вдоль стены, Настасья Фетисовна тихо подошла к сеням, где стояли

лыжи, схватила их, всунула ноги в юксы и катнулась под гору к реке.

Белогвардейцы заметили женщину, только когда она поднималась на противоположный берег. Несколько голосов крикнуло одновременно:

— Держи!.. Стреляй!..

Кто-то бросился наперерез, но без лыж завяз в сугробе. Раз за разом ударили три выстрела. Пуля обожгла левую кисть, и топор упал на снег.

Пихты были уже рядом. Настасья Фетисовна скользнула в тайгу.

ГЛАВА XL

Тени набежали на заимку. Каратели обдирали корову, собираясь увезти мясо в отряд.

Басаргин крикнул им:

— Живей управляйтесь! У меня уж жаркое жарится...

Из открытых ворот скотника на двор вышел старый мерин Пузан и тусклыми, скорбными глазами уставился на незнакомых людей.

Безусый киргизоватый подросток-казачонок подмигнул товарищам и серьезно сказал:

— А ведь не попасть нашему Поликахе в мерина. Кисет прозакладываю — не попасть!

— Ну, это еще бабушка надвое сказала! — предвкушая «солдатское развлечение», тотчас же откликнулся седоусый горбоносый казак Емельян Назаров.— А ну-ка, Поликаха, теньkни его промежду глаз. Покажи, как старые казаки из винтовки жука на полету бьют...

Басаргин схватил прислоненную к стенке драгунку, прочно, по уставу, раздвинул ноги, подался корпусом вперед, прицелился и выстрелил.

Конь упал. Гребанул копытами снег раз-другой, крупно задрожал и затих. Лужа крови медленно расползлась вокруг длинной головы его.

— Давай кисет! — подступил Поликаха к казачонку.

Каратели громко, весело засмеялись.

— Попался, щенок!..

— Нарвался на Поликаху!..

— Я, господа казаки, в бытность мою на озере Нор-Зайсане... А уж кто не знает, что дикого кабанья — секачей — в тамошних камышах неистребимая сила... То есть, как мурашни... Так, не поверите, я...— расхваставшийся Поликаха обвел карателей гордым взглядом.

— Крой! Кто это не поверит? Кто смеет не поверить моему одностаничнику? — поддержал Поликаху все тот же горбоносый седоусый Емельян Назаров.

— Не сходя с места, двадцать два кабана положил! Как какой выскочит из камышей, я его эдак раз в самый пятак. Он — с го́лком — о̀земь... Опять какой посунется в мою сторону — я его эдак раз в пятак...

Басаргин каждый раз примерно вскидывал и, прицелившись в нос казачонка из винтовки, дергал за спуск, а казачонок вздрагивал и моргал раскосыми глазами.

— А то еще, не поверите, случай у меня на том же озере Нор-Зайсане с тигрой был...

— Поликаха! — испуганно вытянувшись во фронт и глядя в сторону избушки, вскричал раскосый казачонок.— Вахмистр кличет!

Большой, тучный, седобородый Басаргин круто повернулся и под громкий хохот карателей вразвалку бросился к избушке.

— Изволили звать, господин вахмистр? — лихо козырнув, спросил раскрасневшийся на морозе Басаргин.

Вахмистр Грызлов, догадавшись, что товарищи подшутили над Поликахой, криво улыбнулся и сказал:

— Зови ребят, ужинать пора...

Стемнело. Басаргин зажег лампу. Вошли казаки и наполнили избу морозом, запахом дегтя, ворвани и табака.

Поликаха возился у печки. Железной клюкой он мешал жарко нагоревшие угли, на которых шипело и дымилось мясо в большой жаровне.

— Боевой у нас Басаргин, господин вахмистр,— сказал Емельян Назаров.— Слышали бы вы, господин вахмистр, как он на озере Нор-Зайсане охотился... Вот только про тигру не успел рассказать: вы позвали,— засмеялся горбоносый.

Похвала в присутствии всех, доверие самого вахмистра во время обыска окрылили Поликаху.

Упоминание о тигре подтолкнуло неловкую фантазию Басаргина и завело в такие дебри, что он и сам не знал, выберется ли оттуда благополучно.

Поликаха выпустил из рук клюку, лежавшую на раскаленных углях.

— ...Я это чак по ней, господин вахмистр,— осечка!.. А тигра прет! Я передернул патрон, господин вахмистр,— снова чак! Пистон зашипел, пшикнул, и чую, что пуля по причинности сырого пороху в стволе застряла... А тигра прет!.. Ах ты, думаю, казак Басаргин, вот где твоя погибель... Это, видно, тебе не ласточек из винтовки на лету бить... И так-то жалко расставаться с белым светом стало, так-то жалко...

Каратели едва удерживали смех, но вместе с вахмистром смотрели в рот Поликахе.

— Ну и что же? — не выдержал вахмистр Грызлов, детски удивленно уставившись на Басаргина.

В это время в печи зашипело, затрещало, вспыхнуло синим огнем загоревшееся от непомерного жара мясо в жаровне.

Поликаха заглянул в пылающее жерло печи, схватил раскалившуюся на углях докрасна клюку за черенок и вытащил жаровню.

— Готово, господин вахмистр!

— Досказывай про тигру!..— захваченный азартным враньем Поликахи, сказал Грызлов.

— Слушаюсь, господин вахмистр!

Басаргин сунул раскаленную до малинового цвета клюку в зев подпечья и снова начал:

— А тигра прет! Ревет дурным матом и прет! Размахнулся я,— тучный Басаргин выпятил жирную грудь и занес руку над головой,— да как звездарез...

Но так и не договорил Поликаха Басаргин воинственного слова.

Раскаленная клюка, попавшая спящему пестуну Бобошке на бок, прожгла толстый слой шерсти и опустилась на нежную кожу.

Оглушительный рев, стремительно выметнувшийся из подпечья, вставший на дыбы и бросившийся на Басаргина мохнатый черный зверь... Багровые десны, оскаленная пасть с блеснувшими полувершковыми зубами — все это было так неожиданно, что широкое лицо Поликахи из красного мгновенно стало белым, как платок.

ГЛАВА XLI

Вечернюю зорю охотники провели впустую: тетерева, отстрелянные утром, переменили место кормежки.

— Плохо дело, Алексей! Придется новые устраивать засидки...

— Ну что же, завтра построим.

— Перекрестись, Фетис. Завтра мы стрелять должны, а не шалаши строить.

Алеша и сам видел, что к этим шалашам напуганных тетеревов ждать бесполезно, но он продрог, проголодался и не мог представить, как это после целого дня охоты на морозе можно строить новые шалаши.

— Ну что же, будем строить сегодня...— согласился Алеша.

Заря была яркой, но короткой. Высокая, густо заросшая пихтачом гора черной хвоей застилала жаркий, золотой иконостас заката. На фоне пылающего неба серебряные колонны берез казались пунцовыми, и крупные сине-черные птицы на их вершинах выделялись отчетливо, точно вырезанные на меди.

Но вот дымчатая пленка перекрыла остывающее небо и, заметно расширяясь, захватила половину горизонта. Вот и совсем узкая, как лезвие булата, осталась линия золота.

Стало темно и тихо. На землю посыпалась иглистая изморозь. В какие-нибудь полчаса деревья убрались в сверкающий, фосфоресцирующий иней, точно надели заячьи тулупчики.

Молодые охотники молча наблюдали шествие морозной ночи. Алеша продрог до костей. «Господи, да скоро ли?» — подумал он, а Никодим все медлил. Алеша поражался, как он переносит мороз в вытертом своем зипунчике.

— Пожалуй, пора! — поднялся, наконец, Никодим.— Теперь тетерева и попрятались, и обсиделись в своих лунках...

Через час шалаши у новых берез были готовы, и охотники, навьючившись убитой птицей, гуськом потянулись к дому.

До заимки было не менее часа ходьбы. Шли молча. За всю дорогу Никодим только и сказал:

— Туманище-то — в глаз выстрели...

Алеша думал о том, как, придя домой, сбросит тяжелую ношу, снимет сковывавший тело зипун и сядет за стол. Намороженное за день лицо в тепле избушки вспыхнет огнем. Горячие щи из глухарятины и пшенная каша с подсолнечным маслом ударят в голову. Дед Мирон обязательно пересчитает их дневную добычу...

Прошло, как показалось Алеше, гораздо больше часа, а заимки все не было. Алешу всегда поражало, как в тайге, где каждая поляна, каждый поворот реки были так неразличимо похожи друг на друга в ночной темноте, можно было безошибочно прийти на затерявшуюся заимку.

«Теперь-то уж, конечно, прошли ее...» И чем больше думал Алеша, по времени определяя пройденный от шалашей путь, тем больше убеждался, что сегодня, в тумане, они давно прошли заимку и идут не к ней, а удаляются от нее. Его давно уже подмывало сказать об этом Никодиму, но, представив насмешливую улыбку мальчика, он удерживался. Вдруг Никодим с ходу остановился. Лыжи Алеши налетели на лыжи Никодима и лязгнули. В то же время Алеша услышал умоляющий шепот:

— Тише, миленькие! Тише!..

Только теперь Алеша увидел Настасью Фетисовну. Продрогшая, измучившаяся ожиданием женщина задыхающимся от плача голосом рассказала, что случилось на заимке с дедом Мироном. Она ждала возвращения охотников в километре от выставленного на дороге часового.

— Я все слушала, все припадала ухом. Нет, не идут... Думаю: а если кружным путем, с другой стороны? Попадут в пасть к волкам...

Слезы лились из ее глаз, и она утирала их завязанной раненой рукой.

Алеша бросил птиц на снег. Злоба охватила его. Никодим тоже бросил тетеревов. Он стоял, задумавшись, и смотрел в сторону заимки.

— Бежать!.. В Чесноковку! За ночь дойдем, дорогу я знаю,— говорила Настасья Фетисовна.

И Алеше казалось, что самое лучшее — это бежать к партизанам в отряд.

— Батюшка... Как они его!..— Настасья Фетисовна схватила руку сына, и спина ее затряслась.

— Не плачьте, мама, мы им, сволочам, покажем!..

В волнении Никодим не заметил, что он первый раз за всю жизнь выругался в присутствии матери.

— Успокойтесь, Настасья Фетисовна. Мы ворвемся и дорого отомстим за дедушку Мирона!..— горячо подхватил Алеша.

— Тише! Где часовой, мама?

— За поворотом, на дороге, у реки...

— Пойдемте!

Никодим двинул лыжи прочь от заимки, Настасья Фетисовна и Алеша за ним. Убитые тетерева остались на снегу. Обратным следом Никодим прошел до узкого лога, где пролегала верховая тропа партизан. По ней он и повернул лыжи к заимке. У реки, за густыми пихтами, мальчик остановился, снял лыжи и воткнул в снег. То же сделали Алеша и Настасья Фетисовна.

— Придется ждать... К полуночи туман разгонит... Часовой задремлет... В избушке разоспятся...— Никодим говорил едва слышным шепотом.

От заимки долетело фырканье лошадей.

— Сидите тут! — приказал Никодим и пополз по тропке к избушке.

С каждой секундой черная точка на снегу уменьшалась. Через минуту Никодим пропал из глаз.

Алеша и Настасья Фетисовна настороженно вслушивались в звуки, долетавшие с заимки. От напряженного ожидания Алеша забыл о голоде, о морозе. «Сколько времени прошло? Час? Два? Где Никодим? Может быть, его схватили?..» Алеша тоже было хотел ползти к заимке, но Настасья Фетисовна удержала его. Юноша подумал, что женщина боится остаться одна, и подчинился.

Между тем туман действительно начал рассеиваться. Стал вырисовываться близкий берег реки. В низком сером небе появились просветы, усеянные звездами. Снег из синего сделался голубым с горящими на нем, как светляки, холодными блестками кристаллов.

Бесшумно вернулся Никодим. Алеша и Настасья Фетисовна рванулись к нему. Движением руки он удержал их на месте. В сумраке ночи лицо мальчика было плохо видно, но от небольшой крепкой его фигурки излучалась какая-то устоявшаяся прочность, покоряющая уверенность.

Никодим подошел вплотную, положил руки Алеше и

матери на плечи, приблизил их головы к своему лицу, обдавая щеки горячим дыханием, зашептал:

— Старый часовой ушел спать. Новый, молодой, немного больше меня ростом, с винтовкой, с шашкой... Мерзнет, ходит у бугра по дороге взад-вперед... Лошади во дворе жуют сено. В избе горит огонь...

Никодим перевел дух и еще тише зашептал:

— Все гады храпят. Один гад не спит — трубку курит. Морда широкая, как лопата, на левой щеке шрам... Окно в избе разбито, подушкой заткнуто — смотреть неловко. Оттянул я подушку — морозом в избу ударило, огонь в лампе замигал. Гад голову поднял, насторожился, как гусак....

Во время рассказа Никодима Алешу била лихорадка. Пальцы сжались, лицо вспыхнуло, ему стало жарко.

— Часового убьем из винтовки, ворвемся в избу и...

— Тише! Да тише ты!..— Уже по окрику Никодима Алеша понял, что мальчик осуждает его план.

Настасья Фетисовна смотрела в лицо сына не отрываясь. В глазах ее были и страх, и восторг, и любовь.

Никодим взял Алешу за руку:

— Пойдем!

И они пошли вниз по тропке к береговым пихтам.

— Встань тут! Да не сюда, а в тень! В тень встань...— и Никодим указал Алеше на противоположную сторону пушистой ели.

Алеша понял, что здесь он не заметен со стороны заимки, самому же ему отсюда видны и избушка, и двор, и часть дороги, идущей вдоль реки к повороту.

И теперь, как и на промысле, превосходство Никодима было настолько очевидно, что властный тон его у Алеши не вызывал даже чувства протеста. Настасья Фетисовна тоже подошла к ним, и все сели близко один к другому в тени ели.

— Часового надо убрать без шуму... Вы, мама, на лыжах лесом обойдите до бугра. И как выровняетесь против поворота реки, тихонечко высуньтесь из тайги и спустите с берега запасную лыжину. Для этого случая возьмите мою. Пусть он насторожится в вашу сторону. А чтоб дуром не напугался, не стал бы стрелять, негромко постоните, плач откройте: «Замерзаю... Ранена... Господин часовой! Спаси, Христа ради!..» Ты же, Алексей,— Никодим повернулся к Алеше,— останешься тут. И смот-

ри за избушкой неусыпно: не вышел бы сменный часовой. Выйдет, поравняется с тобой — бей из дробовика в башку!..

Алешу испугал план Никодима. Он казался ему нелепым: послать Настасью Фетисовну в пасть к часовому! «А если он при первых же словах женщины выстрелит и убьет ее, поднимет тревогу?!»

Но Никодим не дал ему времени для размышлений.

— Раздевайся! Снимай зипун и давай рубаху.

— То есть как — раздевайся? — не понял Алеша.

— Рубаху, верхнюю рубаху давай! — Никодим, сняв свой зипун, бросил его на снег.— А вы, мама, дайте мне вашу белую кофту, и я голову обвяжу...

Только увидев Никодима, оставшегося в белой холщовой рубахе, Алеша понял, что мальчик хочет ползти к часовому и маскируется под снег. Об этом Алеша где-то читал...

Настасья Фетисовна и Алеша надели зипуны. Никодим обвязал шапку кофтой матери и надел ее на голову. Рукавами Алешиной рубахи он перевязал себя по животу.

— Ну, идите, мама! Обо мне не думайте! Мне ползти жарко будет...

Настасья Фетисовна схватила Никодима за плечи, притянула к себе и стала целовать в лоб, в глаза.

— Да ну же! Ну же, мама! Милая!..

Настасья Фетисовна оторвалась от сына, перекрестила его трижды, встала на лыжи, скользнула в лес и пропала из глаз.

Никодим взял за рукоятку охотничий нож и попробовал, легко ли он вынимается из ножен.

— Смотри же тут, Алексей! — Лицо Никодима было сурово.— Устроим мы им поминки по дедушке Мирону!.. Такую баню затоплю! Вот только Бобошку... до смерти жалко... Жалко Бобошку...

Никодим лег на снег и пополз. Крутизна берегового ската совершенно скрывала его. Алеша лишь несколько секунд видел мальчика, потом, как ни напрягал зрение, не мог рассмотреть его, хотя и знал, что он отполз совсем еще недалеко. И лишь только Алеша почувствовал себя одиноким — тотчас же стало страшно. Ночные шорохи в тайге, фырканье лошадей во дворе заимки иглами вонзались в сердце.

Алеша и смотрел, и чутко прислушивался, и мысленно следил за идущей по лесу на лыжах Настасьей Фетисовной и за ползущим по реке другом.

Глухие сумерки зимней ночи обняли избушку со спящими карателями. Дрожат, переливаются далекие звезды на небе. Искрится молочно-голубоватая лента реки, а по ней ползет Никодим. «И вот он сейчас...»

Алеша сильнее сжал шейку дробовика. Пальцы онемели от холода, но он не замечал. «Сейчас! Вот сейчас!..»

В зипуне стало жарко, Алеша распахнул грудь. Ноги ушли глубоко в снег. Он не заметил, как, волнуясь, до колен вытоптал яму в снегу.

И вдруг Алеша уловил короткий, точно захлебнувшийся вскрик.

— Никодим! Милый Никодим! — беззвучно шептали губы Алеши.

Ему хотелось помочь Никодиму. Алеша, сам не замечая того, подвигался в его сторону. Вышел из-за пихты, спустился по дорожке на берег реки... на самую реку. Он не заметил, как кто-то подошел к нему сзади и дотронулся до руки.

Ноги Алеши подсеклись, он с трудом устоял и, дрожа, едва слышным, сдавленным голосом спросил:

— Кто?

Пестун взвизгнул.

— Бобошка!

И странно: присутствие живого существа приободрило Алешу. Впрочем, раздумывать о пестуне Алеше было некогда: в этот же момент он услышал топот от поворота реки. Кто-то бежал. Бегущий был в шинели, шашка болталась сбоку.

«Часовой!»

Алеша вскинул дробовик к плечу. Но Бобошка с радостным визгом бросился навстречу бегущему. «Часовой» остановился и схватил пестуна за шею. Только теперь Алеша рассмотрел, что на голове «часового», еще не снятая, белела кофта Настасьи Фетисовны, а сама она бежала на лыжах невдалеке от сына. Шинель казачонка, с погонами на плечах, была Никодиму до пят, шашка волочилась по снегу. С трехлинейкой в одной руке и шомпольной винтовкой — в другой, он казался Алеше персонажем из фантастического романа. И Никодим — и не Никодим!

Мальчик указывал Алеше винтовкой на двор, где стояли казацкие кони. Алеша понял. На дворе он наткнулся на убитую лошадь и узнал в ней Пузана. Немного подальше снег был весь истоптан, чернела лужа, валялась требуха коровы.

Настасья Фетисовна догнала сына. Мальчик передал ей шомпольную винтовку и что-то шепнул на ухо. Лег за окоченевший труп мерина и положил винтовку на ребристый бок Пузана, пестуна подвинул к себе.

Лошади карателей, учуяв звереныша, перестали жевать сено, захрапели, зафыркали.

Никодим прошептал:

— Мама! Мама!.. Выводите коней по два на каждого...

Алеша забежал во двор и отвязал первую попавшуюся лошадь. Потом он нащупал повод второй, но пальцы не подчинялись ему. Трясущимися руками он не мог развязать тугого узла. Каждую секунду он ждал, что вот-вот за спиной его появится казак с обнаженной шашкой. Голова невольно втянулась в плечи. Алеша схватил повод зубами и развязал. Противный запах ворвани осел на зубах, во рту.

В воротах встретился с Настасьей Фетисовной. Снег под ногами лошадей скрипел, как показалось ему, необыкновенно громко. Одна из лошадей задела стременем за воротину, и стремя звякнуло.

Алеша вздрогнул, точно от выстрела.

— Веди по тропинке, через речку, за пихтач,— услышал он шепот Никодима.

Алеша почти бегом повел лошадей к реке, все время ощущая неприятное покалывание в спине. И только войдя в пихтач, где лежал зипун, остановился, перевел дух. В поводу у него были две крупные лошади в казацких седлах. Одна из них — с белой проточиной от челки до верхней губы.

За Настасьей Фетисовной, ведшей двух лошадей, пятясь задом к реке, шел Никодим в длинной своей шинели и рядом — куцый, горбатый пестун.

Чем ближе подходили они, тем сильнее рвались лошади из рук Алеши. Растерявшись, он не знал, что делать. «Будь он проклят! Будь он проклят, этот медведь!» Алеша боялся, что лошади втопчут его в снег. Но подошел

Никодим, подтянул подпруги у всех четырех, взял поводья трех лошадей, отвел их к пихте и привязал.

Алеша стоял на дороге и держал под уздцы низкорослую серую лошадь с круглым тавром на ляжке. Никодим накинул на голову коню зипун и рукавами крепко завязал его под шеей. Потом он подбежал к Настасье Фетисовне и взял пестуна.

— Мама, держите лошадь! Алексей, помогай! Да помогай же, Алеша!..

Алеша схватил медвежонка. Вдвоем они подтащили пестуна к дрожащей лошади.

— Не доставайся, моя животина, гадам!..— ворчал Никодим, надрываясь с непосильно тяжелым медведем.

— Все равно упадет! Соскочит! — прошептал Алеша, но Никодим вытащил из кармана шинели два длинных ремня.

— Держи! Да не бойся, не съест тебя Бобошка,— зашипел он на Алешу.

Петлей Никодим захватил передние ноги пестуна и, перекинув ремень через луку седла, стал подтягивать упиравшегося медвежонка на спину лошади. Алеша подталкивал Бобошку сзади. Одну за другой Никодим намертво прикрутил передние лапы медвежонка к седлу.

Седельными тороками[1] и ремнями от стремян так прочно привязал и задние лапы пестуна, связав ремни под брюхом лошади, что Бобошку даже и силой нельзя было сбросить с седла.

Испуганный медвежонок верхом на испуганной лошади выглядел необычайно смешно, но всем было не до смеха. Никодим отер потный лоб и сказал Алеше:

— Отвязывай лысанку и садись!

Алеша взял рослого рыжего коня и вскочил в седло Конь увидел прикрученного медвежонка на спине лошади, начал пятиться и фыркать.

— В снег! В снег сворачивай!..

Вместе с конем Алеша ухнул с дорожки в снег. Никодим подал Алеше поводья лошади с медвежонком. Настасья Фетисовна тоже села на коня. Второго привязала к седлу.

— Дожидайтесь! Я живо!..

---

[1] Тороки — ремни у задней луки седла для привязывания вьюков.

С винтовкой в руках Никодим побежал к заимке. Вот он подошел к скотному двору, вошел в ворота, вывел лошадей за двор, в сторону реки, и стал привязывать их.

«Он сумасшедший! — мучился Алеша.— Зачем это?..»

Никодим снова вернулся во двор. Вышел он оттуда с охапкой сена и направился к избушке.

В волнении Настасья Фетисовна так поднялась на стременах, что казалось, вот-вот перекинется через голову лошади. Бледное лицо ее было мокро от пота.

— Да что же он делает там?.. — со стоном спросила вдруг она.

Но из-под крыши сеней взвился сноп огня и дыма. А Никодим обежал избушку и открыл частую стрельбу. Выпустив все пять патронов в окно, Никодим бежал уже вдоль двора. И вдруг в наступившей тишине Настасья Фетисовна и Алеша услышали душераздирающие крики:

— Кара-ул! Горим!..

В окно один за другим выскочили трое полураздетых карателей. Никодим отвязал лошадей, вскочил в седло. Но лошадь, почуяв медвежонка, закружилась, затопталась на месте и, не слушая повода, пятилась в сторону избушки. Казаки увидели мальчика и бросились к нему.

Никодим выхватил шашку и острием уколол коня в круп. Лошадь рванула и понесла. В тот же момент один из карателей дважды выстрелил в Никодима. Задняя лошадь сунулась в снег головой. Никодим отпустил повод, припал к шее своего коня и дико гикнул.

Алеша ударил лошадь, и она, разламывая снег, вырвалась на тропинку. Под первой же пихтой у Алеши схватило с головы шапку. Скакавшая впереди Настасья Фетисовна что-то кричала ему или Никодиму — он не разобрал. Дорога загибала круто влево. По сторонам пошел густой пихтач. Комья снега, брызжущие в лицо из-под копыт передних лошадей, тяжело скачущая сзади с завязанной головой лошадь, ревущий медведь, пихтовые лапы, больно бьющие в лицо,— все это потом он вспоминал точно во сне.

Скоро Никодим догнал Алешу и крикнул:

— Держи! В снег сворачивай!..

Алеша потянул вправо. Ткнувшаяся на голову лошадь чуть не задавила его, но справилась. Седок с трудом удержался в седле. Оглянувшись на Никодима, Алеша

увидел, что и он во время скачки потерял шапку вместе с кофтой Настасьи Фетисовны.

— Поедем тише!.. Я снегу пожую — жарко!

Алеша недоумевал, почему Никодим заставляет ехать шагом, когда каждую минуту может быть погоня, и беспокойно оглядывался.

— Им не на чем догонять,— сказал Никодим.— Там одна лошадь осталась, и у нее я узду снял. Видел бы ты, как они заметались в избе, когда я подушку из окна выдернул да стрельбу по подлым их башкам открыл. А двери перед тем жердью припер. «Кара-ул! Горим!» — мальчик передразнил испуганных насмерть карателей.— Это вам, гады, за дедушку Мирона, за Пузана, за Чернушку!..

ГЛАВА XLII

Ехали до рассвета. Тайга становилась глуше, горы — выше. Заваленная упавшими поперек деревьями тропка бежала по отвесному карнизу: вниз взглянешь — дух занимается и голову обносит. Алеше казалось, что они заехали в самое сердце тайги. Он был голоден, разбит верховой ездой, утомлен бессонной ночью, но всю дорогу восторженно думал о встрече с партизанами, о боевой их жизни.

Партизанский стан! Алеша не раз представлял его себе то неприступным «орлиным гнездом» в горах, то вырытыми глубоко в земле «берлогами», искусно спрятанными в тайге.

В шинели с неспоротыми погонами, с кавалерийской винтовкой за плечами и с шашкой, на огромном вороном жеребце Никодим выглядел казачонком.

Алеша завидовал грозному боевому его коню, вооружению, шинели и всеми силами души ненавидел свой рыжий зипунчик и старенький шомпольный дробовичок с больно врезавшейся в плечо веревочкой, скрученной из конопли, вместо погонного ремня, как у винтовки Никодима.

— Такой палилкой только рябков стрелять...

Настасья Фетисовна придержала коня и повернула разрумяненное морозом лицо к Алеше:

— До Чесноковки рукой подать. Еще один поворот, потом ущельем с версту протянемся, а там на выбеге и Чесноковка...

Сердце Алеши дрогнуло. Он оправился на седле, подоткнул расходившиеся на коленях полы зипуна и вытащил глубоко засунутые в стремена ноги.

Подъезжали к узкому, почти темному Стремнинскому ущелью.

«Так вот он — партизанский стан! Вот где копится гнев народный!..»

Алеша забыл об усталости и голоде. Он думал о том, как встретят их в отряде, как будут благодарить за отбитых лошадей, восторгаться их подвигом.

«Но почему Чесноковка? Чес-но-ковка! Что за ерунда!»

Тень пробежала по лицу Алеши. Название деревни, где помещался штаб партизанского отряда, опрощало и принижало в его представлении это героическое место. «Я предложу переименовать ее...»

Настасья Фетисовна остановила свою лошадь, легко спрыгнула с седла и здоровой рукой подтянула ослабевшую в пути подпругу.

Алеша посмотрел на остановившегося в отдалении Никодима. Мальчик прислонил ладонь к бровям и пристально всматривался во что-то.

В этот момент Никодим, вооруженный с ног до головы, на огромном грудастом, мохноногом жеребце с волнистой гривой, спадавшей с толстой шеи коня чуть не до копыт, романтически настроенному Алеше напомнил центрального всадника со знаменитой картины Васнецова.

Алеша повернул голову по направлению взгляда Никодима. Из-за выступа утеса ехали двое вооруженных. Один — в дубленом полушубке, широкий, бородатый, огненно-рыжий. Другой — маленький, щупленький, в рваном, заплатанном зипунишке. Молодой был крив на левый глаз, почему казалось, что он прицеливается...

Настасья Фетисовна тронула коня.

Молодой крикнул:

— Стой! Кто такие?..

Но бородатый рыжан ткнул его кулаком в бок:

— Не видишь, рябое чучело! Настасья Фетисовна с ребятенками...

Кривой, на редкость некрасивый парень засмеялся:

— Бесштанное подкрепление прибыло. Ну, держись, гады, теперь мы вас даванем!..

Настасья Фетисовна поздоровалась с партизанами за руку.

Алеша нахмурился и отъехал в сторону.

Никодим рысью подогнал гулко ёкающего селезенкой тяжелого жеребца.

— Дядя Потап! Васька! Сокур! Корявый да рябой — на базаре дорогой!..— обрадовался он однодеревенцам.

— Мать честная! Да зверя-то, зверя-то вы откуда?.. Ой, лобаст! Ой, мишенька!.. — только теперь рассмотрел кривой парень пестуна и попробовал подъехать к Бобошке, но маленькая его лошадка, поджимаясь, пятилась и храпела.

Настасья Фетисовна переговорила с рыжебородым партизаном и поехала в ущелье. Алеша тронул следом. Поравнявшись с кривым некрасивым парнем, он опустил глаза и старался не смотреть на него.

В полутемном, тесном ущелье медвежонок повернулся на седле и рассматривал встречных всадников. Лошади рвались из рук партизан. Чаленькая кобылка прижала ногу кривому парню к утесу так, что он вскрикнул от боли и заругался.

«Так тебе и надо, рябому!..» — обрадовался Алеша.

По сторонам высились гладкие, словно обтесанные скалы. На одном из поворотов дороги стояла береза с искривленными сучьями. Толстый ствол дерева с огромным выгоревшим дуплом был изранен тележными осями, измазан дегтем, береста почти вся была сорвана, а бесприютная, одинокая в этой каменной щели береза тянулась обломленной вершиной к узкой прорези неба.

Алеша пристально смотрел на некрасивое дерево и почему-то думал одновременно и о дереве, и о кривом, корявом парне:

«Такое же оборванное и жалкое — срубили бы его...»

Впереди показался просвет.

«Сейчас! Сейчас въедем!..»

Алеша ярко представил встречу, волнение партизан.

«Обступили со всех сторон. Жмут, трясут руки. Несколько человек побежали куда-то так быстро, что мелькают красные верха шапок. «Командир! Командир!» — прошумело в толпе. Партизаны расступились, и рослый, стройный командир наконец увидел их, и лицо его озарилось...» — Алеша улыбался.

Настасья Фетисовна повернулась и крикнула:

— К тетке Фекле заедем — у нее просторнее, сказывают...

На небольшой долинке, со всех сторон окруженной высокими лесистыми горами, показалось десятка четыре изб, заваленных снегом по самые окна.

Утреннее солнце сверкало на хребтах гор. Было морозно, но так тихо, что дым из труб стоял над заснеженными крышами изб, как мачты. У околицы, вблизи дороги, на голубоватом снежном сугробе прыгал нарядный красногрудый снегирь и что-то долбил коротким толстым клювиком.

И мирный дым из труб, и засыпанные снегом избы, и даже глупый снегирь — все выглядело обычно, совсем не так, как представлял себе Алеша.

— Мать!..

— Настасья Фетисовна!.. Фетисовна! — кричали встречающиеся партизаны.

Все мужики были с лошадьми, которых они только что напоили в проруби. Кони звонко ржали, рвались из рук.

Алеша с любопытством рассматривал серые волчьи папахи и фронтовые шапки «ополченки» со следами сорванных крестиков. У некоторых на папахах и шапках красные наискось ленты.

Большинство партизан были в домотканых зипунах, перетянутых цветными опоясками, часть — в шинелях, в дубленых желтых, белых и черных полушубках.

Заметив пестуна на лошади, партизаны обступили его.

— Мотри! Мотри!.. Да тпру... тпру... ты, конское мясо! — подтягивали они к дороге упирающихся лошадей.

— Шерстист, язви его!..

— На мохнашки[1] бы такого!..

Медвежонку чмокали языком, грозили пальцем.

— А кони! Кони-то!.. Да и седла! Вот это седла!..

Никодим на жирном, гривастом жеребце, в шинели казачонка, с винтовкой за плечами и с шашкой у бедра также привлек общее внимание:

— Никодишка! Корнейчонок! Казак, стрель те в бок!.. Смотри, смотри — погоны!.. Ах ты, толстолобик... Отдай воронка, я ему сало спущу!..

Никодим не выдержал, погрозил партизанам плетью.

[1] На мохнашки — на рукавицы.

— «На мохнашки бы такого»! — передразнил он одного из них.— Подождите, мы вам с Бобошкой!..

— Убьет! Запорет белячишка!..— И партизан притворно бросился с дороги от Никодима.

Мужики весело засмеялись, и громче всех засмеялся Никодим.

Казалось, партизаны не замечали только Алешу. Изредка он перехватывал на себе недоверчивые взгляды. Это его и оскорбляло, и как-то заставляло внутренне сжиматься.

Только один толстощекий, дрябло-желтый, безусый и безбородый партизан звонко хлопнул ладонью по крупу коня, на котором сидел Алеша, и сказал:

— Добёр Лысанко!.. Мне бы его!..

Конь вздрогнул и затанцевал. Юноша натянул поводья и неодобрительно взглянул на шутника. Что-то словно сломалось в его душе. Солнечный день померк.

Похожее он пережил в детстве. В праздник отец принес ему игрушечное ружье со стволиком из белой жести, с пружинкой, приводившей в действие рычажок, с хлопаньем и силой выбрасывающий пробку при выстреле. И от первого же неосторожного взвода курка пружинка лопнула и вылетела. Так же потускнело тогда солнце в душе Алеши, а нестреляющее ружье потеряло всякую прелесть.

Настасья Фетисовна повернула лошадь к раскрытым воротам приземистой избы с просевшим коньком.

Казалось, у крыши был переломлен хребет, отчего изба выглядела калекой. На дворе, у колодца, стояли привязанные лошади и, гремя о покромку удилами, ели овес.

Два партизана чистили коней и разговаривали.

Алеша прислушался. Дорогой он не раз думал о разговорах партизан. Представлял, как вдохновенно горят их глаза, когда они говорят о борьбе с белобандитами. Но то, что он услышал, окончательно добило его:

— К Николе зимнему по нашей деревне завсегда свиней режут. Визжат, проклятые, за версту слышно...

ГЛАВА XLIII

Почти сутки Алеша и Никодим проспали на полатях в теплой избе тетки Феклы.

Вечером пришел командир отряда — казак Ефрем Гав-

рилыч Варагушин и его связной (партизаны в шутку звали связного «адъютант») Васька Жучок. Толстая, курносая вдова Фекла Чикарькова поила гостей чаем.

— Разбужу я их, Ефрем Гаврилыч,— предложила Настасья Фетисовна (в душе ей не хотелось беспокоить измученных ребят).

Варагушин допил чай с блюдечка, подал стакан вдове и остановил Настасью Фетисовну:

— Что ты, что ты, мать!..

Командир был в новых белых валенках, жестких, как деревянные, и в дубленом полушубке. На крупном обветрившем лице его ясные голубые, как у ребенка, глаза и совершенно светлые, цвета пшеничной соломы, жесткие брови и усы (бороду Варагушин брил).

Ефрем Гаврилыч любил пить крепкий, «вороной», как говорили партизаны, чай, и пил много. Варагушин осторожно поднес полное блюдце толстыми пальцами к пшеничным усам и медленно тянул горячий, дымящийся напиток, как дорогое ароматное вино.

— Пусть отоспятся, в сенокос дремать не будут...— улыбаясь, сказал командир и снова протянул стакан вдове. Лоб его покрылся мелкими капельками пота.

Казалось, все время, пока пил чай, командир думал о ребятах, о налете карателей на корневскую заимку, о чем рассказала ему Настасья Фетисовна.

Рядом с командиром сидел на лавке «адъютант». Васька Жучок был полной противоположностью большому Варагушину: маленький, юркий, с верткими глазками. Весь сизо-черный и кудрявый, как пудель, Васька, так же как и командир, тщательно брил круглый подбородок и пухлые щеки, а густые смолистые усы придавали Ваське воинственный вид.

Черный щегольской, с мраморной мерлушковой опушкой по бортам и на подоле, короткий кавалерийский полушубок Жучка крест-накрест перетянут желтыми офицерскими ремнями. Через плечо у Васьки бинокль. У правого бедра маузер с ложем, окрашенным в красный цвет; у левого — кавказская шашка в дорогой оправе. На хромовых сапогах серебряные шпоры.

Жучок то и дело постукивал под столом каблуками и, слушая малиновый звон шпор, улыбался во все свое круглое довольное лицо.

Ефрем Варагушин допил с блюдечка новый стакан чаю и, подавая его вдове, сказал Жучку:

— Перестань бренчать сбруей и отпусти подпруги: жарко, чаепитию мешает...

Настасья Фетисовна и партизаны засмеялись. И опять всем показалось, что, сосредоточенно допивая чай с блюдечка, командир перед этим только и думал, что о Ваське, о его ремнях и шпорах.

Алешу разбудил смех партизан. Кто-то глуховатым, спокойным голосом вел рассказ:

— Тогда я ему и говорю: «А теперь вы с этой же самой петлей полезайте на осину, а казак Варагушин вам подмогнет...»

Голос рассказчика показался знакомым Алеше. Он силился вспомнить, где и когда слышал его: «Казак Варагушин... Варагушин...» — и фамилия тоже была знакома.

Алеша спустился с полатей. Партизаны сидели на лавках, на кровати, лежали на полу и слушали рассказ, затаив дыхание. Звонкими каплями падала из рукомойника вода в лохань. Никто Алешу не заметил. Над столом висела лампа. Под ней сидели двое. Ближний — небольшой, черный, кудрявый, с воинственным лицом. «Командир!» — решил Алеша. Лицо рассказчика было в тени. Варагушин кончил. Один из партизан повернулся и заметил Алешу.

— А... новенький! — громко сказал он.— Иди, иди к командиру.

Алеша, чувствуя, что бледнеет, шагнул к черному, затянутому в ремни человеку.

— Я вас попрошу, товарищ командир...

Партизаны дружно засмеялись. Затянутый в ремни черный усатый человек тоже рассмеялся, и лицо его из воинственного вдруг сделалось простоватым. Алеша еще больше смутился и беспомощно озирался. Только теперь он рассмотрел сидевшего рядом с Жучком человека.

— И не смешно, ребята! Парень не знает,— сказал командир.

— Товарищ Варагушин! — вскричал вдруг Алеша и, отталкивая Жучка, бросился к командиру.

Хотя Алеша и очень повзрослел за это время, но по длинным, на редкость восторженным глазам и детски пу-

шистым ресницам Варагушин сразу узнал наивного, пылкого мальчика в синих трусах и полосатой майке.

— Алеша!.. Белозеров!..

Командир поднялся, положил большие руки на плечи Алеши, немного отодвинул его от себя, заглянул в радостно сиявшее лицо и с силой прижал к себе.

— Уцелел... глупый!.. Глупый парнишка!.. Как мне хотелось выпороть тебя, когда ты наобум лазаря бросился из-за вала...

Алеша и слушал Варагушина, и не понимал его слов. Все эти месяцы, даже в дни голодовки и блужданий в тайге, он гордился своим героическим поступком и только жалел, что свидетелей его храбрости не осталось на свете. А тут вдруг командир — и осуждает...

— Как? Ну как ты пробрался?..

— А кто еще из наших, кроме вас?..

Алеше хотелось и спрашивать, и самому рассказывать о том, что он пережил и под городом Усть-Утесовском и в тайге. Хотелось попросить командира назначить его в самое опасное место и сказать немедленно Варагушину, что он любит его больше всех на свете...

— Ну, Леша, садись рядом. Перво-наперво за лошадей спасибо. Кони высший сорт. Одна, правда, засекается, у одной мокрецы, но это мы вылечим... Сам же ты писарить у нас будешь... А то мы писаря́ про псаря...— и ясные голубые глаза Варагушина сощурились.

Улыбка командира была так заразительна, что и партизаны заулыбались. Не смеялся только Алеша. На ресницах его снова задрожали слезы, но это были уже слезы обиды. Командир и партизаны смотрели на него. Алеша, стараясь казаться спокойным, торопливо заговорил:

— Мне бы, товарищ командир, в строй, в самое опасное место...

Варагушин ничего не ответил на слова Алеши.

— Иди-ка, брат, досыпай лучше, а завтра мы с тобой воззвание сочинять будем. Я об него мозги выкрутил, а ни шиша не получилось. Иди, Леша. Ты у меня теперь правой рукой, вроде как бы начальником штаба, будешь...

Алеша вскинул ресницы на командира. Глаза его мгновенно высохли, заблестели. Он почувствовал себя с Варагушиным спокойно и тепло, как с отцом.

— Ну что же? В штаб так в штаб,— уже весело сказал Алеша.

— Давай досыпай, милый, а утречком пораньше потолкуем...— Командир дружески потрепал Алешу по кудрявой голове.

Варагушин с Васькой Жучком ушли. Партизаны стали устраиваться спать на полу, на лавках. Алеша вскарабкался на полати и забрался под шинель друга, но уснуть не мог. Он растолкал Никодима и зашептал ему на ухо:

— Варагушин, командир-то отряда, мой старый-престарый друг... В тюрьме вместе! В бою!.. И теперь он меня начальником штаба назначил...

Никодим поднял всклокоченную голову, посмотрел сонными глазами на Алешу, но, так ничего и не поняв, снова уронил ее на подушку.

Алеша лежал с открытыми глазами. Ему грезились запаленные кони гонцов, бледные лица ординарцев, нервный треск телефонов в штабе отряда, отдаленный гул боя. Алеша, в таких же ремнях, как у Васьки Жучка, стоит у карты. Красные и белые флажки в его руках. В окно он видит шатающегося от усталости гонца, выбегает на крыльцо, берет у него полевую сумку, вскакивает на лошадь и мчится. Грохот боя все ближе, ливень пулеметов все жарче.

«Командир! Где командир?..»

Смертельно раненный Варагушин с трудом поднял голову и чуть слышно прошептал: «Веди!..» И Алеша, поняв все, бросился вперед с обнаженной шашкой...

Заснул он только перед светом.

ГЛАВА XLIV

И Алеше и Никодиму партизаны дали по барашковой папахе. Настасья Фетисовна пришила к ним кумачовые ленты. Подражая мужикам, Алеша надел папаху на правую бровь.

— Не шапка, а воронье гнездо! — смеялся Никодим.— Пойдешь прямо, потом завернешь за угол и разом упрешься в стрельцовский дом. Тут тебе и штаб. Ну, иди а то Бобошка извизжался, наверное, в своем хлевке.

Было еще очень рано. Деревню окутал морозный дымок.

Алеша прошел порядочно, но ни «угла», ни «поворота» не было. По обеим сторонам тянулись дворы, наполненные людьми и лошадьми.

Навстречу шагал хромой старик и волоком тащил за хвост мягкую, только что содранную воловью шкуру. Хромой остановился, бросил ношу и полез в карман за кисетом. Но в мешочке у него была только газетная бумага. Хромой оторвал клочок, а остальную бумагу молча подал Алеше.

— Перекурим,— сказал он.

Алеша понял, что старик просит табаку.

— Не курю я, товарищ партизан.

Лицо деда посерело. Он с грустью взял у Алеши свою бумагу.

— Обестабачились мы в дымину. Пятый день без курева... Вижу — незнакомый... «Ну,— думаю,— фарт тебе, Кузьма...» Не поверишь, конские шевяки сушил, золки подмешивал... Дым будто бы сходственный, а утешительной сладости никакой. В роте горечь, изжога давит. Я человек верующий, а до чего без табаку дошел! Помылся вчера в бане, оделся, сижу в предбаннике. «Самая бы сладость закурить сейчас»,— думаю. И уж так-то занутрило меня, так занутрило. Остервенел я да как закричу не своим голосом: «Сатана-батюшка, седунюшка-чертушка [1], возьми мою душу, дай табачку папушу...» — партизан покачал головой.— И что только Ефрем Гаврилыч думает! Я ему вчера жалился. Набег, говорю, на белых за табачком сделать надо. Потому — смерть. У кого, говорю, табачок — у того и праздничек...

Алеша спросил, где помещается штаб партизанского отряда.

— Это какой-такой штаб? — удивился старик.— Ефрема Гаврилыча что ли, тебе?..

— Ну все равно — Ефрема Гаврилыча.

— Так бы и говорил, а то штаб... штаб... Ишь ты какой, молодой, а зазвонистый...— вдруг рассердился старик, огорченный неудачей с табачком.— Ефрем Гаврилыч, он везде...— уже мягче заговорил хромой.— Может, в швальне, может, в ружейной, в хлебопекарне — тоже может... С час назад видел я его с завхозом Свистуном...

Алеше хотелось рассказать партизану, что командир его старый друг; что они были вместе с ним в тюрьме, в «боях», а теперь он, Алексей Белозеров, назначен началь-

---

[1] Седунюшка-чертушка — «банный бес», по поверью, живущий под банным полком.

ником штаба, но старик взял за хвост шкуру и поволок по дороге, оставляя на снегу кровавый след.

Алеша еще не раз спрашивал, но встречные партизаны не знали, где помещается штаб их отряда. Про командира же говорили:

— Он у нас, Ефрем-то Гаврилыч, днюет и ночует с массыей.

С Варагушиным Алеша встретился случайно. Командир разговаривал с австрийцем-химиком.

— Леша! — обрадовался Ефрем Гаврилыч.— Подожди чудок!..

И это варагушинское «чудок» очень понравилось Алеше.

Командир кончил разговор с химиком.

— Пошли в штаб! — и заскрипел деревянными валенками.— Вот, брат, на голые зубы да клад попал... Голова-то у мужика... даром, что австрияк... Взрывчатые вещества навылет произошел. Пистоны делает, бомбы начиняет. Теперь мы такой завод откроем!..— Варагушин улыбался.

Они повернули к большому дому. «Лучший в деревне»,— гордясь штабом, отметил Алеша. Из ворот выехала подвода, нагруженная доверху горячими, только что вынутыми из печи буханками черного хлеба. На морозе воз дымился, как огромный костер.

Варагушин втянул густой, теплый запах, схватил буханку и отломил краюху.

— Хочешь? — спросил он Алешу.

— Я только что позавтракал, Ефрем Гаврилыч,— Алеша неожиданно назвал командира так, как называли его партизаны.

Варагушин жевал, густые пшеничные усы его шевелились.

— Хлебопекарня у нас здесь... В колготе, как говорят, на ходу спишь, на ходу ешь, на бегу щец хлебнешь... А об чае целыми днями скучаю,— засмеялся Ефрем Гаврилыч, и пшеничные усы его весело запрыгали.

В окна большого стрельцовского дома с высоким резным крыльцом на командира и Алешу смотрели партизаны, женщины, дети. Варагушин указал глазами на них и сказал:

— Набили мы людей в дома, как пескарей в мордочку, вот я и выкочевал в старую избу: половину под хлебо-

пекарню приспособил, в другой — канцелярией занимаюсь...

Варагушин открыл низенькую, промерзшую насквозь дверь. Запах плесени и телятника ударил в нос. Согнувшись, командир вошел в помещение «штаба». Алеша шагнул за ним. То, что он увидел, так поразило его, что он растерялся и остановился на пороге: с грязного, сырого пола старой, небеленой избы вскочил красный белолобый телок и, стуча желтыми копытцами, бросился к открытой двери. Варагушин раскинул руки.

— Дверь! Дверь! — закричал он.

Алеша захлопнул дверь.

— Отжевался, стрелило бы его, ушастика!..

Ефрем Гаврилыч поймал теленка за мокрый обрывок веревочки, подтянул на соломенную подстилку и стал привязывать. Теленок брыкался, пытался боднуть Варагушина кудрявым белым лбишком, а командир легонько отпихивал его ладонью.

— Жевун, милости нет. Попервости в пекарне было устроили его, так что бы ты думал! Покуда хлебопек квашню месил, он у него, стервец, фартук до самой завязки изжевал. Да и дух от него несовместный для хлеба...— как бы извиняясь, сказал Варагушин и посмотрел на смущенного, явно разочарованного Алешу.

Командир обтер о спину теленка толстые, сильные пальцы.

— Зато, брат, тихота здесь — никто тебе мозгой работать не помешает. Другого такого уголка по тихости во всей деревне не сыщешь...

У единственного окна избы, возле лавки, стоял некрашеный стол.

— Садись...— Ефрем Гаврилыч достал из-за пазухи сверток бумаги и новый, не очиненный еще карандаш.

— Вот твоя оружия! — с гордостью протянул он Алеше бумагу и карандаш.— Это я для тебя у Свистуна вырвал. «Кровь с носу, а давай,— говорю,— для моего начальника штаба бумаги и карандаш». Дал.

Тоска и разочарование с такой силой охватили Алешу, что он готов был заплакать. Он взял сверток и стоял понуря голову. Варагушин подошел к Алеше, посмотрел на него в упор и сказал:

— Подожди, Лешенька, все будет! И штаб, и люди в штабе...

— Я... я не об этом, Ефрем Гаврилыч...— Алеша окинул глазами промерзшие стены избы и белолобого теленка на грязной подстилке.— Я смотрю, что ни одной карты у нас нет, ни телефона. А сами посудите: без карты в штабе — это же что воин без винтовки...— Алеша принужденно улыбнулся.

Ефрем Гаврилыч сел, снял папаху и положил ее на стол.

— Пока что колотим мы беляков тем, что под руку попадет, это верно, но отобьем. И винтовки, и пулеметы, и пушки отобьем... А карты у нас вот тут,— Варагушин хлопнул себя по лбу.— Садись!

Алеша сел рядом с командиром. Ефрем Гаврилыч расстегнул полушубок, пристально посмотрел Алеше в глаза и постучал пальцами по столу.

Алеша чувствовал, что Варагушин хочет сказать ему что-то очень важное и не знает, с чего начать. Ефрем Гаврилыч помолчал и вдруг спросил Алешу:

— Читал ты когда-нибудь Ленина, Леша?

Алеша утвердительно кивнул.

— Да что ты! — Глаза Варагушина вспыхнули радостно.— А не врешь?!

— Читал!

Алеша недоумевал, к чему командир ведет речь о Ленине.

— Видишь, Леша, составить мне нужно такое воззвание, чтоб прожгло насквозь...

В «штаб» дважды прибегал Васька Жучок и, звеня шпорами, звал командира в оружейную, но Ефрем Гаврилыч отмахнулся от него и все говорил с Алешей, как и что нужно написать в воззвании.

— Эх, если бы я мог сам!..— командир безнадежно махнул рукой.— Сердцем, понимаешь, Лешенька, самой что ни на есть нутренностью все чувствую и умом сознаю, а как до бумаги — слова, как мыши от кота. Ночь просижу. Карандаш изгрызу до основаньичка... Голова распухнет, хоть обручи наколачивай, в глазах темно сделается, а напишу — разорви и брось...

Алеша смотрел на Ефрема Гаврилыча и совсем забыл о своем огорчении, промороженных стенах избы, белолобом телке.

— Идите, Ефрем Гаврилыч, спокойненько. А уж я такое напишу!.. Камень, и тот прожжет...

Варагушин похлопал Алешу по плечу и пошел к двери, но с порога неожиданно вернулся.

— Ты, Леша,— вполголоса заговорил он,— к хлебопекам жмись поближе.— Варагущин кивнул в сторону хлебопекарни.— Они и накормят, и чайком напоят. А то, знаешь, без чайку-то целый день...

Алеша заметил, что о чае Варагушин говорил как-то особенно вкусно: «чаек».

— Идите, Ефрем Гаврилыч, а обо мне не беспокойтесь — не это видали...

ГЛАВА XLV

В полдень Никодим с Бобошкой навестили Алешу. Медвежонка мальчик привел на поясе. Лишь только гости ввалились в дверь, как белолобый телок вскочил, стал реветь и рваться. Медвежонок косился на теленка, нюхал воздух, а потом и сам потянулся к нему с явным намерением познакомиться поближе.

Вокруг Алеши лежали клочки измятой, изорванной бумаги, а на чистом листе было выведено всего только одно слово: «Товарищи!»

— Пишешь? — спросил Никодим друга.

— Пишу. Воззвание, брат, пишу ко всем угнетенным народам Сибири...

Осмелевший пестун рванулся из рук Никодима к теленку с такой силой, что мальчик чуть не упал.

— Да перестанешь ты! — закричал Никодим и, схватив шашку, ударил Бобошку ножнами.

Медвежонок взвизгнул и покорно лег у ног строгого хозяина.

— Ну, пиши, а мы погреться к тебе пришли.

Никодим сел на лавку.

Работать Алеша уже больше не мог. По лицу друга он видел, что ему многое хочется рассказать, да и самому Алеше хотелось поговорить о своих планах работы в штабе. Но он подвинул к себе лист и с озабоченным лицом стал быстро писать не один раз забракованное им начало: «На вас смотрит вся страна! Весь мир! Весь угнетенный народ...»

— Ей-богу, отлупцую...— нахмурив брови, вполголоса пригрозил медвежонку Никодим и снова взялся за ножны.

Пестнун лежал спокойно, и даже кончик языка у него мирно высунулся, а Никодим стоял перед ним в длинной своей шинели, с угрожающе поднятыми ножнами.

Алеша понял, что Никодиму нравилось держать в руках шашку, к которой он еще не привык. «А вот я возьму и не буду смотреть в твою сторону!..» — Алеша еще ниже склонил голову.

— Куда? Куда ты? — крикнул мальчик на медвежонка и стукнул ножнами по полу.

Пестун перекинулся на спину и уморительно выставил лапы.

Алеша оторвался от работы.

— Вдохновение, понимаешь, для этого дела необходимо...

Алеша снял папаху и бросил ее на стол, потом тем же движением, как это делал командир, развернул зипун на груди, точно ему было жарко.

— А без вдохновения нужные слова — как мыши от кота, в разные стороны.

Но лишь только Никодим услышал о коте и мышах, как перебил Алешу:

— Бобошка всю деревню пораспугал!.. Лошади у партизан в дыбки!.. Черная корова через прясло сиганула, только хвост да роги мелькнули... Обозники с сеном ехали — он к ним. Что там было!.. Одна лошадь оглобли сломала и партизана на вожжах через всю деревню проволокла. Завхоз Свистун как закричит на меня: «Ах ты, такой-сякой, немазаный, сухой!»

Лицо мальчика сияло гордостью. Никодим сдвинул папаху на затылок, положил руку на эфес шашки и посмотрел в глаза другу. Но Алеша глядел куда-то поверх его головы.

— Нас, брат, теперь с Бобошкой голой рукой не возьмешь. У него зубы и когти, а у меня сабля... Хочешь, покажу, сколь востра!..

Никодим выдернул голубоватый клинок и взмахнул им над головой.

— Березку в два пальца толщины — за взмах!

Алеша взял из рук Никодима шашку. Волнующий холодок черного дерева на эфесе, приятная тяжесть в руке, блеск металла... Алеше захотелось взмахнуть саблей, но он удержался, что-то невнятно буркнул себе под нос и вернул оружие Никодиму.

— А у меня работы!.. Во-первых, воззвание составить. Во-вторых, десять тысяч экземпляров от руки переписать... А работников в штабе, понимаешь, я да командир...

Никодим вложил клинок в ножны, окинул промерзшие стены, затоптанный пол избы и сказал:

— Как у тебя грязно да вонько в твоем штабе!..

Мальчик решил «отплатить» Алеше за его зазнайство. Он никак не ожидал такой холодности и почти полного безразличия со стороны друга и к Бобошке, и к отбитому у врага оружию.

Лицо Алеши вдруг потемнело. Теленок, грязь, вонь, паутина в углах штаба и без того угнетали его, мешали работать...

— Ну, братец, сморозил! Да понимаешь ли ты, ежова голова, что в военное время и не такому помещению рад будешь... В военное время, брат... Да что тебе говорить! Вот, например, фельдмаршал Кутузов в тысяча восемьсот двенадцатом году совет в Филях в простой крестьянской избе... чуть не с сотней генералов проводил... А ты говоришь!

Но умный мальчик чутьем угадал, что тут что-то не то: и голос у Алеши дрожит, и глаза не так смотрят... Никодим неожиданно предложил:

— Давай приберемся, Алексей!..

— Как приберемся? — не понял Алеша.

— А так: с полу всю грязь к чертовой бабушке. Снег со стен обметем. Из-под бычишка вонючую подстилку тоже долой. Да если мы втроем за это дело возьмемся, то через час-другой ты не узнаешь свой штаб.

Алеша молчал. Предложение Никодима ему понравилось, но он почему-то стыдился показать свою радость.

— Ну что ж, давай, пожалуй, коли такая охота тебе пришла...— И он, не торопясь, надел на голову папаху и поправил на груди зипун.

— Покарауль-ка Бобошку, я за метелками сбегаю.

Никодим выскочил из избы.

Алеша тотчас же присел на корточки перед медвежонком и стал гладить его и чесать за ухом:

— Ну вот мы и в боевой обстановке, Бобошенька! Поздравляю, поздравляю!

Медвежонок выгибал мохнатую спину, терся головой о колено Алеши. С мороза от шерсти пестуна пахло псиной.

Бобошка лизал руку Алеши горячим языком, смотрел ему в лицо и смешно моргал круглыми коричневыми глазками. Алеша любил смышленого, забавного медвежонка, но ласкал его при Никодиме редко, и теперь, заслышав топот за дверью, поднялся и отвернулся от Бобошки.

Мальчик принес две метлы и лопату, вскочил на стол и стал обметать снег и паутину. Алеша принялся за другую стену.

Возбужденный шумом и движением, телок разбрыкался, и пестун стал красться к нему. Глаза Бобошки горели, короткие уши вздрагивали.

Никодим папахой протирал грязные стекла в единственном окне избушки. Алеша писал вывеску: «Штаб партизанского отряда». Оглянувшись, он увидел медвежонка уже на середине избы.

— Смотри! — тихонько толкнул друга Алеша.

Никодим повернулся.

— Бобошка! — гневно вкрикнул мальчик и с силой бросил папаху медвежонку прямо в морду.

Бобошка взвизгнул и кинулся под лавку.

— Все понимает, только грамоте не обучен, а то бы писарем его вместо тебя в штаб...— засмеялся Никодим и так заразительно, что Алеша даже не обиделся на него за «писаря».

В помещении штаба теперь было чисто. От морозной соломы пахло полынком и хлебом. Телка привязали в угол и отгородили найденной на дворе дверью.

— Ну, Ефрем Гаврилыч, полюбуйся теперь штабом!..— Алеша вздыбил пестуна и заплясал вместе с медведем на мягкой, хрустящей соломе.

ГЛАВА XLVI

Третий день Алеша работал в штабе. До десятка текстов воззвания составил он. В каждом из них было сказано о «всей стране» и о «всем мире», «которые смотрят...», о «кровожадном враге, сосущем народную кровь», «прихвостнях буржуазии»... Но ни один из вариантов не удовлетворял автора.

Васька Жучок несколько раз прибегал от командира, крутил усы, звенел шпорами.

— Ну, как воззвание?

— Работаю! Напишу — скажу...— не отрываясь от бумаги, говорил Алеша, срывал с головы «воронье гнездо» и распахивал на груди зипун.

Жучок проходил к столу, садился на лавку и, поигрывая анненским темляком кавказской шашки, смотрел на Алешу. Потом он шумно вставал, делал несколько звонких кругов по избе и, постояв еще у стола, уходил, хлопнув дверью.

И вот кончил воззвание Алеша. В последнем варианте он привел даже фразу знаменитого римского полководца Корнелия Сципиона, пристроив к ней только два слова: «Алтайский народ! Бейся, борись, сражайся мужественно, и я приведу тебя к цели, где ты получишь неувядаемый венок, который тебе предназначен!» Товарищи! Помните! «Жизнь гражданина принадлежит отечеству»,— сказал великий Наполеон... Верьте, недалек тот день, когда произвол белых бандитов рухнет в пропасть!»

Словами: «Для храбрых трудных дел не существует!» заканчивалось воззвание.

Задыхаясь от волнения, дописывал заключительные фразы Алеша. Со сверкающими глазами громко прочел он воззвание.

— Здо́рово! Ур-ра-а, Алексей Николаевич!

Алеша сорвал с головы папаху и подкинул ее к потолку.

— Ну, Ефрем Гаврилыч! Уж это, я думаю!..

Красивым, четким почерком Алеша переписал воззвание.

— Никогда еще так не писал! Вот они, наконец, огненные слова!

— Ты ли это писал, Алексей?

Алеша представил лицо командира, его глаза: «Леша! Леша! — скажет он.— Вот та пушка, которая пробьет любое бронированное сердце!..»

Алеша взволнованно ходил по избе:

— Да это настоящее творчество!

Но чем ближе подвигалось время к приходу Ефрема Гаврилыча, тем все больше и больше закрадывалось сомнений в душу Алеши насчет ценности написанного им воззвания.

Перечитывая его, он уже не восторгался им, как утром. Некоторые слова и фразы ему хотелось переделать. Ожидание обессилило Алешу.

Вечером явился Варагушин. Ефрем Гаврилыч зажег лампу, осмотрел прибранное помещение, толстый слой свежей соломы под ногами и, глядя на вдохновенное лицо Алеши, улыбнулся в пшеничные усы.

— Какой ты у меня...— он хотел сказать что-то ласковое, как отец сыну, но Алеша перебил его:

— Вот, Ефрем Гаврилыч, воззвание, но оно мне самому не совсем нравится, и я твердо решил переделать его заново.

— Давай! Давай вместе! Оно, понимаешь, в две головы-то...

Варагушин сбросил папаху и порывистым движением расстегнул полушубок. Алеше хотелось прочесть воззвание самому, но Ефрем Гаврилыч взял у него лист и медленно стал читать вслух. В затрудненной читке командира воззвание показалось Алеше еще неудачнее. Лицо его залилось краской.

— «Смотрит вся страна, весь мир!» — прочел командир и застучал пальцами по столу.— Понимаешь, Леша... оно того... как бы тебе сказать...—И Ефрем Гаврилыч еще сильнее застучал пальцами.— Ну, одним словом, широко хвачено... Во всем-то мире, Лешенька, дряни всякой, буржуйни и другого элементу достаточно... Давай-ка напишем «пролетарьят». В крайности — «угнетенные массы», тоже можно.

Командир взял в неловкие свои пальцы карандаш и торчком перечеркнул красиво написанную Алешей строчку. Потом, сбочив голову к левому плечу и нахмурив лоб, внес поправку.

— Вот так-то лучше будет! — обрадовался он проделанной работе.

И снова началось медленное чтение воззвания вслух.

Алеша весь сжался, когда командир дошел до фразы Корнелия Сципиона.

— Что-то мудрено... Понимаешь, Леша, как бы тебе...— И командир забарабанил пальцами еще сильнее.

Уже по силе стука пальцев Алеша понял, как не понравилась эта злополучная фраза командиру. Он чувствовал, что этот большой, сильный человек краснеет, мучается, стыдится сказать ему, что все написанное им страшно плохо.

— Ну, одним словом, этот твой Корнил, чей он у тебя...— Варагушин снова наклонился над строчкой.— Од-

ним словом, Корнил Семенов... Пупки с его от смеху у мужиков полопаются...— И Ефрем Гаврилыч засмеялся так весело и непринужденно, что и Алеша улыбнулся.

— «Час победы недалек!» — прочел дальше командир и обрадовался: — А вот это хорошо! Здорово! Это обязательно оставим. Я говорил: в две головы-то... Ну-ка, Леша, давай чистый лист...

Лампа коптила, но ни командир, ни Алеша не замечали. Исправляя фразу за фразой, они переписали воззвание. Дважды пропели петухи в деревне. Давно замолкли собаки. За окном трещала глухая морозная ночь. Алеша писал под диктовку командира. Слова и фразы Ефрема Гаврилыча совсем не походили на слова Алеши.

«Белая банда, во главе с царским последышем, паразитом Колчаком, оказалась бессильной бороться с мозолистой рукой рабочего и крестьянина. И зовет на помощь заграничных буржуев, бога и Магомета... Они, конечно, паразиты, рады перервать горло у всех нас, да не могут — кишка тонка... Ни бог, ни Магомет, ни буржуи не спасут бандитов от гибели. Славная Красная Армия бьет беляков так, что они очухаться не могут... Колчак просит подмоги у иностранных штыков, а иностранные штыки подмогу обещают не задаром...»

Снова залились по деревне петухи. Усталая рука Алеши с трудом двигалась по бумаге, глаза слипались. Командир ходил по избе крупными шагами.

— Пиши! Пиши, Леша! Славно это у нас с тобой у двух-то выходит. А то я, бывало, покуда одно слово пишу — десять в очереди под языком путаются... Кручусь, кручусь, материться начну, да так и брошу... Пиши: «Несите оружие. Каждый патрон, каждая порошина, кусок свинца, даже оловянная пуговица от штанов и та пригодится на пули. А уж партизаны сумеют направить эту пулю в лоб брюхачам...»

Но Алеша уже не мог писать. Голова его падала на стол. Он испуганно вскидывал глаза на командира, пытался писать, но слова Ефрема Гаврилыча не достигали сознания. Варагушин что-то спросил, но он не ответил. Командир подошел к столу и увидел спящего Алешу.

— Леша! — тихонько позвал командир.

Алеша поднял голову, сонно улыбнулся Варагушину и уронил голову на стол.

— Иди, иди спать, Лешенька! — Ефрем Гаврилыч на-

дел Алеше папаху на голову и запахнул зипун на груди.— Иди! А я тут один как-нибудь добью... Теперь раз плюнуть. Спасибо тебе, Лешенька! Спасибо, сынка.

ГЛАВА XLVII

В отряде Никодим чувствовал себя как дома: рядом мать, пестун Бобошка. Отец проводил ответственнейшую и опаснейшую работу вербовки по соседним деревням — на территории колчаковцев, и к нему не раз Никодим бегал на лыжах с поручениями от Варагушина.

Не нравилась Никодиму отчужденность Алеши, но дружбу «вероломного» приятеля ему заменяли партизаны. Оторванные от родных семей, хмурые бородачи ласкали веселого, смышленого мальчика.

— Он у нас вроде бы как полковой козел: всем люб, все его за роги хватают,— посмеялся как-то шутник Фрол Сизых.

Гордый Никодим решил, что Алеша задается со своим штабом, и все реже и реже заглядывал к нему. Но ночами они по-прежнему спали вместе. Никодим рассказывал Алеше о проделках медведя, о сотне дел, «упавших на его плечи»:

— Во-первых, коней поить. Потом коней чистить. Потом снова поить...

Никодим очень любил поить лошадей и поил их так часто, что партизаны даже ругались на него.

— Максим! Максим! — кричал какой-нибудь дядя Андрей дневальному по конюшне.— А где Мухортка? Мухортка мой где, спрашиваю?

На двор крупной рысью въезжал раскрасневшийся, веселый Никодим верхом на мухортом коне. Конь отфыркивался белым паром, поводил боками и явно тянул к кормушке. Но Никодим поворачивал лошадь к воротам. Вынув шашку, он рысью подъезжал к березе с мерзлыми, металлическими ветвями и, взмахнув клинком, наискось рубил.

Искристая снежная пыль косматым потоком лилась с дерева, засыпая голову лошади, папаху и лицо Никодима. Срубленная ветка со звоном падала на снег. Довольный Никодим вкладывал клинок в ножны.

— Дядя Андрюша! Дядечка Андрюша! — Никодим снова пускал коня по двору рысью.— Напоил вашего Мухортку... Едва от проруби оторвал... То есть, чуть всю речку не выпил!..

— А кто с водопоя рысью коня гонит? Кто, хорек ты востроглазый?

Но по тону голоса Никодим знал, что партизан это «так» и что вечером снова можно будет поскакать на Мухортке и поупражняться в рубке.

Утро проходило незаметно. Почти каждый день Никодим убегал на лыжах в лес осматривать петли на зайцев. Деревья стояли по пояс в пухлом снегу. Мелкий подлесок засыпало по маковку. Выкатившееся из-за высокого хребта солнце пожаром зажигало безмолвные леса.

Заячьи тропы хитрыми узорами расписали поляны, сверкающие ослепительной лазурью. На тропах снег казался темно-голубым, как вода в омуте. Места для установки петель Никодим выбирал умело. Повадки беляка он знал до тонкости. Тропы к месту ночных жировок сливались в одно глубокое и тесное русло...

— Вот тут-то мы и поставим петельку на косого!.. Утолочили! Утолочили-то! Все равно что мужичишки за сеном ездят...

Каждое утро Никодим приносил для пестуна по два, по три зайца. А однажды в петлю влетела преследовавшая беляка лиса. Никодим с добычей прибежал в штаб к Алеше. Пушистый огненный ком он крепко прижал к груди. Лиса уже окоченела, пасть с острыми белыми зубами была оскалена. Глянцевито-черные, жесткие усы на узкой мордочке щетинисто топорщились, как у лихого гусара.

Взволнованный Алеша не мог работать. Вместе с Никодимом он снимал и расправлял шкурку. Потом кормили Бобошку. Потом рубили Никодимовой шашкой мерзлые таловые прутья. Поколебавшаяся было дружба Никодима и Алеши снова окрепла.

После кормежки пестуна и нового водопоя подходило время обеда. Никодим брал котелки и бежал на кухню за кашей. Ел он со всеми и незаметно часть каши, кости и кусочки мяса складывал в карман для медвежонка. Пестун очень любил партизанскую кашу с бараньим салом. Любил Бобошка и кости, и съедал самый толстый мосол, разгрызая его на зубах, как сахар.

Единственной грозой Никодима в отряде был завхоз Свистун, но мальчик решил не попадаться завхозу на глаза с медвежонком. Бобошку Никодим устроил в телячьем хлевке. Ночь медвежонок спал в соломе, а днем не отставал от мальчика ни на шаг. Лошади своего двора постепенно привыкли к нему, да и пестун, узнав сердитый их нрав, был осторожен.

Любил медвежонок забраться с Никодимом в избу, где затевали с ним возню партизаны. Большого труда стоило мальчику загнать пестуна на ночь в хлевок. Бобошка ревел, визжал, царапал острыми когтями двери.

Медведь заметно подрос, раздался в плечах, потолстел, а на усиленном питании зайцами и кашей налился силой. Черная шкура его лоснилась, как бархат. Величиной он был теперь уже с бычка-годовичка, только вдвое шире и во много раз сильнее.

Никодим выучил любимца разным штукам. Однажды мальчик нарядил медвежонка в шинель, подвязал шашку к левому боку, на голову надел папаху и под громкий хохот всего двора заставил Бобошку пройтись на задних лапах от ворот до избы.

— Адъютант! Вася Жучок! — ликующе кричал Никодим.

На пороге медвежонок опустился на все четыре лапы и заскребся, просясь в избу. Никодим поднял Бобошку и широко распахнул дверь. В избу набились партизаны. Тетка Фекла и Настасья Фетисовна бросили стирку белья. С мокрыми, мыльными по локоть руками они выскочили из чулана.

— Папаху бравее!

— Подними карточку! Фотографию подними, не печаль хозяина! — кричали со всех сторон.

Никодим был счастлив. Он подошел к медведю. Пестун обнял друга и прошелся с ним по избе, переваливаясь с ноги на ногу, как утка.

За эту комедию мальчик наградил медвежонка блюдечком меда.

Умному зверенышу так понравилась эта затея, что он, как только вспоминал о лакомстве, поднимался на дыбки, снимал с Никодима папаху, уморительно надевал себе на голову и, обняв друга, тянул к шкафчику, где у тетки Феклы хранился мед. Никодим притворялся удивленным.

— И чего это просит Бобошка? Отвратительный, некрасивый зверь!..— недоумевающе разводил руками мальчик.— Не пойму. Никак не пойму!

Никодим вскакивал на лавку, поднимал занавеску шкафчика и гремел чашками.

Медвежонок, дробно стуча когтями, нервно топтался на дыбках и повизгивал от нетерпения.

— Может быть, хренку хочет Бобошенька?

Но лишь только мальчик брал голубую чашку с тертым хреном, как медвежонок недовольно рявкал и под дружный хохот партизан бросался на улицу.

Ежедневно Никодим с пестуном придумывали новую потеху и разыгрывали ее при зрителях всего двора.

В первом взводе был известен ленью и сонливостью партизан Самоха Лычкин. Никодим и Бобошка охотно разыгрывали сценки про лодыря Самоху. Главным артистом был пестун, а Никодим лишь объяснял пантомиму партизанам.

— А ну-ка, Бобошенька, покажи нам Самоху дневальным по конюшне...

Звереныш падал на спину, поднимал лапы кверху и крепко закрывал глаза. Никодим подкрадывался к медвежонку и дергал его за кончик хвоста. Пестун чуть приоткрывал один глаз. Никодим дергал Бобошку за уши, всовывал ему в нос гусиное перышко — все напрасно. Никодим сердито пинал медвежонка сапогом в бок. Пестун только вздрагивал.

— Самоха, белые! — громко кричал мальчик Бабошке на ухо.

Звереныш лениво садился и начинал протирать глаза лапами, чесать грудь и спину.

— Спектакля! Стрель их в бок, мухобоев!.. Животики надорвали... Каждый день спектакля у нас! Пупки рвем,— хвалились партизаны Феклиного двора.

За мед мальчик выучил пестуна борьбе. Борьбу устраивали после вечерней уборки лошадей, посередине ограды. Во двор Феклы собирались партизаны со всего квартала и обступали Никодима и звереныша тесным кольцом.

— А ну, шире круг, шире! — кричал Никодим.

Медвежонок становился на задние лапы и, нажимая на партизан плечом, помогал мальчику раздвинуть круг.

Бобошка полюбил борьбу. Сказывался ли в нем избыток сил, или, может быть, Бобошка твердо знал, что за это дело его впустят в избу, угостят кашей и медом.

Перед борьбой пестун становился на задние лапы, и Никодим повязывал его по животу опояской.

— Склизкой он, как налим,— ухватить не за что. За шерсть больно, поди, будет,— вгорячах не тяпнул бы...

Чаще всего боролся с пестуном партизан Фрол Сизых. Сильный и ловкий мужик, среднего роста, Сизых весь был какой-то круглый, как осетр. Борьбу он любил так же самозабвенно, как некоторые партизаны любили сказки, песни, и всегда вызывался бороться с медведем первый.

— А ну, Фрол, брякни его, чтоб подметки отскочили!...

Фрол бросал шапку и рукавицы на снег и крепко перетягивал дубленый полушубок, потом рывком схватывал пестуна за опояску, и начиналась борьба.

Медведь тоже обхватывал партизана когтистыми лапами за спину, сопел и норовил подтянуть Фрола к своей груди.

Никодим оставался в центре круга. Волнуясь за своего любимца, он следил за борьбой, наблюдая, чтоб Фрол не давал пестуну подножку.

— Ломай его, Бобошенька! Ломай, миленький!

Фрол пытался сдвинуть пестуна с места и неожиданным рывком повалить на бок. Но медвежонок, широко расставив лапы, так упирался в снег, что когти его бороздили, словно стальные крючья.

— Весу в нем, братцы, больше, чем в добром мужике. Как свинцом налит...— говорил о медвежонке Фрол.

Бобошка, в свою очередь, хлопал партизана по полушубку лапами, стараясь плотнее обхватить круглую спину Сизых. Из ноздрей борцов вылетал пар. Лицо Фрола было красно, но повалить медвежонка было не так-то легко. Тогда Фрол давал Бобошке запрещенную подножку, и медвежонок под общий смех летел наземь... Но, поднявшись, вновь наскакивал на Фрола и, снова сшибленный подножкой, катился наземь.

Никодим обижался на Фрола, называл борьбу нечестной. Каждый вечер Фрол был непобедим в борьбе. Каждый вечер над Никодимом и поверженным медвежонком смеялись партизаны.

И вот тогда-то Никодим и придумал способ посрамления Фрола Сизых.

Три дня мальчик и медвежонок пропадали в лесу, а на четвертый вечером пестун Бобошка, при всем сборище партизан, по чуть заметному движению руки Никодима стремительно уронил Фрола в снег, налетев на него сзади.

Одного движения руки Никодима было достаточно, чтобы самый сильный мужик кувырком летел в снег, а довольный пестун, подержав на снегу положенное время поверженного, поднимался и, обняв мальчика, тащил в избу за честно заработанным лакомством.

— Любого силача как ветром сдунет! Бык не удержится против эдакого утюга,— хвалился Никодим силой звереныша.

ГЛАВА XLVIII

Ежедневно Алеша переписывал до тридцати экземпляров воззвания и сдавал их командиру.

— Ефрем Гаврилыч! Вот еще пачка гранат! — каждый раз говорил Алеша, передавая Варагушину очередную кипу воззваний.

Алеше нравилось, когда командир бережно брал его работу и почему-то вполголоса приказывал Жучку и еще двум вестовым-партизанам «доставить куда нужно».

Вера командира в силу воззвания высоко поднимала значение его работы, по-новому раскрывала смысл его борьбы. Белозеров считал себя счастливейшим человеком, живущим в такое героическое время. Не раз, представляя себе быт своих московских товарищей, Алеша смеялся в душе над ними.

«Сидят, сердешненькие, и долбят до одури бином Ньютона, объем пирамиды, эпитеты, пунктуацию... А мы здесь утверждаем новую судьбу мира...»

За стеной гремели мерзлые поленья, ругались хлебопеки, а он писал и улыбался, представляя лицо Ефрема Гаврилыча.

«Что-то скажет он на этот раз? Улыбнется...»

Алеша любил своего командира. Гордился, что вместе с ним сидел в тюрьме, вместе боролся. Все нравилось ему в нем: и физическая сила (Алеша слышал от парти-

зан, что в «тесном топком месте» командир одной рукой вытащил за хвост лошадь), и большой квадратный лоб. Даже манера командира бросать папаху на лавку и расстегивать полушубок на груди — все вызывало подражание. Он также недовольно щипал себя за верхнюю губу, где начинали пробиваться первые робкие волоски, и, нахмурив лоб, гмыкал в пшеничные свои усы.

Алеша выпросил у Жучка бритву и, желая ускорить рост усов, сбрил первый пушок на губе. Тогда же он решил подбрить волосы на лбу, чтобы высота и форма лба были такие же, как у командира.

От неумения пользоваться бритвой он порезался и заехал в волосы над левым виском дальше, чем над правым. Пришлось «выровнять линию». Алеша увидел в зеркальце иссиня-голубую полоску, отделявшую лоб от границы густых кудрявых волос. Зато лоб его теперь в точности как у командира.

Но уже на третий день густая щетка волос пробилась на бритом месте. Алеша снова побежал за бритвой, но, подбривая волосы на лбу, каждый раз заезжал все дальше и дальше.

Чтоб скрыть беду, Алеша решил закрывать лоб папахой до тех пор, пока волосы не отрастут.

В отряд вернулся с вербовки из соседних деревень второй после Гордея Корнеева помощник Варагушина — Андрей Иваныч Жариков, усть-утесовский подпольщик-большевик.

Был он немолод. Седые виски оттеняли смуглую кожу на лице. Ладони Андрея Иваныча были в черных, застарелых трещинах. Говорил Жариков все больше шуткой, но в глазах его искрился сухой огонек. Андрей Иваныч был в отряде так же незаменим, как и Ефрем Гаврилыч.

При встрече с Алешей Варагушин сказал:

— Это, Иваныч, тот самый Леша. Золотой для письменности парень...— И Ефрем Гаврилыч похлопал Алешу по плечу. Алеша раскраснелся от похвалы командира.— А это, Лешенька, Андрей Иваныч, мой пом. В точности такой самый, какого надо. У меня две правые руки, Леша: Гордей Миропыч да Андрей Иваныч. На них, как на китах земля, отряд держится.

Командир и пом посмотрели один на другого и улыбнулись. Алеша понял, что Ефрем Гаврилыч и Жари-

ков друзья: ему стало грустно, что не он первый друг Варагушина. Алеша плохо занимался, раньше обычного закончил работу, вышел на улицу. Он стоял и смотрел на оживленное движение в Чесноковке. Кто-то приезжал и уезжал. Больше половины отряда, во главе с Жариковым, прорысило в сторону ущелья. Куда? Алеша не знал. Хорош начальник штаба!..

Алеша пришел домой. Стемнело. Разыгрывалась пурга. Два партизана говорили о лошади, которая «туго мочится». Алеша ничего не понял из их разговоров. Потом они заговорили об уехавших. Называли хорошо знакомые, очевидно, им места: Волчью падь, Грязную щель.

Никодима не было. Настасья Фетисовна сказала, что он еще утром убежал [1] к отцу в деревню Коржиху. Беспокоилась: как-то мальчик перевалит через седло в непогодь?

Алеша поужинал, забрался на полати и лег, но спать не мог. Вспоминались слова Ефрема Гаврилыча: «У меня две правые руки: Гордей Мироныч да Андрей Иваныч». «Ну и пусть! И пожалуйста»,— с дрожью в голосе сказал Алеша и заплакал.

ГЛАВА XLIX

Бои начались в самые морозы. Вылазки Жарикова с частью партизанского отряда, разгром охранников в двух волостях, захват оружия и боеприпасов обеспокоили штаб белых.

В тайгу послали сводный отряд есаула Гаркунова с двумя легкими горными орудиями и пулеметами. Крестьяне бежали от зверств гаркуновцев в Чесноковку.

К партизанам шли и пешие, и конные, и с оружием, и без оружия. На санях везли домашний скарб.

Переполненные дома не вмещали наезжего люда. Беженцы занимали дома и приспособленные для жилья амбары. Численность отряда утроилась. Гордей Мироныч Корнев вернулся в Чесноковку.

При штабе Андрей Иваныч Жариков организовал копировальный станок для размножения воззваний.

Алешу в строй не отпустили, но он выговорил, что в

[1] На Алтае о лыжниках говорят не «ушел», а «убежал».

первое же серьезное дело его возьмут, иначе он «окончательно разучится держать винтовку в руках».

Жариков и Гордей Корнев проводили митинги.

Партизан, одетых в зипуны, становилось все меньше; Алеша и Никодим тоже получили валенки, дубленые полушубки, как у Ефрема Гаврилыча, и солдатские ремни.

Движение гаркуновцев партизаны задержали в восьми километрах от Чесноковки, в деревушке Маралья падь. Отряд Варагушина оборонял крутой Стремнинский перевал. По склонам Стремнинского перевала раскинулась мертвая, заснеженная тайга. На гребне от яростного накала трескались камни.

С той и другой стороны выставлялись в тайге секреты, высылалась разведка и дозоры. Люди цепенели, жались к жилью, к кострам. Даже побелевшие затворы винтовок нередко отказывались служить: лопались боевые пружины...

Ефрем Гаврилыч Варагушин, отправляя Гордея Корнева, сказал:

— Приведи ты ко мне, Гордюш, белогрудого. Сам знаешь, как он нам сейчас требуется.

И вот Гордей Корнев, помощник командира отряда, выполняет почетное задание: достает «языка».

Заря догорела. Поджав крылья, тетерева камнем падали с березы в пухлый снег на ночевку. Каждый раз, как бросалась птица, за ней устремлялся косматый поток инея. И чудилось, что радужно переливающиеся на фоне зари кристаллы инея в морозном воздухе звенят тонким, переливчатым звоном.

Гордей Корнев повернулся на другой бок. Мороз пробрал его до самого сердца, но ползти еще было рано: часовые с вечера бдительные, надо ждать, когда и их зажмет в тиски длинная морозная ночь.

Тайга точно вымерла. Взошла луна. Молочно-голубой снег матово заискрился. Обманчивое тепло от снега иссякло, лишь только партизан перестал двигаться.

Корнев решил переползти поляну с березами и перележать часы в кедровнике, вблизи от врага. Все знакомо в этих местах Гордею Корневу. Не раз, увлеченный преследованием зверя и застигнутый ночью, коротал он

часы у яркого костра... Партизан сделал одновременное движение левой рукой и ногой. Потом так же передвинул правую ногу и руку. И снова стало теплее. Ползти в глубоком снегу так же трудно, как плыть под водой. Гибкими движениями Гордей Корнев напоминал червя, пробуравливающего глиняный пласт.

Дальше, дальше... И вдруг из-под самого носа, из глубокой снежной лунки, ракетой взорвался заяц. Корнев вздрогнул. «Дорогу пересек, косой чертенок!» И хотя разум партизана-большевика давно уже не мирился с суеверными приметами, однако Корнев всегда испытывал неприятное чувство, когда, отправляясь на медвежью берлогу, встречал перебежавшего дорогу зайца, а в выход на соболий промысел — бабу с пустыми ведрами.

В кедровнике пролежал около двух часов. Уже ковш Большой Медведицы закинулся навзничь.

«Пора!»

Он снова пополз в «падь». Страшно ночью в лесу рядом с врагом: опасность чудится всюду. Храбрость не удивительна в бою, локоть в локоть с верным товарищем. Вот почему и послал командир отряда своего помощника, не раз в одиночку показавшего редкое хладнокровие и мужество.

Не дальше двух шагов, в занесенном снегом кусту, партизан услышал шорох: на Корнева в упор смотрели расширенные глаза. Часовой, очевидно, был напуган появлением белого привидения: партизан был в заячьем треухе и полотняном халате.

И странно: кроме испуганных глаз, ничего другого не заметил партизан.

...Гордею Корневу показалось, что часовой умер еще до того, как он бросился на него и прикоснулся к жесткой шее сильными, цепкими руками.

«Вот притча! Гнилое какое сердчишко!» — опуская в снег обмякшее, еще гибкое тело, испуганно подумал Гордей Мироныч.

Потом он сорвал с мертвеца ремень с подсумком и, расстегивая пуговицы полушубка, увидел, что на груди у часового белый треугольник: «Отличительный знак на ночь».

Корнев натянул тесноватый в плечах полушубок. Труп задвинул в снег.

«Постою, подожду полчасика».

Но полчаса ждать не пришлось. Из березовой рощицы показались два человека — сменный часовой и начальник караула...

Гордей Мироныч втянул голову в плечи, стараясь казаться ниже ростом. Под ногами людей хрустел снег. Ближе, ближе...

— Замерз, Авдеев? — негромко спросил один из идущих.

Партизан только хлопнул себя длинными руками по бедрам.

«Еще, еще напущу!.. — подавляя непреодолимое желание повернуться, шептал Корнев.— В самый раз!..» Круто повернувшись, партизан уронил проткнутого штыком часового на снег.

Усатый унтер-офицер вскинул руки кверху и, опускаясь на колени в снег, силился что-то крикнуть, но трясущиеся губы не повиновались ему, и он таращил испуганные глаза на партизана.

— Ползи! — указал Гордей Мироныч на промятую в снегу борозду.— Ползи!— и выхватил у пленного унтер-офицера винтовку.

Усач покорно опустился на снег и пополз, словно всю жизнь ползал по глубокому алтайскому снегу.

ГЛАВА L

Вечером Ефрем Варагушин позвал взводного казака Кирилла Лобанова.

— На ночь усилишь посты. Поставь надежных... Ребятам настрого накажи: на левый фланг выйдет Гордей Мироныч с беляком. Смотри! — Варагушин сурово сдвинул брови и, точно не доверяя, повторил: — Сам проследи. В случае чего — голову отвинчу...

Казак Лобанов, бок о бок провоевавший с Варагушиным всю германскую войну, одностаничник и сосед Ефрема Гаврилыча, удивился необычайной строгости командира и дорогой ворчал:

— Взводные, по-твоему, дураки у тебя... У взводных твоих голова для шапки, видно, излажена...

— Позвать отделенного Пальчикова! — крикнул Лобанов еще в воротах двора.

— Мишуха! Мишка! — закричало несколько голосов разом.

Из конюшни вышел молодой партизан.

— Чего орешь, батя? — спросил он взводного.

— Как стоишь? Как отвечаешь? — неожиданно закричал не остывший еще от обиды Лобанов, но потом махнул рукой, глядя на растерянное лицо молодого партизана.— Вот что, Мишка! Твое отделение, как самое боевое, ну там и прочее... Смотри, чтоб в оба! Чтоб заяц не проскочил! Гордей Мироныч с беляком вернуться должен. Ежели чего — морду искровеню, не посмотрю, что ты зятек мне.

— А баня как? Все отделение в баню собралось. Наш черед париться... Мужики веники раздобыли. Вошь обседлала — спасу нет. Рубаху тряхнешь над каменкой — лопаются, как гранаты... — начал было отделенный, но взглянул на взводного и направился на двор тетки Феклы, где слышались веселые мужские голоса и смех.

Алешу точно сдуло с полатей, где они лежали с Никодимом.

— Товарищ Пальчиков!.. Ефрем Гаврилыч... Андрей Иваныч... — заспешил Алеша,— мне разрешите... пожалуйста!.. Ну что вам стоит!..

Отделенный производил расчет людей на два полевых караула.

— Товарищ отделенный! — не отставал Алеша.

— Медведев! — позвал Пальчиков.— И где он, черт культяпый!..

Оказалось, что страдающий ревматизмом шестидесятилетний партизан Савел Медведев успел-таки уйти в баню.

Пальчиков повернулся к Алеше:

— Одевайсь!

Алеша быстро вскочил на полати, схватил валенки и полушубок...

Никодим вышел проводить друга и предложил Алеше свою шашку:

— Возьми, я не жалею...

Алеша нацепил шашку.

Все было таинственно и необычно: и как шли молча, и как расходились в тайге. Даже скрип снега под ногами воспринимался по-иному. Алеше казалось — словно точили узкие длинные ножи нож о нож.

Белозерову выпал черед стоять в третьей смене. Четыре часа Алеша волновался, ожидая выхода на пост. Густой кедровник. Маленькая полянка в тайге. Засыпанная снегом пихта. Шепот разводящего. И вот Алеша один, совершенно один...

Над головой бесшумно пролетела белая полярная сова и с силой шарахнулась в сторону; лицо часового обдало ветром. Сердце Алеши плеснулось, как крупная рыба.

Луна ушла за гребень. Стволы пихт враждебно насторожились. Тени ползли меж мертвых деревьев. Фосфорические огоньки перебегали с места на место.

«Волки или кристаллы снега?.. Конечно, волки!»

Алеша невольно отодвинулся в глубь кедровника. Мутноватая темь подступила к самым ресницам.

— Хорошо бы вслух сказать одно только слово, чтоб отпугнуть их... Скажу, скажу, скажу... — все громче и громче шептал Алеша.— Дернул черт вызваться! А все тщеславие... Ну и пусть бы... Хорошо Никодиму храбриться в деревне, на полатях...

Влево от него, как показалось ему, мелькнула тень.

«Гаркуновец!»

Алеша покосил глазом влево — тень подвинулась тоже влево, Алеша вскинул винтовку, и тень разом шарахнулась.

«Выстрелю!»

Но кругом было тихо. Ни огоньков, ни тени. Алеша опустил винтовку. Попытался думать об отце, но не мог. Тени — теперь уже их появилось несколько — ожили и поползли к нему со всех сторон.

— Хоть бы свет скорей! — не выдержал Алеша, сказал вслух.

От напряженного ожидания в ушах стоял звон, кровь толчками била в виски... Глаза Алеши были расширены, а зубы стучали так, что он не мог удержать их.

Казалось, никогда-никогда не придут сменить его. От напряжения Алеша устал, шея, плечи, ноги ныли, точно он был изломан на дыбе. Но вскоре боль и страх притупились, сменились безразличием, сонливой вялостью. Пугающие тени исчезли. Засунутые в рукава полушубка руки приятно согрелись. Прижатая к стволу спина нежилась, отдыхала. Звезды то пропадали из глаз, то вновь возникали. Шум в ушах исчез, зубы перестали выбивать дробь.

Гордей Корнев знал, как опасно возвращаться через линию своих часовых: ночная тьма делает человека мнительным. Он шел с нарочитой шумливостью, окриками подгоняя пленника. И все-таки на часового наскочил носом к носу.

Алеша, задремавший на посту, выскочил из-за ствола пихты так стремительно и так испуганно крикнул «С-с-той!», что не только у белогвардейца, но и у Гордея Корнева вздрогнуло сердце.

— К-к-то и-д-дет?! — и вскинул винтовку к плечу.

В один прыжок партизан опередил унтер-офицера и встал перед часовым:

— Свои!..

Но Алеша ничего не видел, кроме белых треугольников на полушубках неожиданно появившихся перед ним людей.

— Сво... — не докончил Гордей Мироныч и, словно сбитый ураганом, упал на снег.

Прибежавшие из полевого караула партизаны с трудом выкрутили винтовку из рук Алеши. Гордею Миронычу помогли подняться.

— Я же сказал... тебе: «Свои»... — ослабевшим голосом проговорил Корнев и левой рукой прижал к груди перебитую в плече правую свою руку.

Ногн Алеши подломились. Он опустился на снег.

ГЛАВА LI

Захваченный Гордеем Корневым «язык» раскрыл замыслы белых врасплох разгромить штаб партизанского отряда в Чесноковке, нанеся удар одновременно с тыла и фронта.

Варагушин тоже разделил свой отряд, решив предупредить обход засадой в ущелье реки Кабанихи. Андрей Иваныч Жариков ночью с третьим и четвертым взводами скорой рысью выехал из Чесноковки.

Прошло три дня, а от уехавших не было донесения. Посланные из Чесноковки один за другим два ординарца тоже не вернулись.

Ефрем Гаврилыч хмурил брови.

— Перехватывают наших связных... Не мог Андрей Иваныч с такими молодцами засыпаться... Перехватывают, подлецы,— убежденно повторил он.

Разговаривали в избе тетки Феклы, у постели Гордея Мироныча.

Настасья Фетисовна и Никодим сидели у стола. Гордей Мироныч вдруг поднялся на постели.

— Гаврилыч! — Спекшиеся синие губы Корнева резко выделялись на широком бледном лице...— Я проберусь... Я знаю, где... Надоело до смерти колодой валяться,— просительно закончил Гордей Мироныч.

Варагушин взял друга за плечи и уложил в постель.

— Доведешь, вот провалиться мне, Гордюш, доведешь... И не загляну к тебе! Так и знай! — Брови и усы командира сердито зашевелились.

Маленькая рука Никодима, державшая руку матери, задрожала. Он ничего не сказал, но Настасья Фетисовна поняла все. Мальчик сжал похолодевшие ее пальцы.

— Ефрем Гаврилыч! Я горносталем проскользну. Я, Ефрем Гаврилыч, птицей перелечу! — в голосе мальчика задрожали те же просительные нотки, что и у отца.

Командир взглянул на Настасью Фетисовну. Женщина смотрела ему в глаза. Гордей Мироныч поднялся на постели и тоже смотрел на Варагушина.

Никодим подбежал к отцу и встал у кровати.

— Пошли его... Он у меня... — В глазах Гордея Мироныча вспыхнула гордость и любовь.

Командир переводил взгляд с Гордея Мироныча на Настасью Фетисовну и крутил папаху в руках. В избе было тихо. Отец, мать и сын с надеждой смотрели на командира. Ефрем Гаврилыч, не сказав ни слова, вышел из избы.

Ночью партизаны на Стремнинском перевале слышали стрельбу за деревней Маралья падь, в тылу у гарковцев, ливень пулеметов; потом все смолкло.

На рассвете Ефрем Гаврилыч снова пришел в избу тетки Феклы и принес ситцевый сарафанчик, шубенку и белую пуховую шаль.

— Настасья Фетисовна, обряди сына девчонкой... А до Маральей пади я его сам проведу... Необходимо разнюхать...

Никодим спрыгнул с полатей, бросился к Варагушину, хотел что-то сказать, но раздумал и повернулся к дверям.

— Я, мама, живо... Только Бобошку на веревку... Не увязался бы: он у меня погонялка!.. — крикнул мальчик с порога.

Багровое вырвалось из-за хребта солнце и зажгло заснеженную тайгу. Разубранные инеем березы стояли, как застывшие фонтаны. У околицы Маральей пади, на перекрестке дорог, ходил часовой в длинном тулупе. Скрип шагов его был далеко слышен в утренней тишине.

«Дневной пост»,— отметил Ефрем Гаврилыч.

Варагушин проводил взглядом маленькую фигурку, повязанную теплым платком. За собой Никодим тянул детские саночки. Вот он поднялся на взвоз. Вот сел на санки и пустился с крутика на разъезженный рукав реки.

Баба с ведрами спустилась к проруби. Должно быть, она что-то сказала Никодиму, потому что он засмеялся и замахал рукой.

Ефрем Гаврилыч успокоился, подобрал полы белого халата и руслом ручья пополз к Стремнинскому перевалу.

Ощущение страха сковывало движения мальчика. Ноги заплетались, кололо в пятки, словно он босой шел по щебню. Сердце распухло, трудно было дышать. И если бы не Ефрем Гаврилыч, лежавший за сугробом, Никодим сел бы на снег и попробовал отдышаться.

Дома́ занятой врагом деревни, часовой у перекрестка (на него Никодим ни разу не взглянул, когда шел от русла ручья до взвоза) тоже были страшны. И даже ржание лошадей во дворах и ранняя игра на гармонике казались враждебными. Но помогла баба, признавшая Никодима, очевидно, за соседскую девчонку. Мальчику стало смешно. Он втащил санки на самый крутик, сел и оттолкнулся. Привычный холодок подкатил к сердцу. На выбоине санки стремительно подкинуло, и Никодим полетел в снег. Шубенку, ситцевый сарафанишко закинуло на голову. Никодим вскочил, поспешно оправил «сбрую» — так окрестил он свое убранство — и снова с саночками побежал на взвоз.

«Буду кататься, пока не соберутся ребятишки. Потом пойду по деревне и прохожу весь день, а ночью к Семену Кобызеву, в пятую избу с краю...»

Мальчик пощупал лепешку в пазухе, но есть ему не хотелось.

Теперь Никодим опасался только, как бы маралихинские ребятишки не узнали его и не подняли на смех.

Кавалеристы повели лошадей к прорубям. Околица наполнилась ржанием, скрипом и хрустом снега. Кони были сытые, рослые. Никодим невольно сравнивал их со своими лошадьми.

«И все равно наши кони дюжей, а мужики сильней... Чтоб мы да не навтыкали эдаким мозглякам! Да один Ефрем Гаврилыч... А дядя Рыжан, Фрол Сизых...»

У прорубей высокие кони кавалеристов рубили копытами закраины льда, подгибали ноги, некоторые опускались на колени. Никодим подошел к проруби и смотрел, как вздрагивало горло у ближней к нему породистой золотисто-рыжей кобылы, как шелковисто струилась шкура на шее от глотков воды.

На взвозе закричали. Никодим повернулся и увидел ораву девчонок и мальчишек. Они выстраивали санки в ряд, готовились вперегонки лавой скатиться на реку.

Никодим поправил шаль на голове, и лишь ребята пустились с горы, он побежал им навстречу. Ветром и снежной пылью обдало его.

Кавалеристы повели лошадей с реки.

«Вместе с ними войду в деревню»,— решил Никодим и подождал гаркуновцев.

Первое, что поразило Никодима во вражеской деревне,— это два трехдюймовых орудия, накрытых брезентовыми чехлами. Трехдюймовки хищно прижались к изгороди на въезде. Тут же, на высоких зеленых колесах, стояли и зарядные ящики.

«Пройду мимо и не взгляну ни разу». Но лишь только поравнялся с орудиями, как голову его точно силой кто повернул, а ноги остановились. «На восемь верст хлещет!.. Эх, Ефрему бы Гаврилычу такую животную... А то бухала наша плюется на полверсты с подбегом!»

У Никодима обидой защемило сердце. Уйти от орудий оказалось не так легко. Никодим подвинулся вплотную к пушкам. Ему неудержимо захотелось дотронуться до «зевластой храпки», но из двора вышел рослый батареец и крикнул:

— Кыш!

Никодим подхватил сарафан и, наступая валенками

на подол, кинулся по улице. Вскоре он пошел шагом, оглядываясь на трехдюймовки.

«Орудия высмотрел. Надо высмотреть пулеметы. И нельзя ли ночью песку в пушки насыпать да слямзить пулеметишко-другой...»

По улице ехал свекольно-румяный на морозе усатый офицер на соловой лошади. На ногах офицера — начищенные сапоги со шпорами, на плечах черного полушубка — золотые погоны.

Никодим свернул с дороги в снег и наклонил голову. Ему казалось, что офицер обязательно узнает его, несмотря на шаль, девичью шубенку и сарафан.

Соловая лошадь под всадником, тонкая и упругая, как щука, шла вприпляс. Каленый темно-вишневый глаз ее пугливо покосился в сторону Никодима.

Офицер достал из кармана синих галифе платок и вытер им пышные усы.

«Попался бы ты со своими усами Андрею Иванычу Жарикову в тесном месте!..»

Никодим долго смотрел вслед красивому офицеру. Стройная фигура всадника колыхалась в такт пляшущей лошади.

«Сколько гадов ползает по земле! Ну, я понимаю, за красных и драться, и умереть, а вот за белых...» Уму и чувству Никодима это было непостижимо и противоестественно, так же как съесть кусок мыла.

В соседнем дворе рявкнули трубы оркестра: музыканты разучивали марш. Никодим забежал в ворота. Никогда не слышанная им громкая музыка развеселила его. Слушая, он забыл все и улыбался широко и радостно. Особенно нравилась ему большая ярко начищенная труба, изогнутая подобно бараньему рогу, рявкающая густым медным басом.

Никодим подошел к музыкантам. Он смотрел, как бритые щеки кларнетистов раздувались от натуги, как в трудные моменты выпучивались у них глаза, а на щеках играли ямочки, словно музыканты улыбались через силу. Никодиму захотелось попросить трубача разрешить дунуть ему один разок.

Из дома вышел мальчишка лет четырнадцати в белой барашковой папахе и малиновой черкеске. На расшитой золотым позументом груди отделанные перламутром и серебром с чернью газыри. Тонкая фигурка его

была перетянута в талии узеньким наборным пояском. На ногах — не виданные никогда Никодимом красные сафьяновые сапожки. В правой руке мальчишка держал самую маленькую из всех серебряную трубу со множеством клапанчиков.

Он прошел мимо Никодима, едва взглянув на него из-под пушистых ресниц черными, презрительно сощуренными глазками. Никодима охватила такая дрожь при виде самодовольного лица и нахально вздернутого носика музыканта, что он с трудом удержался, чтобы не толкнуть его плечом в грудь.

Мальчишка встал с краю и приложил серебряную трубу к губам. Никодим повернулся и, не оглядываясь, пошел из двора, волоча саночки.

«Задавака! Один на один набил бы я тебе морду! Надвое бы переломил и увозил бы всю твою сряду!»

А трубы уже издевательски звенели медными голосами вслед Никодиму.

Мальчик пошел на противоположную окраину деревни, решив, как наказывал ему Ефрем Гаврилыч, высмотреть охранение противника с тыла и разведать, что за стрельба была в этом конце ночью.

Не прошел он и квартала, как мимо на взмыленной лошади пронесся кавалерист. Всадник с маху остановил лошадь во дворе лавочника и спешился у коновязи. В глубине, над резным крыльцом большого дома, на казацкой пике бело-голубой флаг.

«Штаб»,— решил Никодим.

У открытых ворот рубленая, потемневшая от времени лавка. Никодим прочел вывеску:

«Торговля красным и бакале,
а также и прочим
Аристарха Иваныча Гольцева».

Обитые железом двери лавки были заперты большим ржавым замком, а у единственного решетчатого окошечка часовой с шашкой наголо. На широком дворе — заседланные лошади. У отдельной волнообразно изгрызенной коновязи — соловый конь офицера.

Никодиму очень хотелось зайти во двор, но он боялся часового. «Подожду до обеда, а там попробую»,— и мальчик вприпрыжку побежал дальше.

У околицы деревни ему попался обоз из восьми под-

вод. На дровнях, в плетеных коробах, сидели раненые колчаковцы с забинтованными головами, с руками на перевязях.

«Жариковская работа!» — обрадовался Никодим.

Задняя подвода отстала от других. Никодим пропустил ее и, прихватившись веревочкой за перекладину дровнишек, сел на саночки. Подводы повернули к штабу. Мальчик вместе с ними въехал во двор.

Промерзшие мужики-подводчики и раненые колчаковцы пошли в дом. Никодим проскользнул в двери. В полутемной передней штаба было так накурено, что в облаках дыма люди маячили, как в густом тумане.

Никодим прижался в угол, снял рукавички, сунул их за пазуху и стал тереть руки.

«Ежели чего, скажу: «Погреться зашла с морозу...»

Из разговоров возчиков Никодим понял, что они уже второй раз вернулись.

— Проезду по дорогам нет... Куда ни сунься — партизаны...

«Андрей Иваныч орудует!» — ликовал Никодим.

По тону мужиков мальчик чувствовал, что они нисколько не огорчены, что, может быть, привирают даже немного, но ему было радостно, что партизаны всюду...

Дверь из штаба отворилась, и на пороге Никодим увидел румяного усатого офицера, встреченного им на улице. Мужики и раненые колчаковцы поднялись, но офицер ласково замахал рукой.

— Сидите, сидите, братцы! — приятным голосом остановил он их.

Никодим тоже сел и плотно прижался в угол.

Из раскрытой двери широким потоком бил свет. Сизые слоистые облака табачного дыма колыхались, обволакивали фигуру офицера.

— Придется, братцы,— обращаясь и к раненым и к мужикам, заговорил офицер,— поездку отложить на денек. Завтра утром вахмистр Грызлов с полусотней и пулеметом очистит путь от разбойников.

Кровь прилила к лицу мальчика.

— Сам ты разбойник, котовья морда... — прошептал он.

— А теперь идите, братцы, и отдыхайте до завтра... — все так же ласково закончил офицер.— Басаргин! — крикнул он совсем другим голосом.

Из соседней комнатушки открылась дверь, и на пороге появился огромный седобородый казак.

— Честь имею явиться, господин сотник! — точно с печки упав, выкрикнул он.

Никодим узнал в нем одного из карателей, приезжавших к ним на заимку, в которых он стрелял через окно.

— Привести пленных в кабинет к господину есаулу!

— Слушаюсь, господин сотник! — еще громче рявкнул Басаргин и шагнул в толпу раненых и подводчиков.

Никодиму очень хотелось остаться в передней штаба, но больше половины мужиков колчаковцев вышли. Он поднялся из своего угла и шмыгнул к двери. На дворе уперся в саночки руками, разогнался, вскочил на сиденье и прокатился мимо часового.

«Пойду! Теперь пойду! — твердо решил он, но фраза офицера о пленных не выходила у него из головы.— Одним глазком взгляну...»

Никодим сел на саночки и начал переобувать валенки.

Басаргин подошел к часовому:

— А ну, Ганя, отопри клетку да выпусти птичек — сам господин есаул требует! — весело сказал казак часовому.

Подводчики, нагрузив сани ранеными, проехали. Часовой загремел ключами. Пронзительно заскрипела обитая железом дверь.

— Вых-ходи! — грубым голосом закричал казак Басаргин.

Из лавки первым вышел на улицу «адъютант» Ефрема Гаврилыча — связной Васька Жучок.

Он был без шапки, с иссеченным нагайкой, распухшим лицом. Левого глаза у него не было, а на месте его выпятилась застывшая, величиной с голубиное яйцо, какая-то багрово-черная накипь.

Ни нарядного кавалерийского полушубка с мраморной каракулевой выпушкой, ни офицерских ремней, ни сапог со шпорами. Одет Жучок был в какую-то бабью кацавейку и выкрашенные химическим карандашом, растоптанные валенки.

Следом за Жучком вышли еще три человека. Никодим с трудом узнал в них партизан первого и четвертого взводов. Ближним к нему был веселый силач Фрол Сизых, который всегда боролся с Бобошкой.

Пленные партизаны направились к штабу. Басаргин

с обнаженной шашкой и часовой пошли в двух шагах от них. Никодим побежал следом, но в воротах остановился.

Васька Жучок шел впереди и на ходу как-то странно размахивал необыкновенно короткими руками. Только теперь Никодим рассмотрел, что обе руки Васьки Жучка были отрублены по локоть и обмотаны каким-то грязным тряпьем.

— Сволочи! Белые гады! — точно вихрем подхваченный, пронзительно закричал Никодим и вскинул кулак над головой.— Васенька!.. Дядя Фрол! Держитесь! Миленькие, держитесь!.. Мы выручим... Завтра же выручим!

Басаргин и часовой повернулись к воротам. Обернулись на ходу Жучок и Фрол Сизых, но ни Фрол, ни Васька не остановились, а Жучок даже ускорил шаг и почти побежал к штабу, еще сильнее размахивая своими страшными обрубками.

Охваченный яростью, Никодим ни о чем не думал в этот миг. И только когда остановившийся глуховатый Басаргин, по своему обыкновению тупо соображавший, повернулся в его сторону, мальчик почувствовал опасность, подхватил сарафан, сорвался с места и бросился вдоль улицы. Бежал он так быстро, что ветер свистел у него в ушах. Остановился только у околицы, заметив на перекрестке дорог фигуру часового. Бежать дальше было нельзя. Никодим сел на салазки. В грудь ему точно налили расплавленного свинца. Крутой взвоз, где он катался утром, был рядом. На реке слышались беспечные голоса ребят.

Вдруг в тихом морозном воздухе Никодим услышал тяжелый топот, повернулся к штабу и обмер: по улице с обнаженной шашкой бежал казак Басаргин и на бегу делал знаки шашкой часовому.

Никодим схватил санки и кинулся к взвозу.

«К ребятам!..»

Казак был уже у пушек, когда Никодим покатился под гору. Но только неудержимо мчась с крутика, Никодим понял, что просчитался: орава ребят поднималась в гору, и на безлюдной реке он очутился один.

«Срежут из винтовки»,— пронеслось в мозгу Никодима.

Мальчик направил санки к руслу ручья, решив бежать к лыжам. Но голоса ребят замолкли, и Никодим

почувствовал за спиной грозную тишину. Санки, теряя инерцию, остановились. Мальчик встал. С крутика мчался, упав на ребячьи санки, бородатый казак.

Никодим рванулся к руслу ручья, но глубокий снег остановил его, и он, набрав полные валенки снегу, пошел, озираясь на ходу, как настигаемый охотниками олененок.

«Успею и шагом...»

И странно: страх перед Басаргиным пропал. Мысль работала отчетливо.

«Пройду до надува, разуюсь, валенки в руки — и бегом к лыжам. Меня снег выдержит — он загрузнет...»

До надува оставалось не более ста шагов. В длинном сарафане и шубейке идти по глубокому снегу было тяжело и жарко. Оглянувшись, Никодим увидел, что казак тоже поднялся с санок и шел его следом. Никодим побежал и на бегу стал снимать шубенку.

— Держи! Г-о-нча-ренко, держи! — услышал Никодим умоляющий голос Басаргина.

Мальчик повернул голову и увидел, что часовой, сбросив тулуп, успел забежать ему навстречу поперечной дорогой и стоял у пихты с винтовкой на изготовку.

Никодим вынул из-за пазухи широкий отцовский нож и, повернувшись, пошел на Басаргина. Седобородый великан стоял без шапки. Лицо его было потно и красно, точно исхлестанное веником. От головы, от спины шел пар.

С яра бежали ребятишки. На взвозе появился кавалерист. Никодим забросил нож далеко в снег. Воздух был так недвижен, что пар от казака поднимался прямым столбом, словно от тлеющего пня.

ГЛАВА LII

Басаргин, наконец, отдышался, подошел к мальчику и сорвал с головы его пуховый платок.

— Шагом марш! — скомандовал он.

Ребятишки оравой шли следом. Саночки Никодима одиноко стояли на снегу. Басаргин и их захватил с собой.

Мальчик шел, не поднимая головы. Он чувствовал, что из окон домов смотрят любопытные. Никакого страха не было в душе его, кроме жгучего чувства стыда и досады на самого себя, на нелепую свою горячность.

Никодиму стыдно было перед отцом, храбрость и ловкость которого в разведке он ценил выше всего.

«Дурак! Влопался, как куренок вó щи... — проклинал он себя.— А что, если сигануть через забор?»

Никодим косил глазами, но дворы кругом были полны народу.

«Сигану! Будь что будет!»

Он стал нацеливаться на забор большого двухэтажного дома у реки, но из двора этого дома вышли два колчаковца.

Лица их были бледны, глаза расширены. Один из них, тот, что стоял часовым у лавки, обтирал о бабью кацавейку рыжую от крови шашку. Другой держал в руках выкрашенные фиолетовым карандашом валенки Васьки Жучка.

Мальчик взглянул на валенки и понял все.

«Помру, как Васька, а слова не скажу...»

— Поймал? — спросил один из колчаковцев.

— От меня разве уйдет! — засмеялся Басаргин.

Штаб был уже рядом, обитые железом двери лавки раскрыты настежь.

«Значит, и дядю Фрола, и всех...» Сердце мальчика болезненно сжалось.

— Я его сразу узнал, господин сотник. Это тот самый хлюст, который побил в окно троих наших на бандитской заимке. Я ихнего брата под землей увижу...— рапортовал Басаргин.

— Болван! Выйди вон! — сурово оборвал Басаргина красивый, румяный сотник.

Лишь только закрылась за казаком дверь, как офицер подошел к Никодиму и дружески положил ему белую пухлую руку на голову.

— Откуда? Чей будешь, крошка?.. — наклонившись к лицу Никодима, отечески ласково спросил он.

Мальчик пытливо посмотрел на молодое румяное лицо сотника и стряхнул головой руку.

«Хитер, гад! Притворюсь глухонемым...»

— Я спрашиваю, ты чей, пузан, будешь? Чей, мой маленький мальчик? — еще участливее спросил офицер.

Никодим снова посмотрел сотнику в круглое румяное

лицо, в пышно поднятые усы и снова промолчал. Сердце его часто и громко било в грудную клетку.

— Глупый, глупый птенчик, как испугался... Ну, отдохни, погрейся, маленький... Молочка хочешь горячего? — голос офицера стал еще нежнее, но Никодим стал бояться его еще больше.

— Басаргин!

Казак вырос перед сотником.

— Уведи мальчика. Покорми, согрей — ребенок совсем расстроен...

— Слушаюсь, господин сотник!

Широкое лицо Басаргина расплылось в глупой улыбке. Шрам на щеке казака подернулся лучиками морщинок.

— Пойдем! — Поликаха схватил Никодима за шею.

— Ну, зачем, зачем так неосторожно, Басаргин! Малютка и без того напуган... — Серые глаза офицера укоризненно посмотрели на казака.

Басаргин втолкнул Никодима в маленькую комнатенку и закрыл за собой дверь на ключ. Обшарпанные стены комнатушки были забрызганы кровью, как в мясной лавке. Посередине стояла сосновая скамья, сиденье которой тоже было выпачкано кровью, точно на ней недавно свежевали овцу...

На столе в комнате сотника были зажжены две свечи. В голландке, потрескивая, пылали дрова. Сотник сидел у печки.

Казак втащил Никодима и поставил у стола. Офицер поднял голову. За окном подступали грустные сумерки. Серые глаза сотника были устремлены в пространство.

— А, это ты, милый! Басаргин, накормил ребенка? — повернулся к двери офицер.

— Так точно, господин сотник!

— Спасибо, братец!

— Рад стараться, господин сотник!

Офицер окинул мальчика взглядом, задержался на его рассеченной губе, на изуродованном лице.

— Это он за что тебя? — порывисто сорвавшись, спросил сотник.

Густые брови офицера были изогнуты в гневном удивлении. Никодим не поднял головы. Плечи его тряслись от сдерживаемых рыданий.

— Басаргин! — закричал офицер.— Это что такое!

— Без клина сук не расколешь: крепок, господин сотник.

— Пошел вон! Мерзавец!

Сотник уничтожающе взглянул в сторону казака, крупно зашагал по комнате и вдруг в изнеможении и в гневе с шумом опустился на стул.

— А ну, иди, иди ко мне, голубчик... Иди дорогой! — поманил он мальчика.

Голос красивого офицера был так задушевен, так подкупающе нежен, что Никодим поднял на него недоверчивые глаза, сделал было шаг, но тотчас же остановился: в зрачках сотника он уловил торжествующе-холодный блеск.

— Не бойся, мальчинька, расскажи...

— Ничего тебе от меня не будет! — сжав кулаки, твердо и зло сказал Никодим и, точно от удара, втянул голову в плечи.

— Неужто так-таки ничего? — добродушно засмеялся сотник.

— Ничего! На куски разруби — полслова не скажу!

— А может быть, скажешь? Подумай... А ведь у нас за это дело есаул... Подумай и скажи... — приставал он к пленнику.

Никодим молчал. Сарафан прилип к окровавленной, исхлестанной плетью спине мальчика. Ему казалось, что на голое тело насыпали раскаленных углей.

— Убивайте, гады!.. Васю Жучка убили!.. Дядю Фрола убили!.. — Никодим заплакал.

Сотник положил руку на голову мальчика и стал гладить его.

— Ну что ты! Что ты! Кто убил Васю? Мы никого не убиваем...

Никодим вздрогнул, поймал белую мягкую руку офицера и впился в нее зубами. Левой рукой офицер схватил мальчика за горло. Никодим задыхался, но не выпускал ненавистную руку, стискивая челюсти изо всех сил.

— Басаргин! — пронзительно вскрикнул сотник.

Никодим разжал зубы.

Офицер отдернул окровавленную руку и стал стряхивать густую, вязкую кровь на пол. Потом он достал пахучий белый платок и приложил к ране.

— Отведи... Уложи в постельку! — сказал он появившемуся в дверях казаку.

— Есть уложить в постельку, господин сотник!

Казак не мог скрыть радости, тихо козырнул и поволок Никодима к двери.

Морозные сумерки окутали деревню. Багровая, в дымчатых прорезях заря предвещала на завтра бурю. Гребень Стремнинского перевала еще плавился в последних бликах солнца, а ущелье уже задергивалось синеватой хмарью.

Никодим шел и смотрел на перевал. Сзади, с винтовкой на изготовку, в двух шагах — Басаргин.

«Теперь наши ужинают и разъезжаются по заставам... Алеша пришел... мама кормит его...»

Под валенками Никодима снег робко хрустел, под сапогами Басаргина взвизгивал.

«Буду слушать, как хрустит снег...»

Тоскующе заржала лошадь. Голос ее был похож на звук медной трубы, загнутой, как бараний рог.

«Отец теперь начинает ждать меня... Голодный Бобошка извизжался на своей веревке...»

Никодим тряхнул головой.

Стремнинский перевал навис над деревней крутым каменным забором. Никодим не отрывал глаз от перевала. Ему казалось, что партизаны уже крадутся на бесшумных лыжах.

В открытых воротах двухэтажного дома стоял солдат.

— Постойте! — окликнул он идущих.

— Чего? — Басаргин приставил ладонь к уху.— Громче, недослышу.

— Отведи, говорю, подальше. За тех нам от есаула крепко попало. «Рубите,— говорит,— сучьи дети, чуть ли не во дворах...» — во всю глотку прокричал Басаргину в ухо солдат.

— Ладно,— недовольно сказал Басаргин.

Никодим смотрел на перевал, но ухо его улавливало каждое слово колчаковцев. Сумерки накрывали горы все гуще и гуще. Деревья сливались в сплошную массу.

— Шагом марш! — скомандовал Басаргин.

Никодим пошел.

Из большого, ярко освещенного дома с криком, с песнями вывалилась компания рослых солдат. Гармонист рвал гармонь. Толстая пьяная баба в цветастом сарафане с пронзительными выкриками плясала, взмахивая платком над головой.

— Батарейцы, гуляют, третье ведро медовухи выглотали, ажно завидки берут! Подожди, пусть пройдут,— прокричал Басаргину солдат.

В лад музыканту оглушительно свистели два здоровенных фейерверкера. Молодой батареец, без шинели, в одном мундире, отчаянно выделывал присядку вокруг бабы от самого крыльца дома до ворот. Во время пляски он высоко подкидывал папаху и, не глядя, ловил ее.

Никодим отвернулся и снова стал смотреть на горы, на догоравшую зарю. Хотелось вобрать в себя все, что охватывал глаз, глубоко, навсегда.

Пьяная ватага пошла по улице.

— Друг! Я что у тебя попрошу... — заискивающе начал солдат.

— Ну?.. — недовольно буркнул Басаргин.

— У меня дочка, как есть такая же!.. Отдай мне с его шубейку, валенки и сарафанчик. Отдай! — умоляюще сказал солдат.— А я тебе сапоги с того отдам...

Смотревший на горы Никодим вздрогнул: разговор колчаковцев дошел, наконец, до его сознания.

— Иди ты к чертовой бабушке! Вечно клянчишь! — заругался Басаргин и затряс винтовкой.— У меня у самого шестеро дитенков! Марш-марш! — решительно приказал он.

Спуск к реке был крут — ноги сами скользили вниз. Недавние дни встали перед глазами Никодима: и охота, и Бобошка, и Алеша, и партизанский отряд — все, как далекий, красивый сон, как веселая шутка. Да, то все были шутки. А вот это уж по-взаправдашнему умирать...

До разговора колчаковцев о разделе его одежды не верилось, что через несколько минут его не будет. Казалось, что все это словно не по-настоящему, словно не с ним. А теперь поверилось. Мальчик сердцем почувствовал, что все кончено. «Буду слушать, как хрустит снег...» Но не хотелось отрывать глаз и от синеватой пелены реки, от тумана, наплывающего с вершины хребта лавиной. В небе зажглись крупные звезды.

Вправо, на реке, у проруби, где утром поили лошадей, чернела широкая лужа застывшей крови. Снег вокруг был запятнан.

Никодим и Басаргин одновременно посмотрели туда и отвернулись.

«Здесь, значит, тех...— подумал мальчик.—А меня дальше, меня дальше...»

— Левей! Левей! — направил Басаргин Никодима на дорогу, бегущую вдоль реки.

Шагов через полсотни дорога стала загибать к руслу ручья, которым они спустились с Ефремом Гаврилычем.

По дороге Никодим пошел тише. «Идти бы так до утра...» Но берег все ближе и ближе.

Никодим еще замедлил шаг.

Басаргин крикнул:

— Заплетайсь! Щелкну вот в затылок!..

Мальчик рванулся вперед, все время ощущая жжение в затылке и покалывание в спине. До русла ручья совсем недалеко. «Шагов сотня, не больше».

И странно: когда близкий конец был до жуткости очевиден, смутная надежда все еще не покидала Никодима. Видно, так уж велика жизнелюбивая сила в человеке, что нет такого отчаянного положения, при котором в самый страшный момент из души не поднималась бы заря надежды.

Но дорога круто завернула и пошла на берег.

«Выйдем — и сейчас остановит... заставит раздеваться...»

У него ожили волосы на голове, в горле запершило, накатил неудержимый кашель... Но что это? Никодим вздрогнул, не доверяя ушам, и повернул голову к Стремнинскому перевалу: у русла ручья, где были закопаны лыжи, он вновь отчетливо услышал знакомый радостный взвизг.

«Бобошка!»

Дорога поднималась на берег. К руслу ручья они повернулись спиной. Никодим заскрипел валенками как можно громче, силясь заглушить прыжки звереныша по снегу. В этот момент мальчик боялся только одного: что Басаргин тоже заметит пестуна и убьет медвежонка, прежде чем он успеет выбежать на дорогу.

Усердный не по разуму Басаргин, очевидно, тоже стал волноваться и глухо покашливал, спеша выполнить рас-

поряжение сотника — расстрелять мальчика подальше от деревни.

Прыжков медвежонка не стало слышно. Никодим понял, что зверь выскочил на дорогу.

И вот тогда-то и вспомнил Никодим магический свой жест, которым он заставлял Бобошку валить с ног любого мужика. Мальчик словно невзначай выкинул левую руку в сторону и дважды повелительно махнул ею...

Винтовка со звоном упала на дорогу. Испуганный Басаргин тоже рухнул и чуть не задавил Никодима. Медведь, серебряный от инея, с обрывком веревки, сидел на спине казака и цепко держал его лапами за плечи.

Никодим стремительно схватил винтовку и, приставив к голове казака, совсем было нажал на спуск, но перерешил, перехватил винтовку за ствол и с силой ударил Басаргина по голове тяжелым, кованым прикладом.

Медвежонок отскочил в сторону. Оглушенный бородач приподнялся было на четвереньки, но Никодим еще раз взмахнул винтовкой. Басаргин ткнулся лицом в снег, раскинув огромные руки на дороге.

Медвежонок бросился к другу, ожидая всегдашней награды. Мальчик пришел в себя. Он даже не погладил пестуна, а бросился туда, где медвежонок разнюхивал оставленные Никодимом следы и где лежал он, ожидая друга у спрятанных им в снегу лыж. Этому терпеливому ожиданию Никодим также выучил медвежонка, когда брал его с собой в лес осматривать петли на зайцев. Наградой за добросовестное ожидание были всегда заячьи лапы, которые Никодим давал бросавшемуся навстречу с радостным визгом пестуну.

ГЛАВА LIII

Алеша лежал с открытыми глазами. Голова его пылала. Он не спал несколько ночей подряд. Все, чем он жил до сего времени, чем была полна и радостна кипучая, деятельная пора его юности, вдруг рухнуло. Избыток молодых сил, жажда великих подвигов, благородного самопожертвования... И вдруг ты всего-навсего подлый трус!

Непереносимый стыд и отвращение к самому себе охватили его. Он боялся смотреть людям в глаза. Ему

казалось, что все думают только о том, какой он трус.

«А что, если бросить все и уйти?» — эта мысль все чаще и чаще приходила в голову Алеше.

Первые два дня он не появлялся в штабе, а целые дни проводил за деревней, в лесу: он полюбил одиночество. Домой приходил ночью, когда все спали. Как вор, прокрадывался мимо постели раненного им Гордея Мироныча, забирался на полати и лежал уставившись в потолок.

Десятки раз он повторял глубоко прочувствованные строки: «Да, жалок тот, в ком совесть не чиста!»

В прошлом Алеша перечитал немало прекрасных книг о мужественных людях, о героях и теперь с особенной остротой вспоминал их. Но ни одной книги о трусе не мог припомнить он. И только любимейший поэт Алеши — Лермонтов своей гениальной горской легендой о беглеце, как кнутом, бичевал его совесть.

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла...
...И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор...

Мысль о смерти все чаще посещала Алешу: «Только смертью смою я свое пятно!» В пылком воображении юноши проносились картины одна трагичнее другой.

...Белые окружили Чесноковку. Партизаны бессильны сдержать напор гаркуновцев. Люди умирают с голоду. Съедены даже кошки. И вот Алеша прорвался сквозь огненное кольцо, организовал новый отряд в тылу у белых и освободил Чесноковку. Но в последней схватке он убит наповал предательским выстрелом из-за угла...

Гроб увит траурными флагами. Несут его высоко над головами: Ефрем Гаврилыч, Жариков и Гордей Мироныч, Настасья Фетисовна с венком... Впереди чернеет могила. И гроб, качаясь, плывет к ней, как ладья в тихую гавань... Последняя остановка. Гроб с останками Алексея Белозерова опустили в могилу. Застучала мерзлая земля о крышку... Никодим разрыдался. Женщины бьются в истерике. Старые партизаны украдкой утирают глаза. Слезы блестят на ресницах Варагушина.

«Товарищи!.. Он был настоящий большевик и герой. Он умер за светлое царство социализма... Он...» Рыдания сдавили Варагушину горло: командир не мог больше говорить.

Партизаны склонили знамена над свежей могилой...

Алеша упивался скорбью близких людей и плакал в подушку от жалости к самому себе.

Героический побег Никодима из-под расстрела еще больше подчеркнул в глазах Алеши собственное ничтожество. Он ушел из дома тетки Феклы и ночевал у хлебопеков: они не знали ни о позоре Алеши, ни о подвиге Никодима.

В штабе снова было пусто. Жариков тревожил тылы белых. Ефрем Гаврилыч сам руководил вылазкой партизан на лыжах в Маралью падь, потерял трех человек убитыми, но захватил два пулемета и пять ящиков патронов. На сонных гаркуновцев в Маральей пади партизаны как с неба упали.

Мысль о налете подал Варагушину Никодим, он же указал место «броска на лыжах», расположение пулеметов.

Алеша узнал об этом на следующее же утро. Он твердо решил погибнуть, бросившись на врага при первой возможности.

Принятое решение, властно захватившее Алешу, даже как будто успокоило его: он вновь целые дни работал в опустевшем штабе, переписывая устаревшие воззвания.

Оторвавшись от работы, Алеша поднимал усталое, потемневшее лицо и долго смотрел в одну точку. Глаза его блестели сухим, горячечным блеском. И было в них и неистребимо-юношеское ликование, и пьяное от внутренней боли и жалости к самому себе страдание, и гордость за принятое решение: «По крайней мере исход приличен...»

Группа Варагушина действовала без связи с другими партизанскими отрядами. Оперировавший в глубине гор и тайги Варагушин редко получал информацию из города. После приезда Жарикова налаженная было связь с усть-утесовскими подпольщиками снова была порвана отрядом есаула Гаркунова.

Все сведения об обстановке на фронтах Варагушин получал от белых, перехватывая их сводки.

Есаул Гаркунов доносил командованию:

«Необходимо срочно выслать второй конный отряд в обход неприступной с юга Чесноковки. Распылять свои

силы не могу. Партизаны действуют двумя крупными, прекрасно вооруженными отрядами...»

Читая донесение, Ефрем Гаврилыч улыбался.

«Бандиты окажутся в мешке. Стремительный одновременный удар решит участь операции и расчистит путь в Монголию... Деревня Чесноковка по стратегическому значению — «алтайские Дарданеллы»...

— Леша! Чуешь, что поет есаул? — Ефрем Гаврилыч впервые встретился с Алешей после случая с Гордеем Миронычем. Алеша смотрел в пол, но Варагушин словно не замечал его волнения.— Ну, Лешенька, надо ждать теперь настоящих делов. Мухи перед гибелью злы. По всему видно, что Красная Армия бьет их нещадно: в Монголию драпать собираются...

Спокойный голос Ефрема Гаврилыча действовал на Алешу, как ласковая рука отца. Казалось, Варагушин вытащил его из пропасти, в которую он упал, и бережно ощупывает его раны. Алеше хотелось броситься к Ефрему Гаврилычу и выплакать большое свое горе до дна, но он только наклонил голову, стараясь скрыть просачивающиеся из глаз слезы.

Высланный на подмогу гаркуновцам кавалерийский отряд полковника Елазича двигался быстрым маршем в обход Чесноковки. Партизаны следили за его движением, готовились к серьезной встрече и укрепляли не защищенный горами с севера тыл: рыли окопы, рубили засеки.

Группу Жарикова спешно отозвали в Чесноковку.

На военном совете часть командиров высказалась за оставление Чесноковки и уход в горы: «Запрут нас и прихлопнут, как в мышеловке...» Но Ефрем Гаврилыч запротестовал: оставить такой выгодный рубеж, обречь деревню на гибель?.. Жариков и чесноковские партизаны поддержали командира.

Есаул Гаркунов, желая замаскировать обходное движение, отвлечь внимание партизан, ежедневно беспокоил наскоками со стороны Маральей пади на Стремнинский перевал.

Варагушин все внимание сосредоточил на наблюдении за обходным маршем белых. Больше всего он опасался согласованного удара двух отрядов.

Ночью восьмого декабря дозорные привели в штаб захваченных колчаковцев из отряда полковника Елази-

ча. Один из них был молоденький синеглазый прапорщик Анатолий Юрьевич Палагинский, другой — проводник, большебородый раскольник, известный на Алтае крупный мараловод Кузьма Проскаков. Колчаковцы ехали с предписанием есаулу Гаркунову об одновременной атаке Чесноковки ранним утром одиннадцатого декабря.

Допрашивал пленных Ефрем Гаврилыч. Алеша сидел на лавке и смотрел то на бледное лицо испуганного прапорщика, то на хмурого бородатого раскольника. Молоденький прапорщик колчаковского выпуска одет с иголочки. И новенькая, подбитая мехом шинель, и дымчатая каракулевая папаха, и ремни даже не обмяты как следует.

На вопросы командира раскольник Кузьма Проскаков молчал. Испуганный же прапорщик, напротив, говорил очень много. Губы его тряслись. На юном, покрытом легким пушком лице его скрывались и вновь проступали яркие пятна.

«Маменькин сынок... Сидели бы эдакие дома да кушали шоколад». Алеше был неприятен Палагинский с его омерзительной трусостью, с умоляющим собачьим взглядом.

— Увести их! — сказал Варагушин дозорным.

— Господин!.. Товарищ!.. Я все расскажу... И сколько пулеметов... Я... товарищ!.. — Прапорщик схватил Варагушина за рукав полушубка, и губы его еще сильнее запрыгали, а глаза наполнились слезами.

Проскаков, не проронивший ни слова на все расспросы Варагушина, с презрением отвернулся от прапорщика.

Алеша знал, что рассказ Никодима о гибели любимого связного Жучка и трех партизан ожесточил командира: «Пощады колчаковцам не будет...»

— Увести! — еще суровей сказал Варагушин.

Дозорные взяли прапорщика под руки, подняли и повели из штаба. Лишь дверь закрылась за дозорными, Алеша бросился к командиру:

— Ефрем Гаврилыч! Сохрани до утра офицера. Пожалуйста... У меня план!.. Я офицером поеду к Гаркунову... Я...

В штаб вошел Жариков. Варагушин, еще не поняв по-настоящему предложения Алеши, на мгновение за-

думался, потом поспешно прошел за дверь и крикнул в темноту:

— Рыжов! Помести их в стрельцовской бане!..

План Алеши был прост: переодевшись в форму офицера и с его документами, он поедет в стан к белым, убьет есаула Гаркунова, а если удастся, и еще кого-нибудь из офицеров и сорвет наступление главного отряда в намеченный срок.

Ефрем Гаврилыч и Жариков переглянулись и сощурились, едва удерживаясь от улыбки. Но Алеша говорил так горячо и просил так неотступно, что Жариков поколебался:

— А может, попробовать, Гаврилыч! Чем черт не шутит... — нерешительно сказал он.

Осунувшееся, худое лицо Алеши радостно вспыхнуло.

— Андрей Иваныч! — Алеша схватил Жарикова за отвороты полушубка.— Я умру... Я знаю, что умру... И от того, что погибну, революция не пострадает... А если удастся! Нет уж, пожалуйста, Андрей Иваныч...— Алеша замолчал и затаил дыхание.

Ефрем Гаврилыч смотрел поверх головы Алеши. Жариков тоже задумался.

— Гаврилыч! На какое число полковник назначил Гаркунову удар?

— На одиннадцатое рано утром.

— Переправим на десятое. А ну-ка, давай пакет!..

Алеша еще не понимал ничего, но почувствовал, что Жариков ухватился за его предложение.

План Алеши был забракован и принят совершенно иной. Завтра в полдень, переодетый офицером, с подправленным предписанием, Алеша поедет к Гаркунову горной тропой вместе с захваченным проводником — кулаком Кузьмой Проскаковым. Под Маральей падью, у «черного пня», партизаны инсценируют погоню за ними и на глазах у гаркуновцев зарубят Проскакова. Алеша вручит предписание Елазича есаулу и вернется в отряд, а партизаны тем временем, десятого утром, приготовят встречу белым в ущелье перед деревней Чесноковкой, а одиннадцатого разобьют Елазича пушками и пулеметами гаркуновцев.

Время до полудня Алеша решил использовать на рас-

спросы пленного прапорщика об отряде полковника Елазича, о его офицерах, на выучку манерам прапора.

— Эх, не седые бы виски и не знай бы гаркуновцы меня в лицо — разыграл бы я рольку!.. А что, если рискнуть? — загорелся Жариков.— Волоса и подкрасить можно...

— Нет уж! Нет уж, Андрей Иваныч! — испугался Алеша.— Да что вы! Да вам и одежда его на полплеча не полезет... А мне — вот увидите!..

Варагушин приказал привести прапорщика к Жарикову и Алеше в штаб, а сам пошел отдать распоряжение о подготовке к встрече гаркуновцев в ущелье перед въездом в Чесноковку.

В сумах прапорщика Палагинского было не только запасное белье и принадлежности туалета — от набора щеток и щеточек до одеколона и карандаша для бровей,— но даже и две бутылки шампанского: прапорщик готовился отпраздновать с товарищами и ускоренный выпуск, и свое первое боевое крещение.

Одевали Алешу в штабе Жариков и взводный Кирилл Лобанов. Андрей Иваныч, работавший когда-то в молодости театральным парикмахером, ловкий и быстрый, пробрил на кудрявой голове Алеши узкий, ровный пробор до самого затылка. Вылил на волосы полфлакона одеколона и причесал щеткой.

Тонкое, хрустящее белье приятно холодило тело. Талию Алеши затянули в «рюмку» снятым с прапорщика корсетом. Зашнуровывал корсет Кирилл Лобанов. К делу своему он отнесся так серьезно, что Алеша едва дышал.

— Вот это седловка — пальца не подтачаешь!..

На Алешу надели темно-синие галифе с узким красным кантом, как струйка крови, просочившаяся от бедер до мягких голенищ шевровых сапог.

Сапоги вычистили кремом, шпоры протерли суконкой. Коричневый английский френч с новенькими золотыми погонами на плечах Алеша надел сам. Пуговицы застегивал медленно и серьезно. В офицерском френче он почувствовал себя смущенным. И в то же время форма офицера так шла тоненькому, гибкому Алеше. Он это

чувствовал. Чувствовал, что он нравится сейчас и Андрею Иванычу, и взводному Лобанову.

Заломив каракулевую папаху, Алеша прошел по избе, слегка подрагивая плечами. Следом за ним серебряной ниткой тянулся малиновый звон шпор. Потом Алеша остановился, звякнул шпорами, взял под козырек и вытянулся перед Жариковым, как молодой дубок:

— Господин есаул, честь имею представиться: прапорщик Палагинский с предписанием от полковника Елазича.

— Как новый гривенник! — одобрил Кирилл Лобанов.

Алеша надел подбитую мехом шинель, нацепил наган, шашку и вышел. Он решил сбегать в избу тетки Феклы и навестить Никодима, оправившегося от побоев колчаковцев.

Никодим не узнал Алешу и взглянул на него с такой злобой, что у Алеши кольнуло в сердце.

— Никушка! Да ведь это же я... я... Ника!.. — Алеша не мог удержаться от смеха.

— Убью гада ползучего! — узнав Алешу, налетел на него Никодим и выхватил из ножен казацкую шашку.

Алеша тоже схватился за шашку.

— А ну давай! Давай! — И они звонко скрестили клинки.

— Рубани! Чья сталь крепче! — закричал Никодим и подставил свой клинок под удар.

Алеша размахнулся и тюкнул. Ребята поспешно наклонили головы, и Никодим ликующе запрыгал.

— Дрянь! Дрянь супротив моей!.. — Избитое лицо мальчика в оранжево-желтых и фиолетово-черных кровоподтеках радостно засветилось.

Алеша вложил шашку в ножны, подбежал к Никодиму, схватил его и зашептал порывисто:

— Прощай, дружище! Прощай!.. Никому не говори... я не вернусь.

— Как «не вернусь»?! — Никодим высвободился из рук Алеши.— Как «не вер-нусь»?! — повторил он, и изуродованное лицо его окаменело.

Алеша схватил Никодима за плечи и потащил его к телятнику, где жил пестун Бобошка.

— Только никому! Дай слово, что никому!.. Поклянись!

— Вот провалиться мне — никому, Алексей!..

Алеша подтащил Никодима к углу избушки и, захлебываясь, зашептал что-то ему на ухо. Потом, звеня шпорами, забежал в телятник, схватил пестуна за голову, на мгновение прижался к нему щекой и выбежал.

— Гордею Миронычу поклонись... Скажи, чтоб простил меня и не поминал лихом,— крикнул Алеша Никодиму.

У ворот он попросил друга не провожать его до штаба. Алеша пошел было с Лобановым, но потом вернулся к Никодиму и поцеловал его в распухшие губы. Целуя Никодима, он почувствовал, что мальчик плачет, и сам с трудом удержался от рыданий.

ГЛАВА LIV

В полдень выехали. Алеша на гнедой, тонкой, длинноногой кобыле прапорщика, раскольник Кузьма Проскаков на партизанском сером маштаке и взводный Кирилл Лобанов на вороной белоногой красавице кобыле, приведенной Гордеем Корневым из города в отряд. Кобылу эту берегли, как бриллиант, за непревзойденную ее резвость. Про любимую лошадь отряда партизаны говорили, что «у нее тело шелковое, а жилы — проволока».

Деревню проехали скорой рысью и только в узком ущелье сдержали лошадей.

Алеша ехал впереди, за ним раскольник Проскаков, замыкающим — взводный Лобанов. Все трое были вооружены, только из трехлинейки Проскакова вынули патроны.

В ущелье было полутемно. Гладкие, темные, в коричневых прожилках скалы показались Алеше еще более мрачными, чем в первый раз, когда он два месяца назад впервые увидел их.

Подковы коней гулко цокали о камни.

«Чему быть, того не миновать», вспомнилось фаталистическое изречение Николеньки из «Детства» Толстого.

Сразу за ущельем повернули влево по чуть заметной тропке. Кони пошли шагом вдоль крутого спуска. Дорожка убегала ниже и ниже. Кобыла Алеши поджала зад и скользит, не передвигая передних ног, как с ледяной

горы. По обе стороны тропинки — заснеженные, мерзлые пихты. Сыплется снег на папаху, на плечи, на голову лошади. Кобыла чутко прядает ушами.

Спустились в ручей. Клокочущая вода в нем не застывает, и зимой от нее поднимается белый, как молоко, пар. Ветки пихт на берегу густо и кудряво убрал иней. Склоненные над водой обындевевшие лапы пихт были похожи на пушистых песцов.

На другую сторону ручья тропа сделала крутой прыжок. Алеша с трудом удержался в седле, когда его Зорька взвилась под ним. Тяжело одолел подъем серый маштак Кузьмы Проскакова. Белоногая «лошадь — птица» Лобанова безо всякого напряжения перенесла всадника через препятствие.

Алеша взглянул на бородатого раскольника. В черных его глазах он почувствовал такую опаляющую ненависть, что тотчас же отвернулся. Только ровное дыхание лобановской вороной кобылы успокаивало Алешу.

На противоположном скате хребта тропа пошла тверже. Деревья все так же нависали над ней, но снег с пихт был сбит. Алеша понял, что этой тропой пользуются, очевидно, и партизаны, и белые.

А тропа все виляла между стволами пихт.

Пень вырос неожиданно. Высокий, глянцевито-черный, он испугал кобылу. Зорька фыркнула. Алеша низко пригнулся к седлу и выстрелил из нагана. Лошадь сделала саженный прыжок. И тотчас же, неожиданно для Алеши, загремели выстрелы справа.

Резкий ветер, острые иглы пихт хлестали в лицо, Алеша выстрелил еще раз и оглянулся. Борода скачущего раскольника закинулась на плечо. Челюсти Проскакова были крепко стиснуты. Конь его тяжело хрипел, отстав от Зорьки, а следом за ним, на самом хвосте серого, «висел» с обнаженным клинком, стоя на стременах, взводный Кирилл Лобанов.

Стрельба справа накатывалась все ближе и ближе.

Тропа забирала вниз. Алеша уже не правил лошадью. Она несла его легко и мягко, точно не касаясь земли.

Партизанский разъезд вылетел на широкую поляну почти одновременно с разъездом белых.

— Держи! — зычно вскрикнул Ефрем Гаврилыч, и вслед за криком ударил выстрел.

Пуля рванула папаху Алеши. Вторая взвизгнула над головой. Из четырех всадников, скакавших навстречу, один выронил поводья из рук, сбился с седла на сторону и упал в снег на вытянутые руки.

Трое целились на бегу. Алеше показалось, что они направили винтовки прямо на него. Он невольно повернул голову и увидел, как взводный Лобанов, уже вблизи разъезда белых, наискось со страшной силой рубанул Проскакова.

Еще один из гаркуновцев выронил поводья и повалился. Остальные двое круто осадили лошадей, повернули и уже позади Алеши понеслись к вынырнувшей из-за поворота деревне.

На околицу огромной серой толпой высыпали колчаковцы. Курносый пулемет дребезжал на низеньких колесах вслед за бежавшим по дороге солдатом.

Вот пулеметчик припал за щит. Алеша снова оглянулся. Издалека заметный, высокий, плотный Ефрем Гаврилыч указывал партизанам на толпу у деревни, и они ударили залпом, а потом повернули коней и понеслись. В руках двух задних партизан он увидел пойманных лошадей убитых казаков.

Хищно и часто затокал пулемет. Густым стадом взвизгнули пули.

Зорька неслась в гору. Толпа и околица деревни наплывали, как на кинематографической ленте. Алеша повернулся последний раз в сторону партизан, поднял наган и выстрелил. В короткий миг поворота он увидел, как серый маштак волок по снегу в стремени зарубленного Проскакова.

Зорька с карьера сразу остановилась, и Алеша вылетел из седла под ноги шумевших прибоем колчаковцев.

ГЛАВА LV

— Убит?

— Нет, должно быть, ранен...

— Папаху, папаху-то у самой головы простегнуло: пакля торчит...

Алеша лежал с закрытыми глазами. Он чувствовал, как сильные руки осторожно подняли его с земли.

«Открою — пора».

Алеша медленно открыл глаза. Кругом стояли вооруженные колчаковцы в шинелях и полушубках. Слабым голосом он сказал:

— Спасибо, братцы!.. Мне к есаулу Гаркунову.

— Я вестовой господина есаула! — бойко отозвался и козырнул Алеше юркий солдат с веселыми серыми глазами и дерзко вздернутым носом.

Алеша откозырнул вестовому и, дотрагиваясь ладонью до виска, почувствовал на щеке теплую струйку крови: «Веткой, должно быть, содрало...» Он вынул носовой платок и обтер им щеку.

Дымящуюся от пота Зорьку держал длинный и худой гаркуновец. Лошадь жарко дышала, покачиваясь. Желтоватая пена покрыла ее бока.

— Коня! — расслабленно, тихо сказал Алеша.

Длинный гаркуновец подвел кобылу. Алеша медленно поднялся в седло и тронулся за вестовым. Два орудия глянули на Алешу черными зрачками. «Завтра утром они будут в руках у Ефрема Гаврилыча...» Алеша с любопытством рассматривал деревню. Недавно без всяких документов здесь ходил Никодим... Страха не было. Было только любопытство человека, попавшего в чужую страну, где все ново.

— Сюда, господин прапорщик,— дружески указал на открытые ворота вестовой.

У зарешеченного окна лавки стоял часовой. Двери были закрыты огромным замком. Алеша взглянул на окно «камеры смерти» (Никодим рассказал ему о тюрьме у ворот штаба) и увидел прильнувшие к стеклу окна бородатые головы.

У коновязи Алеша спустился с седла, отдал кобылу вестовому и пошел к крыльцу. Шпоры его нежно звенели.

— Вторая комната налево, господин прапорщик! — прокричал вслед вестовой.

Алеша повернулся на крыльце:

— Кобылу выводить и устроить. Она у меня выстойку любит.— Не дожидаясь ответа, он открыл дверь. «И здесь был Никодим...»

Навстречу Алеше поднялся сухощавый бритый офицер. Коротко остриженную голову его густо покрывала седина.

— Господин есаул, честь имею представиться: прапорщик Палагинский с предписанием от полковника Елазича! — Фраза выговорилась заученно легко и радостно.

Переволновавшись во время пути, как артист за кулисами, теперь Алеша почувствовал себя уверенным и свободным, словно на сцене после первой удачно сказанной фразы.

Есаул подал руку. Алеша с жаром пожал ее, вынул из-за обшлага шинели пакет и протянул есаулу.

— Простите, в крови немного: прорывались с боем. Проводника зарубили перед деревней. Спасибо, ваш разъезд выручил. Я собственноручно застрелил четырех бандитов во время скачки.

Алеша, не отрываясь, смотрел на розовое лицо Гаркунова. Есаул, казалось, не слушал его, а о чем-то напряженно думал,— глубокая складка залегла между бровями.

— Елазич... Полковник Елазич... — негромко сказал он; сухие, энергичные пальцы выбивали дробь по кромке заваленного бумагами стола.— Это не тот ли Елазич, прапорщик, который на семиреченском фронте был? Рыжий такой? Плюгавенький, в бачках? — Мучительная складка между бровей исчезла. Резко очерченное лицо есаула осветилось презрительной улыбкой.

Алеша уловил изменившееся выражение лица есаула и, не разгадав еще причины, радостно произнес насмешившую его вчера ночью фразу прапорщика Палагинского о полковнике:

— Так точно, господин есаул! Рыжий, как лисица, и бачки реденькие — котлетками. У нас его поручик Налимов за эти самые бачки «ковриком для вытирания ног» зовет.

— Так вот этот самый ваш рыжий «коврик» продул мне в карты семь тысяч и не отдал,— мрачно сказал есаул и вскрыл пакет.

Прочитав первые строки предписания, Гаркунов удивленно вскинул густые черные брови. Взял со стола коробку из-под папирос, но в ней было пусто, и он швырнул ее в угол.

Алеша достал серебряный портсигар с золотой монограммой, раскрыл его и протянул есаулу.

— «Радомэс», господин есаул!..

Рука Алеши была тверда. Пальцы не дрожали и ко-

гда подавал портсигар, и когда протянул зажженную спичку Гаркунову.

— Ну, прапорщик, этот ваш «коврик» скор больно. За полсуток поднять отряд в наступление... Нет, уж пусть он десятого один берет Чесноковку...

Сердце Алеши упало. Кровь отхлынула от лица. Он наклонил голову и не нашелся, что ответить. «Неужто? Неужто почуял баран волка?» Мозг Алеши работал лихорадочно.

— Тревожные вести из штаба, господин есаул. Елазич спешит... Сводный отряд полковника Смелевского, по слухам, разбит... — придушенным шепотом сказал Алеша.

— Слухи, прапорщик... — резко оборвал есаул.

Но Алеша чутьем угадал, что сведения о разгроме белых Гаркунов принял далеко не так равнодушно, как хотел бы показать это ему, молодому прапорщику.

— Вас где устроили? — вдруг переменил он тему разговора и, не дождавшись ответа, крикнул: — Мишка!

В комнате есаула появился веселый Мишка — денщик Гаркунова.

— Устрой прапорщика к Казимиру Казимировичу...

Алеша поклонился и пошел к двери, но потом вернулся, склонился к есаулу и шепнул:

— У меня две бутыльчонки шампанского... Отпраздновать хочу первое свое крещение с боевыми офицерами... вашего славного отряда...

Есаул приветливо улыбнулся Алеше.

— Мишка! Устрой господина прапорщика ко мне. Да пошли сюда вахмистра Грызлова... Да приготовьте к вечеру!.. — И он сделал ему какой-то таинственный знак.

ГЛАВА LVI

Боевое крещение прапорщика Палагинского офицеры отпраздновали в квартире командира. Есаул занимал лучший в деревне двухэтажный дом богатого пасечника и мараловода Авдея Гущина.

В просторной горнице с зеркалами от пола до потолка, с большими широколистыми фикусами, длинный стол накрыт белой скатертью. Денщики весело сновали по дому, сервируя ужин. Хрустальные бокалы на тонких высоких ножках, стопки, стаканы. Графины с золотистой

и хмельной, как спирт, медовухой. Румяные жареные поросята с оскаленными зубами, жирные копченые хариусы, блестящая и круглая, как дробь, зернистая икра рядом с желтым куском сливочного масла... И на самом видном месте стола, в серебряном тазу со льдом, две пузатые засмоленные бутылки шампанского.

Гости собрались по-военному аккуратно. Хозяин, сухощавый есаул с серебряной головой, представил молоденького «юбиляра» офицерам своего отряда. Высокого красавца — Казимира Казимировича Песецкого — в кителе цвета хаки, с Владимиром в петлице, Алеша тотчас же узнал по рассказу Никодима.

Сотник поздоровался с Алешей левой рукой (правая была забинтована). Алеша невольно взглянул в зеркало: рядом с рослым, стройным усатым сотником он выглядел хрупким мальчиком с длинными девичьими глазами и детски загнутыми ресницами.

— А это наш командир батареи,— улыбнулся есаул.— Капитан Огородов, Федор Трофимович. Молчит. Всегда молчит. Слышим только, когда командует: «Баата-рея! Огонь!..»

Огромный, с мясистым, квадратным лицом и вислыми «шевченковскими» усами офицер в заношенной форме артиллериста, мыкая в усы, осторожно взял руку Алеши в свою толстую ладонь, вяло подержал и выпустил.

Вслед за офицерами пришла сестра милосердия Вера Петровна Любимова, молодая привлекательная женщина с толстой русой косой гимназистки, и щупленький, бесцветный военный врач Пришкин.

Вера Петровна — единственная дама отряда и самый юный из всех — виновник торжества, пунцовый от смущения прапорщик Палагинский, по общему приговору, были посажены за столом на почетное место. Томадой единогласно избрали Казимира Казимировича Песецкого.

Отрядный оркестр из соседней комнаты грянул марш. Гости задвигали стульями, загремели приборами. Ловкие, вышколенные денщики наполнили стаканы ароматной медовухой, и ужин начался.

Через полчаса разгоряченные офицеры и повеселевшая Вера Петровна оживленно смеялись. Оркестр играл не переставая. От первого же глотка многолетней, сладкой и крепчайшей, как английский ром, медовухи словно пожар вспыхнул в горле Алеши. Он задохнулся, за-

кашлялся, насмешил всех до слез. Второй глоток медовухи Алеша незаметно вылил в горшок с цветком.

Вера Петровна и офицеры одобрительно взглянули на него, когда он поставил пустую стопку на стол.

— Ай да прапорщик-крошка! — поощрительно вскричал тамада.

Из-за косяка двери выставилась голова необыкновенно короткого человека и пристально уставилась на Алешу. Под враждебным взглядом выпуклых, рачьих глаз Алеша вздрогнул, взглянул на дверь, но глова скрылась. Алеша нервно поправил ремень новенькой портупеи.

Маленькая, с масленой лысинкой на макушке, голова снова выставилась из-за косяка. Тот же пристальный взгляд Алеша перехватил на себе, но через секунду таинственный коротконогий человек стал глядеть на графин с медовухой.

«Пьяница, должно быть, какой-то»,— подумал Алеша, однако тревога не прошла.

— Га-ас-пада! Первый тост предлагаю за здоровье нашего милого... — Все шумно поднялись с мест и взяли стаканы,— юного гостя... — начал было Казимир Казимирович, но в горницу взволнованно и поспешно вкатился кривоногий вахмистр Грызлов, подошел к есаулу и начал что-то быстро шептать склонившемуся командиру, взглядывая на Алешу. Есаул тоже невольно вскинул глаза на гостя.

В шепоте вахмистра Алеша уловил обрывки фраз:

— ...серая лошадь... Проскаков... тавро...

И молниеносно понял все: тяжелый серый мерин, на котором, по недосмотру, партизаны отправили Кузьму Проскакова (оставив в отряде его резвого серого, известного на Алтае коня), был одним из отбитых на Корневской заимке.

Нависла мучительная тишина. Недоброе значение тишины этой — Алеша чувствовал — поняли не только он, но и все окружающие.

— Господа! — словно воспользовавшись случайной остановкой Песецкого, неожиданно заговорил Алеша.— Первый тост разрешите сказать мне...

Коротконогий вахмистр замолк, нервно переступая с ноги на ногу. Есаул Гаркунов стал пристально смотреть на Алешу блестящими от выпитой медовухи черными глазами.

— Мое сегодняшнее боевое крещение было неожиданным... — Голос Алеши был ровен.— Мы с Кузьмою Проскаковым нарвались на разъезд бандитов в семь человек. После первого же залпа под Проскаковым убило лошадь. Я бросился в гущу и застрелил из нагана двух... Оглушенная выстрелом серая лошадь одного из убитых кинулась мне навстречу. Я успел схватить ее за повод. Кузьма вскочил в седло, и мы понеслись... Скачка была, господа!.. — Алеша взмахнул рукой.

Раскрасневшаяся, помолодевшая, похожая на гимназистку Вера Петровна восхищенно улыбнулась. Песецкий шепнул что-то на ухо врачу. Пришкин посмотрел на женщину и тоже улыбнулся.

— Моя кобыла призовая, а серый маштак попал Кузьме — хоть вскачь, хоть плачь... Проскакова зарубили почти что под деревней, а я ушел, застрелив еще...— Алеша хотел было сказать: одного, но как-то само выговорилось,— двух...

Вера Петровна подняла над головой стопку и восторженно крикнула:

— Юному Парису — ура!..

— Ура! — подхватили офицеры. Оркестр грянул здравицу.

Вахмистр Грызлов переминался с ноги на ногу и растерянно моргал выпуклыми глазами. Алеша налил полный стакан медовухи и протянул Грызлову:

— У нас в отряде вахмистры не пьют, а пробуют: попробуйте, Грызлов! — засмеялся Алеша.— Выпейте за здоровье друга есаула — полковника Елазича...

Вахмистр бережно взял в трясущиеся руки стакан, одним духом выпил его и с запозданием крикнул тоненьким голосом:

— Ур-ра!..

Все громко рассмеялись. Захихикал и сам Грызлов. Потом вахмистр, как истый пьяница, отломил корочку черного хлеба и не съел, а только понюхал ее.

А еще через полчаса у пирующих наступил тот момент, когда уже не говорили, а кричали, словно люди были на разных берегах реки, целовались, бурно спорили. Вера Петровна упрашивала Алешу спеть что-нибудь лириче-

ское... И вдруг поднялась сама, откинула голову с тяжелой русой косой и запела сильным, грудным контральто:

Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...
Над озером быстрая чайка летит...

Есаул Гаркунов, не обращая внимания на пение, клялся, что он завтра же в Чесноковке вырвет у полковника Елазича карточный долг или испортит ему рыжие бачки...

Прапорщик юный со взводом пехоты
Старается знамя полка отстоять.
Один он остался от всей полуроты...
Но нет, он не будет назад отступать...

Вера Петровна пела с закрытыми глазами, не слыша и не видя никого. Густые темные ресницы ярко оттеняли побледневшее лицо женщины.

— Господа! Я приглашаю вас завтра на скромный английский завтрак в Чесноковке! — старался перекричать Веру Петровну есаул.

Артиллерист Огородов подвинул к себе графин с медовухой, расстегнул френч, взял в руки голову поросенка и добывал из черепа клейкий розоватый мозг. Глаза капитана мученически покраснели. Время от времени он отрывался от своего занятия, взглядывал то на поющую Веру Петровну, то на есаула, то на военного врача и вновь склонялся к тарелке.

Алеша, как ни воздерживался, как ни лил медовуху под стол, все же вынужден был выпить на брудершафт с Верой Петровной полный стакан и поцеловать ее в липкие, сладкие губы. Он чувствовал, что сильно захмелел, что ноги и руки плохо слушаются и, чтобы заставить их сделать движение, нужно напрягать всю силу воли.

Щупленький, бесцветный, с белыми ресницами, врач Пришкин на спор с есаулом пытался отвлечь капитана Огородова от поросенка и медовухи и вызвать его на разговор, но артиллерист только мычал да обтирал засаленные, мокрые усы.

Один тамада Песецкий, хотя и пил наравне со всеми, был совершенно трезв, и только свекольно-румяное лицо его багровело. Он подозвал вестового Мишку и шепнул ему что-то. Через минуту оркестр грянул лезгинку, и на середину горницы с обнаженным кинжалом, на носках сафьяновых сапожек выбежал мальчишка, музыкант и плясун, в белой папахе и малиновой черкеске.

Мальчишка пронзительно гикнул и закружился так быстро, что Алеше показалось, будто у него еще одно лицо на затылке. Есаул Гаркунов тоже не выдержал — топнул, звякнул шпорами, и посуда на столе зазвенела.

В горницу снова вкатился вахмистр Грызлов. Он дождался, когда есаул кончил пляску, и подошел к нему.

— Вон! Вон, животное! — закричал на Грызлова взбешенный есаул.

— Пакет от главного командования! — силясь покрыть и оркестр и крик Гаркунова, покраснел от натуги вахмистр.

Хмель с Алеши слетел.

Есаул нехотя вскрыл пакет, и густые брови его сбежались к переносью. Он не дочитал сводку до конца и сунул в карман.

— Песецкий! Шампанского!

Пробка со звуком разорвавшейся хлопушки взлетела в потолок. Игристая пена рванулсь в граненые бокалы.

— Господа офицеры! — Есаул поднял бокал с играющим вином и достал из кармана сводку главного командования.

Все взяли бокалы. Алеша затаил дыхание.

— Тревожные вести, господа! — проговорил есаул.— Степные партизанские части Замонтова соединились с крупными частями горнопартизанских отрядов Крестьяка. Отряд поручика Каурова уничтожен. На северном фронте партизаны соединились с Красной Армией...— Есаул обвел всех строгим взглядом.— Обратно пути нам нет. Путь наш теперь один — через Чесноковку, к черту на рога!.. Прощай, родная, любимая земля!

Есаул замолк. Лицо его стало бледным и строгим, как на молитве, словно и не был он пьян до этого.

— Пойдем налегке. Пленных в расход!.. Прощай, родная русская земля! — тихо повторил он, потом молча выпил вино и разбил бокал об пол.

— Песецкий! Шампанского! Музыка! Музыка!..— закричал вдруг «молчальник» капитан Огородов.

Рев оркестра сотрясал стекла в рамах.

Пили бокал за бокалом.

Алеша окончательно протрезвился и выливал вино под стол.

«Мухи перед гибелью злы»,— вспомнил он фразу Ефрема Гаврилыча.

Алеша смотрел на офицеров.

— «Завтра же похороню вас всех!..»

Ему было жаль только милую, ласковую Веру Петровну, и он мучился сознанием, что утром она будет безжизненно холодной и страшной...»

«В самую последнюю минуту я скажу ей... Пошлю в обоз... Я спасу ее...»

Тамада Песецкий позвал вахмистра Грызлова.

— Балет! — весело крикнул сотник.

— Слушаюсь! — и вахмистр бросился в дверь. Но через минуту Грызлов вернулся к Песецкому.— Всех пятнадцать?..

— Всех!.. На площади!..

Алеша ничего не понял, но Вера Петровна шепнула:

— Коронный номер нашего Казика... Арестованных бандитов сейчас пустят в расход, а жен и дочерей пригонят сюда, разденут и заставят плясать...

Перед Алешей мелькнули бородатые лица, прижавшиеся к решетке окна в тюрьме...

— Незабываемое зрелище, Анатоль! — Вера Петровна стиснула похолодевшие пальцы Алеши.

Он невольно отпрянул от нее, бросился из-за стола к сотнику. Упал на колени и протянул к нему дрожащие руки:

— Казимир Казимирович! Голубчик! Пощадите!

Сотник удивленно взглянул на Алешу.

— Встаньте, прапорщик Палагинский! Что за глупости! — сказал он, и красивое лицо его потемнело.

Алеша опомнился и истерически захохотал:

— Сотник! Сотник! — не поднимаясь с колен, повторил он.— Сохраните их до завтра!.. Для меня!.. Я еще ни разу!.. В Чесноковке поупражняюсь... Ради бога!.. — вновь комически выкинул он руки в сторону Песецкого.

Сотник засмеялся.

— Грызлов! — крикнул он в глубину комнат вахмистру.

— У вас пятнадцать? — переспросил сотник появившегося на пороге Грызлова.

— Так точно, пятнадцать, господин сотник!..

— Семь с половиной отделите для практики прапорщику. Желание гостя священно у нас в отряде... Выбери-

те только, у которых шеи потолще...— в улыбке Песецкий показал блестящие широкие зубы.— Остальных в балет!

Алеша поднялся.

— Спасибо! — сказал он и сел на свое место, отодвинувшись от Веры Петровны.

Гости разошлись в три часа ночи.

В соседней комнате зажгли лампу. Алеша заглянул в дверь: вестовой есаула Мишка стоял у стола и допивал медовуху через горлышко из графина.

Алеша не мог сдержать напора чувств и, полуодетый, вышел к нему:

— Здорово, Михаил!

Вестовой испуганно повернулся. Графин со звоном упал и разбился.

— Ничего! Это ничего, Миша! — подбежал к нему Алеша и нагнулся вместе с вестовым над осколками графина.

На полу они улыбнулись один другому, как напроказившие школьники, и встали.

— Это такой пустяк! Главное — выступаем! Выступаем!..— повторил Алеша и дружески хлопнул вестового по плечу.

Мишка удивленно взглянул на юного прапорщика и рассудительно сказал:

— Чего тут радоваться, господин прапорщик? Маята одна с этими переходами. Только, можно сказать, обжились, обгляделись... ну, одним словом, перезнакомились...

— Да ведь это же не просто переход в другую деревню, а бой! Понимаешь ты: решительный, важный бой! — возмутился Алеша равнодушию Мишки.

— Так точно, господин прапорщик! Это совершенно правильно! Это я, конечно, по необразованности!..— почувствовав в голосе Алеши недовольные нотки, поправился вестовой.

— Через полчаса будить есаула, а у меня — не у шубы рукав...— И Мишка принялся за уборку.

Стол был залит вином и медовухой, завален грязной посудой, рыбными костями, раскрошенным хлебом. Пол загажен, затоптан.

Алеша вспомнил все происходившее здесь вчера.

«Я отомщу за всех! За всё! Скоро! Скоро!..»

ГЛАВА LVII

В проходах ущелья партизаны закладывали фугасы. Подтаскивали камень к отвесным кручам узкого ущелья. Руководил командир отделения Пальчиков. Кузнец Потап Мазюкин на плечах втащил свое тяжелое детище — «пушку-бухалу» и укреплял ее на самом «шишу».

Свесив с кручи длинную, кольцеватую бороду цвета монетной меди, он пытливо смотрел вдоль ущелья и на подходы к нему со стороны Маральей пади. Что-то высчитывал, прикидывал, отползал назад, подавался вперед, прищуривал левый глаз, точно прицеливаясь в невидимого врага.

Доставку патронов, ручных гранат и железного крошева для пушки возложили на завхоза Свистуна; разведку и охранение с юга, со стороны Маральей пади,— на взводного Лобанова; инсценировку жаркого оборонительного боя с севера, со стороны наступления полковника Елазича,— на трех стариков с деревянными трещотками и конный разъезд под командой сына взводного Лобанова — молодого, расторопного казака Палладия.

Жариков носился по деревне, собирая бороны. Опрокинутые вверх зубьями, они образовали грозное для кавалерии поле у выхода из ущелья на случай, если фугасы подведут и противнику удалось бы прорваться...

Ефрем Гаврилыч наблюдал за установкой отбитых у гаркуновцев двух пулеметов, сам выбирал для них позиции, сам пристреливал по ответственным рубежам.

Никодим и пестун были всюду. Могли ли они не принять участия в закладке фугасов! Разве можно было кому-нибудь доверить подноску гранат?! А патронов?! Кто лучше Никодима мог связать бороны проволокой одна к одной?

Но настоящее свое призвание они нашли все-таки на подноске валунов к обрывам ущелья. Камней требовалось много, работа трудная. Никодим раскачал холодный, скользкий камень и, проваливаясь в снегу, понес его к обрыву. Медвежонок шел позади. Мальчик, красный от натуги, положил камень и повернулся, чтобы бежать за другим, но сзади раздался грохот. Никодим увидел пестуна, который, свесив голову вниз, смотрел и слушал. Камня, принесенного мальчиком, не было.

Никодим схватил ножны и ударил ими медвежонка по заду. Пестун взвизгнул и отбежал от обрыва.

— Дурачка нашел! Черт шерстистый! Я надуваюсь, тащу, свет из глаз катится, а ты спихивать!..— Никодим погрозил ножнами озадаченному медвежонку и пошел за новым камнем.

Бобошка понуро побрел сзади. Мальчик раскачал новый камень. Неожиданно пестун занялся тем же, но работа у него шла успешнее. Он так энергично орудовал всеми четырьмя лапами, что снег и комья земли дождем летели вокруг.

— Вот так-то лучше! — обрадовался Никодим.

Пестун подрыл камень, взял его в лапы и понес. Никодим со своим валуном пошел следом.

Партизаны увидели медведя с ношей, засмеялись, закричали.

От гордости за друга Никодим не чувствовал тяжести валуна, но Бобошка подошел к обрыву и спустил камень вниз. Никодим ахнул, бросил валун и снова схватился за ножны.

— Дурак! Башка толстая, а пустая!.. Нельзя! Нельзя бросать сейчас!.. Сейчас таскать надо!.. Таскать, Бобошенька! — Мальчик наклонился к уху медвежонка и раздельно повторил: — Бросать будем после. По-сле... Понимаешь, милый Бобоша, после!

Пестун смотрел на него и только моргал круглыми глазами.

— Пойдем!

Медвежонок внимательно следил за каждым движением своего хозяина. Всякий раз, как мальчик подносил камень к обрыву, пестун поднимал голову, настораживал уши и вздрагивал, ожидая, что уж теперь-то он бросит камень в пропасть. Но Никодим осторожно опускал камень и отправлялся за новым.

Пестун не выдержал и бросился за мальчиком. Никодим заметил его, когда он с огромным валуном медленно пошел к ущелью, широко расставляя задние лапы.

Звереныш подошел к самому обрыву и, очевидно, искушаемый желанием бросить валун в пропасть, затоптался на месте. Никодим побежал к нему и издалека закричал:

— Нельзя! Нельзя, Бобошенька!

Медвежонок все еще не решил, бросить ли ему валун

в пропасть или опустить рядом с горкой, как делал Никодим.

— Возьми! Возьми у него! — закричал отделенный Пальчиков с противоположной стороны ущелья.

Мальчик тихонько подошел к зверенышу, встал между ним и пропастью, взял у него из лап валун и осторожно опустил рядом со своими камнями.

— Умница! Умница ты моя толстолобенькая! — Никодим схватил пестуна за шею и поцеловал прямо в губы, потом вынул из кармана затасканный кусочек сахара и всунул в пасть Бобошке.

До самого солнцезаката носили они с пестуном камни к обрыву. И каждый раз медведь, подтащив в лапах валун, почему-то боялся сам опустить его на землю, и Никодим, положив свой камень, принимал ношу из лап Бобошки.

— Старание есть, и ум золотой, а трусоват: боится, как бы лапку не отшибить...,— объяснил партизанам мальчик неумение пестуна положить камень на землю и охотно помогал другу.

Подготовка к встрече гаркуновцев приближалась к концу. Заложенные фугасы, бомбы, пулеметы, мазюкинская пушка и горы камней, приготовленные для встречи,— Никодим ликовал. Гибель гаркуновцев ему казалась неизбежной, но с ними неизбежна была и гибель Алеши. Никодиму было жалко его до слез. Теперь мальчику казалось, что он в неоплатном долгу у своего друга.

Партизаны выбирали удобные места. Устраивали бойницы для винтовок. Некоторые достали охапки сена и подложили себе под бок, собираясь коротать ночь на каменных крутиках. По обеим сторонам ущелья прошел Ефрем Гаврилыч. На каждом повороте он останавливался, давал последние указания гранатометчикам.

Жариков прислал Варагушину записку: «После полуночи прибудут в твое распоряжение до тридцати женщин-доброволок. Размещай стрелков у входа и выхода, а сбросить камень с утеса и женщина отлично может...»

Варагушин повеселел: к ста пятидесяти бойцам прибавляются еще тридцать. И хотя у гаркуновцев было около трехсот штыков да почти столько же сабель, хотя и были они вооружены артиллерией, десятью пулеметами и неограниченным запасом патронов, но на стороне партизан было мужество и каменные стены родных гор.

Заря медленно догорала. Тьма и тишина опускались на ущелье. Скорой рысью выехала разведка к Стремнинскому перевалу. Никодим слышал, как Ефрем Гаврилыч наказывал взводному Лобанову обязательно связаться к Кобызевым...

— Пятая изба с краю,— повторил он знакомые ему слова.

Часть людей пошла ужинать в деревню. Никодим с пестуном тоже отправились...

ГЛАВА LVIII

Алеша зажег спичку и поглядел на часы. Было без пяти минут пять, но деревня уже проснулась. Скрип снега, ржание лошадей, одиночный — должно быть, случайный — выстрел и чья-то ругань. Алеша прижался к застывшему окну. На дворе была густая темь. Вдоль улицы накатывалась слитная поступь пехотной части.

— Р-о-о-та, стой! — услышал Алеша сердитую, отрывистую команду, после которой великан шагнул еще раз и звучно приставил сильную ногу.— Оправиться! — выкрикнул все тот же резкий, словно недовольный голос.

И тотчас же множество людей закашляло, сдержанно зашумело. Лязгнули штыки, загорелись вспыхнувшие папироски.

«Началось!» — подумал Алеша, и сердце его радостно защемило.

Он вскочил с кровати и стал одеваться.

Уже засыпая в постели и слыша за стеной распоряжения Гаркунова вахмистру о выступлении конницы — через час после выхода пехоты,— Алеша боялся, что то, за чем он приехал и на что твердо решился, может неожиданно в самую последнюю минуту расстроиться. Но теперь этого уже не могло быть: пехота выступала; следовательно, разведка и охранение ушли.

«Теперь-то уж началось!» — натягивая сапоги, радовался Алеша. Он находился в том детски восторженном состоянии, когда хочется первому встречному выкричать, рассказать о переполнившем сердце счастье.

За ночь погода значительно отмякла. Легкий морозец приятно щипал щеки. Темнота окутывала двор, деревню.

Огни в окнах светились, как волчьи глаза.

На улице отфыркивались, ржали кони готовой к выступлению сотни. Есаул Гаркунов хриплым голосом ругал вестового Мишку и за то, что он не приготовил квасу, и за плохую седловку жеребца Баяна.

Голова у есаула трещала, Гаркунов был в дурном настроении. Мишка понял это с первого взгляда на начальника.

— В Чесноковке чтоб был квас!

— Слушаюсь, господин есаул!

— «Слушаюсь-слушаюсь», а как... Догнать разведчиков!.. С разведчиками... Чтоб дом под штаб!.. Чтоб квартиры господам офицерам!.. Денщики Елазича!..

Есаул не договаривал фраз, но Мишка отлично понимал их смысл. Он знал, что есаул не любил совместных действий двух отрядов и всегда злился при их расквартировке. Но чтоб посылать его, вестового, в переднюю линию с разведчиками — этого ни разу не случалось.

Ноздри Мишки оскорбленно раздулись.

— Слушаюсь, господин есаул! — с какой-то отчаянной и вместе покорной злобой выкрикнул он, рванул пузатого конька за повод, вскочил в седло и с места поднял лошадь в карьер.

Есаул положил сухую, затянутую в перчатку руку на холку лошади. Высокий, гнедой (в сумраке казавшийся вороным), гривастый жеребец выгнул шею, храпел, рубил копытом мерзлый снег, взвивался в дыбки.

Гаркунов любил Баяна именно за красивое его волнение перед посадкой, но сейчас он поставил ногу в стремя, грузней обычного сел, так что конь качнулся под ним, и ударил лошадь плетью.

Гаркунову было за пятьдесят, и он впервые сегодня почувствовал груз своих лет.

«Одна ночь — и так трещит голова, и тяжесть во всем теле... А бывало!..»

Есаул завистливо, почти злобно взглянул на веселого, молодого прапорщика.

Во двор въехал вахмистр Грызлов. На коне он не выглядел таким уродом. Только короткие ножки, покоившиеся на высоко поднятых стременах, казались отрубленными по колено.

— Разведка и охранение высланы. Господин подпрапорщик с ротой ушли в пять. Господин сотник прибыл к сотне. Прикажете двигать, господин есаул?

Гаркунов молча махнул рукой. Грызлов откозырял и рысью выехал на улицу.

В сотне зашумели, задвигались. Звякнуло стремя о стремя. Тоненьким голоском вахмистр подал команду:

— Справа по три... арш!

Снег запел под множеством конских ног. Алеша тронул Зорьку вслед за пляшущим Баяном есаула. Он внимательно заглянул себе в душу: несмотря на то, что теперь они по-настоящему тронулись в пасть смерти, Алеша не нашел в душе трусости. Желание как можно скорей и до конца выполнить задуманное наполнило его неизъяснимой ликующей гордостью...

Сотнику Песецкому, гарцевавшему перед строем на соловом подбористом коне, Алеша сухо кивнул и переехал на другую сторону.

Алешу больше всего занимал вопрос: когда же двинется обоз и сдержал ли слово Песецкий насчет пленных?

Он придержал Зорьку, пропустил сотню и подъехал к вахмистру.

— А как там насчет этих?.. Ну, о чем вчера...— замялся Алеша.

— Все в порядке, господин прапорщик,— догадался вахмистр.— Даже дюжинку свежих, сверх тех, распорядился для вас господин сотник...

Алеша стал всматриваться в длинную линию обоза.

— Не извольте беспокоиться! Ваше будет перед вами. Они за надежной охраной,— угодливо хихикнул Грызлов.

Алеша вдавил шпоры Зорьке, и она, сильно поддавая задом, по растоптанному снегу рванулась в голову сотни.

У околицы объехали громыхавшую колесами, глубоко прорезавшимися в снег, батарею.

Шестерки крупных, сытых лошадей, туго натянув широкие строченые постромки, везли горные орудия. Прислуга тряслась на лафетах и зарядных ящиках.

Капитан Огородов ехал впереди на маленькой белой лошадке калмыцкой породы. В длинной шинели и высокой папахе, он был необыкновенно забавен. Ноги его доставали чуть не до земли. Алеше показалось, что косматый конек под грузным артиллеристом гнется и стонет.

Капитан молча поздоровался с офицерами и дал объехать себя сотне.

— Христос на осляти...— сострил сотник Песецкий, но ни есаул, ни Алеша не отозвались на шутку.

Дорога круто пошла в гору. Стало немного светлее. Из сплошной черной массы деревьев, чуть заметные, проступали контуры стволов. Впереди, на повороте, послышался быстро накатывающийся топот. Лошади подняли головы и насторожили уши. Жеребец Гаркунова заржал. Есаул рубанул его плетью.

На разгоряченной, потной лошади подскакал к командиру связной и сообщил, что Стремнинский перевал свободен.

— Даже дозоров не встретили. Пехота поднялась и отдыхает...

Есаул приказал связному передать в роту, чтоб ускорили движение, и сам пустил коня легкой рысью. Сотня, скрипя седлами и бренча саблями, гулко зарысила следом.

Алеша наблюдал, как возбуждение, охватившее офицеров, передалось ехавшим сзади кавалеристам. Он чувствовал, что сообщение об оставленном партизанами Стремнинском перевале обрадовало всех. Но больше всех ликовал Алеша. Он испытывал острое, щемящее чувство охотника на верной тропе. Зверь идет как по струне, не свернет, не уйдет от ловко поставленной западни...

О себе не думалось в эти минуты. Хотелось только скорей одолеть пространство, отделяющее зверя от западни. Алеша выпустил Зорьку на голову вперед, но есаул ехал той же ровной рысью...

— Прапорщик Палагинский, не спешите на тот свет...— засмеялся сотник.

Алеша даже головы не повернул в сторону Песецкого.

А подъем все круче и круче. Нагрудники врезались в шеи лошадям. Кони стали задыхаться, и есаул перевел Баяна на шаг. Впереди не ясной еще линией вырисовывался хребет перевала.

«Все хорошо! Все прекрасно!» — думал Алеша.

Даже морозный горный воздух казался ему сегодня особенным, легкие так глубоко вбирали его. Хотелось каких-то резких движений. Крикнуть хотелось: «Я не трус! Не трус!»

И опять внимательно заглянул себе в душу Алеша: там по-прежнему было светло и радостно. Он больше все-

го боялся, что запас мужества в решительный момент может иссякнуть и он не сделает того, что решил сделать.

«Этого не будет!.. Лучше застрелиться!.. Не будет!..»

Алеша стиснул зубы и снова невольно подогнал Зорьку, но офицеры вновь отстали, и он умоляющими глазами посмотрел на них. На гребне перевала новый связной осадил взмыленную лошадь перед есаулом. Стало еще светлее. Видно было, как пар поднимался от коня всадника, видны были даже глаза кавалериста.

— Господин есаул!..— задыхаясь от быстрой скачки, взволнованно заговорил он. Лошадь связиста качалась и дышала так же жарко, как и всадник.— Разведчики донесли... Слышна частая стрельба с северной стороны Чесноковки... Близ ущелья замечен полевой караул... Разведка и охранение залегли. Ждут ваших распоряжений...

— Где встретил роту? — хищно поднявшись на стременах, спросил есаул.

Но по тону вопроса и по сверкнувшим его глазам Алеша чувствовал, что есаул напряженно обдумывает что-то свое, не зависимое от ответа связного. Песецкий, как и есаул, привстал на стременах. Приподнял клинок шашки и опустил его в ножны. Потом отстегнул кобуру револьвера и снова застегнул ее.

К офицерам подъехал вахмистр Грызлов. Не слушая связного, есаул приказал вахмистру:

— Батарею с крикрытием поставить на гребне Стремнинского. Огонь по северной окраине деревни — только по моему распоряжению!.. Связной! — повернулся есаул к кавалеристу.— Роте передашь приказание выдвинуться на линию охранения... Без нужды огня не открывать... Марш!

Лишь только посланец ускакал, есаул достал портсигар, закурил и между первой и второй затяжкой сказал:

— Силы противника оттянуты полковником Елазичем. Надо собрать отряд в кулак и на плечах у охранения ворваться... Огонь по северной окраине деревни отрежет их резервы... Ваше мнение, господа офицеры?..

Но Алеша чувствовал, что и этот вопрос есаул задал так же, как спросил у связного о роте, и поколебать его в принятом решении уже нельзя...

— Я думаю...— начал было Алеша, но взглянул на нахмуренное лицо Песецкого и остановился.

— Решение правильное... только...— замялся сотник.—

Мое мнение — не особо спешить... Полковник старше чином — доставим ему удовольствие по старшинству...— улыбнулся Казимир Казимирович, обнажая блестящие из-под пышных усов зубы.

Есаул наклонил голову и не ответил Песецкому.

Потом Гаркунов бросил недокуренную папиросу; она огненной дугой упала в снег. Есаул решительным рывком надвинул серую папаху на лоб и властным, резким голосом скомандовал движение.

ГЛАВА LIX

Задолго до рассвета стали подходить из деревни женщины с горячими шаньгами в платках и передниках: печи они вытопили ночью.

Некоторые принесли с собой дробовые шомпольные ружья. Вдова Фекла приволокла тяжелую березовую жердь.

— Этой клюшкой, мужики, я зараз пяток белозадников с ног уроню...

Командир отделения Пальчиков размещал женщин у груды камней над кручей ущелья.

— Стрельбу откроете только по выстрелу Потапа Мазюкина из пушки. До этого — боже сохрани! Ноги повыдергаю! Уши к заду пришью!

Настасья Фетисовна, Гордей Мироныч и Никодим пришли вместе. Ни уговоры жены, ни запрещение Варагушина не удержали Корнева в эту ночь на постели.

— Лежать мне все едино где... Там, может быть, на что-нибудь да сгожусь... В крайности левой рукой... В крайности ногами камень обрушу...

Никодим вступился за отца:

— Мама, не задерживайте батю, ради господа!.. Да хоть бы и до меня доведись, я бы на карачках уполз...

Корневы заняли позицию у камней, наношенных Никодимом и пестуном. Бобошку мальчик накрепко привязал в хлевке и дверь подпер колом: «Убьют дурачка ни за что, ни про что...»

Из всей семьи Корневых вооружен был только Никодим: за плечами драгунская винтовка, на боку шашка.

А женщины все подходили. Часть из них, разыскав мужей и сыновей, располагалась с ними рядом. Но боль-

шинство женщин Пальчиков разместил как можно дальше от входов в ущелье со стороны Маральей пади.

Ефрем Гаврилыч Варагушин, не спавший вторую ночь, еле держался на ногах, но, обходя участок, у каждой группы женщин и партизан останавливался, шутил. Никодим увидел Ефрема Гаврилыча и решительно подошел к нему:

— Пойдемте, товарищ Варагушин, мне вас на парочку слов требуется.— Только вчера он услышал, что так же разговаривал с взводным Лобановым партизан-новосел.— Нагнитесь поближе, Ефрем Гаврилыч...

На лице Никодима была таинственность. Командир тревожно взглянул на мальчика. Никодим, задыхаясь, рассказал ему все, о чем он думал весь этот день:

— «Умру,— говорит,— не поминайте лихом...» Только он велел мне никому-никому не сказывать...

Ефрем Гаврилыч быстро откинулся и, забыв осторожность, громко сказал:

— Да что ты?! А мы с Андрей Иванычем!..

Никодим не отрывал глаз от взволнованного командира.

— Ну что же, Никушка, тут, брат, ничего не поделаешь...— уже негромко проговорил он.— Пойдем!..

В четыре часа утра из штаба пришел Жариков с двумя незнакомыми партизанами. От них Ефрем Гаврилыч получил сведения, что отряды Замонтова и Крестьяка на всех фронтах разгромили белых.

Новость быстро облетела отряд Варагушина.

В половине пятого разведчик из группы взводного Лобанова прибежал на лыжах к Ефрему Гаврилычу и донес:

— С Кобызевым связались. Но больше половины маральинцев арестовано, часть расстреляна. Все же тринадцать партизан на лыжах влились к Лобанову. Разведка и охранение гаркуновцев вышли. Взводный на Стремнинском перевале пропустил их без выстрела, остался в тылу...

Жариков и Варагушин переглянулись. Ефрем Гаврилыч наклонился к разведчику и сказал ему:

— Передай Лобанову: молодец! Пусть действует в дальнейшем по усмотрению — ему видней...

— Андрей Иваныч! — вдруг сказал Варагушин. — А насчет Леши.., напиши Лобанову записку... Пусть нака-

жет маральинцам, чтоб не того... понимаешь? Напиши! Не идет он у меня из головы всю ночь...

Жариков достал блокнот и, склонившись к самой бумаге, написал записку.

— Передашь Лобанову, он знает...

Партизан повернул лыжи, забрал круто по хребту и растаял между деревьями. С уходом разведчика нависла гулкая тишина. Но в этой мглистой, дымчатой тишине воображение рисовало и скрытое движение разведки, и охранение противника.

Чуткое ухо начинало улавливать издалека вороватый скрип снега, отдающийся в сердце. Далеко-далеко в мутной морозной мгле фыркнула лошадь... Глаза всех были устремлены в таинственную мглу. За спиной, совсем рядом, внизу, была тихая, словно вымершая деревня. Ни одного огня в окне, даже собаки не лаяли.

И вдруг в настороженной, звенящей тишине на северной окраине Чеснюковки лопнул выстрел, другой. И вскоре покатилась жаркая перестрелка. В отрывистые и резкие хлопки винтовочных выстрелов ворвался сухой непрерывный ливень пулеметов. Только очень опытное ухо и на близкой дистанции смогло бы отличить звуки сильных деревянных трещоток от хищного клекота настоящих пулеметов.

— Ну, началось! — сказал Ефрем Гаврилыч и, сняв папаху, пригладил волосы.

Занималась заря. Морозный пар поднимался над землей. На фоне зари отчетливо вырисовывались пушистые сосны в инее.

Дозор противника заметили издалека. Всадники — их было трое — ехали тихим шагом. На каждом повороте дороги останавливались и долго всматривались в седой, синеватый сумрак.

Никодим одним из первых увидел их своими зоркими глазами. Они крутили головами и, казалось, обнюхивали воздух, как осторожные звери. Все три разведчика были на белых конях и в маскировочных халатах. Издали дозорные походили на снежных баб, посаженных на вылепленных из снега же лошадок... Вот один слез с коня и нырнул в тайгу, следом за ним — другой. На дороге остался только коновод с лошадьми. Вскоре к тому же по-

вороту подъехала еще группа всадников, но уже более многочисленная и на разномастных лошадях.

Никодим насчитал двенадцать человек. Мальчик выбрал себе одного, самого рослого, на большой лошади, и, прищурив глаз, мысленно прицелился в него: «Эх, и срезал бы я тебя!»

И эти двенадцать, за исключением двоих, оставленных с лошадьми, скрылись в лесу. Минут через двадцать быстрым шагом, словно и не опасаясь никого, подошел взвод пехоты и также скрылся в лесу.

Никодим нисколько не боялся их. Мальчик верил в силу заложенных фугасов, в мазюкинскую пушку, грозную на близком расстоянии, в груду камней, в березовую жердь тетки Феклы... Верил в Ефрема Гаврилыча и Жарикова. Он был глубоко убежден, что даже армия сосен и пихт тоже за партизан. Правда, сердце Никодима билось часто, но он взглянул на спокойное бородатое лицо отца, в ласковые глаза матери и улыбнулся.

Нет! Никодим ни на минуту не сомневался в победе. Радостное возбуждение гасло только при мысли об Алеше, но с каждым новым появлением противника он все реже вспоминал о друге.

Пехота была уже совсем близко от ущелья, как из-за дальнего поворота дороги вывернулась скачущая в снежном дыму сотня. Охотничий азарт захватил Никодима: он забыл об отце, о матери, о самом себе. Колышущаяся на бегу колонна ближе, еще ближе. Стали выделяться головы, плечи скачущих. Губы мальчика шевелились. Он не мог улежать за камнем и, привстав на колени, шептал:

— Сейчас!.. Ох, сейчас!..

Мертвая тишина была кругом, только слышался нарастающий гул сотни, перешедшей с рыси на галоп.

«Топ.., Топ...»—отдавалось в сердце Никодима.

Обрывки туч покраснели на востоке. Снег на Стреминском перевале вспыхнул ярко, до рези в глазах. Совсем близко — Никодиму показалось, будто под самыми ногами,— грянул жиденький залп партизанского полевого караула, и по дну ущелья быстро побежали люди.

Никодим видел, как с ближней к ущелью поляны без единого выстрела поднялась со снега серая лавина шинелей, и с широко раскрытыми ртами, из которых вылетал пар, солдаты бросились вслед за полевым караулом в гулкую дыру ущелья.

Мальчик вскинул винтовку к плечу, но отец рванул его к себе и крепко зажал между колен.

— Убью! — прошептал Гордей Мироныч в самое ухо сына.

Никодим даже не пробовал освободиться. Только очутившись в сильных коленях отца, мальчик почувствовал, как у него стучат зубы и волосы, точно живые, поднимают папаху на голове.

«Топ... Топ...» — ураганом надвигалась скачущая в карьер сотня, окутанная снежной пылью. Никодиму уже были видны вырванные из ножен взблескивающие, зеркальные клинки сабель. Мальчик с трудом оторвал глаза от сотни и посмотрел вокруг. Партизаны лежали, прижавшись к камням. Потап Мазюкин припал к пушке; Ефрем Гаврилыч и Жариков у пулеметов, руки наложены на затыльники «максимов».

Отец, жарко дышавший в самую шею; мать с прядью волос, выбившихся из-под платка и обындевевших, как паутина. А дальше — женщины, женщины вперемежку с партизанами, тетка Фекла с березовой жердью.

Подобно вешней реке, ворвались в ущелье первые взводы пехоты. На Стремнинском перевале раз за разом гулко ударила батарея. Словно лед на реке треснул. Тайга с шумящим грохотом подхватила и широко разнесла мощный гул пушечных выстрелов.

Невидимые снаряды, шумя и свистя, как стая птиц, пронеслись высоко над кручей ущелья. Только по линии их лета в морозном воздухе пролег дымчатый след.

Кони скачущей сотни рвали снежную корку дороги. Тихо было на круче гребня. Никодим закусил губу и оцепенело следил за накатывающейся грозной силой.

— Ну! Ну!.. — подавшись всем телом в сторону Мазюкина, шептал мальчик.— Да ну же! — выдохнул он со стоном.

Но Гордей Мироныч, очевидно, и сам, так же как Никодим, напряженно ждал выстрела пушки и не слышал голоса сына.

И вдруг, когда сотня, окутанная снежной пылью, как смерч, ворвалась в ущелье, стальной ливень грянул с неба. Горластый вскрик мазюкинской пушки, треск пулеметов, грозный взрыв фугасов... Сноп черно-багрового пламени, земли, камней, изуродованных тел людей и лошадей взлетел выше скал. Горы вздрогнули и, казалось,

раскололись. Дымом и пороховой гарью заволокло ущелье.

Разорванная надвое, колонна шарахнулась вспять. В стремительном движении задние налетели на передних, сшиблись, смешались. Десятки скошенных пулеметными и ружейным огнем лошадей и всадников запрудили дорогу. А стальной ливень поливал и сметал расстроенные ряды конницы...

Скакавший сзади вахмистр Грызлов взмахнул саблей, приказывая рассыпаться по поляне перед ущельем, но рука его не сделала и полного движения, оборвалась с вывалившимся клинком, а лошадь, раненная в грудь, поднялась на дыбки, топча людей, и рухнула.

Потап Мазюкин бегал вокруг застопорившей пушки, размахивал руками и плевался. Замолк он, только когда пуля ударила ему в грудь. Бронзовый атлет, раскинув руки, упал, обняв свое детище в последний раз.

Тетка Фекла, сбросив в ущелье и жердь, и все камни, металась по краю обрыва, обезумело хватая все, что попадалось под руку: куски снега, корзинки из-под хлеба. Бросая, она выкрикивала страшные ругательства...

Никодим не помнил, как и когда он расстрелял все патроны, как спускал камни на головы мечущихся в узком ущелье людей. Ярко запечатлелось, как после одного из его выстрелов скакавший по ущелью на гнедом гривастом коне высокий всадник свалился, серая папаха упала на снег, лошадь помчалась дальше. Никодим радостно закричал, но упавший человек поднял руку с револьвером и выстрелил в него. Тогда Никодим схватил булыжник и сбросил на голову лежащего на боку офицера.

Ни отца, ни матери уже не было рядом с мальчиком: они вместе с женщинами и партизанами сгрудились у выхода из ущелья к Чесноковке. Никодим бросился туда же. Еще не добежав, мальчик увидел, как залегшие за утесами партизаны били из винтовок и дробовых ружей, как вспыхивали дымки и дергались после выстрела стволы.

На крутом спуске ноги сами неслись неудержимо. Никодим перескочил через труп женщины, лежавшей вниз лицом на краю обрыва. Черный подшитый валенок показался ему страшно знакомым, но Никодим не мог задержаться и пробежал дальше. На поле, среди борон, опро-

кинутых вверх зубьями, бились раненые лошади, ползали люди, и в них-то и стреляли партизаны, а женщины бросали камни.

И вдруг Никодиму стало не по себе. Словно устал вдруг он, или потерял что-то ценное, или забыл что-то такое, что обязательно нужно вспомнить. Он остановился у камня и прислонился к нему спиной. Огонь батарея белых перенесла на гребень. Вблизи Никодима что-то ударило, сотрясая почву под ногами. Огромная сосна взметнулась и, треща сучьями, упала на камни. Лицо Никодима обдало ветром.

Но и близкий удар снаряда, и гулкое падение дерева не вывело мальчика из тягостного равнодушия, подступившего к сердцу. Никодим стоял и тер виски.

«Да, валенок!..» — вспомнил он и бросился в гору.

— Валенок! Мамин валенок! — громко закричал он.

Никодим издалека увидел его на обнаженной белой ноге, подшитый толстой подошвой, со следами дратвенных стежек. Это был ее валенок. И он, шатаясь, пошел к нему, медленно, с трудом передвигая отяжелевшие ноги.

— Мама, милая...— чуть слышно шептал Никодим.

— Ника! — услышал он вдруг и, пораженный, оглянулся: снизу, задыхаясь, бежала в гору Настасья Фетисовна и звала его.

Мальчик бросил на снег винтовку и кинулся навстречу.

— Мама!.. Валенки!.. Валенки!..— выкрикивал Никодим и смотрел на ноги матери, обутые в сапоги отца.

Настасья Фетисовна взяла сына за плачущее лицо руками и порывисто поцеловала.

— Пойдем к тетке Фекле...

Артиллерийская стрельба на Стремнинском перевале смолкла; умолкли и пулеметы партизан на гребне. Но издалека, со стороны перевала, вдруг снова загремели выстрелы, только уже не орудийные, а ружейные, и тоже оборвались через несколько минут. Лишь изредка кое-где лопались еще одиночные выстрелы.

Бой затухал, как залитый костер.

Ржание мечущихся лошадей без всадников, истерические крики, ликующие голоса — все это вновь, точно из пустоты, возникло вдруг, волнуя и радуя Никодима. Мальчик крепко сжал жесткую руку матери и пошел с ней в гору, к лежавшей у обрыва женщине.

ГЛАВА LX

Алеша помнит: когда они бросились в галоп от последнего поворота дороги, за спиной вставало солнце. Отблески первых лучей вспыхнули на тонкой изломанной грани снежного хребта над ущельем. Он на мгновение поднял голову:

«Там они!.. Видите ли вы меня?..»

Шпоры глубоко вонзились в бока Зорьки. Кобыла распласталась, заложила острые уши, как скачущий под борзыми русак.

«Настало время мое...», как музыкальный мотив, ворвалась откуда-то в сознание фраза, так отвечавшая опьяненно-восторженному состоянию души Алеши. Не выходила фраза из головы и тогда, когда он жадно вдыхал морозный воздух и когда, торопя и без того птицей мчавшуюся Зорьку, всаживал ей в бока острые шпоры.

Гривастый Баян есаула Гаркунова скакал, вытянув шею и оскалив желтозубую пасть. Зорька легко обошла его. Алеша увидел, как красные, воспаленные глаза есаула вскинулись на него не то с упреком, не то с восхищением. Но все это мелькнуло в какую-нибудь сотую долю секунды.

Справа стремя в стремя скакал сотник Песецкий на поджаром соловом донце. Круглое, всегда густо-румяное, почти вишневое лицо поляка теперь было белым. Густые черные усы сотника еще более оттеняли неправдоподобную его белизну.

Все силы души Алеши в этот момент были собраны, как стальная пружина. С самого начала движения Алеша решил: «Заманить в ловушку! Ни на секунду не задерживаться перед ущельем». Он боялся, что даже маленькая неосторожность со стороны партизан —и зверь, почуяв опасность, уйдет или, встав на дыбы, ощетинится и бросится в бой. Поэтому Алеша решил бешеной скачкой увлечь в первую очередь офицеров.

И теперь в стремительном, все нарастающем движении он почувствовал: сотня была подобна лавине, сверргнувшейся с кручи в пропасть. Остановить ее уже невозможно. Нельзя ни отстать, ни свернуть в сторону. Только вперед. Ущелье совсем близко. Уже видны неровные края скал по обеим сторонам дороги.

«Настало время мое!»

Занимается дух. Морозный воздух режет лицо...
«Настало время мое!..»
Алеша влетел в гулкую горловину ущелья.

Уже втянулись передние ряды, взводы. Им овладела спокойная уверенность выполненного долга.

Алеша испытывал неизъяснимое наслаждение, вовлекая врага в пасть ущелья. Ему казалось, что он всадил в грудь скачущей сотни огромный штык и, напрягая все силы, вжимает его глубже и глубже.

И это состояние, когда сам он, находясь в руках смерти, не только не думал о ней, но ликовал, глядя расширенными глазами в ее лицо, было состоянием неизъяснимо-опьяняющего торжества над смертью. Теперь он уже знал, что нет силы, которая смогла бы спасти гаркуновцев. Алеша вобрал в грудь раскаленный воздух и торжествующе закричал:

— О-о-о!

И в тот же миг сильная стальная рука разорвала лавину надвое. Земля вскрикнула, дрогнули скалы, и огненный, каменный дождь посыпался с неба.

Алеша взглянул на обезумевшего от страха Песецкого. Серые глаза сотника, точно пораженные столбняком, остановились. Алеша привстал на стременах, поднял тяжелый наган и дважды выстрелил в немигающие его глаза.

Соловый жеребец сотника все так же мчался в ряд с Зорькой. Закинувшаяся грива его трепыхалась, как крыло птицы. Алеша инстинктивно оглянулся. Есаул Гаркунов, без папахи, размахивая руками, точно пытаясь ухватиться за что-то в воздухе, падал с седла. Далеко отставшие ряды сотни валились под градом камней и рвущихся гранат. Раненые лошади падали на дороге. На передних налетали задние и тоже валились в кровавую кучу. И вид этой картины не вызвал в душе Алеши ничего, кроме ликующего торжества победы.

За первым же поворотом в ущелье Зорька сделала резкий прыжок. Алеша взглянул под ноги и увидел, что кобыла перепрыгнула через гору трупов пехотинцев в серых шинелях и понеслась дальше, теперь уже поминутно прыгая через тела.

Но на новом повороте дороги на одном из прыжков лошадь точно поскользнулась в воздухе. Голова ее об-

висла, и Зорька ткнулась на колени. Алеша вылетел из седла, ободрал ладони, колени, правую щеку. Почти рядом он увидел жалкую дуплистую березу с искривленными, мертвыми сучьями.

Сзади нарастал топот обезумевших лошадей. Между трупами пехотинцев Алеша подполз к березе, забрался в дупло и, как к нежному, доброму другу, крепко прижался к выгоревшей ее древесине.

В ущелье колыхались синие волны дыма, еще остро пахло порохом, а партизаны уже очищали его от груды конских и человеческих трупов, собирали оружие, пулеметы, укрепленные на седлах вьючных лошадей, ловили мечущихся коней, обезоруживали пленных.

Никодим, Ефрем Гаврилыч и Жариков, вооруженные винтовками и гранатами, бежали в ущелье впереди всех. Перепрыгивая через трупы, они зорко всматривались, отыскивая тоненькую фигурку в серой шинели с новенькими золотыми погонами на плечах. Никодим был бледен. Блеснувшие в сумраке ущелья погоны на плечах сотника Песецкого остановили его. Никодим схватил Ефрема Гаврилыча за руку и молча указал на закинувшегося навзничь человека. Но Ефрем Гаврилыч мельком взглянул на сотника и побежал дальше, увлекая Никодима. Андрей Жариков задохнулся и пошел шагом, ловя наполненный кислотной пороховой гарью воздух ущелья широко открытым ртом.

Вдруг он услышал громкие крики Никодима и Ефрема Гаврилыча. Жариков собрал последние силы и побежал, спотыкаясь о трупы. За крутым поворотом ущелья кричали уже не двое, а трое. И голос этого третьего он узнал. «Нет уж, пожалуйста, Андрей Иваныч!..» — вспомнил он умоляющую фразу Алеши в канун отъезда в лагерь гаркуновцев.

Жариков сделал усилие и обежал выступ утеса: у старой березы с искривленными сучьями стояли трое и, не слушая один другого, кричали:

— Мы тебя, Леша, живым не чаяли!..

— Прижался я в дупле, а камни кругом, как град...

— Уехал... а Бобошка по тебе... еды лишился.

Андрей Иваныч посмотрел на лица Алеши и Никодима: мокрые от слез, они сияли неизъяснимым счастьем.

ГЛАВА LXI

Первый раз Алеша и Никодим увидели своего командира верхом на вороной белоногой кобыле.

Одет он был как всегда. Только через плечо, на узкой просеребренной черкесской портупее, длинная, с легким погибом, старинная кавказская шашка, снятая с есаула Гаркунова.

Ее подарили партизаны своему командиру. Редкой красоты отделки и добротности булатного голубого клинка с глубокими темными долами была сабля.

Какой искусный умелец ковал ее, тончайшей, как венецианское кружево, резьбой украшал эфес и ножны? Знаменитый ли Гурда или другой какой безвестный гений горского аула «тупил» соколиные свои очи на узорную вязь замысловатого рисунка, вытравленного на узком обухе ее?

Сколько рубак владело ею? Сколько горячей человеческой крови выпил ненасытный клинок за долгую воинственную свою жизнь? Сколько холодное, зеркально-светлое, вибрирующее при взмахе над головой, тонкое ее жало пропело стремительно коротких смертных песен, пока не попала она в железные руки Ефрема Гаврилыча?

Когда взял он ее за теплый под рукой и покорно выгнутый, как девичья шея, эфес, почувствовал в меру тяжеловатый, с легкой горбатинкой, ее клинок,— он, мастер своего дела, сибирский казак присяги 1912 года, с семилетнего возраста передержавший в своих руках немало холодного оружия, пережил восторг подобно талантливому скрипачу, впервые положившему свои пальцы на изогнутый гриф чудесной скрипки Страдивари...

Варагушин был всюду. Он напутствовал «серебряную роту» — седобородых охотников-лыжников. С тремя пулеметами, установленными на лыжи, под командой Жарикова направил их в обход Коржихи, где стоял отряд полковника Елазича.

Кириллу Лобанову приказал с установленными на сани пушками расположиться в полукилометре от Коржихи, за ближайшим хребтом, для удара по «полковнику» прямой наводкой. Лобанову же придал он и остальные пулеметы, отбитые у гаркуновцев.

Лобовой кавалерийский удар конников Ефрем Гаврилыч решил возглавить сам.

Оставшиеся два часа перед согласованным ударом провели на околице Чесноковки, где устроили летучий митинг. Слух об истреблении отряда Гаркунова облетел окрестные заимки. Толпы крестьян из Маральей пади и ближних заимок верхами на вислобрюхих лошаденках, на санях спешили в партизанский штаб. Дома, дворы, единственную улицу Чесноковки затопили люди и кони. А толпы народа все прибывали. Человеческое половодье залило окраины. Шумный табор, ржание лошадей, воинственный дым костров, разложенных на снегу... Красные знамена на санях, красные флаги на крышах домов, алые ленты в гривах лошадей, на папахах и зипунах.

Агафья Зиновьевна Коробицына из деревни Маралья падь вытащила на трибуну невестку Аксинью — молодую, высокую, черноволосую женщину.

— Мужики! — придушенно-хрипло сказала старая женщина, и стало так тихо, словно люди перестали дышать, только звонкое ржание лошадей было слышно в деревне.— Мужики! — с гневным, страстным накалом в голосе повторила Агафья Зиновьевна и снова, задохнувшись от волнения, схватилась темными, скрюченными пальцами за грудь.

Жарко дышала толпа. Снег скрипел под ногами. Перекликались растревоженные петухи в деревне.

— Сутки назад Гаркунов зарубил моего сына Василья,— говорила Агафья.— А вот у нее, Аксиньи, снохи моей,— мужа.— Старуха глубоко вобрала в грудь воздух.— И после всего этого нас разболокли догола и погнали плясать... А после — к вам в Чесноковку расстреливать... И вот смотрите, мужики!

Старуха распахнула тулуп на снохе и сама обнажилась до пояса.

Старая Агафья Зиновьевна и ее невестка стояли перед многолюдной толпой, и все видели черно-багровую грудь старухи и зебровую спину молодой женщины.

— Смерть Елазичу! — задыхаясь от гнева, выкрикнула Агафья Коробицына.

И словно ураган подхватил людей:

— Смерть!

— По коням!

Люди бросились к лошадям. Трясущимися руками развязывали чересседельники, супони. Сани оставили прямо на площади.

Началась дележка отбитого оружия. Двое мальчишек-подростков, пешком прибежавших из соседней заимки, ухватились за старый ржавый тесак — один за рукоятку, другой за ножны. Каждый тянул к себе — разлетелись в разные стороны: у одного тесак, у другого ножны.

Кому не хватило винтовки, дробовиков, железных вил, топоров, выкручивали оглобли из саней.

— Стопчем! Под ногами стопчем! — кричали вновь влившиеся в отряд партизаны.

Невестка Агафьи Зиновьевны Коробицыной — черноволосая Аксинья вырвала топор у какого-то партизана, схватила первую попавшуюся лошадь и беркутом влетела в седло.

Как тысячу лет назад по набатному сполоху, мирный русский народ вновь преображался в суровых мстителей.

На последней остановке за увалом, километрах в двух от Коржихи, прискакавший от Кирилла Лобанова связной Васька Сокур что-то сообщил выехавшему навстречу командиру.

Ефрем Гаврилыч торопливо повернул вороную свою красавицу и, не подъехав еще, издали повелительно крикнул:

— Ра-а-а-вняйсь!

Бессознательным движением Варагушин надвинул папаху на лоб и вырвал из ножен сверкающую свою шашку. Послушная еле заметному движению повода, горячая кобыла, поджав круп и присев на задние ноги, казалось, не переставляя передних, стремительно повернулась к замершим конникам.

Преображенный, стоял перед строем командир. До этого Ефрем Гаврилыч Алеше и даже Никодиму казался больше необыкновенным хозяином, для которого забота о полушубках, о сытой лошади, о хорошо пропеченном хлебе, о взрывающихся без «затяжки» гранатах составляла весь смысл жизни. Теперь, приподнявшись на стременах, чуть побледневший от внутреннего жара, с глазами, горевшими огнем, широкоплечий, слитый с лошадью воедино, это был орел, взмахнувший крылами.

И весь отряд в краткий этот миг, в безмолвной устремленности людей и лошадей, чем-то напоминал стаю птиц, готовую вспорхнуть. Еще выше приподнявшись на стременах, вскинув над головой клинок, командир, вклады-

вая весь жар своего сердца, весь гнев, скопленный в сердцах стоявшего перед ним отряда, крикнул:

— Смерть колчаковскому последышу! — и вместе со взмахом руки повернув лошадь, выпустил ее, как стрелу из лука.

Точно подхваченные ураганом, сорвались конники. Мощное «ура», вырвавшееся из многих сотен глоток, было услышано сквозь грохот канонады на дальнем конце деревни.

После боя, закончившегося разгромом Елазича, в избе тетки Феклы Алеша писал письмо — первое письмо отцу в Москву. Никодим и пестун сидели рядом. Настасья Фетисовна и Гордей Мироныч поили «чайком» Ефрема Гаврилыча.

Крупным, размашистым почерком Алеша исписал уже две страницы.

«...Таков мой друг Никодим!..— Алеша взглянул на мальчика и снова склонился над четвертушкой бумаги.— ...Сколько мне нужно рассказать тебе! Я так много видел. Прости, что пишу бессвязно. Кончаю. Итак, горячо любимый отец мой, жди меня с другом.

Дружба наша нерушима на всю жизнь».

Алеша подписал письмо, заклеил конверт и долгим взглядом посмотрел на Никодима.

Мальчики молча оделись, взяли пестуна и вышли на двор.

За час до захода солнца выпала пухлая пороша, укрыла измятый серый снег свежей, сверкающей лазурью. Вечер опускался на Чесноковку. В домах зажигали огни, топили печи. Воздух был тих и морозен. Из открываемых и закрываемых дверей вылетал густой пар. Деревня дымилась, как распаленный конь гонца, прискакавшего с радостной вестью о победе.

Алеша и Никодим взялись за руки и пошли по улице. Медвежонок, взвизгивая, то далеко обгонял друзей, то снова возвращался к ним.

Незаметно вышли за околицу деревни. Алеша заговорил о первой их встрече в тайге. Вдруг, остановившись, он схватил мальчика за руку:

— Ника! Милый мой друг! Я знаю, ты очень хочешь на военного командира выучиться,— я помогу тебе. Я за-

беру тебя в Москву. Я уже и отцу черкнул об этом... В Москву! Туда, где живет Ленин...

— На командира? В Москву? Где живет Ленин? Меня?! — Никогда Алеша не видел более удивленного лица Никодима.— Алеша, да ты спятил! — Никодим сорвал папаху с головы Алеши и дотронулся до его лба рукой.— Лоб в нормальности, но умом ты тряхнулся...— снова было заговорил Никодим, но, взглянув Алеше в лицо, вдруг замолчал.

Легонькая, офицерская, из морозно-дымчатой мерлушки папаха Алеши вдруг закачалась в руках Никодима.

Друзья стояли один против другого с опущенными глазами.

Медвежонок, несколько дней находившийся в заточении в своем хлевке и соскучившийся о ребятах, терся головой и спиной то около одного, то около другого, но они не обращали на него внимания. Пестун лег на дорогу и, положив голову на вытянутые лапы, казалось, тоже задумался.

Морозный синий вечер сгущался в хрусткую, сверкающую и по снегу, и по лапам елей, и по небу самоцветными каменьями, звездную ночь.

Алеша без слов взял папаху из рук Никодима, натянул ее до самых ушей и один пошел в деревню.

Никодим и медвежонок остались у околицы на дороге.

Ночевал Алеша у хлебопеков.

На другой день Алеша задержался в штабе. Многие из вновь вступивших партизан с ближних заимок и деревень разъезжались по домам. Варагушин поручал Алеше то составить арматурные списки на обмундирование и оружие, то писать подробные донесения о последних событиях в штаб партизанских групп, связь с которыми восстанавливалась.

Никодим уехал с поручениями в родное село Маральи Рожки.

Потом Алеша отправился с Жариковым в Усть-Утесовск по делам отряда. За это время Никодим с отцом и эскадроном партизан гонялись за бандой «черных гусар».

Вернувшись из Усть-Утесовска, Алеша с Жариковым тоже были брошены с отрядом к монгольской границе, на борьбу с остатками разбитой белогвардейщины.

Встретились друзья только через полгода в родном селе Никодима.

Загоревший в горячих песках Монголии, еще более повзрослевший Алеша и заметно вытянувшийся и окрепший Никодим в первый момент стояли один против другого, удивленные происшедшими переменами в их фигурах и лицах.

Потом они бросились друг к другу. Потом опять, отодвинув один другого, смотрели в глаза, радостно и бессвязно вскрикивая, хлопали друг друга по плечам...

Алеше казалось, что за это время все пережитое Никодимом как бы оттиснулось на его лице. И раньше мужиковские заботы, «упавшие на его плечи», делали его не детски взрослым, но раньше сквозь эту взрослость все время пробивалась тем более удивительная, какая-то особенно обаятельная невзрослость и детская жизнерадостность.

Теперь же казалось: еще вчера уснув забавным Никодишкой, проснулся он вдруг повзрослевшим, степенным Никодимом.

А может быть, это запущенный чубчик и новая прическа, «под польку», вместо прежней детской челочки и забавного вихорка на круглой головенке, так изменили его лицо.

Широкоплечий Алеша с выгоревшими пушистыми бровями и ресницами, в новой военной гимнастерке, перетянутой офицерским ремнем, тоже показался Никодиму совсем иным.

— Лешенька!..— вскрикнула, обрадовавшись Алеше, как родному сыну, Настасья Фетисовна.— Алексей Николаевич! — поправилась она и прижала голову Алеши к своей груди.

Через полчаса прибежал и новый председатель Маральерожского сельсовета — Гордей Мироныч.

— Алексей Николаевич! — поздоровался он и начал тискать в сильных своих руках Алешу.

Они смотрели на своих «мальчиков» и за столом, и весь остаток дня, дивясь происшедшей перемене и в отвердевших их глазах, и в новом изломе губ.

— А где же Бобошка? — спросил Алеша.

— На цепи, брат, держу. В дворишке, на толстенной цепи. Хватил я с ним горечка...

Никодим помолчал с минуту.

— Понимаешь, Алеша, всяк щенок, видно, в собаки лезет — медведем себя взрослым почувствовал...

И то, что друзья так поздно вспомнили о Бобошке, а вспомнив, не побежали к нему, как побежали бы раньше, тоже показалось Настасье Фетисовне и Гордею Миронычу серьезным признаком происшедшей перемены в «ребятенках».

Они оставили их одних.

— На цепи, брат, держу,— повторил Никодим, лишь только закрылась дверь за родителями.— Проштрафился мой медведь, сшалил. Скука, видишь ли, его без нас здесь одолела. По первости, рассказывала мама, ходит по двору из угла в угол, а сам все на тайгу да на горы, как журавль на небо, смотрит — нас ждет. А то подойдет к маме, голову ей на колени положит и в глаза смотрит, а сам ресничками эдак морг-морг, будто спрашивает: «Да когда же Никодим-то и Алеша вернутся?..» Вот она, скука-то, как за сердце берет...— Никодим помолчал, не спуская с Алеши влюбленных глаз.

Скука, к тому же и пустое брюхо тоже причина. И вот давай он сначала на выгон похаживать, а потом и в лес насмелился. Мама — ничего: ходи, думает, развлекайся, ешь корешки, ягоды, лови, что на зубы попадет...

Вырос же он за это время на удивление — брюшиной непотребно недрист. А на картошечке да на молочке эдакому зверю — после солдатской каши с салом да после зайцев — тоже невесело: его ведь, эдакий мамон, чем-то набить надо. Ладно... Ходит, кормится. Домой к вечеру, как коровенка с попаса, является. Мамон — как барабан: блоху на нем пальцем раздавишь. И прямехонько в свой дворишко спать...

Мама рада-радешенька. И он, чтобы польститься на домашнюю живность: на гусишка, курчошку или другую какую четвероногую,— ни в жизнь...

Ладно...— И голос Никодима, отметил Алеша, тоже отвердел по-взрослому, стал спокойным и плавным, утратил одни и приобрел другие ноты.— Да только и потеряйся у распрезлой, распреехидной-ехидной соседки Акулины Сорокиной — у нас ее по-науличному «Сорочихой» кличут,— так вот, и потеряйся у этой самой рас-

препаскуднейшей Сорочихи двухгодовалая телушка с выгона...

Вернулись мы это с батей. А мама, не успели мы и с коней слезть — известно, женщина: на языке огонь легче ей вытерпеть, чем эдакую новость,— так и так... рассчитывайтесь, мужики, говорит, с Трофимовной...

Не помню я, как и с коня свалился. Дома, можно сказать, и не обопнулся — тем же следом в тайгу.

Бегу, а сам думаю: ищи ветра в поле. Однако ж и поскотины не миновал — гляжу, а он мне навстречу, словно ему кто телеграмму отбил...

Да ведь что выбросил: не доходя порядочно, вскинулся на дыбашки, повинную голову на грудь опустил. Идет тихо-тихо, заплетает, а сам — не поверишь, Алеша,— как дитё малое: «У-уммму-у, ум-м-м-у-у...» — жалится, плачет.

Когда бежал искать, думал: найду и высплюсь на нем. Шкуру исполосую, чтобы до смерти не забыл. Увидел — бросился, обнял и в нос и в губки поцеловал. Радостная слеза просекла.

А он снял с меня фуражку, надел ее себе на голову, обнял меня, как в Чесноковке бывало, и таким бытом закосолапил со мной в обнимку...

Идем мы с ним улицей, а вся деревня на нас сбежалась. Грегочут — кишки в пузе мешаются.

С той поры и посадил я его на цепь...

А он — не поверишь, Алеша,— распреумнеющий-умнеющий зверь: провинность свою полностью сознает и хоть бы тебе взвизгнул. Лежит целыми днями, преступную голову на лапках держит и только глазами за мной зирк-зирк. Куда я — туда и глаза его...

Пестунишка за это время действительно из «щенка вылез в собаку». И стал он уже похож больше не на медвежонка Бобошку, а на матерого медведя Бобона Вахрамеича. Зад его по-прежнему был жилист и суховат, но зверь прибавился в росте. Особенно же он заметно раздался в плечах и в загорбке, покрытых длинной бархатисто-черной шерстью. И, как выражался о нем Никодим, стал Бобошка необыкновенно «недрист пузом», спрятать куда он мог бы за один присест, без ущерба для здоровья, годовалого теленка. Широкая же и короткая его морда по-прежнему освещалась круглыми, умными и в то же время детски озорными глазками.

От отца из Москвы Алеша получил целую пачку писем, три телеграммы и два денежных перевода. Отец ждал его с Никодимом в Москву.

А Никодим все придумывал и придумывал развлечения. То они целый день пропадали на увлекательной ловле хариусов на искусственную мушку, сделанную из волосков, выдернутых из бороды рыжего мужика. То проводили ночь в засидке на козлов на солонцах, слушая таинственные шорохи леса. А то по целым дням водил Никодим своего друга с сопутствующим им всюду Бобошкой по любимым своим местам в тайге, в горах и рассказывал забавные приключения из недавнего своего детства.

В те дни только что прокатилась над Алтаем пьяная, несказанно пышная весна — безбрежное половодье ярких, благоухающих цветов, кустарников, ароматнейших трав.

Заросли малины, смородины, крыжовника, усыпанные гроздьями ягод, наполняли лога, лепились по оврагам, свисали над входами в ущелья. Жасмин, лилии, темно-пунцовые, алые, белые и желтые розы. Целые поля, покрытые мальвами... Это был настоящий лес цветов.

Зубчатые грани близких хребтов, укрытых темной шкурой тайги, замыкали долины рек и речек. Дальние громоздились один над другим, бескрайные, как в сказке, затянутые флёром удивительной мягкости и нежности; горы возникали из голубого дыхания земли, призрачные и невесомо-легкие в туманно-шелковистой оболочке. Казалось, при малейшем дуновении ветерка они стронутся с места, и, как облака в небе, уплывут за дымную грань земли, растают в океане...

— Никушка! Никогда, никогда я не видел и даже не мог предполагать ничего более прекрасного, чем твоя родина, Алтай-батюшка, золотой, медвяный край!..

Лицо друга разгорелось:

— Погоди, погоди, Алеша, я тебе покажу, такое покажу!..

И мальчик тащил друга к каменистым утесам, перевитым зеленью, напоминавшим разрушенные дворцы и церкви, у подножий которых из расселин били сверкающие родники, гремели водопады, а на увлажненной целинно-черноземной земле цветы и зелень были еще ярче и живописней.

Они лежали на берегу речки, под высоким деревом, и сквозь ветви и листья безуспешно пытались рассмотреть небо. Рядом негромко шумели осины. Круглые, блестящие листья их сверкали. Казалось, по кудрявым вершинам деревьев порхает зеленый огонь большого жаркого костра.

— Ты смотри, как они переговариваются,— точно женщины на паперти у моленной!..

Алеша думал совсем о другом, но охотно согласился.

И хотя оба они все время старательно избегали разговора, не оконченного зимой, Алеша чутьем угадывал состояние Никодима в эти дни. И по тому, как мальчик водил его по любимым своим местам, он догадывался, что Никодим решил поехать с ним на учебу в Москву и теперь прощается с дорогими спутниками его детства.

— Когда мне было десять-одиннадцать лет, я любил лежать здесь, и каждый день речка эта разговаривала со мной по-своему... Особенно после дождя мне казалось, что она урчит, как наевшийся кот. А сейчас я тебе покажу камень, которого я долго боялся и называл «зубачом-загрызайлой». Камень оброс красным мохом, как шерстью. И мне чудилось тогда, что у него под шерстью, как у мужика под бородой, спрятался огромный рот с острыми зубами. Я боялся подходить к нему близко. Один раз невдалеке от камня я обнаружил глухариные перья. Птицу, конечно, съела лиса, но я был убежден, что глухарь по глупости сел «зубачу» на бороду и «загрызайло» выплюнул только перья.

Помолчав, он добавил:

— Как я был глуп тогда...

Невдалеке от «зубача» стояла старая, морщинистая ель. Ее я называл «бабушкой Натальей». Осенью, застигнутый дождем, я любил сидеть под ней и слушать ее сказки. Я верил, что есть особенный ветер, «трубач», который воет зимами в печных трубах, и что от холода бедная «бабушка Наталья» дрожит и плачет, а слезы ее от горя затвердели, стали смолой... Зайцев я называл «ванюшками». Верил, что летом бегают они в дерюжных штанишках, а зимой от страшного мороза покрываются пушистым инеем, как березы... За этой горой, куда скрывалось каждый день солнце, у меня начинался «конец земли».

Ночами друзья по-прежнему спали вместе, крепко прижавшись друг к другу.

После третьей телеграммы, полученной от Алешиного отца, Никодим сказал Алеше:

— Я хочу тебе показать свою деревню сверху, с горы. Сходим?

Алеша согласился.

Они долго лезли, обливаясь потом, по узенькой верховой тропинке на высокий хребет... Медведь и тот, утомленный, вывалив розовый язык, понуро плелся сзади, стуча по камням когтями.

Взобравшись на самую «крышу», Алеша взглянул вниз.

Большое село Маральи Рожки, красивое. Умели старики выбрать место под сельбище. В зеленой долине раскинулось оно. Вокруг хребты в кудрявых хвойных лесах, а с полуденной стороны, словно отлитые из серебра, вонзились в небо острые, подобно рогам мараленка-«сайка», снежные вершины двух гор.

С той же южной стороны круглое, как татарская чаша, озеро Хан-Алтай.

Речка Сорвенок падает в горное озеро со страшного крутика. Рожденный в ледниках, хрустально-голубой Сорвенок дерзко бросается в долину с отвесного утеса и, разбиваясь, летит радужной пылью. В тихий солнечный день кажется, что сверкающая бриллиантовая струна, натянутая от земли до неба, заливает долину грохотом и гудом: снег и солнце!..

В пышной раме озеро Хан-Алтай. Нет счета его оттенкам: у берегов — бурое от ленты водорослей, на глубинах — зеленое, как малахит, у песчаных кос — в прибой — бело-кремовая зыбь волны, как чайки над гнездовьем.

А солнечные пятна, яблоками рассыпавшиеся по утрам! А лунная дорожка, убегающая в бесконечность, ночью!.. В тихие розовые закаты кажется, что Хан-Алтай налит горячей кровью. А как загудит, как потемнеет озеро в бурю!

Алеша и Никодим стояли на хребте и смотрели на повитое вечерними дымками село, на серые и лимонно-желтые заплаты тесовых крыш, на огненную луковицу раскольничьей единоверческой церкви, на водопад, на озеро, на горы...

— Предложение твое поехать в город Москву, где живет товарищ Ленин, я обмозговал со всех сторон,— вдруг

заговорил Никодим, глядя Алеше прямо в зрачки.— И на командира учиться... И чтоб много знать... для больших дел...— От волнения у Никодима перехватило голос.— И родители мои не против... Спасибо за твою душевность... Но, Алеша...— Никодим обвел глазами деревню, водопад, горы и со страшной, совсем не детской тоской в голосе тихо выговорил: — все это уж так жалко, так жалко...— Никодим закашлялся и отвернулся от Алеши, чтобы утереть хлынувшие из глаз слезы.

Повернулся он к Алеше уже с сухими глазами и совсем другим голосом, в котором дрожали даже как будто злобные нотки, снова заговорил:

— Нет в мире лучше этих мест. И никакая твоя Москва супроть нашей деревни, супроть тайги и озера не устоит... Вросло все это в сердце мое... Умереть легче, чем бросить... Родился я здесь...— Несвойственная Никодиму растерянность и даже беспомощность детская написаны были на его лице.

Алеша, взволнованный первыми же словами Никодима, всем своим существом чувствовал, что сейчас во что бы то ни стало, так же как в бою в опасную минуту, надо помочь другу. Ободрить его, влить уверенность в необходимости принятого решения и облегчить боль разлуки с родными местами, с родителями и даже с медвежонком Бобошкой, о котором Никодим из гордости умолчал.

Алеша горячо заговорил:

— Никушка! С пестуном мы не расстанемся. Мы его тоже увезем с собой и поместим в зоосад: там ему будет хорошо. И каждое воскресенье будем ходить к нему. Это дело твердо решенное,— сказал он и потрепал медведя по загривку.

Потом, собираясь сказать о самом главном и волнующем, он тоже задумался, как бы вслушиваясь в самое сокровенное души, как бы заглядывая в свое сердце.

— Ника, я понимаю тебя. Мы любим нашу родину, как дети мать, а родина моя, ты знаешь, Москва. И вот скажу тебе, Ника, любимый друг мой...— Алеша выпрямился и взглянул на гору сверкающими глазами.— Моя родина — и эти горы, и прекрасная твоя деревня, и тысячи таких же деревень необъятно огромной, величественной, как океан, России.

Из чего слагается любовь к своей родине? — в раз-

думье спросил он себя.— Мне трудно, пожалуй, даже невозможно ответить так, чтоб и себе и тебе стало ясно.

На восторженное лицо Алеши тоже набежала тень растерянности и детской робости перед чем-то огромным и до святости дорогим.

Как ему хотелось в этот миг отыскать какие-то огненные, негасимо сияющие слова, чтоб высказать чувства, клокотавшие в его сердце!

— Нет, Ника! Я не могу выразить тебе это сейчас простыми, обыкновенными словами...

Алеша подвинулся к Никодиму и заглянул ему в глаза. Все эти дни он собирался сказать другу, что начал писать стихи, и не решался. Теперь же разговор этот был очень кстати.

— В Монголии, тоскуя о тебе, об отце, о России, я много думал обо всем, что собираюсь сказать тебе сейчас. Размышления свои, как стихи,— Алеша почему-то стыдился сознаться Никодиму, что он начал писать стихи,— я целыми днями выборматывал, качаясь в седле. Слушай!

Ему очень хотелось прочесть свое первое стихотворение, посвященное Родине.

Начал Алеша путано и несмело:

— Родина — это вечер... Да, да, вечер... Вот такой, как сейчас, тихий, теплый...

Кудрявые холмы, где гудит, словно колокол, сосновый бор...

Серебро прикаспийских ковыльных степей...

Зыбкие нивы Украины, и в них, как звенящие струны, золотые колосья зрелых хлебов...

Сверкающий, как бриллиант, Кавказ!

Прекрасно-нежная, как ее женщины, Грузия.

Это голубые льды и пустыни в радужных сполохах морозного Севера, где проносятся лыжи охотника, свистя по снегам...

Широкая река в зеленых берегах с ко́ловертью глубоких омутов.

Дальние голоса... Проголосные русские песни...

Каменные кружева на зубчатых стенах и башнях Кремля...

Ленин — надежда, лучезарная звезда мира,— работающий в Кремле...

Русские писатели-великаны...

Азиатски яркие, как шары колючего цветка татарника, купола Василия Блаженного...

Это огромный народ-ребенок, с широким, умным, безмерно выносливым и ласковым сердцем. Народ, не раз спасавший Европу.

Родина! Веет от этого слова и первыми впечатлениями бытия: розовым ранним утром жизни...

Росой на цветах и травах...

И соловьиным пением...

И материнской улыбкой...

И дорогими могилами предков наших...

Родина!.. Нет! Я не могу, Ника... Чувствую, что слова мои... что бессилен я, как глухонемой, выразить то, чем полна душа моя... Но, Никушка, это и неважно. А важно, что мы любим ее.

Сколько битв еще впереди за тебя, любимая моя страна! Но сколько бы ни было их, сердце мое на всю жизнь безраздельно принадлежит тебе.

Никодим слушал разгорячившегося Алешу и смотрел задумчиво на родное село.

Алеша схватил Никодима за плечи и с глазами, горевшими возбуждением, сказал:

— Никушка! Знаю, чувствую, что и тяжело и жутко. Но я верю в тебя. Есть мудрая восточная поговорка: «Дорогу осилит идущий».

Село Иртышск — Москва, 1940—1945 гг.

СТРАСТЬ
книга рассказов



Мать

Мать — святое слово. Голос матери звучит в моих ушах. Ее глаза — живут и до могилы будут жить в моих глазах.

Помню зимние семейные вечера. Уездный алтайский городок наш вьюжными зимами заносило так, что идущие по улицам нередко видели крыши домишек у своих ног, а во двор въезжали по захрясшим сугробам стекольчатого снега, как через стены крепостных валов.

— Зимы у нас — первый сорт. Снегу — по уши. Морозы — искры из глаз. А уж ночи длинны!.. Спишь, спишь — бока распухнут,— шутили устькаменогорцы.

И все же я любил эти бесконечно длинные зимние вечера, которые многие считают вечерами «зимней тоски». Любил за какое-то задушевно-тесное общение всей нашей многочисленной семьи: летом мы обычно разлетались по полям, горам, лесам.

Кто и что было главным на этих семейных вечерах?

Мать и книги, которые я приносил из школьной библиотеки в холщовой сумке, сшитой ее руками.

Лишь только отужинали и управились с немудрым хозяйством, отец зажигал висячую лампу и становился к столярному верстаку — «вечеровать» — готовить «фрамуги», «филёнки», вязать рамы и двери, а мать, устроившись на излюбленном месте у печки, бралась или за починку наших рубах, или за вязанье варежек. Я доставал книгу — и начиналось восхитительное путешествие по неведомым странам, знакомство с неведомыми людьми, страшными и занимательными историями и приключениями.

Но всякий раз, когда в тексте повествования я, читавший вслух неграмотной своей родительнице, встречался с описанием весны и оживающей природы, мать просила меня повторить прочитанное:

— Смальства́ весну-матушку обожаю! Девчонкой на бога пеняла: «Ну, почему всё морозы да морозы, а без-

домному, нищему человеку, разной птичьей, зверушечьей мелкоте и голод, и холод, и смерть неминучая...»

Про царей, про храбрых принцев разных, с любовью и страданьями ихними,— я так думаю, выдумки много: какие там страдания у подобных богатеев могут быть? Слушаешь, слушаешь — только уши мозолишь, а вот тут одна чистая правда: погорячело солнышко — оттаяла земелька, травка пробрызнула и каждый голяк-нищеброд, крохотуля-пичуга, зверюшки голодные наелись, возликовали... Уж на что огород мой, а как задымятся, запаруют грядки, как проклюнутся на черемухе первые листочки, а на скворешне скворец зальется — в избу уходить не хочется...

Люблю про землю, про птиц, про всякую зверятину. Перечитай еще разок, сынок.

Я перечитывал, а она слушала с неослабным вниманием.

Младшие мои брателки и сеструшки давно уже спали. В этой же комнате на полу мать раскинула им войлочную кошму, бросила каждому в изголовье по подушке, накрыла всех пестрым стеганым одеялом и, перекрестив, строго сказала:

— Спите со Христом. Да не шебаршите, не мешайте слушать.

«По́котом», тесно прижавшись один к другому, они какое-то время перешептывались между собой, но под шуршание стружек от отцовского фуганка, под звуки моего голоса вскоре затихали. И только то один, то другой что-то бормотал во сне.

Мать на мгновение окидывала их счастливыми глазами, и снова вся со мной, с книжкой, вся — пристальное внимание. И такая тихая, за долгие годы выстраданная радость на милом ее лице в эти вечерние часы: столько переделано ею за день. И вот он, благостный отдых в кругу семьи...

Как-то моя вторая мать — незабвенная учительница Елизавета Петровна,— подметившая у меня страсть к книгам про птиц и зверей, дала мне томик зоологических очерков и рассказов натуралиста Богданова «Из жизни русской природы» с иллюстрациями талантливого живописца Шпехта. Как жадно читали и рассматривали его мы! Какой это был праздник и для меня и для нее!

Мать родилась в сибирской деревне. Долгая тоскли-

вая зима в переполненной народом, телятами и поросятами душной избе с детства заронила у нее любовь к весне. Породила жажду первой заметить, почувствовать хотя бы отдаленные ее признаки, изощрила ее слух и глаз слышать и видеть то, что не видят, не слышат другие. С детства большой неразлюбимой жáлью и радостью стали для нее родные леса, поля и все живое в них.

Какое-то дочерне-родственное отношение к природе жило во всем душевном строе этой неграмотной русской крестьянки. Порою мне казалось, что природа и моя мать выросли из одного корня: так по-своему она понимала и любила ее.

В садике у родительского дома росли несколько березок, раскидистый серебристый тополь и густой могучий куст черемухи. Я не раз слышал, как мать (при ее-то занятости с такой семьищей) в летнюю засуху вместе со мною «поила» их и тихонько разговаривала с ними.

Однажды я спросил ее:

— О чем это ты перешептывалась с черемухой?

Мать смутилась. Лицо ее раскраснелось, даже уши порозовели.

— Это я так... Когда еще девушкой была — вспомнила. Ну и попеняла засадихе, что она подвела меня...

— Какой засадихе, мама?

— Да черемухе, а то кому же?

Я удивленно уставился на нее.

— Хваченная морозом — она сладкая, точно медом облитая, а в августе — горлодер-засадиха...

В ясном, всегда спокойном лице, в голосе матери было все то же необычное для нее смущение.

— Я пожадничала, а она и засадила мне горло: голос-то у меня и пропал — сиплю только... А в тот вечер, на полянке, мы с подружками песни играть должны были. Краснопевкой слыла я. Отец твой тогда еще молодой, безусый, с другого конца прибегал послушать меня... А я — вовзят осипела...

Синие теплые глаза, распылавшееся лицо матери показались мне какими-то особенно прекрасными. Она помолчала и продолжила:

— Вот я и попеняла засадихе...

— Мама, да разве деревья понимают?..

— Я думаю, что понимают, если ты из самой души. Это мы только не понимаем их...

Меня удивила наивная убежденность матери. А она стояла задумавшись. И все то же, какое-то необычное выражение лучистой радости струилось из глубины помолодевших, сияющих ее глаз.

— Как же бесчувственны?! Они даже переговариваются между собой. И нам, беспонятным, про многое по-своему рассказывают...

Выговорив еще более поразившие меня слова, мать снова смолкла, задумалась, очевидно не зная, как объяснить мне, несмышленышу, то, что ей до очевидности было ясно.

— Люблю я в лес по грибы, по ягоды ходить. И не раз на себе это испытала,— не спеша, негромко, словно прислушиваясь к тому, что говорит, продолжала она.— Так вот, когда они чуть покачивают верхушками и лопочут-лопочут как бы промеж себя, тут-то ты и проникнись, всей душой проникнись...— Она силилась передать мне чувства, волновавшие ее, и не могла, и снова помолчала, подумала да, так и не найдя подходящих слов, сбивчиво закончила: — Слушаю, слушаю я их, сынок, и мне явственно кажется, что я еще только-только начинаю жить. И что буду жить вечно. И что впереди у меня одно хорошее. И об этом они и нашептывают мне, беспонятной. А я вся сожмусь и молчу: в лесу я не могу даже громко разговаривать, не только что кричать, и как-то сладко, щекотно тогда у меня на сердце!..

* * *

...Соловей зимы — синица: «Нам в мае соловейко дорог — мила синица в декабре».

Кажется, что́ можно уловить в несложной трехколенной песенке синицы!.. Но мать отлично разбиралась в оттенках их голосов.

— Слушай! Слушай! Звенит по-весеннему...— с обрадованным лицом шептала она мне, указывая на пичугу, весело кувыркающуюся на заиндевевшей ветке, как на трапеции.

Тинь-тень-тинь — хрустально-ломко, словно по серебряной струнке, все ударяла и ударяла синица.

— Ожила — манит... Слушай — вот-вот мужичок отзовется,— с тем же радостно-осиянным лицом продолжала мать.

И действительно, с черемух соседнего огорода откликался самец. И теперь звенели уже две серебряные струны.

Помню, пришла раз она со двора и с тоской в голосе сказала:

— До весны, Алешенька, видать, еще семь верст — синицы нахохлились — тенькают совсем по-зимнему...

Мне казалась, что и сама она, как синица, то радуется первому проблеску весны и голос ее звенит, лицо лучится, а то задумается, нахохлится, как эта крохотная пичуга в февральскую пургу.

В такие минуты мне всегда хотелось приласкаться к матери, чтоб она перестала думать и хмуриться.

— Смотри! Смотри! Воробьи схватились драться на крыше. А уж это завсегда верный признак...— И снова лазурно-синие ее глаза засветились, как у молоденькой счастливой девушки. В такие минуты мне она всегда представлялась именно «краснопевкой», веселой хохотушкой, как рассказывала о ней бабка Надежда Петровна: «В меня она издалась, внучек, — с гордостью говорила она,— я все сказки складывала и песни пела...»

Мне казалось, что никто так безотчетно-полно не умел радоваться общению с природой, как эта неграмотная потомственная крестьянка.

Как-то ранней весной отец взял ее и меня на пашню, где он собирался засеять уже вспаханную десятину пшеницей. На меже он распряг лошадь и пустил на попас. Из блеклой прошлогодней травы, из-под самых ног отца, взлетел жаворонок и, трепеща крылышками, точно по незримым ступеням, поднялся в голубую высь. Отец, кажется, и не заметил жаворонка. Но мать!..

— Смотри! Смотри, Алеша! Чуть покрупней воробья, а большекрылый. Потому и трепетун неустанный.

После ее слов я тоже отметил, что действительно у жаворонка крылья, в сравнении с туловищем, и длинны, и широки. И тогда же подивился ее зоркости.

Много времени прошло с тех пор, но и сейчас я вижу поднятое ее лицо, ее глаза, всю ее восторженно-напря-

женную фигуру, когда она слушала переливчато-хрустальное урчание, несшееся из поднебесья, которому, казалось, не будет конца.

Солнце заливало голые, дымившиеся парком поля, а мать все стояла и слушала. Возможно, она уже и не видела штопором ввинтившегося в беспредельную высь певца, а только слышала радостный его голосок, чувствовала ту же радость в своем сердце. И впитывала, впитывала в себя все сразу — вместе с жаворонком, ликующим в поднебесье, с ожившей, парующей под весенним солнцем землей.

А сколько нужды и горя выпало на долю матери, потерявшей семерых взрослых детей!

И все же глаза ее оставались незамутненными до глубокой старости, свидетельствующими о душевной ясности, лицо свежим, свободным от морщин. Способность радоваться, чутко улавливать красоту родной земли дарована далеко не всем людям: «Дурак и радость обратит в горе, разумный — и в горе утешится»,— говорила она.

Лицо матери, как подсолнечник к солнцу, всегда было обращено к радости, к деянию добра. Все хотелось ей накормить голодного и не только постучавшегося нищего, но и случайно зашедшего малознакомого человека, угостить, утешить в беде. Чувство это особенно обострялось у ней в дни слякотного осеннего ненастья и зимней непогоды:

— Не дай бог кто сейчас в пути-дороге! Спаси их мать пресвятая богородица! У нас и печь горячая, и крыша над головой, а там!..

А по субботам, когда она еженедельно топила баню,— обогреть, обмыть: «Алешенька, добеги до Жаздричихи, до Горошихи,— пускай побанятся. И пару и воды горячей с залишком: не пропадать же добру...»

Я был убежден, что мать обладала особым талантом доброты и обостренным ощущением природы, которые она все время бессознательно пыталась привить нам, детям. И сам я также жадно начинал смотреть на дерущихся воробьев, слушать писк синиц, с волнением ждать первой капели с крыш. Каждый «воробьиный шажок»

весны торжествовался, как победа. Слова матери глубоко западали в память, трогали какие-то незримые струны детской души, рождали в ней томительные и сладкие чувства, оберегали нас от тысячи тысяч пагубных соблазнов, бились в наших сердцах неиссякаемым подспудным родником.

— Немало людей, дети, живут злобой, корыстью, завистью. Не радуются ни весне, ни птичьему звону, и оттого глаза у них мутные, тусклые. Слепцы они, а с слепого какой же спрос?

А как сделать, чтоб всем жить было радостно, она не знала. И видела источник радости в окружающей ее природе. Любовь к природе, радостное любование ею было заложено в ней от рождения, как в певчей птице, радующейся весне, солнцу. Мать не представляла иной силы, способной так чудодейственно окрылять человеческую душу, и поражалась, как другие не понимают этого. И потому прививала нам, детям, эту целительно-животворную любовь.

Она, безусловно, никогда не задумывалась и не могла задумываться над вопросами: «Что такое охота? атавистический ли этот предрассудок или феодальный пережиток». Ни о том, что охота и рыбалка — некая благодатная сила, таящая в себе очарование молодости, душевной свежести, сила, какими-то корнями «уходящая в область искусства и науки». Но стоило кому-нибудь из нас заболеть расстройством ли желудка или даже захрипеть, закашлять — она тотчас же прогоняла нас на рыбалку или на охоту:

— Пробегаешься, в азарте — семь раз пропотеешь, птичьего свиста наслушаешься, вольным воздухом надышишься, ухи из свежей рыбки, польско́й каши в охоту поешь — и всю твою хворь как рукой сымет. Бабка ваша и сама рыбалкой лечилась, и нас тому же учила...

Система воспитания. Ее, конечно, не было в нашей простой «мужицкой» — многодетной семье. Но то, что ее не было, может быть, и была самая лучшая система. Шести-семилетние ребята полностью поручались природе и самим себе: нас некому было «водить за ручку». За нами не следили ни зимой, ни летом. И ни один из нас не замерз, не утонул, даже не простудился, а сразу же начинал плавать, как брошенный в воду утенок.

С детства нам были ведомы строгие расчеты родителей, как на заработанный за столярным верстаком целковый прокормить столько ртов, а на скопленную к пасхе четвертную — одеть всех в новые рубахи и платьица. И непременно всем детям, чтоб никому не обидно было.

— Ну вот, отец, слава богу, и опять не хуже добрых людей обтянули пузыньки ребятенкам,— отирая взволнованные, полные радостного сияния глаза, ликовала мать.

Отец, по обыкновению, молчал, но по улыбке, скользнувшей у него где-то под усами, и мать и мы, дети, отлично чувствовали, что он тоже и горд и счастлив.

— Лиха беда перезимовать было. Теперь что, теперь у каждого воробья — пиво: скоро огурец, картошка-моркошка пойдут. Да и вон их сколько у тебя помощников: где рыбешку, утчонку, ягоденок притащут...

Счастливая мать еще долго не могла успокоиться.

С весны мы привыкли жить самостоятельно на берегу реки, в поле, в горах, с утра до вечера кормясь сладковатым кандыком, терпким диким луком, ягодами, наловленной рыбой, убитой птицей. Но большую часть добычи мы непременно приносили домой.

Если верить тому, что бедность — лучший учитель, то в учителях у нас недостатка не было.

В пятнадцать лет, стремясь как можно быстрее встать на собственные ноги и помогать родителям, по окончании Усть-Каменогорского городского училища, я решил самостоятельно — экстерном — в один год подготовиться к экзамену за учительскую семинарию. В пылу усердия я дошел до полного изнеможения. Мать пришла к отцу:

— Лежит, что мертвый, не ест, не спит, так, гляди, и ноги протянуть может. Надо его во что бы то ни стало оторвать от книжек и выпроводить на охоту, на рыбалку. Одним словом, из городу. И вот — отруби мне голову по самые плечи — вернется здоровым-здоровешеньким.

Отец улыбнулся: он знал, что все болезни своих детей, начиная от расстройства желудка и головной боли до удушающего кашля, она лечила единственным средством, в силу которого верила свято: «Уж на что собака, а как прихватит ее какая хворь, из конуры — сразу же в поле — ищет пользительную траву, через три-четыре дня здоровей здоровой явится...»

Как и бабка моя — сказочница Надежда Петровна, как мать бабкиной матери — она лечилась и лечила своих детей только травами и природой: «Не раз на самой себе испытала: совсем раскисну, расхвораюсь в городу, на пашню выеду — обо всем позабуду, разомкнусь, разломаюсь, пригорелой польско́й кашки поем, пользительной травки пожую — как рукой сымет... Если бы я была мужик, я бы, кажется, ни одной ночи в доме не ночевала: на пашне и сон другой, словно в раю...»

И это была правда: поле, работа на пашне встряхивали, взбадривали организм матери: уже при сборах на пашню, на покос, в горы по ягоды лицо ее сияло, когда она только еще усаживалась на телегу: «Умирать начну, вывезите в поле — оживу»,— смеялась она.

— Исправду, отец, хоть сердись, хоть не сердись, а я больше не могу терпеть. До основания обстрогался парень: не спит, не ест, а в горах сейчас весна разливанная. И кандык, и дикий лук — от семи недуг, и репка, и кислица, и ревень... Да что там — одного вольного воздуха напьется — уснет, как убитый.

Отец знал, что мать не отступит от принятого решения:

— Испыток не убыток, попробуй уговори его,— сказал он.

— Да его и уговаривать не придется. А что до экзаменов месяц остается — так если ему сейчас денька три-четыре не отдохнуть, он и пера в руке не удержит...

На том и порешили.

К вечеру я уже был в горах, где вовсю колдовала алтайская весна.

* * *

Природа, весна — неиссякаемый источник вдохновения. Нельзя хотя бы приблизительно подсчитать количество страниц, строк в мировой литературе, посвященных им.

Времена года. Каких только эпитетов, красок не придумано певцами, чтоб передать чувства, взволновавшие их сердца в описаниях благословенного щедрого лета, дождливой печальной осени, морозной снежной зимы!..

Но весна — самое отдаленное ее дыхание, первая, еле различимая дымка над оживающими лесами — затме-

вает сочный темно-зеленый, почти лаковый блеск лета, золотые и багряные краски осени, пышную, песцово-снежную просинь зимы.

Она прекрасна в городе, в пустыне, в тундре. Весна в южноалтайской горной тайге — не сравнима ни с чем.

Я проснулся до зари. Костер уже потух, и даже угли подернулись ртутными капельками росы.

К утру натянуло дождя. Высокие, легкие с вечера облака за ночь огрузли, слились в сплошную свинцовую глыбу, и они словно придавили спины гор.

Было тепло и тихо.

Переплеск Крутой речки, казалось, только еще глубже оттенял предрассветную тишину ночи. И вдруг эту глухую сонь взорвало пронзительное чиржиканье потревоженной кем-то куропатки. Истерический вскрик ее вызвал многоголосое эхо в ущелье.

С неба не падал, не сеялся, а словно туманом оседал дождь такой бусовой [1] мелкости, что отдельных пылинок его ощутить было невозможно, а запрокинутое мое лицо и куртка стали уже совсем влажными. Словно разбуженные куропаткой, азартно, в блаженном пьяном безумии всемогущего токования забормотали тетерева.

На галечной отмели спросонья, негромко, как ребята в ночном, пересвистнулись кулички-перевозчики.

Я уже окончательно проснулся. И хотя усталое мое тело после горного перехода еще властно требовало отдыха, но спать я уже не мог: встреча с весенним рассветом, с птицами прогнали сон. Да и рассвет был уже совсем близок. Низкие свинцовые тучи, источавшие не то сырой туман, не то пылевидный дождичек, все поднимались и поднимались. В сплошном их пологе образовались зеленые окна. Просветы заметно увеличивались, из зеленых делались голубыми. Светлело все больше и больше. Смена в небе меняла и лик земли. Бесформенно-глыбистые громады хребтов, точно вычерченные углем, четко проступили исполинскими петушиными гребнями.

Глубокая темная падь в вершине Крутой речки, словно под ударами смелой широкой кисти художника, заиграла глянцевой синевой щетинистых елей, голубоватых осин, сахарной белизной берез.

От первых усиков солнца окрайки облаков порозове-

[1] Бус — мучная пыль из-под жернова.

ли. И тотчас же порозовели и петушиные гребни хребтов, и атласистые бока берез.

Даже холодный обломок скалы, преградивший путь речке, с первыми лучами солнца, казалось, ожил закурчавившимися лишаями на мертвом его граните. Птичьи хоры теперь уже загремели восторженно. Набухающая весенними соками земля, ожившие кустарники, желтые, пушистые, подобные гусенятам, сережки ивы запахли острее.

Я слушал пение птиц, вдыхал запахи земли, смотрел на запылавшие огнем табуны облаков, и опьяненная моя душа словно бы тоже взмыла к подоблачным высотам. Я ощущал себя частью природы — птицей, потерявшей рассудок от весеннего хмеля. Так же, как и моей матери, мне казалось сейчас, что и сам я, и эти окружающие меня деревья будем жить вечно. Вечно будет звенеть на перекатах Крутая речка, а по утрам — полыхать огнем и облака в небе, и петушиные гребни гор.

И что радость ощущения бесконечности своей жизни, испытываемой матерью в лесу, которую она не смогла выразить тогда, очевидно, рождается от невольного сравнения малого срока человеческой жизни и того неколебимого спокойствия вечности, которым веет всегда от лесов и гор...

Чего только не написал я в свою записную книжку в весеннем этом хмелю! Готовясь к экзаменам за семинарию, я ежедневно писал сочинения на различные темы: тренировал стиль.

«Весна на Крутой речке» — посвящается матери — озаглавил я свои круторечeнские записки.

И когда писал, думал о матери, боялся хотя бы на йоту погрешить против правды: «Стану читать — она почувствует фальшь, покраснеет, опустит глаза»...

Мне казалось, что я и сотой доли не передал того, что творилось вокруг и что чувствовал я в своей душе.

«Мысль изреченная есть ложь» — вспомнилась мне чья-то фраза.

...Так и не прочел я матери написанное мною на Крутой речке — не решился: «Солгать той, которая вскормила тебя грудью своей, научила понимать природу и любить родную землю так, что, если наступит час,— готов насмерть биться за нее, как за родную мать!

Как же нужно написать, чтоб это было достойно и матери и весны?!»

Матюша

Талантливый, искренний до последнего слова автобиографический рассказ-быль «Феноген Семенович», написанный почти сто лет тому назад забытым сейчас Ф. А. Свечиным о его первом учителе в сложном увлекательном деле охоты, напомнил мне ничем не похожего на него человека, но также много повлиявшего на формирование моего характера,— Матвея Матвеевича Коноплева. Прочтя его, я уже не мог избавиться от воспоминаний о той же юношеской своей поре, поре первых охотничьих шагов, протекавших и в иное время, и в совершенно иных условиях: такова сила подлинного искусства — воскрешать в душах людей давно забытые воспоминания.

Прочел и, перенесясь в ту же пору своей жизни, с волнением ворошу в памяти дорогие мне лица людей, события, как зачарованный не могу оторваться от них.

Вот она — жалкая пашенная, сложенная из грубого саманного кирпича избушка с одним окошком, с исстрелянной дробью дверью. Рядом с избушкой — многоверстный, заросший черемушником, хмелем и непродорным ежевичником глубокий овраг с крутыми глинистыми берегами, на дне которого плещется, шумит ручей с прозрачной ледяной водой.

В тенистых, изобильных птичьим кормом кущах оврага испокон веков гнездились соловьи. «Соловьиный яр»— любовно звал свой овраг Матвей Матвеич.

Коноплевская пашенная избушка, с которой связано столько незабываемых воспоминаний охотничьей моей юности, и хозяин ее видятся мне не только как уютное и радушное пристанище от весенней и осенней непогоды во время выездов, вначале «в ночное», позже — на охоты, а как школа любви и понимания окружающего нас мира природы и первых юношеских раздумий о жизни.

Как сейчас вижу узкое, медно-красное от загара, точно у индейца, лицо, каштановые, чуть вьющиеся волосы, высокий гладкий лоб, под темными густыми бровями пытливые серые, широко расставленные глаза, строго очерченный энергичный рот Матюши.

Мне тогда было только тринадцать лет, а ему двадцать один. Он уже был женат, я же еще бегал в приходскую школу, но и тогда нас уже связывала крепкая дружба: охота сравнивает лета, звания и даже состояния.

Как всегда в субботу, «после па́ужна», сунув за пазуху узелок с куском хлеба и парой запеченных вкрутую яиц, вскочив на сытого Гнедчика, я спешил «в ночное» к своему другу.

В субботу с пашен в город навстречу мне ехали мыться в банях, отдыхать усть-каменогорские «безземельные пахари», но Матюша и в воскресенье оставался на пашне: он ждал меня.

Вот и спуск в крутой Соловьиный яр. Еще издали Матюша заметил меня и что-то нетерпеливо кричал, махал руками.

Я подстегнул Гнедчика и на маха́х вылетел на яр.

Подбористый, статный, перетянутый в талии поясом, в выгоревшей от солнца одежде, в порыжелых полуболотных сапогах, с радостно улыбающимися глазами — он мне всегда казался воплощением мужской красоты, охотничьей ловкости и какой-то детски-восторженной чуткости к окружающему миру природы.

Беззаветную преданность и преклонение вызывала у меня и кипучая, какая-то, как казалось мне, веселая энергия Матюши: он ни минуты не оставался без дела. И даже самую трудную работу, такую, как косьба вручную, мётка стогов в летнюю жару, копка ям для яблонек и вишен, выполнял словно бы играючи.

За годы нашей многолетней неразливной дружбы я не видел Матюшу озлобленным, удрученно-расстроенным. Какие бы глубокие раны ни наносила ему жизнь, он не терял высокого романтического настроя своей души.

— Как хорошо, Фимушка, что не опоздал. Путай Гнедчика и пойдем. Вечер-то какой, теплынь! Вот-вот начнет! — поспешно выговорил Матюша. Съерзнув с коня, я быстро спутал его, сбросил узду, и мы, спустившись в яр, направились в тайничок.

Бесшумно скользя, осторожно раздвигая цветущие черемухи, Матюша изредка оглядывался на меня, и в расширенных глазах его были все то же восторженное ожидание предстоящего наслаждения и счастье, что эту радость вместе с ним разделю и я — его верный молодой друг.

Пришли. Засели в гуще терпко пахнущего черемушника.

Тихо. Ни шороха, ни звука. Только у самых ног немолчно, бойко лепечет шустрый ручей. А синяя майская ночь все близилась, все укутывала кустарники шелковым покрывалом. Я уже не видел лица Матюши и только ощущал его дыхание, слышал приближенный к самому моему уху шепот: «Что-то запаздывает, но нишкни,— вот-вот ударит!..» Мне даже показалось, что Матюша дрожит от нетерпеливого ожидания, и оттого я тоже начал дрожать.

Заря, дотлев, погасла. Одолевая синеву ночи, чеканно серебря купы черемух, медленно-медленно выплывала луна. Беззвучье ночи стало еще ощутимей, торжественней. Казалось, переплеск ручья и тот замер в том же напряженном ожидании, как замирает огромный зал в ожидании первых звуков голоса на весь мир прославленного певца.

И он грянул!

Матюша схватил меня за плечи и не сказал, а радостно выдохнул: «Он! Я все боялся — могли поймать, мог умереть. Теперь замри и слушай!..»

И мы, забыв обо всем на свете, слушали звонкоголосую душу властелина майской ночи. Слушали, покуда не изнемог смолкший от неистовой любовной страсти певец.

Сколько времени прошло, ни Матюша, ни я не представляли. Большая, круглая луна уже выкатилась полностью, уже плыла по безбрежному простору неба. Теперь она так щедро лила на землю свой далекий голубой свет, что не только листья черемух, сказочно ожемчуженный ручей, но даже и лицо Матюши поголубело. А мы всё сидели, всё ждали. И даже когда уже смолк этот диковинно-редкий, как говорил о нем знаток соловьиного пения Матюша, «один на всю округу богоподобный певун», нам казалось, что все еще раскатисто гремят его до ключевой прозрачности отработанные многочисленные колена на весь яр и что не только каждое из них, но и каждый

отдельный звук его глубоко уходит в притихшую зачарованную землю.

Наконец Матюша поднялся. Поднялся и я. Но и поднявшись, мы долго молчали. Вдруг Матюша склонился к моему уху и сказал: «Еще раз послушать такого и умереть!» На глазах его блестели слезы...

В избушке Матюша засветил висевшую над столом лампу. От той же спички разжег плиту, поставил на нее прокопченный чугунок с очищенным картофелем на «охотничью кашу» и чайник для «охотничьего чая». Потом постелил на нары кошму, положил в изголовья по подушке и только тогда присел на скамью. Все это он проделал не спеша, как-то по-своему — обстоятельно, домовито. Мне нравилось наблюдать, как Матюша готовит ужин, колдуя деревянной толкушкой в чугуне, то добавляя в кашу сметаны, то сливочного масла.

От каши на всю избушку валил раздражающе-аппетитный пар, а он все колдовал и колдовал над ней. Так же тщательно и тоже по-своему он заварил до смоляной крепости «охотничий чай». Дав упреть заварке, влил в чайник топленого молока и тоже, сдобрив сливочным маслом, снова довел кипяток до требуемого градуса. Зато это были и каша и чай! Мне казалось, что никто, кроме Матюши, не сумеет приготовить столь вкусно ни «охотничью кашу», ни «охотничий чай».

В нерушимом молчании мы поужинали и, потушив лампу, бок к боку, легли на нары. Не спали. Я знал, что Матюша обязательно заговорит. И он, действительно, заговорил:

— Я этой, соловьиной-то ночи и три года вот как ждал! Понимаешь, Фимша, в тюрьме, в ссылке тосковал по своему соловью. Один он с такой бесподобной «лешевой дудкой», с гусачком, с кукушкиным перелетом, с дроздовым на́криком...

Ведь и соловьи, как люди,— один трескун бездушный — пустозвон, другой — пронзительный сладкозвучец... А такой, как этот,— один из тысячи! Для меня он, как одна-единственная в мире женщина, которую любишь, краше которой не было и нет.

Загнездился он здесь еще за два года до моей ссылки. И я гнездо его содержал в великой тайности. А чтоб поймать! Да разве возможно такого редкача в клетке морить?! Это все равно что Пушкина бы или Шаляпина

да в тюрягу упрятать!.. Соловей такой отменной страсти обязательно гордяк. Да еще, если его от гнезда, от соловьихи словить — умрет с тоски!

Матюша замолк. Я тоже ни одним словом не отозвался: знал, что не любит он, когда прерывают его. И действительно, Матюша вскорости снова заговорил:

— И ведь это поразительно, во всех коленах — кристалл! Ни единой помарки. А другому он что есть, что нет. Которому даже спать мешает. Глухие и слепые к подобной красоте — немтыри, что грибы-поганки. Ему, эдакому глухарю, разорить гнездо, выбрать запаренные утиные яйца, задушить подлетыша тетеревенка, срубить, сжечь, любое дерево — ни думушки, ни заботушки...

Я так думаю, что тот, кто не чувствует красоты вокруг, не любит родную землю и всего себя для одной собственной выгодности приспособил,— тот не имеет права жить...

И опять надолго замолк Матюша. Но в этом его молчании я чувствовал кипение его мыслей, накопленных им за годы тюрьмы и ссылки. И напряженно ждал, что он рано или поздно заговорит со мною об этой полосе своей жизни. И не ошибся.

— Говорят, тюрьма — вторая смерть. И сам я поначалу так же думал. А не поверишь, Фимушка, и в тюрьме и в ссылке я столько обо всем передумал, встретил таких людей, каких никогда бы не встретил и на воле в городишке нашем. И только в тюрьме по-настоящему понял, что такое свобода для человека, что такое природа для человека. Даже воробей за окном, какой-нибудь кустик жимолости, который до этого и не замечал никогда... Веришь ли, бывало, глухая ночь. В камере духота, вонь от спящих, от параши — не продохнешь, а я лежу на нарах и с закрытыми глазами ясно представляю себе каждый камень, каждую выбоину на дороге на нашу пашню, вот эту самую избушку, Шиловскую пойму и ранней весной, и поздней осенью. И ничего вокруг себя тюремного не вижу, не слышу, не чую. А наутро весь день с нетерпением жду ночи, чтоб снова остаться наедине с милыми местами. Вот она какова сила-то родной земли. Да как же, как не любить, не беречь ее!..

Я внимательно слушал его и все время силился представить себе жизнелюбивого Матюшу сидящим в тюрьме,— и не мог.

— Я так думаю, Фимша, что настанет же, верь мне, настанет время, когда люди поймут, что жить так, как живем мы сейчас промеж себя, в злобе, в зависти, а государства с государствами в вечных войнах,— нельзя.

Матюша приподнялся на нарах и убежденно, пророчески-страстно закончил:

— Верь, придет такое время!..

Когда придет и какое оно будет, это грядущее время, я, конечно, не представлял себе, но что оно придет и будет нисколько не похожим на теперешнее, как и Матюша, был убежден твердо.

Мы проговорили до рассвета. Вернее, говорил Матвей Коноплев, а я внимательно слушал его. Но этого было вполне достаточно и ему и мне.

Как же любил я эти дивные вечера и ночи, проводимые с Матюшей в его пашенной избушке! И как мог я не помянуть добрым словом одного из первых учителей своих, точно волшебным ключом отомкнувших мне дверь в окружающий мир природы, пробудивших первые раздумья о жизни?

Повторяю, на воспоминания о Матвее Коноплеве натолкнул меня талантливый рассказ Ф. А. Свечина «Феноген Семенович». И именно склонностью своего героя тоже рассуждать о жизни и даже о литературе. Только рассуждал Феноген Семенович о них не так, как Матвей Матвеич. И весь склад характера свечинского героя — полная противоположность моему Коноплеву. Очевидно, эти явные диссонансы в какой-то мере и послужили первопричиной моих воспоминаний о Матюше.

Феноген Семенович — самоуверен, хвастлив, склонен прилгнуть. Матвей Матвеич — скромен и на редкость правдив.

Инспектор городского училища — старик Григорий Евграфович Борзятников — умный, много повидавший на своем веку страстный охотник, у которого учился и я и Матвей Матвеич, много раз бывавший на охоте с нами обоими, добродушно улыбаясь, говорил о Матюше: «У него один порок — он всегда говорит правду. И я так думаю,— из гордости: солгать значит не возвысить, а унизить себя».

Герой Свечина чрезвычайно скуп — всю жизнь носил на шее неприкосновенным бумажник со скопленными

тысячью рублями, а у товарищей по охоте выклянчивал порох и дробь.

Матвей же Матвеич готов был снять с себя рубаху, разделить последний заряд.

Как и Матвей Матвеич, Феноген Семенович много читал, но из всех классиков признавал только Карамзина. Встретив в какой-либо книге яркую мысль, он непременно говорил: «Игра ума Карамзина!» Из Державина и Ломоносова кое-что знал даже наизусть, но остальных писателей за то, что они «все пустое писали», презирал, в особенности Пушкина и Тургенева. Пушкина — за то, что в «Кавказском пленнике» он все «неправду написал», так как он, Феноген, и «самого этого пленника, казака, знал, и жеребца, который весь был в клеймах, знал, и самую эту черкешенку знал, и вовсе она не утопилась, а казак увез ее на этом жеребце, подхватив под мышки, и жила она после в Туле, и знал он и ее, и была она просто распутная девка». Тургенева же не любил за то, «какой он был охотник, когда самого настоящего охотника (Ермолая), что богом стрельбы прозывался и которого он сам хорошо знавал и с ним охотился, не вправде, а в насмешке описал, и ничего у него в «Записках охотника» про самую охоту-то и нету, а так «дребедень разная написана».

«...Стракулисты, а не сочинители... Хоша Пушкин этот, вот Тургенев тоже, что про охоту взялся писать, да не написал. Господина Лермонтова сочинение что об дьяволе рогатом, нашел тоже об чем сочинять... пусто-та...

...Тоже вот надысь читали — Гогель — что ли, еще птица такая есть... из уток-то — то пустой, про души про какие-то про мертвые выдумал... и слушать-то скверно, вот что, господа милые...»

Матвей Матвеич до страсти любил литературу и не только много прочел, но и нам, мальчишкам-ночлежникам, в ночном слово в слово читал поэмы Пушкина, пересказывал рассказы Короленко и Горького, иной раз пристраивая к ним другие начала и концы. Особенно к «Вечерам на хуторе близ Диканьки». Причем, очевидно борясь с суевериями, после самых страшных рассказов о чертях, колдунах и ведьмах (рассказы о них Матюша обычно приноравливал к непроглядно черным ночам) одного из нас посылал в яр то за водой для «охотничь-

его чая», то за сметаной, хранившейся в холодном ручье,— для «охотничьей каши».

И боже ты мой, как же тряслись поджилки у посланца! Как не хотелось показать робости!..

Но не только контрастами главных персонажей пленил меня давно и совершенно несправедливо забытый талантливый Свечин, покорил он меня глубоким чувством русской природы, уменьем без подмалёвки, правильно и проникновенно, как пейзажи Саврасова, открывшие нам поэзию серменький мартовских дней, Левитана — очарование золотой осени, показать их не с чужих, ранее его кем-то написанных слов, а увиденных своими глазами и по-своему:

«...на горизонте показалась огромная туча. В белый свиток свертывалась она и сплошною черно-лиловою под нею полосою постепенно поднималась выше и выше. Изредка из нее отвесно падала молния, вдали глухо погромыхивало, и все, после продолжительной засухи, предвещало недоброе.

Спокойствие воздуха было поразительное. Ни один листик не шевелился. Отдельно, выше других стоявшее золотистое облако, освещенное еще лучами заходившего с другой стороны солнца, вспыхивало, отражая молнию, сверкающую в большой туче...» Или вот еще — короче: «Рассветало, костер потухал и слабо тлел, выделяя чуть заметный дымок, изредка, по серой, пепельной поверхности перебегали яркие искры, все спало кругом, только против освещенного зарею горизонта, на самой опушке леса, резко вырисовывался силуэт Феногена, обращенный к востоку. Губы его шептали молитву, и он набожно, медленно крестясь, клал поясные поклоны...»

И потухающий костер, выделявший чуть заметный дымок, и изредка по серой пепельной поверхности его пробегавшие яркие искры, и на фоне зари силуэт молящегося Феногена — мог увидеть только зоркий глаз подлинного художника.

Дважды перечитал я рассказ Ф. Свечина, и оба раза передо мною вставала незабвенная пора моей охотничьей юности, неразлучным спутником которой, как у Свечина Феноген Сменович, у меня был Матвей Матвеевич, преподававший мне уроки познания природы, развивший страсть к охоте, к отборному русскому слову, которое он так же любил, как охоту и родную природу,

— Понимаешь, Фимушка, хрушкое-то (весомое, крупное) слово, как соль ко щам, масло — к каше.

Резкий северный ветер, срывающий последние листья с деревьев, Матюша называл «сиверьян-листобой». Равнодушного, вялого человека, тупую, ленивую лошадь именовал одним выдуманным им презрительным словом «хлынь».

За долгую, в три четверти века, нелегкую мою жизнь, куда бы ни забрасывала меня судьбина — в сырые ли, вшивые окопы первой мировой войны, на суровые ли щетинистые темные уральские перевалы в злое лихолетье колчаковщины, в раскаленные ли пески Казахстана,— как райский оазис перед моими глазами вставал далекий зеленый Усть-Каменогорск. С расширенными глазами впивался я в до боли знакомые очертания родных гор, чутко ловил могучий басовито-рокочущий гул стремительных перекатов многоводного Иртыша и лихой, порожистой Ульбы.

В клубящейся ночной тишине мне слышались с детства памятные звуки пашенных птиц — отрывистый, придушенно-страстный бой перепелов, подобное скрипу напильника по железу немолчное дергание коростылей в лугах Шиловской поймы, близ пашенной коноплевской избушки.

Звуки эти не только чудились мне, но, кажется, они жили в моей крови, в мозгу, насквозь пронизывали душу. И неизменно, как по волшебству, перед глазами возникало медно-красное, загорелое лицо и самого хозяина избушки — Матвея Коноплева.

Глухая, черная, с секущим пронизывающим дождем октябрьская ночь одной из многих канувших в Лету суббот. Помывшись в бане, на коноплевских дрожках с впряженным в них большеголовым мерином Карькой, по раскисшей дороге мы не едем, а как бы плывем по грязи к пашенной избушке: завтра день открытия охоты по зайцам.

— Беляк взматерел и выцвел. В ярах рядом с избушкой, почитай чуть ли не на самых нарах. Сила — не перечесть! Натрапились на бахчу, в садик с яблоньками — отбою нет. Никакие чучела с трещотками не помогают. Не зайцы — башибузуки! И это осенью, а что будет зимой?!

Я слушаю и дрожмя дрожу не от холодного «листо-

боя» — от охотничьего азарта: «за всю свою жизнь» я не убил еще ни одного зайца. И хотя стрелял по ним не раз, но от расширения зрачков, как говорит мой учитель, пока что не в беляка, а в белый свет.

— Уж больно ты горяч, Ефимша, однако не унывай — на друга уповай — научу. Глаз у тебя соколиный, постреляем — ухладнокровишься. Выскочит. Прежде чем нажать гашетку, сосчитай до трех!..

Я клятвенно заверил Матюшу, что уж теперь-то я все, все понял.

Но вот миновали мы и опасный в темноте спуск к дырявому мостику в пойму и подъехали к избушке. А дождь все льет и льет. Мы распрягли и отпустили Карьку. Матюша открыл дверь, засветил лампу и растопил плиту.

Не знаю, спал ли я в эту ночь. Только заведу глаза — и пушистые зайцы-беляки, нагло ощерившись, с презрительно вздернутыми губками-раздвоешками, один за одним, издевательски неторопливо безнаказанно проскакивают мимо меня. Шомпольный дробовичок ходуном ходит в моих руках, а я, как ни силюсь унять дрожь, как ни жму на гашетку — не могу выстрелить. А «наглые башибузуки» все бегут и бегут...

Ночи не виделось конца. Я уже несколько раз выскакивал за дверь: не светает ли, не прекратился ли дождь, не стих ли ураганный ветер? Но на дворе все так же было темно, так же бесновались и дождь и ветер. «Господи, да неужто, неужто не стихнет?!» И снова к Матюше под тулуп. И вновь зайцы-беляки — один за другим... Все же под утро я, должно быть, заснул, потому что, когда вскочил с нар, у Матюши уже был согрет чайник.

— Одевайся и для продирону глаз выпей кружку крепкого чая!

Столько прошагало годов, прозвучало слов за это время, а я все слышу до мельчайших оттенков голос Матюши, помню каждое его слово, вижу каждое его движение. Но вот пил ли я чай или не пил, хоть меня убейте,— не помню!.. И не помню, как одевался. Зато отчетливо вижу, как Матюша, с какой-то одной ему свойственной грацией, закинув свою шомпольную двустволку за плечи, машинально поправил фуражку и вышагнул из избушки. Дождь и ветер, очевидно, вняв моим мольбам, стихли. В воздухе заметно похолодало. Из низко опустившихся свинцовых туч медленно, медленно, словно нехотя, на

примолкшую, усыпанную сорванными с кустарников листьями землю опускались первые хлопья снега...

И все же я убил зайца! Правда, убил, как говорится, не без некоторой посторонней помощи. Вот он — снежно-белый, пушистый, вытянувшись во весь рост, с черными глазами и кончиками ушей, с щетинистыми черными усами, на которых капельками запеклась кровца,— лежит передо мной на блеклой траве. Я поднял его за задние ноги.

Как бы сами, сильно, из глубины души не написались — вылились чьи-то, свои ли, чужие ли, вдохновенные слова: «В охоте, несомненно, тоже есть элемент сказочности, счастливый уголок и трогательный отблеск нашего детства, что-то от Синей или Жар-птицы, от Ивана-царевича на Сером волке, от Аленушки на бел-горючем камне, от заповедных кладов и огней Ивановой ночи... Без чувства поэзии, без ощущения сказочности природы нет ни охоты, ни охотника...»

До́роги, до́роги мне родные места, но думается, втройне до́роги и молодые мои годы жизни рядом с Матюшей, преподавшим мне немало в познании природы и не хищнической, а разумной охоты, нацеленной не на истребление, а сохранение и приумножение природных наших богатств. Сколько раз мысленно я возвращался к своему учителю, и отблеск тех дней горит у меня в глазах даже и сейчас.

Не забыть, какую пропарку задал мне Матюша, когда я, учась стрелять, «красиво срезал», как казалось мне, дятла, упоенно выстукивавшего барабанную дробь на старой сушине.

—Ну и как, ка-а-ак тебе не стыдно, Ефимчишка,— впервые уничижительно назвал меня он,— такого музыканта и в како-о-ое время убил!.. Живая природа — это тебе не тир, не амбарная дверь!.. Да знаешь ли ты, что испреполезнейший лесной лекарь сейчас даже не для пропитания работал, а, как соловей, любовную песню пел, чтобы покорить, привлечь на гнездовье самочку...

И Матюша рассказал мне, как самцы дятлы, соревнуясь в любовных турнирах, отыскивают, каждый по своему, дарованному ему природой музыкальному слуху, самую звонкую сушину и заставляют ее звучать неповторимым призывным тоном, в который вкладывают всю свою дятловую душу.

— Ведь весна же — пора любви, размножения. Нельзя жить сегодня, не думая о завтра. Смотри какие распа́ры — земля и то, разомлев, созрела для любви: в нее сейчас кинь одно зернышко — родит двадцать!..

Матюша был яростным противником весенней охоты — уж очень он любил в эту пору все живое и, как соловей в божественных трелях, дятел в барабанном бое, безмолвно вбирал в себя всю красоту окружающего его мира. Сам он весною не стрелял ни зверей, ни птиц: «рука не поднимается».

Сколько поснимал Матюша браконьерских капканов у согринских шкурятников, безжалостно душивших сурков в запрещенную весеннюю пору, порвал силков на тетеревиных и дупелиных токах. Сколько раз грозились его убить согряне, но Матюша был беспощаден.

Шиловскую пойму — излюбленные места наших летних и осенних охот с извилявшейся речкой Шиловкой, с бесчисленными отногами, бочагами и озерками, подобно ожерелью нанизанными на нитку,— Матюша знал так, что в ночь-полночь не только не сбивался с пути, но, кажется, даже и не запинался ни об одну кочку.

Я слепо следовал за ним и, как бы ни отмотал ноги, беспокоился лишь об одном — не отстать от него, шагающего летяще-легкой походкой. «Охотник должен быть с железными ногами»,— говорил Матюша. И как порою ни «захаживал» меня мой неутомимый учитель — я крепился изо всех сил: вырабатывал «железные ноги».

Но все кончается. Кончились и детство, и юность. Мне было уже двадцать лет. После шрапнельного ранения в грудь с Западного фронта я приехал домой в недельный отпуск.

Кажется, никогда так остро не ощущался во всем моем существе приток новых сил, так неистово не хотелось жить, как в те короткие семь дней отпуска.

В канун возвращения на фронт выпала редкостная пороша: все бело, воздух и чист и свеж. И я и Матюша в прощальный этот день по пороше гонялись за волками, опьяненные солнечным ноябрьским днем, пушистой переновой, сверкающей мириадами блесток, упоительной скачкой за подозренным зверем, когда не замечаешь ни рвов, ни топких ручьев, слившись воедино со скачущим во все ноги конем, видишь лишь одного достигаемого зверя с поджатым поленом и вываленным языком...

Переживая радость удачной охоты, после которой властно подступает потребность поговорить о ней, мой учитель любил с загадом допустить мудреную фразу, рассказать веселый эпизод, а иной раз и импровизированную поэтическую легенду. И теперь он поведал мне не то вычитанную, не то сочиненную им бывальщину, в основе которой лежало прославление любимого мужского спорта:

— Однажды владетельный шейх сидел перед своей палаткой, окруженный старейшинами племени. К ним подошел араб и стал жаловаться, что у него украли осла. Не ответив ничего арабу, шейх обратился к собранию с таким вопросом: «Есть ли между вами человек, никогда не испытавший чувств, волнующих каждого на охоте с борзыми или с беркутом, никогда не скакавший на своем коне через чащу и пропасти, где рискуешь сломать себе шею ради того только, чтоб следить за любимой собакой, беркутом, спешащим к зверю?» Все молчали. Один только член собрания, возвысив голос, сказал: «Я никогда даже и не пробовал испытать удовольствие от подобных ощущений, потому что всегда считал более благоразумным сидеть дома и спокойно заниматься своим делом». Тогда шейх обратился к арабу: «Не ходи дальше искать своего осла,— сказал он ему,— ты уже нашел его — вот он. Накинь веревку на шею и веди его к себе».

Охотничье сердце

> ...Ловчий по природе, по призванию, по охоте — это другое дело. И дело новое, невообразимое для тех, кто не испытывал на себе и не видывал из примера, на что бывает способен человек и что может сделать он по увлечению, по страсти, по охоте.
>
> *Е. Дриянский*
> *«Записки мелкотравчатого»*

И какая же сверкающая даль! Сколь же прекрасная, светлая наша страна!

Горы, леса, ширь степная — конца-краю нет...

Родина! Теплый полынный ветер тихих осенних твоих полей. Синее небо с венцами журавлиных стай...

Зеленые уремы с пленительными раскатами соловьев...

Безбрежные просторы весенних половодий, засеянные птицей разных пород...

Кто из охотников не вспоминает родные поймы, озера, топи и бочаги — пристанища дичи, от дымчато-белесого, верткого бекаса до сторожкого гуменника и легкоперой крикливой казары!

Такими родными просторами для меня, тогда еще только начинавшего «охотничью путину», были знаменитые Шиловские луга в окрестностях Усть-Каменогорска.

Может быть, и не жить больше мне в тех чудесных краях.

Не просиживать ночи в сторожке на Шиловском лугу с учителем и другом, редким сказочником Матвеем Коноплевым, в окрестностях приалтайского городка Усть-Каменогорска.

А уж городок Усть-Каменогорск! Всяк, кто ни уезжал из него, рано или поздно возвращался назад. Безнадежно застрявшие вдали вздыхают о нем, о двух светлых многоводных реках: стоит он на берегах Иртыша и Ульбы.

И сколько же заливных лугов по этим рекам! Сколько глубоких проток, тихих стариц, заливов, затонов, озер, озерок и просто «котлубаней». И всюду — дупель, бекас, гаршнеп.

По камышам — утка всех пород. Пролетом — журавль, гусь.

А тетеревов в горах! А серой куропатки! Да они зимою залетали даже в окраинные огороды. А волков и лис по ущельям! А пушного зверя в горной тайге!

В заиртышских степях мигрирует саджа, или копытка, гнездуют дрофы и стрепета.

Редко еще где в России мне приходилось встречать такое разнообразие зверя и птицы, как в заиртышских просторах. Иртыш — граница Южного Алтая и Восточного Казахстана, двух флор и фаун.

Правая сторона его от Усть-Каменогорска — горы, уходящие до Монголии.

Приволье охотникам! А уж охотников в Усть-Каменогорске! Почитай, каждый десятый непременно «балуется с ружьишком». Но есть и первоклассные стрелки, такие, как Матвей Матвеевич Коноплев, Василий и Николай Кузьмичи Сухобрусовы, братья Коробицыны, Ника Козляткин, Щепетельниковы, Судоплатовы, да всех и не запомнишь...

Больше всего охотников проживало на окраине Усть-Каменогорска, где издавна селились кузнецы и слесари.

И соседство ли с охотничьим «Эльдорадо» — знаменитыми Шиловскими лугами, или иные какие причины, но только поголовно все кузнецы и слесари Усть-Каменогорска — охотники.

И уж каких, каких только охотничьих собак не развели кузнецы!

Явные признаки всех пород и окрасов мирно уживались во всевозможных Цезарях, Марсах, Фингалах.

Все охотничьи собаки добрых земляков моих делились на «вислоухих» и «стамоухих». Вислоухие — по перу, стамоухие — по зверю.

А какие ружья «отковали» себе кузнецы! Какие системы затворов изобрели! Чего только не придумает обуреваемый охотничьей страстью кустарь!

Всю жизнь простаивая перед пылающим горном, тяжелым трудом зарабатывая свой хлеб, неукротимый мечтатель терпеливо мастерил себе ружье.

Материал на стволы шел больше из старых екатерининских фузей и граненых, времен Ермака, пищалей с отверстием в медный пятак.

Отольет себе такой кустарь «мечту жизни — рушницу» фунтов на двенадцать весом — и прямиком на Шиловские луга. Засыплет заряд «мерною горстью», подберется к уткам, снимет шапку, благословясь, выцелит и, зажмурившись для первого раза, «вдарит».

Дрогнут ближние горы. Ахнет павший навзничь стрелец, выпустит из ослабевших рук злое ружье и долго лежит недвижимый, с явными признаками утраченного рассудка.

Но крепки плечи и руки мастеров. Чудно крепки. Зато нигде не видел я такого обилия выввороченных скул, вышибленных глаз или оторванных пальцев, как среди досужих земляков своих.

А врожденная страсть усть-каменогорских слесарей «править» да «доводить» (сверлить и шустовать) всякое попавшее им в руки ружье!

Но были и среди них тонкие знатоки своего дела, такие умельцы, как Василий и Григорий Петровы, Петр Новиков и Миша Нагорный, которые могли бы точностью и изяществом работы составить славу и потомственным оружейникам — тулякам.

В таких-то благословенных местах, среди таких-то матерых, «затяжных» охотников и протекала моя ранняя юность.

...День провел в лесу. Ночью вспомнилась разбитая молнией сосна и среди мертвых, изуродованных огнем рыжих веток одна, чудом уцелевшая, бархатно-зеленая, вся в росе.

Прошло много лет. Забылись не только бесчисленные перевиденные рощи, леса, бескрайняя сибирская тайга. Изгладились в памяти даже тополя близ окон отчего дома, а бархатно-сизая от утренней росы сосновая ветка живет, искрясь пушистыми иголками. И нежный, ладанно-сладковатый запах смолы, и солнце, сверкающее в каждой росинке, остались навсегда.

Такими «чудом уцелевшими» в памяти с далекого детства картинками, незабываемыми запахами переполнен каждый человек.

Точно вгранившиеся в сердце, живут они с нами до могилы: смежи веки — и тотчас, как живая, зеленая ветка в росе среди обращенных в прах беспощадным временем мертвых сучьев и веток.

С такой же нестерпимой, точно под вспышкою магния, чудесной и чуть грустной ясностью встают предо мной золотые минувшие дни далекой юности.

Воспоминания, как струи горного родника, неудержимо бьют из земли.

И нет сил противиться им: с жадностью путника в полуденный зной припадаешь к ним и пьешь, пьешь...

Вот мы с Матвеем Коноплевым в солнечный полдень в заиртышских лугах подошли к заросшему тальниками небольшому круглому, как бычий глаз, озерку, прозванному нами «кассой».

— Не было еще случая,— говорил мой учитель,— чтобы, заглянув в «кассу», ушел я пустым.

Коноплев так хорошо знал все бесчисленные озера и озерки на окрестных лугах, что почти всегда без ошибки сообщал мне, откуда вылетит кряква, чирок, гоголь или чернеть. Диву давался я.

И сейчас, лишь только высунулись мы из густых тальников, с противоположного конца «кассы» с кряканьем сорвались две матерые утки и пошли «колом» в небо.

Мгновенный дуплет Коноплева оглушил меня.

Кряквы, одна за другой, разбрызгивая снопы солнечных искр, гулко шлепнулись в воду.

Альфа — огненно-рыжий сеттер Матвея Матвеевича — бросилась в воду и через минуту с обеими утками, взятыми ею за шейки, уже отряхивалась у наших ног...

Сны наяву. И какие яркие сны!

Пусть все это давно прошло, но бережно хранит память и немолчный гомон, и свист крыльев пролетной птицы, и гостеприимную сторожку, куда собирались на ночь мы, охотники, со всей Шиловской округи.

Чего-чего не услышал я там!.. Каких рассказчиков не повидал! Порою кажется мне, что в охотничьей этой сторожке я впервые понял, по-настоящему оценил и полюбил великий русский язык, а под жалкой, рваною охотничьей курткою рассмотрел не одну поэтическую душу.

На Шиловских лугах, в кругу бывалых охотников, по-иному научился я ценить насупленные, свинцово-серые рассветы весной, слякотную непогодь осенью, когда простого смертного и палкой не выгонишь со двора, а «приверженному к охоте» — «самый рай»: птица идет ниже, зверь теряет осторожность.

Грустное очарование примокшей земли находим мы и

в тихом, затяжном, мелком дожде, и в толстых, низких тучах.

Волнующее ожидание птицы и зверя порою более дороги страстному любителю-охотнику, нежели сама добыча.

Пусть льет дождь, злится апрельская пурга, но разве можно пропустить зорю?!

Зато как же манил мерцающий огонек в окнах охотничьей сторожки промокшего, продрогшего запоздалого стрелка! Какие дворцы сравнятся с радушным ее уютом!

* * *

Не встречать мне такого рассказчика, как земляк мой Гордей Гордеич! Не проводить уже больше ночи в охотничьей сторожке на Шиловских лугах, слушая «усть-каменогорского Гомера».

Слесарь Гордей Туголуков — любимец тесной охотничьей семьи нашего городка...

Но прежде еще несколько слов об охотничьей сторожке на Шиловских лугах.

С давних времен собираются в ней ранней весною и поздней осенью усть-каменогорские охотники человек по двадцать и больше.

Кого только нет тут! И тринадцатилетний курносый, пестрый от веснушек, как перепелиное яйцо, Павка Суров с шомпольным дробовичком, купленным на адскую экономию пятачков от школьных тетрадок, и тучный пенсионер, бывший инспектор городского училища, добрый, но вспыльчивый Григорий Евграфович Борзятников, в свое время перетрясший за плечи половину завсегдатаев сторожки, и щеголеватый поляк — нотариус Казимир Казимирович Людкевич с закрученными пшеничными усами, всегда сопутствуемый огромным кофейно-пегим пойнтером Ганнибалом-вторым, и южанин с огненно-черными глазами, потомок эмигранта-гарибальдийца — ветеринарный врач Пеганини, и рыжий, как подсолнечник, дьякон-расстрига Иеремия Завулонский, отец двенадцати чад, как невесело острил он: «дюжины подсолнухов подряд», и круглоликий, румяный актер-комик Елкин-Палкин.

Два брата Сухобрусовы, Василий и Николай, разные

по внешности и характеру, но одинаково неукротимые охотники.

Старший — плотник Василий — широкоплеч, высок, сухощав, с серыми зоркими глазами, левша, пьяница и силач: ударом кулака в ухо Василий оглушил годовалого бычка, набросившегося на его собаку Динку. Зато дома маленькая, вечно беременная Авдотья Сухобрусиха, с выпуклыми «рачьими» глазками, била его с «подпрыгом», норовя достать до лица.

— Становись на колени!.. Пригнись, орясина!.. Дай сюда пьяную твою харю!..— приказывала она подгулявшему мужу.

И Василий Кузьмич покорно опускался на колени и подставлял ей то правую, то левую щеку.

«Возьми что-нибудь поувесистей, Дунюшка, да урежь так, чтобы в глазыньках метляки залетали, а то ты только щекочешь меня»,— смеялся добродушный плотник, обезоруживая Авдотью своей покорностью.

Младший — столяр Николай Кузьмич — весельчак, плясун, черен, кудряв, как пудель, коротконог. Однако он не отставал от старшего своего брата-великана ни в ходьбе, ни в виртуозной стрельбе, ни в пристрастии к выпивке.

Но больше всего набивалось в сторожку прокопченных угольной сажей кузнецов и слесарей с черными, твердыми, как клещи, руками.

...Жизнь бросала меня в разные уголки обширной моей страны, много повидал я людей, приверженных несравненно сладостной этой страсти, но нигде не случалось мне наблюдать такого обилия заядлых охотников и отличных — первоклассных — стрелков, как в далеком милом Усть-Каменогорске, в золотые дни моей юности.

Так вот, соберутся они в охотничью сторожку на долгожданные весенние зори, и, боже мой, чего не услышите вы тут, когда окруженный тесным кольцом слушателей поведет свой рассказ желтобородый сутяга, выжига и вымогатель в жизни,— а на охоте незаменимый товарищ,— Андрюшка Романов или местный «тарасконец» — хронический неудачник и непроходимый враль — милиционер Николай Алексеевич Пименов, перед коим барон Мюнхгаузен, как говорится, мальчишка и щенок.

Но на зависть всем — Гордей Гордеич. Достаточно ему вскинуть крупную, лепную, начинающую уже седеть

голову и обвести собравшихся умными карими глазами, чтоб все затаили дыхание.

Мог он говорить целый вечер только стихами. На всякое, даже вскользь брошенное слово мгновенно отзывался созвучной рифмой, правда не всегда отточенной и пригодной для печати, но неизменно смешной.

— Твоим бы языком, Гордей, рубли ковать,— говорили ему охотники-кузнецы.

Но пора, пора предоставить слово самому рассказчику: пристанище уже полно, содержимое сеток и ягдташей съедено, выпито по доброй столбухе водки. Охотники разулись и уселись на кошме в ряд. Радушный хозяин сторожки — тоже охотник — Иван Мироныч Дягилев, угостившийся с каждым, щедро прибавил огня в лампе и подкинул лишнее полено в печку.

За окном со свистом казакует весенний ветер с косым дождем, по-зимнему воет в трубе, дробно стучит в стекло: теснее круг, друзья, тесней...

— Кто знает Нику?

— Какого Нику? Пупка или Козляткина? — разом откликнулось несколько голосов.

— К черту Пупка! У Пупка только и думушки, что кругом головы да в пазуху [1],— Козляткина, конечно.

— А я думал, Пупка! — разочарованно сказал широколицый молотобоец Тима Гускин.

— Подавись ты своим Пупком! — рассердился Гордей Гордеич и на минуту умолк.

Все неприязненно посмотрели на простоватого молотобойца, а особенно нотариус Казимир Казимирович Людкевич. Он даже гмыкнул что-то в пышные, холеные свои усы.

Мы, завсегдатаи сторожки на Шиловских лугах, знали, что Гордей Гордеич не любил рассказывать про сограждан «громких», известных всему нашему городку. Напротив, Гордей героями своих повествований выбирал людей совсем незаметных. «На блеск, на мишуру падки тольки сороки да дети, да еще легкомысленные пустоболты»,— не раз говорил всегда правдивый, не переносивший лжи и преувеличений Гордей Гордеич.

«Такому брехуну непременно «Соловья-разбойника», косую сажень в плечах, страсти-мордасти... Нет! Ты в не-

[1] В пазуху — украсть.

заметную душу загляни, в убогой лачуге найди величие и красоту, а башню-то — ее и слепой увидит...»

Ника же Пупок среди мирных, скромных сограждан наших, действительно, был довольно-таки заметной «башней»: закоренелый браконьер и вор. Крал все, что под руку попадалось. С одного только нотариусова кобеля Ганнибала три ошейника снял. И каких ошейника!..

А как Пупок у приехавшего из губернии архиерея во время благословения золотой наперсный крест срезал!..

А как у многих из нас, в этой же самой охотничьей сторожке перед добычливейшей зóрей во время валового пролета птицы ночью из патронов дробь вытряс!..

«Кривая душа», «Рукосуй», «Крыночная блудница» — звали его в нашем городе. В чужой рюкзак за колбасой слазить, в соседском погребе сметану съесть, чужого подранка подобрать, чужого зверя из капкана вынуть и вместе с капканом утаить... не перечислить всех художеств Ники Пупка.

— Что говорить о Пупке — кривое дерево...— не выдержал молчания рассказчика старый кузнец Александр Осипович Щепетильников, которого за покладистость характера все мы звали дядя Саша.

— Кривое дерево на ложки годится, в крайности — забор подпирать, а Ника Пупок, черти бы били его в лобок. Ника Пупок!..— Гордей Гордеич сморщился, как от зубной боли.— Итак, друзья, кто знает Нику Козляткина?

— Все!

— Все знаем! — дружно закричали мы.

— Нет, вы не знаете Ники Козляткина! В чужой душе, как в глухом лесу в растемным-темную ноченьку, не сразу разберешься. И я, сосед его, долго блуждал, пока на тропку попал...— Гордей Гордеич помолчал, подумал и, тряхнув головой, повторил: — Нет, вы, конечно, не знаете Ники Козляткина!

Повторил он это так убежденно и так посмотрел на нас, что мы тотчас же согласились с ним. Каждый, порывшись в памяти, ничего особенного не нашел в личности Ники. Охотник, как все мы, грешные. Может быть, получше стреляет только, да победней всех, не пьет, не курит, а с юного возраста нюхает крепчайший актыр — «ладонь-тре» [1]— для «прочищения в биноклях», как го-

[1] «Ладонь-тре» — нюхательный табак.

ворит он о своих глазах. Но, повинуясь обычному обаянию чудесного, выразительного голоса Гордея Гордеича, затаили дыхание.

— Как забытую на жаркой печке мокрую кожаную рукавицу, природа скоробила в такой комок маленькое личико Ники, такие узоры вывела на нем с утробы матери, что еще в первый час появления его на свет повитуха, родная бабка моя — скороговорка и пересмешница — Селифонтьевна ахнула и выпалила роженице: «Ой, доченька, и это что же такое уродилось у нас с тобой! Ни зверь, ни птица, ни парень, ни девица...»

Со сморщенным личиком Ника и приходскую школу окончил, со скоробленным фасадом в церкви венчался. Теперь Козляткин в возрасте, когда морщины на лице не удивляют, в школьные же годы «лупетка» его была незабываема: ни дать ни взять — чимпанзе.

Селифонтьевна объясняла, что будто бы у Ники с младенчества «собачья старость», но как ей верить? Уж больно резва была на слово покойница... Да из вас многие и сами отлично ее знают, язык у нее был, что твоя бритва, прозвища и едкие, как купорос, прибаутки, не спросясь хозяйки, сами выпрыгивали из уст ее, но сегодня не о Селифонтьевне речь.

Заправским охотником Ника стал вскоре же после смерти отца. Родитель его, «писклявый» дядя Матвей, тоже с пеленок морщеный, крохалем всю жизнь на воде провел: рыбалкой семью поднял.

Охотишкой дядя Матвей любил баловаться и ружьишко держал в большой обрядности. «Хорошая вещина,— говорил он про свой дробовик,— поронно да уносливо. Беречь его надо пуще глаза...»

Зима, лето — крохаль на Иртыше морды ставит, переметы кидает, наметкой реку процеживает. А ранним утром, когда печи затопятся, ездит себе по городским улицам с ручной тележкой, доверху нагруженной рыбой, и тоненько, заливисто (почему и прозван «писклявым») кричит: «Рыбы! Рыбы! Ершей, окуней, линьков, караськов, язишка — на пирожишка, налима — на уху, весь жир наверху... Рыбы! Рыбы!..»

В измененном голосе Гордея Гордеича все узнали «писклявого» дядю Матвея.

— Наследственная избушка соседушки моего, огороженная светом, как вам известно, на окраине города.

Вокруг нее чисто — один ветер, да горы, да чуть не у самых окон — Иртыш. Невдалеке — коровье кладбище, подальше — людской погост. Ну, как тут не стать философом. (Гордей Гордеич, учившийся в городском училище, любил подпустить и узористое, и увесистое словцо.)

А что он философ — это для меня так же верно, как и то, что у него чистеющее, без подмесу, охотничье сердце. Вот что Ника сказал мне однажды, когда я посоветовал ему заняться каким-нибудь более хлебным, чем охота, делом: «Соседушка! Пирожище ты мой с груздями! Брось, если не хочешь потерять дружбы. К охоте привержен я чуть ли не с материнской утробы. Дай, боженька, и помереть на охоте. Было мне десять лет, ружья своего я не имел, с разными охотниками за кобеля ходил — убитых уток ранней весной и поздней осенью из ледяной воды доставал, только бы дали разочек выстрелить.

Шомпольный самопал над кроватью у батяни висел; умирал он медленно от какой-то неизлечимой болезни. И вот подошли ему последние деньки, а я от постели не отхожу и глаза не на отца, а на его дробовичок пялю. Понял он мое нетерпение и благословил ружьем: «И отрыбалил и отохотился, видно, я, Никша, владай моей утехой»,— сказал и заплакал.

В тот же день притащил я ему своего первого крякаша. «Убил! Тятенька, убил!» — закричал еще на пороге. И перед смертью радостью своей в последнюю улыбку вогнал батяню: назавтра умер он.

Жизнь-то, она, Гордеич, короче заячьего хвоста, а ты ее растрать брюху в услуженье...»

Но, чтоб не выставить вам Нику философом чистой воды, поведаю правду про соседа. Пробовал и Ника заняться «хлебным делом». Только жалко стало ему Дочу — горбатую чалую кобылу — сподвижницу в охотничьих его скитаниях.

«Выбьешь ее на кость, вытянет она жилы, сердешная, а там и белковать не на ком стронуться будет. За косачишками, за глухаришками смотаться... А осенний пролет начнется, журавли застонут в небе — тут тебе самая охота, а ты хватай на гумне, да потом еще зерно на мельницу вези. Нет уж, бог с ней, с землей, лучше я птиченкой, пушнинишкой и себе и людям пользу произнесу...»

Да и когда крестьянствовал, тоже не пахота, не бороньба заботила его: бывало, давно запрягать пора, а Ника на точке́ косачей стреляет, а то утянется сурков караулить и отыщется к обеду только.

А еще лучше — единственного жеребенка на пашне зверю стравил: все рассчитывал волчицу около Дочи подкараулить и с умыслом путал ее в глухом логу, сам же затаивался поблизости. Ночь прождал, другую — никого! На третью, перед светом, заснул, а волк и осиротил и кобылу и Нику.

Только одно «хлебное дело» живет рядом с охотничьей страстью Ники и служит ему подспорьем в жизни, это, други мои, любовь к скрипке. В компании трех таких же, как и он, доморощенных музыкантов на городских свадьбах, как вы все хорошо знаете, Ника выводит вальсы, наяривает камаринские и польки.

Но и тут охотничье его сердце верно себе: если уж засобирался Ника в горы за лисами, в тайгу за белкой — крышка, не музыкант он, и ни за какие блага мира его не купишь. Одним словом, «коли охотник — значит, сам он в себе не волен», как жестоко-справедливо сказал какой-то писатель,— выскочила сейчас из головы его фамилия, и хоть убейте меня, не могу вспомнить, но дело не в фамилии, а в том, что слова эти полностью приложимы к нашему Нике.

Одним словом его, как всякого заядлого охотника, не соблазнишь, что курица-то в вареве, а тетерев-то на дереве: Нике, пусть он и не в чугуне, а на дереве, но слаще всего — добыть его...

Жена Ники, кума моя Ефросинья Федотовна, безропотно несет судьбу охотничьей женки. Принес Ника связку селезней — хорошо. Пустой вернулся — что поделать? И на беззлобном лице улыбка теплая и заботливость материнская, когда, собирая мужа, повязывает вокруг тонкой и, как куриная лапа, морщеной его шеи старенький шарф. «Засвербило — тут уж ни крестом, ни пестом, пусть лучше идет со Христом»,— умудренная опытом, говорит она.

Через неделю после свадьбы Ника на ползимы уехал в тайгу за белкой.

Попервости пробовала Фрося сломить охотничью страсть Ники, да поняла: проку не будет, «бог с ним, уж, видно, доля моя такая...»

Но видели бы вы Козляткиных, когда Нике счастливилось убить волка! Дорого дал бы каждый из нас, чтоб было у него на душе так хорошо, как у Ники и Ефросиньи Федотовны.

Доча, управляемая Фросей, идет рысью.

В дровнях, с шкурою через плечо, на опрокинутом корыте, Ника. Не Ника — король на троне: так высоко держит он голову.

Едут через базар — прямехонько в Союз охотников. Как мухи к меду, льнут к Нике барышники, сказать по старинке — апсатаришки, по научно-современному — нэпманы — вновь подпустил Гордей Гордеич «увесистое» словцо.

— Не льнут,— рассказчик усилил повествование,— рвут из рук: один перед другим набивают цену.

Ника же молчит и улыбается только. «Не продаю»,— проронит он сквозь зубы не в меру назойливому покупателю и снова голову и глаза в небо.

В Союзе Ника сдает шкуру без рядки: свои — не обманут...

И вот уже ходят Козляткины по базару от воза к возу с мешком.

Ефросинья Федотовна муку жует, мнет, на пальцах тянет, на свет смотрит, принюхивается: не прела ли, не горька ли?

Долго торгуются и наконец набивают мешок мукой. На остатки Ника запасает в Союзе «провьянтишку»: весна над головой, вот-вот птица нагрянет...

Деньжонки растаяли. Нагруженные мукой, охотничьими припасами, бутылью с керосином, подвязанной к головушкам дровней, едут они домой.

— Вот видишь, Фросинька, и клюнуло. Не все же нам с тобой жидкий чаишко без сахару швыркать. Наверника завтра пирожки с осердьем. Славно оно это будет, как ты думаешь?..— Оба расплылись в улыбке. И морщинистое — чимпанзевское — лицо Ники кажется Фросе прекрасным, как у Ивана-царевича.

Светлей прибавлена лампа, трогательней хватает игра Ники на скрипке. И весь этот вечер у них похож на канун светлого праздника. Люблю я заглянуть к ним в такие часы хоть на минутку: Ромео, вот провалиться мне, Ромео и Джульетта!.. Он играть, она петь. Наиграются, напоются и смотрят в глаза друг другу...

Но не всегда так-то ладится их житьишко. То чертова «наложница» (так он зовет старенькую свою двустволку) по выслеженной лисе, по наскочившему волку осечку даст, то промысел не задастся — белка «в другие места укатится»,— глядит холодными очами избушка моих соседей.

Нет-нет да и поохает голодная Ефросинья Федотовна. И тогда Ника идет в Союз.

Еще на пороге радушно встретили его и друзья охотники, всегда околачивающиеся в Союзе, и член правления. Сразу легче у Ники становится на сердце. Треух заячий сбросил, обмел им обутки, крепко пожал всем руки и, наравне с сытыми, начал точить лясы...

Гордей Гордеич замолк: набивал трубку табаком. Охотники молчали. Одновременно к трубке рассказчика протянули зажженные спички Тима Гускин и дядя Саша.

— А тут еще нагрянула на непокрытый двор Ники беда,— после первой затяжки продолжил рассказ Туголуков.— Сурок прошлой весной в цену вошел: повыбили его на ближних солнцепеках вчистую, и решил мой соседушка отправиться сурковать в глубь гор. Навьючил Дочу котелком, солью (сурочье мясо Ника у алтайцев есть выучился) и урезал по-сорочьи напрямки через хребет: все ему хотелось попутно байбаков пострелять.

С крутика и оступись Доча, да вниз головой — чуть хозяина не задавила. Попробовал Ника поднять кобылу — не поднимается. Да вместо сурочьих-то и притащил сосед мой шкуру Дочи. «Что сделаешь, что сделаешь, Фросинька! Не умрем — живы будем. Оно известно, обезлошадеть, как обезножеть... Но ничего не поделаешь, Фросинька. Опять же за шкуру хоть трешницу да дадут. А там утчешки, тетеревишки — перебьемся до осени, а осенью, сама знаешь, и у воробья пиво. Самое главное — носа только не вешать...»

Не видел я Нику хныкающим и недовольным. Но еще более прочно, чем дух, до удивления выносливо сухое, крепкое, как старый боб, жиловатое его тело. Долгое время я просто становился в тупик. Неуязвимость Ники к морозу, к слякостной чертонéпогоди с пронзительным дождем-косохлестом была для меня непостижимой, покуда он сам не открыл мне сего секрета.

Все вы видели его и смеялись, наверное, когда он собирал вокруг города падаль и свозил ее в Коровий лог:

задолго до морозов приваживает он волков и лис к «бесплатной своей столовой».

Услышит, у кого корова пала, лошадь околела — Ника тут как тут. Напросится и шкуру снять, и падаль за город вывезти.

Кому жаль пропастины?! Пожалуйста, Никон Матвеич! В таком разе величают Нику даже по отчеству.

Просыпается мой сосед, чуть за полночь перевалит. Выйдет на двор: морозяка в углах избенки постреливает. Горы в дыму. Воздух — как спирт, в носу щиплет. «Должен быть зверишка на приваде: ему и холодно и голодно — обязательно должен быть...»

Вскочил в избу, надел латано-перелатаные валенки, полушубок, до плешин вытертый, на шею — шарфишко, на голову — треух заячий и — заскрипел на гору Тарабайчиху, по которой спокон веку ходят звери в Коровий лог. Торопится: путь не близкий — километра четыре, и все в подъем.

Тихо ночью в горах. Сквозь дымное небо — звезды синими брызгами. Чуть развидневать стало, когда добрался Ника до любимого своего «шиша» — здесь он взял не одного волка. Сел у скалы и замер. Сидит час, другой.

Мороз берет в тиски, добирается до сердца. Еще света прибавилось: на стволах мушку видно.

«Где же Ефросинья, черти бы тебя пощекотали?..»

Но разоспалась, видно, баба. А мороз давит: дышать тяжко, ресницы смерзаются, сидеть неподвижно невмоготу. И вот тут-то Ника и пускает в ход свой секрет: начинает он ежить нутро, кончики пальцев на ногах и руках в движение приводит... Вот, провалиться мне на этом месте!.. Вот, не стоять мне завтра зори в скрадке!.. Черт его знает, как это удается ему, не двигаясь, бесшумно греться, но только это совершенно верно. Видно, нужда да собака — страсть охотничья — выучили Нику этому делу. Со стороны смотреть — сидит, как мертвый, а нутро двигается до последней кишочки, как у цыганки плечи в плясе. И вот уж согрелся он в своем гардеробе, где другой и в собачьей дохе продрог бы... А там проснулась и Ефросинья: «Светает!» Оделась, схватила сковородник, заслонку, и марш в загонщицы.

Издалека от Коровьего лога заулюлюкала, загремела, погнала все, что было на приваде, в горы.

Услышал Ника — улыбнулся: «Вышла моя помощница, заиграла...»

В комок сжался. Курки у двустволки поднял. Вон что-то мелькнуло по хребту. «Один, два — волки!..»

Как осторожен бродяга зверь! Махнет-махнет, остановится, пощупает ноздрями морозный воздух, назад оглянется — гремит... И опять скоком в спасательные горы.

Заметила волков и Ефросинья Федотовна, веселее загремела в заслонку. Истошно заголосила: «Береги, Никунечка! Не прозевай, миленький!..»

Ближе, ближе! И Ника вскинул свою «наложницу»...

Рассказчик стал ковырять золу в потухшей трубке.

Охотники ждали повествования про Никин дуплет по волкам, но Туголуков поднял седеющую голову, обвел всех внимательным взглядом и неожиданно закончил не тем, чего ожидали слушатели:

— Значит, долго засидятся сегодня ночью Ника и Ефросинья Федотовна, значит, и на скрипке будет играть мой сосед и петь будет моя кума.

Горы на полсотни километров в окружности Ника знает, как свою табашницу. И знает он лис и волков чуть ли не наперечет. Где и какая лиса мышкует, где отдыхает днем, все их перелазы и переходы.

Сколько буранных, морозных ночей прокоротал он в убогой своей справе, увлеченный преследованием подраненного зверя на Мягкой постели, в Теплом логу — так он зовет утесистые хребты и темные, крутоберегие лога, где и в летний-то день жутковато!..

Встал Ника на свежий след и не сойдет с него до тех пор, покуда не возьмет «в вид» зверя. А уж подобраться к нему Ника сумеет так, что диву дашься. Секрет и здесь свой у Козляткина. И не дай бог кому-нибудь из вас повторить его.

Издалека зайдет он с подветренной стороны к свернувшейся в таволгане лисе или к волку, прикорнувшему под надувом. Зверя Ника видит, несмотря на слезящиеся глаза, лучше, чем другой из нас в бинокль. Сбросит валенцы, лишь в одних шерстяных чулочках, по смерзшемуся снегу так подберется, что иной раз, высунувшись из-за надува или хребта, почитай, рядом окажется. Ну, тут, конечно, Ника сумеет сыграть из своей «наложницы», если не даст она осечки. Недаром в прошлую зиму, больше всего скрадом в горах, да еще при помощи Ефросиньи

Федотовны, нагоном взял он двадцать шесть лис и семь волков.

Да сталась с Никой нынче весной такая история, что не дай, не приведи, как говорится, никому из нас очутиться в его шкуре...

— Но, братцы! — взглянув на стенные ходики, вскричал Гордей Гордеич.

Мы тоже подняли головы: часы показывали два. Через полтора часа — в скрадки.

— Товарищи! Спать! Не хочу я, чтоб вы на зоре, клюя носами и пуделяя по селезням, поносили бы злодея Гордея...

— Не желаем спать! Досказывай про Нику! — закричали слушатели.

— Давайте, право,— дергая себя за пышный ус, стал просить нотариус.

— Еще главку от Матфея, бога для, Гордей Гордеич...— пробасил из угла огненно-рыжий дьякон-расстрига Иеремия Завулонский.

— А сколько потребуется времени на полный комплект истории? — спросил дядя Саша.

— Не меньше получаса! — ответил Гордей Гордеич. По всему видно было, что рассказчик не прочь досказать историю про Нику.

— Рассказывайте! А что пуделять будем — это уже не ваша забота. Я и без того завсегда на первых выходах мажу, милости нет...— упрашивал молотобоец Тима Гускин.

— Действительно, рассказывайте-ка, Гордей Гордеич. В могиле, как говорят бывалые, отоспимся, а пока живы, да еще на охоте, какой уж тут сон!..— присоединил голос бывший инспектор городского училища, тучный старик Борзятников.

— Ну, воля ваша, а только завтра, чур, не обзаживать, не портить птицы,— сдался рассказчик.

— Все мы, охотники, как известно, с рождества ждем весны. Но, уверен, всех нетерпеливей ждет ее Ника.

Еще до весны, как говорится, семь верст, а он уже поджидает прилета первых пар уток. Выйдет ночью из прокисшей за зиму избушки и слушает, ждет желанного свиста крыльев.

Славно мартовской ночью на дворе! Невидимая весна чувствуется во всем: и в хрусте подтаявшего за день сне-

га у крыльца, и в почерневшей дороге, и в обмягшем воздухе.

Никто раньше Ники не укараулит прилета передовой стайки кряковых.

Дружная, как вам известно, задалась нынче весна: не уходил бы с двора. Но особенно тихий, солнечный день выдался третьего апреля: парило так, что проталины закурились. Разморило Нику: лежал он на завалинке кверху брюхом и глаза на небо пялил. А небо высокое, в белых барашках.

— Ну, Фросинька, денек-другой и будем свежинку кушать...

Плохо спал Ника. Вышел на двор и залюбовался: такая мягкая, теплая нежилась, дремала ночь.

Стоит Ника босой, прислушивается, точно гусак, с ноги на ногу переступает. Тихо: с солнцепечного склона, пробивая путь под снегом, журчит ручей.

И вдруг... ясно услышал в небе жирное шавканье селезня и вскрик утки.

Вбежал в избу Ника и закричал: «Фросинька! Утки прилетели!»

Потом схватил скрипку и стал играть...

Утром, к Никиной радости, пошел теплый, спорый дождь-снегоед. С гор хлынула вода. После обеда Ника не выдержал:

— Ударюсь-ка я, Фросинька, на Шиловские луга. Вся утка с прилету на полыньях. Пока там разини-охотники гадают: пришла — не пришла, а я-то наверняка знаю: есть! Я, Фросинька...

Но Фросенька уже собирала мешок мужа.

Любил Ника первые выходы. И тянется он на охоту не проезжей дорогой, где могут встретиться обыватели, а в обход по загорью: «Ты тут, можно сказать, литургею справляешь и эдакое в сердце своем несешь на первых-то выходах, а он к тебе с улыбочками ехидными, с подъелдыкиваньем,— одним словом, с грязными сапогами в душу норовит забраться... Знаем мы их!..»

Дождь перестал. На солнцепеках обопрела — выглянула земля.

Проваливаясь в снегу, пересек Ника Шиловские луга и выпер к Большому затону: там, на незамерзающих родниковых полыньях, он не один год бивал селезней

с прилета. Все такие полые места вокруг города у него на учете.

На мысу, в таловом кусту, Никин скрадок. Он только подновил его.

Подмял осоку, хохлясь, как гусыня на яйцах. Налетевшая пара кряковых, заметив охотника, взмыла столбом. Ружье в руках, но курки не подняты. Выстрелить, пока утки были над сушей, не удалось, отпустить дальше — будут вне выстрела. Ника, как он говорит, «лопнул», и селезень шлепнулся в полынью.

Первый селезень! Кто из нас не радовался, оглаживая дымчато-голубое его перо! И этот селезень качался на волнах, дробно перебирая красными лапами. Ветром относило его к середине полыньи, на быстрину: «Унесет!» Ника сбросил треух, полушубок, сапоги. Расстегнул пуговицы у штанов...

Нет, не буду рассказывать вам, друзья мои, как Ника доставал селезня из полыньи четвертого апреля.

Сидеть в скрадке он уже больше не мог: зубы выбивали дробь. Схватился — побежал искать остожье для ночлега. Пробираясь с острова на материк, не узнал лугов: снег раскиселился, воды прибавилось — канавы были полным-полны. И снова припустил дождь. Ника выбрался на гривку и устроился в прелых одонках скирды. От раскисшего полушубка и разогревшегося тела валил пар. Ника уснул накрепко. Вскочил от ледяного ожога:

«Батюшки! Вода!..»

Ночь. Шум и треск ломающегося на реке льда, а к этому ливень и первый весенний гром: не ночь — кара господня!

Ахнуло-трахнуло, и словно надвое развалилась черная кровля небосвода.

Развалилась, а сквозь провал, вдоль этой расщелины, змеей белое пламя. Волосы на голове у Ники поднялись шубой.

Как схватил ружье, селезня, как пробежал первый лужок, поминутно оступаясь в залитые водой ямы,— помнит плохо. Врезалась в память только безбрежная ширь полых вод, занесенные с Ульбы льдины, удары грома, просверки молний да высокие торосы опасного затора, повернувшего всю силу реки в луга.

Споткнувшись о залитый по маковку куст волчевника, упал, ободрал лицо и руки. Волны подхватили его.

— Караул!.. Тону!..— Но уцепился за ветку и встал.

«На Мамину гриву, она выше, там деревья!» — Ника сорвал с плеч двустволку и, опираясь на нее, как на костыль, побрел: мельче, мельче. Когда почувствовал, что грива рядом,— не выдержал и заплакал.

Обрываясь, расцарапав подбородок и руки, залез на осину. Как уселся на сук и привязался ремнем к стволу — не помнит.

— На рассвете ветер переменился, полетел снег. С Миронычем,— Гордей Гордеич указал на хозяина сторожки Дягилева,— обнаружили мы Нику утром: поплыли спасать затопленных на островах зайцев. Был Ника синий, как баклажан. Мы с трудом сняли его с дерева.

Сегодня у нас четырнадцатое. Вчера, перед выходом на охоту, я зашел навестить соседа. Ника уже не упрашивал Ефросинью Федотовну положить его на горячую печку и накрыть потеплее. Не стонал, как он стонал позавчера, рассказывая о своей беде. С ввалившимися глазами, худущий — в чем душа — выполз он на завалинку и смотрел в сторону Шиловских лугов.

Узнав от меня, что затор на Ульбе прорвало, Ника опустил голову и как бы про себя заговорил:

— Хорошо теперь на Большом затоне, утки от селезней отбиваются, жмутся к гнездам. А селезни на подкряк прут — успевай стрелять только...

Я сказал, что сегодня на Шиловские луга мы идем всей Кузнечной слободкой. Ника поднял голову и повернулся ко мне: «И я, я, пожалуй, стаскаюсь туда же...» Он с трудом встал с завалинки и, придерживаясь за стену, ощупкой побрел в избушку.

И нельзя было узнать: плачет он, или это так слезятся глаза его: глаза у Ники всегда слезятся...

Пролетные птицы

Охотники захолустного Усть-Каменогорска были ремесленники: кузнецы, слесари, кожевники, шубники — «безземельные хлебопашцы». С ними бок о бок прошло детство и первые годы моей молодости. Я познал своих земляков, как казалось мне в самообольщении, свойственном тому возрасту, не только со всеми их человеческими слабостями и привычками, но и с сокровенными, глубоко скрытыми социальными помыслами всей нашей ремесленной бедноты. Сын столяра, выросший в семье из тринадцати детей, довольно рано изведавший, почем фунт лиха,— возможно, что я имел право так думать. Должен признаться, что уже с безусого возраста я питал склонность к наблюдениям и размышлениям в дневнике.

«Для того, кто годами орудует полупудовым молотом у пылающего горна, дышит испарениями квашеных кож и шубных овчин у осклизлых вонючих чанов, проливает реки соленого пота на чужих, арендуемых у богатых линейных казаков десятинах, без какой-либо надежды вырваться из нужды, один выход из положения — победа твоего класса. И охота — эта древняя могучая страсть, захватывающая людей с такой силой, с какой может сравниться только любовь,— не могла не являться для них радостным отдыхом» — так довольно выспренне, книжно записал я в своем дневнике о моих земляках. И сам, чуть позже став учителем сельской школы, вместе с ними увлеченно и жадно пил из этого неиссякаемого, живительного родника: «умирал за охотой», как выражались мои сотоварищи.

И какие же встретились мне характеры, типы охотников! От заносчивых легконогих хвальбишек с суматошливыми диковатыми глазами, беспардонно паливших во все живое, до степенных, уверенно-медлительных тяжкодумов, рассчитывающих каждый заряд на медную де-

нежку, на кусок мяса. А сколько было созерцателей природы, поэтов в душе, охотящихся больше в одиночку, радующихся не обилию убитой дичи, а красивому выстрелу, ярким закатам и восходам солнца! Были и фанатики летней утиной охоты «по выводкам», готовые целые дни с подвязанными на шею патронташами лазить по непродорным болотным крепям, когда измученная, в кровь изрезавшаяся об осоку и камыши Валетка уже скулила на берегу. Иные признавали охоту только по красной — «царской» дичи. Были таежники-зверовики. Большинство же моих земляков одинаково увлеченно предавались всем видам охот: от стрельбы ожиревших перепелов на просянищах и серых куропаток по мелкосопошнику под самым городком до сослеживаний сторожких дрофичей в заиртышских степях и длительных «отъезжих полей» — за лисами и волками в горных районах уезда. Но и они все же предпочитали изобильные осенние перелеты на Иртыше и Ульбе с обширными поймами, старицами, озерами и озерками — здесь извечный птичий тракт с далеких тундровых гнездований на зимовку в жаркие страны.

И как же ждал я валового пролета птицы! Каждый пролет ее я переживал как целую эпоху. «Золотое время... пора всяческих упований и надежд»,— когда-то писал Г. П. Данилевский, прощаясь со своей охотничьей юностью.

...Поздняя осень. Северный ветер и пронизывающий даже в брезентовом плаще дождь-косохлест. Низкие облака. Хмурь. Кажется, что вот-вот дождь перейдет в мокрый снег и начнется тот самый «чичер-птицегон», которого так ждут любители валового пролета дичи.

Горожане-неохотники, ежась от непогоды, проклинают слякоть, непролазную грязь и с нетерпением ждут зимы.

Я же сам не свой: ружье из ремонта можно получить только завтра. А «святая душа на костылях» — он же слесарь Миня Минеев — простодушно шепнул мне: «Не медли ни минуты, Николаич, птицы в Бужурах темно!» Не кто-нибудь — Миня сказал, а он никогда не переливает через край [1].

Бужуры — охотничья Палестина. В двенадцати километрах от Усть-Каменогорска, на глухой пойме Иртыша,

---

[1] Не переливает через край — не врет.

сквозь неисчислимое количество луговых озер, текут две заросшие по берегам старицы: Талая и Тихая. Талая — широкая, мелководная, вся в осоке, в стрелолисте, кочках с приманчивыми утиными жировками — протекает в сердцевине Бужуринской поймы. Тихая — омутистая, поджимается к ковыльному левобережью. В промытой половодьями котловине старицы сливаются в одну и несколько километров текут в общем русле, потом, словно не поладив, вновь расходятся по пойме. Там, где Талая и Тихая раздвоились, на узком мысу у меня скрадок. Лучшего места для сидки не сыскать во всей Бужуринской пойме.

В непогодь пролетная утка, как всегда, идет низом, пользуясь затишками от крутых заросших берегов. Составившаяся птица обычно держится середины стариц и как раз налетает на мой скрадок. «Не мыс — разбойный пик»,— радовался я удачному выбору засидки. Метрах в ста от скрада, на поляне, каждую осень неизменно стоял стог сена. Сбочь его, за ветром,— мой шалаш. Сплетенный из ивовых прутьев, укрытый осокой, не пробиваемый никакими осенними дождями, вот уже много лет он служил мне надежным пристанищем в длинные ненастные ночи во время валового пролета птицы. Сколько связано у меня с «фартовым» мысом и шалашом неизгладимых впечатлений, волнующих охотничьих зорь, незабываемых удачных выстрелов у пылающего костра в черные осенние ночи!

...До вечера я истомился от безделья. Лег рано, но не спал — бредил всю ночь: перед глазами, одна ярче другой, проносились картины прошлых охот, стаи налетающих птиц, уютный, теплый шалаш, пляшущий в черноте осенней ночи костер с прокопченным чайником над ним.

День почти ничего не ел. Мой молодой горячий пойнтер Марс тоже не притронулся к своей чашке. Марс все время тыкался влажным холодным носом в мою ладонь и вопросительно смотрел мне в глаза: «Да когда же, когда же отправимся?» — казалось, спрашивал он.

А как он визжал и лаял, когда я пошел наконец седлать Костю. Как подпрыгивал на выезде из ворот, норовя лизнуть коня в самую храпку... За паромной переправой через Иртыш — сразу же степь, седые ковыли. Вдоль старицы — дорога в благословенные Бужуры. Сытый резвый конь идет плавной рысью; Марс, вывалив язык,

едва поспевает следом. Сколько времени неслись мы? Глаза мои были устремлены в луга, над которыми, то вздымаясь, то опускаясь, черною тучей кружилась птица.

И вот порядочная ватажка, отделившись от зыбкой тучи, повернула вдоль старицы, приблизилась к дороге. Чирки! Я натянул поводья: Костя встал. Марс припал на дорогу и не спускал с птиц горящих глаз. Табун чирков пронесся почти над самой водой и опустился соблазнительно близко за ближайшей излучиной.

Спрыгнув с коня, я сорвал из-за спины двадцатку: «Эдакая старица!.. Берег крутой, подойду вплоть и окроплю бекасинником...»

Вложил патроны с восьмеркой, пригнувшись, пошел к излучине. Следом — Марс; сделав несколько семенящих быстрых шагов, он припадал на брюхо и, вытянув голову, дрожал мелкой дрожью.

Вот и обрывистый берег старицы. Вода, по-осеннему тяжелая, зыбится от северного ветра, гнет осоку и камыши. «Тут они, где-то совсем рядом...» Я посунулся еще ближе. Из куги с громким хлопаньем крыльев сорвались две крупные черно-пестрые птицы.

Удары летних «перепелиных» зарядов показались жалкими хлопками, но обе птицы, словно скошенные, упали в воду, накрыв кугу сильными пепельными крыльями.

Махнувший в старицу прямо с обрыва пойнтер одну за другой принес их к моим ногам.

«Не было ни гроша, да вдруг алтын!» — радостно подумал я.

Это оказались увесистые, налитые жиром белолобые казарки, очевидно, отбившиеся от пролетной стаи.

Первые казарки в моей охотничьей жизни! Я схватил мокрого Марса, прижал к груди и поцеловал в голову.

После выстрела по казаркам на Тихой и Талой над Бужуринскими лугами столько взмыло и закружилось, то поднимаясь, то опускаясь, налетной птицы, что казалось — она заполнила все небо. Я долго смотрел на нее, точно завороженный. Большинство табунов, как по нитке, тянули над заветным моим мысом. Не приторачивая казарок, я вскочил в седло и погнал к шалашу.

Да, это был пролет! Патронташа и запасной сумки патронов не хватило до окончания зори. А утки все лете-

ли, летели. Расстрелявшийся, как выражались устькаменогорцы, «в дымину», я быстро вскакивал и, выкинув ружье, поводя им от птицы к птице, кричал: «Вот я вас!» Озадаченные утки, на мгновение замерев в воздухе, плотно прижав к сизым брюшкам красные лапки, словно в судороге, трепыхали над моей головой белоснежными подкрыльями. И наконец, справившись с испугом, «колом» ускребались в небо...

Заря погасла. Пролет кончился. Запоздалый чирок чиркнул по небу низко.

Натешившись вволюшку, я пошел к шалашу и развел костер. Но и у костра, и в шалаше весь вечер перед моими глазами мельтешили то пепельные, краснолапые крякаши, то плотные, почти квадратные, крепкие к бою голубые черняди, то узорно-сизые, прогонисто-длинные шилохвости. Однако всех их заслоняла пара белолобых казарок, срезанная так неожиданно восьмым номером дроби.

«Не было ни гроша́, да вдруг алтын!» — не один раз с удовольствием повторил я в тот вечер. Еще и сейчас я ощущаю увесистую тяжесть казарок в своих руках, вижу черно-крапчатое их перо, плотные, застывшие тушки.

В ту осень были у меня и другие удачи, но эта пролетная зоря возвышалась, как вершина всего охотничьего сезона.

А в памяти с такой же живостью возникла другая осення охота, только не на заветном мысу, а много ближе к нашему городку, на той же старице и тоже с Марсом.

Такой же «чичер-птицегон» разыгрался с ночи и не переставал весь день. В заиртышские луга я ушел вместе с отличными стрелками, братьями Корзинкиными. «Дичи — волоса пухнут! — сказал доро́гой Иван Корзинкин.— Выжимает ее эта чертонепогодь из любых крепей. Под метелку выметает. Вот увидите, завтра на всех старицах будет уже пусто! Разве только подранки останутся, но и тех подберут лисы...»

От переправы отбежали мы не дальше трех километров и приткнулись на первых же излучинах Тихой. Братья сели почти рядом на отмели: у них не было собаки. Мы же с Марсом убрались на километр подальше и укрылись в водомоине, в глубокой заводи. Ветер крепчал. Мокрый снег слепил глаза. Птица валила вдоль старицы,

как из рукава. Разная. Больше нырковые: гогольки, черняди, крохали. Шли низко, едва не задевая крыльями воду. И все табунами: успевай заряжать только.

Подпуская табуны вплотную, я норовил стрелять «в штык», чтобы убитая птица падала на сушу, но, как ни мастерил, подранки шлепались в заводь. Горячий пойнтер бросался в ледяную воду и приносил их к моим ногам.

Старался пес в ту зорю как-то особенно самоотверженно, не упустил ни одного подстрела.

Работе моего молодого пойнтера по уткам дивились даже обладатели прирожденных водолазов: сеттеров, пуделей, спаниелей: «Не его это дело, а вот поди же!..» И хотя я сознавал, что пользоваться горячностью короткошерстного, почти голого пса — явное варварство, но оставить Марса дома не мог: привязанный, он так рвался и выл, что соседи грозились отравить его. Я был одет по-зимнему. Расстегнув дубленый кожушок, я всякий раз запахивал в него мокрого пса, и мы грелись с ним вместе.

А липкий, мокрый снег с дождем вскоре перешел в сухой, секущий, как дробь, крупеник. Ветер — в ураган. Резко похолодало. Закрутила, завыла настоящая сибирская пурга.

Птица же все валила и валила. Я бы стрелял, покуда не вышли патроны, но ветер донес до меня крик старшего Корзинкина, и вскоре я разглядел его в снежной замети. Перекрывая вой бури, Иван надсадно звал: «Мы пошли-и! Идем-ом! Пропаде-ешь!..» Очнувшись от пьяного азарта, я встал над водомоиной и почувствовал всю силу урагана: меня чуть не опрокинуло в заводь. Корзинкин повернул к городу и, угинаясь от секущей пурги, пошел, скрываясь в молочной мгле.

На меня налетел табун крохалей. Не удержавшись, я ударил по ним дуплетом, и два крохаля упали в воду. Как назло, один оказался подранком, и я тщетно вызывал из воды Марса, гонявшегося за крохалем, покуда он не доспел обессилевшую птицу.

Отдохнуть, дать согреться в кожушке собаке я уже не мог: надо было спешить. Только взвалив на плечи вязанку битых уток, я понял, что сделал непоправимую глупость, отстав от товарищей.

Ледяной встречный ветер с густой секущей крупой валил с ног. Следы недавно прошедших братьев замело. Мокрый кожушок мой залубенел. Пойнтер сперва кругами носился по луговине, чтоб согреться, теперь оброс смерзшимся снегом и, шатаясь, брел сзади.

А буран неистовствовал, как в декабре, без рукавиц мерзли пальцы, нос, рот, глаза забивало снегом.

Остановившись передохнуть, я не обнаружил собаки. Бросив тяжелую вязанку, я побежал назад и нашел Марса в водомоине. Пойнтер попытался подняться и не смог. «Закоченеет — пропадет пес!..» С жалостью я схватил замерзающую собаку, взвалил на плечи и зашагал по своим следам к брошенным уткам. Марс — крупный кофейно-пегий пойнтер — весил около двух пудов. Я подобрал тяжелую вязанку уток и ринулся сквозь пургу. Удачная охота и эта разыгравшаяся грозная стихия словно удвоили запас моих сил.

Напор снежного урагана, как течение горной реки, отбрасывал меня назад. Я приспособился идти боком, выдвигая то одно, то другое плечо вперед. Заплутать я не опасался: справа была старица, слева — Иртыш. Я боялся ослабеть, выбиться из сил, однако не допускал и мысли оставить замерзать собаку или бросить уток на съедение волкам и лисам: «Сдохну, а донесу».

Непомерная ноша пригибала меня к земле. «Теперь близко! Теперь совсем уже рядом!» — подбадривал я себя. Но силы оставляли меня. Хотелось остановиться хотя бы ненадолго. «Не останавливайся, только не останавливайся!» — приказывал я себе и двигался уже в полузабытьи.

Сколько времени шел я до бакенской избушки, как добрался до нее — не помню. Помню только, как перешагнул через порог жарко натопленной землянухи, выпустил из рук тяжелую вязанку, окоченевшего пойнтера и повалился на нары.

Когда меня разбудили охотники ужинать, на столе уже стояла бадья янтарно-жирного супа из уток. Я бессмысленно озирался по сторонам. Душистый пар поднимался к самому потолку землянухи. Кто-то всунул мне деревянную ложку в руку, и я зачерпнул, проглотил горячей ароматной благодати. Я помнил о своем Марсе, но ни спросить о нем, ни оторваться от еды не мог. Молчали и все остальные охотники.

«Пропала собака!» — подумал я и, тяжело вздохнув, зацепил кусок жирной, сочной утятины. Ел и по привычке обглоданные кости бросал к порогу. И вдруг до моего слуха долетел характерный хруст. Приподнявшись с нар, я увидел жующего кости Марса...

За ночь пурга утихла, к утру выведрило, и притиснул сухой спиртовый мороз-рекостав. Иртыш начало схватывать. Паро́м сняли еще вчера: на реке образовались широкие забереги, и только на стрежне с зловещим шорохом шла шуга. Отрезанные от Усть-Каменогорска охотники уподобились зайцам на острове.

С большими трудностями проворные бакенщики переправили нас на городскую твердь. Мой оттаявший, воскресший пойнтер не схватил даже и насморка. Сейчас он лежал на коврике у кровати и следил за каждым моим движением: боялся, что я могу оставить его дома. Я смотрел на него и улыбался. «Видать, душенька твоя тоже дрожмя дрожит»,— подумал я, безуспешно стараясь уснуть в преддверии завтрашней стрельбы на заветном своем мысу. Забылся только на рассвете. А вскочил полный силы и радостного до дрожи, до сладостного замирания сердца ощущения жизни: «Сегодняшним вечером на мысу я уже буду стрелять...» Воображение создавало картину за картиной... «Золотое время... пора упований и надежд...»

* * *

День начался с огорчений. Утром я побежал к оружейнику — старику Меркулычу — за своей двадцаткой. Жена старика — желтолицая болтливая Агафья Захарьевна — сказала, что Меркулыч еще со вчерашнего обеда отправился на Шиловские луга. «Сулился ночью вернуться, да видно пофартунило, и на утрянку остался. Известно, ваш брат охотник не только в слове — в самом себе не волен».

Но и в полдень не вернулся Меркулыч. Это было уже свыше сил. Может, он и до вечера не явится?!

Я заседлал Костю и поехал отыскивать мастера.

Смешной толстяк-коротышка, в высоких болотных сапогах, Меркулыч встретился мне на окраине городка.

— Николаич! — увидев меня еще издали, закричал старик.— Смотри!.. Суда смотри, едят тебя мухи с кома-

рами! — И Меркулыч победительно выпятил опоясанный живот.

На ягдташе вечного, но никогда не унывающего неудачника болтались подвешенные на ремешки несколько чирков и две кряквы.

— Такого пролету — годы ждать! Утей, не поверишь, на каждой озерине — как грязи! Чуть что на самые стволы не садятся! Не твоя бы докука и не моя бы святая обязанность — и на вечерянку бы остался...— Но, увидев мое огорченное лицо, старик поспешил успокоить меня: — Да ты не сердись, едят тебя мухи с комарами, мне это раз плюнуть... Езжай — собирайся без думушки. Часочка через два-три я и боечки пооттяну, и шат устраню в лучшем виде. Езжай, вторительно говорю, это я одноментом, это мне — раз плюнуть...

Дернул дьявол со старым болтуном связаться. Лучше бы к Мине Минееву, тот бы не подвел. Опоздаю! Как бог свят — опоздаю!

Но что было делать? Ружье мое, разболтанное на последней охоте стрельбой усиленными зарядами, окончательно вышло из строя. Я повернул Костю домой.

Ровно через два часа, в полной охотничьей готовности, сопутствуемый взлаивающим Марсом, я подъехал к мастерской Меркулыча. Но старика уже не было дома, и двадцатку мне вынесла Агафья Захарьевна.

— Говорит, справил. Отдай, говорит. Наскоро похватал щей, не переобулся даже и обратно подался: разъело, видать, губу. Да и птица нынче жирна, что твоя сальная свечка... Не успела я со стола смахнуть, глянула в окно, а он так катышком, катышком и покатился. Шутка ли в деле — шесть штук принес. И видно, так уж он уверился в удаче, что как ни спешил, а не забыл — поплевал в свой рюкзачок и сказал: «Плюю на дно, чтоб было полно»...

Но я уже не слушал Захарьевну. Окинув взглядом двадцатку, я попробовал ее «на качку». Ружье вновь выглядело несокрушимо прочным. Сложил двустволку в чехол. Марс бросился вдоль улицы и ни на шаг не отставал.

Сколько прелести в выезде на охоту! Сколько надежд в молодом горячем сердце!..

Теперь бы только перевоз не задержал. Но и паром (я загадал на него: если потрафит — будет удача) не

заставил ждать, отчалил, как только заехал на него, и казашка, с полными ведрами встреченная у реки, и еще ниже опустившиеся тучи, из которых бусил мелкий ситничек,— все обещало отличную пролетную зорю.

Уж если на Шиловском лугу птицы много, то что ж в Бужурах, над моим мысом? Утки на старицах действительно было много, особенно густо она шла над Тихой, и все через мою «притулу». Сердце сладко замирало.

Путь до места охоты показался мне вдвое короче. Подскакал к стогу, скинул седло, узду с коня, положил их в шалаш и отпустил Костю на отаву.

Вынул из чехла разобранное ружье, быстро сложил его и побежал на мыс. Покуда бежал, над самым моим скрадком протянуло несколько табунков темно-сизой северной кряквы.

Ну, раз таежная утка тронулась — успевай заряжать только. И еще на бегу я вложил патроны в ружье.

Когда вскочил в засидку, в ней уже лежал опередивший меня Марс. Удобно разместившись в обмятом просторном скрадке, я взвел курки и замер.

Ветер утих, но с хмурого неба сыпался все тот же бусовой мелкости ситничек. Влажный воздух пропитан нежными, чуть сладковатыми запахами запревших листьев ивняка, увядшей, хваченной инеем травы и побуревшей береговой осоки. Но ни сыпавшейся дождевой пыли, ни бодрящих сердце охотника запахов осени я уже не ощущал. Весь я был поглощен ожиданием первого налета. Вовремя заметить, напустить стаю и быстрыми точными выстрелами начать охоту: удаче первых выстрелов я, как и все охотники, придавал огромное значение. Рядом со мною, устремив глаза на горизонт, откуда должны были показаться утки, недвижно лежал Марс.

И вот он — желанный, замеченный издалека, стремительно надвигающийся на мыс табун северной — «таежной», как зовут ее устькаменогорцы,— кряковой утки. Непуганые, прижатые ненастьем северянки летели низко и кучно. Табун темных крыжней, подковой надвигавшихся на меня, с каждой секундой вырастал перед моими глазами. Уже слышен волнующий, шелковый шелест крыльев, видны прижатые к брюшку оранжевые лапы селезней и уток. «Не стреляй в табун — выбирай цель»,— молнией пронеслось в моем сознании, и я вскинул ружье.

Чак!.. Чак!..— сухо щелкнули курки. Осечка! А утки уже пронеслись над головой. Я стремительно повернулся, выцелил в угонную стаю и нажал гашетки. И снова тот же осечный щелк курков о бойки.

На лбу у меня выступила холодная испарина. Переломив двадцатку, выбросил осекшиеся патроны, вложил новые и повернулся к горизонту. На скрадок надвигался такой же табун северной кряквы.

— Спокойно, друг, спокойно! — трясущимися губами прошептал я, сдерживая охватившее меня волнение.

И снова те же два сухих щелчка курков по бойкам в момент, когда утки были над головой, и две осечки в угон.

Сколько табунов пронеслось через мыс, и в каком чаду был я! Патронташ и запасная сумка опустели. Я перечакал сорок патронов и, как говорится, не открыл огня. Что было! В горячности я чуть не разбил ружье — швырнул его далеко от себя. Не выдержал пытки и вконец измученный Марс, он выскочил из засидки и с обезумевшим лаем стал носиться по мысу. Не передать, какими словами поносил я Меркулыча, и самого себя и любимую свою двадцатку...

Кошмарная эта зоря навечно врубилась в мою память.

* * *

Марс залаял и бросился в темноту. Донеслись негромкие ласковые слова:

— Ну что ты, что ты, глупка. Свой брат — охотник...

— Миня! «Святая душа на костылях»! — вслух сказал я, подбросив дров под чайник, и впервые за весь вечер улыбнулся.

К шалашу усталой походкой подошел слесарь Миня Минеев. Он снял из-за спины старенькую бельгийскую двустволку, старательно обтер ее полой раскисшего полушубка, разрядил и осторожно положил в шалаш.

— Вот и добрался до твоей притулы... Ну, а теперь здравствуй, Николаич,— слабым грудным голосом сказал он и протянул мне тонкую костистую руку.

Бережно, точно опасаясь сделать больно Мине, я пожал его руку, нырнул в шалаш, достал оттуда седло и положил у жарко распылавшегося костра.

— Садись, Миня... Миней Минеевич,— смутившись, поправился я.

— Ну какой я Миней Минеевич. Это даже смешно. Я — Миня. Так и зови меня, Николаич.

Миня опустился на мягкую седельную подушку и так благодарно взглянул на меня синими, детски чистыми глазами, такое у него было блаженно-счастливое лицо в этот момент, что я забыл о всех своих огорчениях и на душе у меня посветлело.

— Вышел поздно, думал, не доберусь и на утренней зорьке не постреляю. А он, пролет-то этот, может, у меня последний... Но господь помог, хоть до твоей притулы дотянулся... Все мы пролетные птицы...

Смысл сказанных Минею слов был совсем не весел, но ни его, ни меня не оставляло радостное настроение от нашей встречи. Чай пили у костра. Я рассказал о досадной сегодняшней неудаче. Миня все так же счастливо улыбался. Иногда он поднимал голову и слушал свист утиных крыл в небе. Чувствовалось, что он до краев переполнен и радостью этого ночного чаепития у охотничьего костра, и тем, что слушает пролетающих птиц.

Помолчали. Все в Усть-Каменогорске знали, что Миню догрызает чахотка, что отец его — тоже слесарь и тоже охотник — очень рано умер от той же болезни. Мине было всего только тридцать пять лет, но он выглядел уже стариком.

«Таких, начисто лишенных практической житейской сметки людей усть-каменогорские мещане характеризовали коротко, но точно: «идевалист — святая душа на костылях»,— сохранилась о нем запись в моем тогдашнем дневнике.

Миня холостяк. Жил он вдвоем со старухой матерью в покривившейся избушке на берегу Ульбы. Половину избушки занимали горн и слесарный верстак, заваленный старыми позеленевшими медными самоварами, прохудившимися чайниками и примусами. Летом избенка Минеевых почти всегда была закрыта на замок: старуха или рылась на огороде, или редиской и огурцами торговала на базаре. Миня обитал в любимых своих Бужурах.

Хотя школьной премудрости в приходском училище Миня набирался всего два года, но питал большую склонность к отвлеченным суждениям. «Без жизни на

природе, без рыбалки и охоты (слесарь считал их «десертом души») жизнь — нестоящий прах»,— говорил он.

За чаепитием Миня утешил меня:

— Так, значит, Николаич, это Меркулыч — «едят тебя мухи с комарами» — подвел? А ну-ка давай мне сюда свою палилку, я над ней пошаманю...

Я подал Мине свою двадцатку.

— Меркулыч — тоже заразный охотник, ничего не скажешь,— улыбнулся Миня.— Это он из-за пролета, в поспешности, не иначе, только подкладочку жестяную под крючки подложил, чтоб не качалось, а припаять-то уже недосуг было. И когда ты, опять же в поспешности, складывал ружье — подкладочка и вывалилась... В запале и не то случается. Ой, ой, как отошли от колодки стволики-то! — заметил он.— Ну, конечно, потому и бойки не достают до пистонов. А капсюли у тебя, понятно, берданочные, жесткие: их только военной пружине разбивать впору.— И обнадежил:— Ну, этому твоему горю помочь ничего не стоит. Напильник и пара гвоздей у слесаря в его сряде всегда найдутся. На утренней зорьке снова будешь стрелять.

К полуночи дождь перестал, но с низкого неба все же сыпалась и сыпалась, словно бы медленно оседала, густая морось, именуемая охотниками «мжичка».

Я наломал ворох сухого черемушника и все время поддерживал жаркий костер.

Миня разделся, развесил сушить «свою сбрую».

— Благодать у костерка-то. Люблю я огонь, Николаич, век бы смотрел на него.— Миня блаженно прижмурил глаза и еще ближе подвинулся к костру.

Узкая грудь и явственная гармошка ребер были туго обтянуты пергаментно-желтой кожей. Босой, голый, лишь в фуражке на голове, восседающий у жарко пылающего костра, Миня с гвоздями и напильником «шаманил» над моей двадцаткой. Сдержанный и даже молчаливый в обычной жизни, сегодня Миня разговорился. И говорил откровенно — от души, словно на исповеди...

Много наслышанный от своих земляков о чудаковатом слесаре, я столкнулся с Миней на охоте у костра впервые и потому внимательно слушал «святую душу на костылях». От земляков же я знал, что больной слесарь ко всему прочему, кроме «душевного десерта», совершенно равнодушен. Но я даже и не предполагал такой фана-

тической увлеченности слесаря охотой, такого младенческого простодушия, какие обнаружил в Мине Минееве.

— Курортой полечиться, говоришь, Николаич? Куда там! Размысли — доступно ли нашему брату Михрютке это? Допустят ли меня эдакого до крымской-то санатории?..— Миня сощурился и оглянул себя, такого жалкого в своей худобе.— Ни в жисть не допустят. Вот она, моя санатория!— Миня махнул костлявой рукой на примолкшие просторы Бужуров.

— Что вы, Миня! То есть как это не допустят? — попробовал возразить я, но Миня прервал:

— Погоди, не горячись, Николаич. Ну, положим, и допустили бы меня. Так я там, без охоты, на любых лекарствах, на любой пище через полгода в доски уйду. Бужуры меня только и держат...

Я знал, что в самом дальнем углу Бужуринской поймы, километрах в четырех от моего скрадка, тоже на мысу, на высоком берегу Талой, у Мини свой, довольно обширный, теплый шалаш, с окном, с дверью и даже со склепанной из жести печуркой.

«Не салаш — катеджа, зимовать можно»,— хвалился своим летним пристанищем слесарь.

«А ведь, пожалуй, без Бужуров Миня действительно давно бы умер в гнилой своей избушке, в ней и здоровый-то долго не проживет»,— подумал я.

А Миня все говорил и говорил о себе без каких-либо признаков самовосхваления — слабости, довольно распространенной среди охотников.

— Нет, без этих лугов, Николаич, без моих карасевых, линевых озер, без камышей, без охоты и жизнь не в жизнь. Подумай только: зима, буранище, в избенке сырость, чад, а я у горна за пайкой самоваров, не закрывая глаз, вижу свою катеджу в этих самых Бужурах ранней весной. Еще чуть-чуть дохнуло с полудня теплом, а уж она, моя безобманная верба-первовозвестница, что растет у самого порога, распушилась-высеребрилась, что хоть на колени падай и молись на нее! Тут луга начнут и сверху и снизу потеть, болотины по ночам сопеть, вздыхать, словно тесто в квашне. А потом Иртыш разливом как хлынет на них!.. Пробрызнет трава. В озерах, в старицах рыба заплещется. Прилетит птица и засвистит, закрякает, запоет. А уж как радуются, как любятся... Положишь ружье — стрелять не хочется. Слушаешь

не наслушаешься, глядишь не наглядишься: одна другой голосистей, нарядней... Десятый год я словно бы светло Христово воскресение встречаю на благодатном своем мысу, а не поверишь, все едино, точно в первый раз, все внове... И понимаешь, Николаич, среди всей этой природности я себя губернатором чувствую. А любая санатория для меня — тюрьма.

Миня так ожесточенно стал опиливать гвоздь, придавая ему форму бойка, точно хотел распылить его в порошок.

— А осень! Инеек хватит траву, она высеребрится вся и, как весной, снова запахнет лимонатом. Журавли застонут в небе, и пролет начнется. Ну как же, как же тут утерпеть?! Да может, и пролет-то мой этот последний!..— снова негромко, как-то притушенно повторил Миня больно резанувшую меня скорбную фразу.

Миня говорил, а худые руки его неустанно работали. Речь его текла плавно и мягко. Так говорят о давно продуманном, с чем уже смирились и ничего другого не ждут от жизни. На его иссеченном ранними морщинами, никогда не загорающем бледном лице в отблесках жаркого костра было удивительно добродушное выражение. Я не отрываясь смотрел на него. От охотников я слышал, что чудак Миня никогда не стреляет ни тетеревят, ни утят-подлетышей: «они же еще дети малые». Не ахнет он и в сгрудившуюся у куста на ночевку стайку серых куропаток: «двух-трех убьешь, а пяток заранишь». Не бил он и в лежащего, издалека видного во время чернотропа зайца-беляка: «ты к нему уже вплотную подошел, а он, бедняга, только ужимается. Ну, как его такого!..»

— Чудак вы, Миня, право, чудак: да ведь с первого октября, по черной тропе, охота на беляка законом разрешена.

— Закон. Что закон? Его и обойти можно. Совесть не дозволяет. А совесть не обойдешь... При случае прошу охотников, убеждаю, что такое подобное преступство и от бога грешно, и от людей совестно. Да где там!..— Миня безнадежно махнул рукой.

Отложив напильник, он сидел, обхватив колени руками, и в глубокой задумчивости свесил голову на грудь.

— Да и разве могу я сладить с людьми? — после длительной перемолчки снова заговорил Миня.— Когда они не только зайца и птицу — друг друга норовят обидеть,

Собака у меня — сеттерок — нежных кровей была. Стрункой звал. Уж так-то ли она помогала мне!.. Сосед-мясник сгубил: иголку всунул в кусок печенки и скормил ей. Человек ли он?! Самое дорогое губят. Разве это жизнь?..

Он вспомнил вдруг о юности, о любви:

— Когда мне было девятнадцать лет, и я, Николаич... Ну, одним словом, сам понимаешь... А ее в деревню, за бородатого пасечника вдовца-раскольника силком выдали. Узнал я — сердце у меня так и зашлось. Сказывают, тиранит нещадно...

Миня замолчал. К шалашу с жарким костром вплотную подступила осенняя темная ночь. Одежда Мини просохла, и он с удовольствием оделся.

Вскоре слесарь в колодку моего ружья вставил новые, удлиненные бойки.

— Возьми, Николаич. Эти не подведут... Теперь спать бы да спать — самый развал ночи. А спать не хочется, расшевелил я себя — до зари не усну.

Со старицы донеслось кряканье потревоженной кем-то птицы.

— Непременно хорек на берегу, а может, лиса на отмели,— как бы про себя сказал Миня и снова умолк. Задумался. Потом проговорил: — Да, была и у меня любовь. И все было. И все прошло... Как говорится в поэзии: «Ничто не вечно под луной...»

И вдруг Миня — этот безнадежно больной тридцатипятилетний старик — заговорил стихами:

Где ты, где ты,
О друг мой далекий
Отзовись, поспеши ко мне...

Глаза его были устремлены куда-то в глубь себя. Казалось, он забыл и обо мне, и о любимых своих Бужурах. Но вот, встряхнув головой, словно отгоняя мрачные мысли, он совсем тихо, почти шепотом, договорил им ли сочиненные или чужие чьи-то стихи:

И двустволка системы
Толетта
Сиротинкой висит на стене...

— Хватит, приляжем, Николаич, до зорьки еще не близко...

Легли в шалаше. Я не шевелился. Миня же все время ворочался и тяжело вздыхал.

— Осенние перелеты! Пуще всего люблю я их: птица отыграла на весенних токовищах, птенцов вывела, нажировалась. Одним словом, закончила положенный ей круг жизни... Я тебе, поди, мешаю?

— Что вы, что вы, Миня!..

— Весной мне и селезня жалко бить. И березку срубить муторно. Весной я больше любуюсь на природную жизнь: у каждой букашки, зверушки, птицы — своя смекалка, свой норов. И каждую я понимаю насквозь. По траве, по лопуху знаю, на каком озере какая птица загнездится...

Перед утром я заснул. Разбудил меня Миня. Уступив ему свой скрадок на мысу, мы с Марсом ушли на излучину Тихой.

Пролет хотя и был много слабее, чем вечером, но и я и Миня славно постреляли на утренней зорьке.

Я предложил Мине уехать со мною в город, но слесарь решительно отказался:

— Вот если уважишь, Николаич,— дичину мою прихвати и маменьке отдай. А я потихонечку потянусь в свою катеджу и до конца пролета поживу. У тебя-то все впереди, а мне успевать надобно. Стреляю, а все думаю: доживу ли до следующего пролета,— печально улыбнулся он.

Я уехал в город один.

...До следующего осеннего пролета Миня не дожил: ранней весной он умер. Умер на охоте, в заветных своих Бужурах, в любимой своей «катедже».

Как-то осенью я завернул к матери Мини — занес ей пару убитых селезней. Над бывшей кроватью Мини на стене висела старенькая бельгийская двустволка, и я вспомнил стихи, читанные слесарем прошлой осенью:

Где ты, где ты,
О друг мой далекий,
Отзовись, поспеши ко мне...
И двустволка ситемы
Толетта
Сиротинкой висит на стене...

Первое отъезжее поле

Возмутителем моего охотничьего спокойствия осенью 1924 года оказался самый неподходящий для этой роли «молчун», склонный к ранней полноте слесарь Владимир Максимович Напарников.

За добродушие и простоту все знающие его устькаменогорцы звали просто — слесарь Володя. Так вот этот-то слесарь Володя, которого по общему убеждению ни внезапный пожар его избенки, ни землетрясение не способно было вывести из равновесия, прибежал ко мне в редакцию с вытаращенными глазами и, распираемый новостью, еще на пороге выкрикнул:

— По-о-шл-а! Та-а-бу-у-нами!..

И я, двадцатичетырехлетний демобилизованный из Красной Армии «ответственный редактор журнала «Охотник Алтая», как пышно подписывались тогда мои журнальные передовицы, и «разменивающий девятый десяток» старик-секретарь редакции, мой бывший учитель Григорий Евграфович Борзятников, оторвались от гранок очередного номера.

— Какая?

— Когда? Где видел?

— Северная! Сегодня... Над Иртышом...

— Да ты сядь, сядь, Володенька, и толком...

С молодо вспыхнувшими глазами, тучный, безнадежно отяжелевший, но в душе все еще страстный охотник Григорий Евграфович подвинул слесарю стул и, приложив ладонь лопаточкой к уху, приготовился слушать всегда необычайно волнующую усть-каменогорских охотников новость о ва́ловом пролете северной птицы.

— Вышел я на солнцевосходе на рёлку — в устье Ульбы — переметишки на налимов с вечера бросил... и вчера еще галки в небе шубой свьюжились — ворожили. Ну, думаю, вот-вот повалит...

Только взялся за хребтинку перемета, а они нйзом, над самой серединой Иртыша — табун за табуном, как из рукава!..

Я к Ивану: так и так... Митяйка, конечно, не отстал — тоже с нами... Втроем с час понаблюдали. Иван и говорит: «Беги к Николаичу — обрадуй. Да непременно скажи — вечером соберемся: пора плановать,— вслед за утьвой — невдолги за большими печенками [1], а там и за лисами, за волками к Джеке...»

Захлебистый рассказ всегда спокойного, увальневато-медлительного слесаря, мóлодо загоревшиеся глаза древнего старика Борзятникова (о себе уже не говорю, хотя я с трудом удержался, чтоб не закричать «ура!») — красноречивей всяких слов выражали радость наступления долгожданных отъезжих полей.

Окрестности нашего уездного городка в те годы славились обилием и разнообразием дичи.

Особенно увлекательны были осенние отъезжие поля под Красный яр — на просянища за скапливающейся там в это время в несметном количестве ожиревшей кряквой. Чуть позже — в заиртышские ковыльные степи за сторожкими гигантами — дрофами, а по первым порошам — в монастырские горы к казаху-беркутятнику Джеке за лисами и волками.

И как бы ни была легка и добычлива даже для малоопытного «зеленого пуделя» летняя стрельба местовой дичи, осень — золотая пора матерых усть-каменогорских охотников. Ее ждут, о ней мечтают, к ней готовятся с великим тщанием.

Пешие — «сходные по ногам» — намечают извечные пролетные трассы в окрестных поймах, на островах и косах Иртыша и Ульбы.

А конные? Мечты их — крылаты. Куда, куда только не собираются они!

Готовясь к осенним отъезжим полям, охотники ночи напролет подгоняют все домашние работы, подкармливают коней. Служилый люд приурочивает отпуска. А перед отпусками, выгадывая лишний денек, работают сверхурочно и даже в воскресенья: только чтоб осенью, закатившись в степи, в горы и в леса — подальше от города, подольше побыть с глазу на глаз с возлюбленной

[1] Печенки — дрофы.

природой, с ее вечной, необманною красотой. Забыться, забыть постоянные думы о «хлебе насущном», о нуждах и печалях, послушать дыхание земли.

Не закрывая глаз, видишь пылающий костер, меркнущие на лету искры, черное небо над головой. Вокруг — бескрайняя ковыльная степь и вселенская тишина. Только бурлит котел, да клокочет закипевший чайник...

Немало пережито светлых охотничьих ощущений с дорогими мне товарищами по охотам!

И как бы, как бы ни было хорошо настоящее — во сто крат кажется оно краше, когда станет невозвратно минувшим...

Не знаю, суждено ли повториться чему-либо в будущем хоть один еще раз! Вряд ли: неотвратимо близится старость с ее утратой яркости и силы ощущений!..

Но прежде чем приступить к рассказам об отъезжих наших полях, я позволю себе напомнить читателям о жемчужине охотничьей литературы из времен крепостничества «Записках мелкотравчатого» Е. Дриянского, блистательные сцены из которых приводили, да и сейчас еще приводят, в восхищение всякого читателя, в груди которого бьется охотничье сердце.

И пусть действующими лицами «Записок» были канувшие в Лету графы Атукаевы, крупные и мелкие помещики Алеевы, Стерлядкины и Бацóвы, но главными-то подлинными героями их все же были крепостные ловчие, доезжачие, псари и подпсарки — Феопены, Афанасии, Егорки, Пашки, Васьки. Они воспитывали стаи гончих и борзых, не щадя живота, правили ими, лезли в ледяную воду, в топь, в крепи, мастеря зверя на ухоронившихся по опушкам островов, дрожащих от волнения господ — псовых охотников.

Не могу не привести хотя бы краткую выдержку из несравненных «Записок»:

«...я дрогнул в седле.

В острове в один миг, как будто упавшая в пропасть, взревела стая. Но что это были за звуки! Это был не взбрех, не лай, не рев — это прорвалась какая-то пучина, полилась одна непрерывная плакучая нота, слитая из двадцати голосов: она выражала что-то близкое к мольбе о пощаде, в ней слышался какой-то предсмертный крик тварей гаснущих, истаивающих в невыносимых муках. Кто не слыхал гоньбы братовской стаи, тот может

вообразить только одно: как должна кричать собака, когда из нее тянут жилы или сдирают с живой кожу...

Загудел рог с двумя перебоями... и вслед за тем голос этого колдуна повершил всю стаю:

— Слу-у-ша-ай! Вались к нему! Эх, дети мои! О-го-го-го!

Сам сатана, вселясь в плоть и кровь человека, не зальется и не крикнет таким голосом! Нет, буква мертва и не певуча для выражения этих, не для нее изготовленных, песен...

«Так вот он ловчий»,— думал я и чувствовал, что меня треплет лихорадка.

— Слышал? — спросил меня Атукаев.

— Да...— протянул я, недоумевая, что сказать.

— Взгляни на Луку,— прибавил граф.

Я посмотрел на Бацова: сзади Алексея Николаевича, он утирал платком глаза.

— У-а! Вались к нему! У! — раздалось снова в болоте, и стая залилась еще зарче, пошла вразнобой, несколько голосов повели в нашу сторону.

Прямо на нас выкатил переярок...»

Талантливое описание псовых охот земельных магнатов крепостной России, разъезжавших целыми обозами с многочисленными слугами, с поварами и брадобреями по всей губернии, а многие даже и по соседним губерниям в горячий осенний сезон охоты из-под гончих со всеми их удачами, невзгодами и случайностями, в которых с какой-то непреоборимо-влекущей, притягательной силой проявлялось охотничье молодечество,— и до сего дня волнует сердце охотников.

Но иные времена — иные песни. И совсем не важно, что у нас не было ни «оркестрово-подобранных, голосистых» стайпаратых гончих, ни атлетов-злобачей борзых, в одиночку берущих матерого волка, за которых нередко помещики отдавали по нескольку семей крепостных: противоестественным, диким казалось нам и самодурство самодержавного степного владыки, запарывающего псаря за не вовремя спущенного на зверя борзого кобеля.

Да, иные времена — иные песни. Знаменитый нэп, с шумными, многолюдными базарами, с буханками горячего белого хлеба, с поросятиной и гусятиной из пригородных деревень. С первыми хозяйственными и строительными дерзаниями молодой Советской республики.

А главное, главное, что и сами мы были молоды тогда. И все, за что бы ни брались мы,— все удавалось. Удавалось, может быть потому, что отдавались мы нашему делу не вполсилы, а во всю мочь неукротимого молодого азарта.

И лучшим из лучших, единственным, ни с чем не сравнимым отдыхом охотников была охота.

И наши скромные, однако по-своему также поэтические отъезжие поля до самозабвения увлекали нас.

* * *

Собрались у меня в тот же вечер.

Но прежде всего,— кто же мои спутники в отъезжих полях?

Двое из них, да не обидятся на меня мои земляки, лучшие из лучших охотники. И это не вольное мое определение. Нет, это признание всей нашей стрелецкой громады. А среди устькаменогорцев, где каждый третий считал себя достойным охотником, прослыть первоклассным, каковыми заслуженно прослыли шубник Иван Корзинин и слесарь Володя,— дело не такое уж легкое.

Владимир Максимович Напарников — сосед и друг детства братьев Корзининых — из опасения, что женитьба свяжет, предпочел остаться холостяком. Ему двадцать восемь лет, а по понятиям устькаменогорцев это уже — безнадежный перестарок. По бедности — он пеш. Весь его достаток — «золотые руки» да тяжелая самодельная двустволка с длиннейшими стволами, которую злоязыкий озорной Митяйка Корзинин почему-то прозвал «единорогом». Братья Иван и Митяйка — шубники. У них свое кустарное шубное производство. За кройкой и пошивкой полушубков из выдубленных ими же овчин работает вся их семья. В обычное время, кроме осеннего сезона, их охоты — в теснейшей зависимости от основной работы. Есть досуг — они ярые охотники, нет — работа в вонючей землянке у чанов с выквашивающимися овчинами.

Но осенью охота властно отодвигает все их суетные житейские расчеты.

Братья — потомственные охотники. Отец их — высокий, жилистый старик Поликарп Мефодиевич — передал

своим детям «дианину» страсть, охотничью смекалку, неуемность в ходьбе и отличное знание ближних и дальних угодий.

У Корзининых — откормленный на жмыхах и отрубях рослый гнедок мерин Барабан, приличная ирландская сука — Альфа. Старик Корзинин, при сборах нас в отъезжие, привлек мое внимание несвойственным уже его возрасту охотничьим задором, интересными рассказами о прежних своих охотах, дельными советами и напутствиями по маршрутам наших поездок.

— На Джакижаныче сделайте перьвую остановку: атайки, мелкой утвы — там невпроворот. А у аула Марсека — пробегитесь по сиверам: в шиповнике, в таволганах тетерева в обильности на́дорожатся. Мы без собак их там всегда ногами выпинывали...

Перьвые табунки дудаков, еще не доезжая Караузька, влево от дороги, по мелкосопошнику каждогод встречались...

И хотя охотничье время старика от нашего отделяло не одно десятилетие, советы Поликарпа Мефодиевича частенько помогали нам.

Любили мы и его всегда правдивые, с присущими только ему интонациями и жестами рассказы о незаурядной своей стрельбе и стрельбе своих товарищей по охотам: «Смотрю — ле́тит. Не лети́т, а ле́тит. И высоконько. Я накинул стволами — стри́лил — она оттуда с голком об земь, да так, что зоб лопнул!..»

Рассказывая, старик и стремительно выкидывал воображаемое ружье, и картинно представлял, как падала убитая птица.

— Удалей меня стрелял только неразливный дружок мой — плотник Василий Кузьмич Сухобрус. Левша, жердястый, длиннорукий, но несказимо дюжой в ходьбе и проворный в стрельбе. Бывало, налетит на него табун дудаков, а у него два патрона в стволах и один в руке. Накинет он насустречь стволами, стри́лит и раз и другой. Переломит, всунет патрон, да и вдогонь стри́лит. И как огнем — стрех самых крупных дрофичей сожгеть. Я было тоже пробовал, но у меня не получалось...

Старший из сыновей Иван — наш бригадир — женат, у него двое детей. Он в отца — подборист, по-охотничьи щеголеват. Сухоног. «Несказимо» (употребляя слова его отца) «дюжий в ходьбе». Казалось, он сплетен из одних

выносливейших костей и мускулов. С такими же, как и у отца, небольшими, зоркими глазами.

Но не столь говорлив, а даже наоборот, как-то подчеркнуто строго сдержан. Иван любит больше слушать. А когда заговорит, для бригадирской убедительности в речь свою любит вставлять «учено-интеллигентные», как он их понимает, слова. С детства, с поездок с отцом за караульщика у палатки, позже за загонщика, он досконально изучил всю охотничью округу. Отличный стрелок, как и отец. Иван почти не знает промахов из своей тулки. И что особенно поражало меня, так это необычное его искусство стрелять в ночной темноте. Уже давно потухла заря. Темь — пальцев на руке не видно, охотники давно вернулись на стан, а выстрелы Ивана все гремят и гремят в лугах. И знаем — редким промахнется он.

Глаз у него кошачий — с поперечным зрачком — объясняли усть-каменогорские охотники навык Ивана «навскидку», по слуху и какому-то безошибочно-звериному чутью в темноте поражать стремительно летящую птицу.

Шестнадцатилетний, как и отец говорун, певун, веселый, озорной Митяйка на переломном возрасте. Но, несмотря на молодость, у него широкие плечи, юношески тонкий, гибкий стан. Во всей его фигуре, в каждом его движении ощущается родовое проворство, ловкость, ястребиная зоркость глаз. Митяйка горяч, как молодой, только что взятый егерем на выучку пойнтер.

На охоте он частенько «срывался». Как горячему пойнтеру, ему требовался «строгий парфорс». Этим «парфорсом» для него и был его подчеркнуто сдержанный, рассудительный старший брат.

За озорство, за горячность мы нередко дружески подтрунивали над ним. Митяйка не всегда огрызался, но по его лицу было заметно, что он досадовал.

Охотничье самолюбие развилось у него не по годам рано: «обстрелять» кого-либо из нас для Митяйки было заветной мечтой на каждой охоте. Выбрать, занять раньше других лучшее местечко во время пролета птицы Митяйка в грех не ставил. Правда, за это ему крепко попадало от брата, но он стоически переносил и брань и угрозы.

Зато как же сияло лицо самолюбивого паренька, как

победительно сверкали озорные его глаза, когда, возвращаясь с зари на стан, он приносил хотя бы на одну утку больше кого-либо из нас!..

— Одноутробник, брат он мой, да разум-то у него свой: плутовства в нем, что репьев в овце,— не оберешь...— осуждающе говорил о младшем брате Иван.

Митяйка — любимец старика Поликарпа: «В меня он: на поговóрье — лют, в каждое слово щетинку всучит. А уж удал, поспешлив — ходит так, что от него ветром дует. «Митяйка-пуля» смальства звали мы его с матерью. Я такой же и шустрый, и собачей, и охотник смолоду был, до женитьбы с ружьем в обнимку спал...» О любимчике — «младшеньком сынке» — старик готов был говорить без конца.

У слесаря Володи все крупное: широкое лицо, грудь, спина, кисти рук. Он слегка сутуловат и, как большинство сутулых, страшно силен.

Говорит Володя только после сытного обеда, а потому роль кашевара не уступал никому. Занимается он поварским делом весьма серьезно. И вообще Володя не терпел «коекакничества» ни в каком деле.

«Любовь к кашеварскому делу,— говорит он,— перешла мне по наследству: батянюшка поваром всю военную службу у ротного котла продежурил. Вот и я к котелку, к сковородке накрепко пришурупился. Грешник, люблю пожрать. И все бы хорошо, но чемодан,— которым он презрительно величал свое брюхо,— врагом моим становится. Ловкость пропадает. Где бы пониже пригнулся — мешает. Ноги и те словно бы короче становятся».

Володя открыт, услужлив, девственно застенчив с женским полом. На охоте он безропотно переносит любую неудачу.

Таковы мои всегдашние спутники в отъезжих полях. Среди них, кроме Митяйки, я — самый малоопытный и менее удачливый, но жадный до всякой учебы, особо охотничьей. Мне оставалось только выполнять указания Ивана и Володи. Охотились мы всегда коммуной — дичь делили на четыре равные части. Догадываюсь, что принять меня в отличную свою компанию их понудил ряд обстоятельств. Как и они — я от рождения был крепко «ушиблен» тем же «дианиным» недугом и предавался ему беззаветно. На охоте же, да еще в дальних поездках

и на стану «невоодушевленный — мертвяк» (так величал Иван Корзинин палил-дилетантов, зачастую из моды имеющих и дорогие ружья, и породистых собак, но не способных сопереживать всей прелести жизни среди природы) «непереносен, как глухой среди музыкантов».

Второе — у меня знаменитый по резвости и выносливости на весь городок конь калмык Костя, специальная, удобная для охоты рессорная линейка — «долгуша». Впряженные в нее парой добрые наши кони не знали расстояний. И к тому же я редактор журнала — средоточие всей культурной охотничьей жизни городка: дружба со мной им, очевидно, была не безразлична.

Так вот эти-то мои друзья и собрались у меня на большой совет перед отъезжими полями в сезон 1924 года.

Предстояло решить, с чего начать наши отъезжие поля: когда и куда ехать на первый, большой пролет кряквы.

Наш бригадир — приодевшийся в новый костюм, тщательно причесанный — выглядел необычайно торжественно. Он нервно поглаживал гладко выбритый подбородок и вопросительно глядел на меня и Володю. Мы же молчали — думали. Митяйка по безудержной горячности не выдержал томительной перемолчки и, решительно сверкнув глазами, выпалил:

— Завтра! И непременно — на Корольки! Ее там теперь — лопатой греби...

Но Иван, словно и не слышал слов брата, продолжал все так же выжидательно смотреть на нас.

Меня задерживали гранки журнала и незаконченная передовица (заготовка на следующий номер, чтоб с легким сердцем пойти в месячный отпуск), Володю — ремонт прокурорского охотничьего ружья. И как нам ни хотелось бросить все и окунуться в сладостную горячку сборов — мы молча продолжали обдумывать день выезда.

Бригадир, отлично понимающий нас, не торопил с ответом.

— Да что же это за казнь египетская: один молчит, другой — ни слова! О чем тут думать? Завтра, и только на Корольки. Там она теперь шапку с головы будет сбивать,— чуть не плача, вновь взорвался Митяйка.

Иван круто повернулся к нему и, презрительно сощурив глаза, оборвал братца:

— Тебе вынь да положь — тогда и хорош — завтра. А ты забыл, что у Николаича неотложные научно-культурные, а у Володьки слесарные — дела могут быть. Да и у нас целый чан овчин не выквашен.

А потом завтра на эти излюбленные твои Корольки вся братва и пéшки, и на лодках в первую голову кинется. Нет, о Корольках рассудительной речи быть не может! Я предлагаю под Красный яр.

— Еще лучше! К дьяволу овчины! И непременно, непременно завтра! — заспешил Митяйка.

Но Иван, не слушая его, продолжал:

— Я думаю, что денька через четыре, в пятницу, и мы, и Николаич, да и Володьша — подуправимся, а за это время пешаки шуганут с корольковских стариц утку, так что вся она сдвинется на недоступные красноярские гольцы — на дневки. К пятнице и луна в колесо вызреет. Ночами же крякве фактично плыть да быть — на просянищах...

План бригадира устраивал и меня, и Володю.

— Гут, Иван Поликарпович! — сказал я.

— Да еще какой гутище! За это время я и с прокурорским ружьем покончу! — просиял медлительный на слова Владимир Максимович.

— А теперь до дому, до хаты...— надевая шапку, двинулся было к порогу Иван, но из другой комнаты с подносом и стаканами чая вышла моя жена и пригласила:

— Чаек пить пожалуйте, товарищи-охотники!..

— Спасибочка, Анастасия Ивановна, до чая ли тут, когда на охоту спешить надо. Кто как, а я быстрым зверем-барсуком побегу в мастерскую. За ночь-то я денек-другой выгадаю: ждать до пятницы — слюной изойдешь...

И вновь братца-торопыгу остановил бригадир:

— Тебя и хлебом не корми — только на охоту возьми. Ни в какую мастерскую ты не пойдешь — ключ у меня. А за чайком мы об деле преспокойно, преблагородно поговорим...

— Правильно, Ваньша, чайку попить, да об охоте поговорить — почти что на охоте побыть,— с готовностью присоединился к другу большой любитель чая слесарь Володя.

* * *

Про моего коня Костю и сеттера-лаверака Кадо усть-каменогорские охотники с завистью говорили: «Собаку да лошадь деньгами не укупишь — их посылает счастье».

Гнедой, рослый (полумесок калмыка с дончаком), ширококрупый Костя, купленный двухлетком-дикарем на первый учительский зароботок у выкрещенного богатея-калмыка Кости, выезженный мною, шел на свист, как собака, не боялся выстрела, сноровисто мастеря, достигал преследуемого по пороше волка. Обычно раньше меня он обнаруживал звериную сакму и неуправляемый скакал по ней. Не раз Костя спасал меня от неминуемой смерти.

Сеттер-лаверак Кадо, с белоснежной, тронутой иссиня-черными крапинами, шелковистой и длинной псовиною, происходил от собак, украденных во время первой мировой войны прапорщиком Васькой Тропиным из питомника польских князей Вишневецких. Прапорщик с разбитыми бандами анненковцев бежал в Китай, бросив двух щенков на руки престарелой матери. От них устькаменогорцы и повели невиданную до этого в нашем захолустье породу лавераков.

Лучшей легавой собаки по чутью, по страсти, по врожденной деликатности я не знал.

Молодость, любимое дело (а созданию первого советского охотничьего журнала я отдавался целиком), добрая жена, верные товарищи, как мне казалось тогда, составляли «золотую пору» моей жизни. «У каждого человека,— думал я,— наступает счастливая пора, когда и жизнь, и каждое его дело катится как по маслу».

И охотничий конь, и собака всегда заранее угадывали о моих сборах на охоту. И каждый по-своему выражал нетерпение перед выездом.

Вот и теперь, запряженный в долгушу Костя, в красивом волнении, изогнув шею, рубил копытом землю. Выворачивая темно-фиолетовый глаз, косил им на нас, когда я и жена укладывали на линейку охотничьи вещи.

Ошалело лаявший Кадо то бросался к коню и вылизывал ему морду, то вскакивал на долгушу и, полежав на ней, спрыгнув, бросался к воротам, пытаясь зубами открыть их. Не справившись, он кидал лапы ко мне на

грудь, нервно трепеща, смотрел мне в глаза и отрывисто взлаивал.

И действительно, Костя и Кадо, оставившие счастливый след в моей молодой охотничьей жизни — были не куплены мною за деньги: их милостиво подарила мне судьба.

Наконец все было собрано (основная укладка багажа нашей коммуны всегда производилась на дворе у моих спутников под непременным наблюдением старика Корзинина). Мы с женой сели на линейку, и под радостный лай Кадо Костя вынес нас за ворота.

* * *

На большом дворе Корзининых шла такая же суета сборов. Слесарь Володя уже принес своего «единорога» и объемистый рюкзак, набитый преимущественно овощами и всякими потребными для кулинара специями (в охотничьей нашей коммуне все было заранее оговорено).

Митяйка носился из дома в амбар, из амбара в погреб и складывал приносимое на расстеленный среди двора брезент, где священнодействовал седенький, как иконописный божий угодник,— Поликарп Мефодиевич.

Однако хлопоты сборов не мешали Митяйке поминутно выглядывать за ворота: «Что-то запаздывают?! Не случилось ли, боже упаси, чего?!»

Но вот Костя на крупной рыси подлетел к дому Корзининых: полотнища ворот тотчас же распахнулись. Мы въехали во двор, и ворота сразу же захлопнулись: по суеверному поверью Поликарпа Мефодиевича сборы на охоту должны быть без чужого, «черного» глаза.

— Боже вас упаси, на охоту собираться при полых воротах. Что вы там ни говорите, а не перевелись еще ведьмы и в наше время. Есть такие, что не дай и не приведи! Да чего далеко ходить — когда в нашем квартале та же старуха Самойлиха, испятнай ее в сердце, в душу, в овечий хвост. Узорит — и хоть не езди. Из-за нее мы чем свет или ночью с покойничком Василием Кузьмичом на охоту выезжали...

При окончательной укладке на мою долгушу продуктов, одежды и снаряжения, необходимого для нашей «коммуны», Поликарп Мефодиевич пребывал в необы-

чайном волнении: ничего не забыть, уложить в палаточный брезент, увязать так, чтоб ничто не мешало в пути, не брякало и, боже упаси, не потерялось...

«Не допущу никого к укладке: будто сам собираюсь на охоту. И будто молодым себя чуйствую»,— рассуждал старик.

Мы только молча помогали ему. А жены наши — одна перед одной — все подавали старику в объемистую кожаную суму и калачи, и шаньги, и пироги, и чай, и сахар.

Поликарп Мефодиевич принимал, бережно укладывал с приговором: «Давай, давай, бабочки: чем меньше у вас еды дома останется — тем с большей радостью встретите мужиков с добычей».

Но вот наконец все уложено, увязано, мы сели на линейку, и старик истово перекрестил нас. Митяйка распахнул ворота. Давно обнюхавшиеся Кадо и Альфа с истошным лаем выскочили на улицу.

Я взял вожжи, застоявшиеся кони рванули с места. И старик и женщины что-то кричали нам вдогонку, но мы уже не слышали их: мы отправились в первое отъезжее поле.

* * *

И городок, и паромная переправа через Иртыш, и прииртышский казачий поселок Меновное давно позади. Поднявшись на первый изволок, мы вырвались на просторы левобережья. Перед нами распахнулись светлые степные дали.

Люблю я степь и ранней весной, когда на краткий срок зазеленеет, зацветет она тотчас же, как только сбросит с себя снежный покров. Когда на пышные ее ковры многоцветных вéтренниц по взгорьям, солнечно-золотых калужниц и лютиков по мочажинникам — в весенний пролет — стаями опускаются покормиться сановито степенные, сторожкие кроншнепы с неправдоподобно длинными, изогнутыми, как ятаганы, клювами. Мне они почему-то всегда кажутся загадочными, философски-сосредоточенными гостями из нездешнего мира. А сопутствующие им подбористые, вечно или кувыркающиеся в воздухе, или же семенящие малиновыми ножками по берегам озерин — хохлатые, празднично-нарядные чибисы — беспечно-легкомысленными гулеванами.

Люблю ее и знойно-миражным летом, когда зацветут ковыли, выбросив седые, мягкие, как куделя, пряди — точно солоноватое море, колышутся и колышутся они до самого горизонта. Чуть глаз обнимет, и все-то ковыль, все-то искрящееся серебро переливается и переливается под солнцем, убегая к голубому подолу неба.

Люблю и сейчас, осенью — с блеклыми, выжженными буграми, с желтыми плешинами сурчин, с проплывающими над ними орлами, с стеклянной прозрачностью золотого от солнечного света воздуха, пронизанного горьковатым душком полыни.

Люблю я и лес багряной осенью. Как полуобнаженная красавица, манит он к себе охотника: в глухих, темных его кущах много и таинственного, и своеобразной величественной красоты...

Но, признаюсь, мне, выросшему рядом с заиртышской ковыльной степью, душно, тесно в лесу — нет простора взору.

Другое дело — степь, земля да небо. Широкая, родная степь, с ее невыразимой тишиной, навевающей на мою душу всегда ожидание новых волнующих охотничьих ощущений...

После первых осенних перетрусок накатанная, блестящая, точно насаленная дорога шла по границе степи и прииртышской поймы, с ее котлубанами и озерками, старицами и заливами — угодьями пеших усть-каменогорских охотников.

Уже далеко остались промелькнувшие на скором ходу окаймленные осокой, камышами и кустарниками корабейниковские, бужуринские, корольковские острова.

Дорога все отходила и отходила влево и в глубь степи от прииртышской поймы.

Теперь уже и слева, и справа, и впереди расстилалась все та же заманчивая, всегда чем-то таинственная древняя ковыльная степь.

Дальше, дальше...

Сытые кони, пофыркивая, шли ходкой рысью. Костя, как всегда азартный в паре, горячась, высоко нес голову и, поматывая ею, «попрашивал вожжей».

Безлюдье, тишина, усладительная зыбкая качка рессорной долгуши навевали неодолимый сон на моих спутников. Спали, устроившись у моего бока, Кадо и Альфа. Даже крепившийся и осуждающе поглядывавший на

дремлющих товарищей Митяйка, даже и он нет-нет да и «поуживал окуней». После каждого «клевка» он опасливо оглядывался на спутников. Сорок верст для пары наших коней — не расстояние: проехали уже бо́льшую половину.

И вдруг из-за увала низко, над самой дорогой и нашей долгушей с тугим характерным свистом крыльев нас накрыл табун дроф. От неожиданности я натянул вожжи и крикнул:

— Дро-о-о-фы!

Сон точно ветром сдуло с моих товарищей. Как всполошились они, хватая ружья, расстегивая патронташи.

А степные исполины, казалось, медленно машущие крыльями, уже пронеслись над увалом и, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, вскоре растаяли в воздушном океане. Лишь словно парус уходящего за горизонт корабля, изредка сверкал на солнце стальной отблеск могучих их крыл.

Митяйка сорвался с долгуши и помчался им вслед, но, добежав до увала, остановился, притенив глаза, стал наблюдать за табуном: ждал, не спустятся ли дрофы на соседние пашни.

Прошло несколько минут, а он все не возвращался.

— Вот увидите, что Митька начнет уговаривать попусту солому молотить — время проводить, попытать счастья погоняться за ними. Уж я-то его знаю,— сказал Иван.

И действительно, Митяйка еще на бегу закричал:

— Опустились на донские пашни! Восемнадцать штук... А уж здоровы, как бараны!

Митяйка задохнулся от волнения.

— А уж жирны — сало на полету с хлупей так и брызжет! А что самое главное — дуры дурами, ждут не дождутся тебя, Митенька, с утиной-то дробью,— спокойно, с совершенно серьезным лицом сказал Иван.

— Не догнал? Жалко! — добродушно подтрунил и «молчун» Володя.

Митяйка понял, что спорить с ними бесполезно. Он махнул рукой, перешел от них на другую сторону долгуши и молча сел рядом со мною.

Я тронул лошадей: до заветных лугов с коммунарскими просянищами было уже недалеко. А вот и долгожданный отвороток с степного большака к распаханным и за-

севаемым ежегодно коммунарами почти одним просом пойменным лугам.

Степь осталась слева, внизу направо раскинулась обращенная в поле пойма, кое-где изрезанная взблескивающими стеклышками озерин.

В конце просянищ, далеко на горизонте — Иртыш. За Иртышом, на правобережной, нагорной его стороне — село Красный яр.

Обширную, гектаров на тысячу котловину пойменных лугов со стороны степного большака наподобие гигантской подковы окантовал высокий берег, именуемый у нас венцом. Венец невысок, метров двадцать — тридцать. Крутые склоны его заросли шиповником, колючим ежевичником, повиликой. В седые тысячелетья волны Иртыша плескались у подножия венца и, постепенно отступая, образовали эту благодатную, обогащенную плодородным илом пойму... На поднятой коммунарами дернине и перелогах просо давало неслыханные урожаи.

Спустившись с венца, луговая дорожка повернула к реке. На первой же пережабинке между двух озерин она пошла через колдыбажины чуть ли не в полчеловечьего роста. И собаки и мы спрыгнули с долгуши.

Кадо и Альфа, раздув ноздри, жадно втягивая влажность кустарников, направились было в манящие их крепи. Митяйка, как и все мы, спешивший к заветным местам, грозно крикнул им: «На-а-зза-ад!» И собаки вернулись к долгуше.

Но вот еле заметная в кочках колея снова вырвалась на гриву. Мы сели. Кони, почуяв близкий отдых, без понуждения пошли ходкой рысью. Собаки ошалело-радостно носились по гриве, то ненадолго наведываясь к долгуше, то вновь уносясь вперед.

Обогнув последнюю излуку длинной прозрачно-родниковой озерины, вскоре нам открылась широкая стальная важевато-текучая лента Иртыша и посредине — темная гряда Красноярских островов с языками длинных, открытых со всех сторон гольцов, неприступных ни с берега, ни с воды охотнику: эти-то гольцы и были облюбованы для дневок сторожкой в стаях пролетной кряковой уткой. Безлюдные поздней осенью поля коммуны со скошенным и убранным — а частью в валках, в копнах просом, за неуправкой — нередко уходящие

даже под снег, были как бы специально приготовлены для откорма пролетной птицы.

Заветную эту «палестину» два года назад я открыл совершенно случайно во время поездки в Семипалатинск за огнеприпасами. Припоздав, я остановился на ночевку и кормежку лошадей на полях коммуны и обнаружил тысячные стаи дневавшей на гольцах, а ночью летавшей на просянища утки. Дома я уговорил своих товарищей взять поле на Красноярских просянищах. Мы так славно поохотились тогда, что уже навсегда включили эти места в обязательную программу наших отъезжих полей.

И справа и слева от дороги пошла полоса сложенного в копны проса. Спрыгнув с долгуши, вблизи озерины, у первой же копны Митяйка усмотрел перья и утиный помет.

— Вот они, вот они где, родные! — как-то особенно ликующе выкрикнул он, не сдержав юношеского восторга.— Ну, держись, Володьша! На сей раз не будь я Дмитрий Корзинин, если в дымину не обстреляю тебя нынче!.. И вас, Николаич,— повернувшись ко мне, — тоже обстреляю! Наверняка обстреляю, вот отрубите мне голову по самые плечи, если не обстреляю!..— поклялся расхрабрившийся Митяйка.— Хотите пари?!

Я засмеялся над задором пылкого паренька и, понимая его возбужденное состояние перед охотой, отделался шуткой:

— Когда-то Наполеон сказал: «Кто держит пари не наверняка, тот дурак, а кто наверняка — подлец». Ни тем, ни другим я быть не хочу...

Митяйка смутился и замолчал. Замолчал и я. Иван и Володя так же, как и я, были как-то особенно сосредоточенно молчаливы. Каждый ушел в самого себя, что всегда наблюдается перед серьезными охотами: «Какая-то задастся ночь? Покажется ли луна? Как-то буду стрелять?..»

А вот и хорошо знакомое со следами прошлогоднего кострища место нашей стоянки на берегу длинной излучистой озерины, рядом с зарослями черемушника и тальника, отлично скрывающих палатку со стороны гольцов.

— Слава тебе, обетованная земля,— как и Митяйка, не сдержав волнения, сказал я и остановил лошадей: воз-

бужденные мои нервы уже рисовали одну за другой картины налетов и удачной стрельбы залитой жиром полновесной осенней кряквы.

* * *

Мне нравился неписаный, но прочно установившийся распорядок обязанностей каждого члена нашей охотничьей коммуны. Лишь только долгуша встала на облюбованном месте, как я, распрягши и вы́водив лошадей, заковал корзининского мерина в железное путо, а Костю непутаным отпустил на попас. Бригадир начал ставить палатку, Митяйка — заготовлять топливо, Володя — разбирать свой «кухонный агрегат». Относившийся серьезно к своим обязанностям слесарь искусно сделал вкладывающиеся один в другой «скорокипящие» — с отверстием в середине наподобие самовара котел, чайник и две объемистые сковородки — для поджаривания дичи и рыбы. Даже чистил, резал, поджаривал лук и картофель наш шеф-повар по какой-то своей методе с таким серьезным лицом, что нетерпеливый, злоязыкий торопыга Митяйка называл его готовку «архирейской службой»: так же длинно и торжественно.

Одежду, оружие, охотничье снаряжение и продукты заносил в палатку, в раз навсегда отведенные им места сам бригадир.

Менее чем в час стан наш выглядел обжитым, костер пылал, а от «скорокипящего» котла с заложенным в него, смотря по обстоятельствам, приварком, но непременно щедро сдобренным лавровым листом, петрушкой, луком и перцем, благоухало «на всю округу».

Надо было видеть крупногабаритное лицо нашего Володи, когда он подавал варево «на стол».

Скорей всех «отвалился» от котла Митяйка. Обжигаясь, наскоря́х хлебнув несколько ложек, сунув в карман краюху хлеба, он поспешил раньше других улизнуть не на охоту, не стрелять, боже упаси! а, как выражался Митяйка, «пообзирать окрестности». Снова он напомнил нам молодого горячего пса, с лаем выносящегося с родного двора поджидать замешкавшегося хозяина на ближайшей опушке леса.

Вот и сейчас, не успели мы еще по-настоящему распробовать аппетитного, приготовленного Володей кулеша

с горохом и свиным салом, а за кулешом нас ждал всегда желанный после дороги огненный — с костра — крепкий (Володиной заварки) чай,— Митяйка на всех духах помчался «обзирать окрестности», но, дошагав до первых копен проса, вблизи озерины, где он обнаружил жировку утки, растянувшись на копне, стал поджидать нас. Мы же, добросовестно расправившись с кулешом, неспешно выпив по кружке чая, стали одеваться.

Нетомящая теплота погожего осеннего дня к вечеру сменилась заметной свежестью: ночь обещала быть ясной, прохладной.

Я надел свой стеганый, защитного цвета ватник и теплую, сшитую из солдатского башлыка,— с квадратным козырьком (защищающим глаза от солнца) — шапку. Иван и Володя облачились в дубленые, под цвет жнивника полушубки. И только убежавший на вечерянку Митяйка был в летней, выгоревшей на плечах и спине «фартовой», как звал он ее, бумазейной блузе.

Когда мы подошли к нему, он уже сидел, зарывшись в копне по самые плечи. Иван, нахмурив брови, посмотрел на младшего брата и осуждающе сказал:

— Оделся бы, божье древо: будешь чакать зубами — дрожжи продавать...

— А мне, братка, в этой копне даже жарко будет. Должно, порядком промочило ее — горит просцо, и я здесь, как в печке — бери веник и парься...— Митяйка спешил, многословил, больше всего он опасался, как бы Иван не выпроводил его на левый край поля. Митяйка еще дорогой наметил эту сильно побитую утками копну, находившуюся почти у самой озерины: «утки пешком от нее на воду после жратвы пить — зобы переваривать — взад-назад ошиваться будут...»

И действительно, копна эта находилась на основной линии лета утки с гольцов на просяница.

Но Иван, сурово воспитывавший младшего брата, разгадав его планы, с нескрываемой издевкой заговорил:

— Смотрю я на тебя, Митька, и не дивлюсь, что ты такой солощий до охоты,— порода! Что кошка родит, то все мышей ловит. Но в кого ты с такой пройдошистой головой — ярославской вышколки уродился — не пойму. Ни отец, ни мать на хитрованском полозу никогда не езживали. А ты и в блузенку с у́мыслом обрядился и вперед убежал, чтоб сесть на центровое место...— Повернув-

шись ко мне, Иван уже по-бригадирски — коротко, веско изложил план охоты:

— Ты, Николаич, останешься здесь. Местечко это из притоманных приманное. Я уйду правей к истоку озерины. Володьша тоже со мной — места там хватит. Ну, а ты, Митенька, дуй влево в самый, самый угол: после наших выстрелов она вся собьется к тебе. А здесь, я тебя знаю, ты еще засветло откроешь пальбу и всю нам обедню испортишь. Осенняя утка шибко грамотная — ее только стрель при солнце по первому облетному табуну — она так спланует, что ни тебе, ни нам пострелять не удастся...

Обескураженный до онемения, Митяйка неохотно вылез из своего гнезда и вдруг, схватившись обеими руками за живот, как-то болезненно перекосив лицо, опрометью бросился к озерине и поспешно скрылся в прибрежных ее камышах.

— Вот-то испрезаядлое чадушко — до медвежачьей болезни расстроился,— усмехнувшись, сказал Иван.— Однако пора и нам.

Иван снял шапку и проникновенно выговорил кабалистические, якобы помогающие в охоте, три слова:

— Безотменно! Бесспоронно! Безубойно! (нечто вроде охотничьих «ни пуха ни пуха») тебе, Николаич... Пошли, Володьша.— И, подсвистнув Альфу, амурничавшую с моим Кадо, они скорым шагом отправились на свои места.

Митяйка что-то долго задержался в камышах, а выбравшись довольно далеко от меня, у излучины озерины, как-то пригнувшись, таясь, точно подкрадываясь к кому-то, перебегая от копны к копне, скрылся из моих глаз.

Мне и жаль было его, но нечего греха таить, я с радостью залез в обмятую уже, действительно дышащую преловатым теплом копну. Слегка раздвинув гнездо, рядом с собой усадил радостно повизгивавшего Кадо.

— Ну вот, а теперь, Кадошенька, мы оглядимся и будем ждать дорогих гостей! — громко сказал я и потрепал собаку по шелковистому загривку.

* * *

Предвкушение первого поцелуя любимой женщины — слаще самого поцелуя. Поэзия ожидания не менее сладка охотнику, чем сам процесс охоты. И каждый из нас эти

тревожно-сладостные минуты переживает, сокращает или, наоборот, удлиняет — по-своему.

Я провожу их в деятельной подготовке к стрельбе: тщательно осматриваюсь, строю разные предположения о том, в какое время, как и откуда появится птица. При какой видимости и до какого рубежа необходимо нажать, сколько упреждать при выцеливании, чтоб выстрелить наверняка. Перепроверяю гильзы — не разбухли ли от влажности, те ли номера дроби для первых табунов при более высоком их налете уложены в карманы моего ватника.

Но, кажется, все уже предусмотрено, проверено, а скорые осенние сумерки сегодня что-то не наступают, хотя солнце вот-вот окончательно скроется за далекими, густо рассыпанными по этой полосе, по жнивнику копнами, так похожими сейчас на морские волны, золотисто выблескивающие под его косыми, прощальными лучами.

Как же огромно поле под просянищами! Какая неизъяснимая тишина в природе в минуты, когда печальные осенние жнивья погружаются в объятия вечера.

Все тихо, все недвижно. Каждая копна, куст полыни и даже отдельная стернина жнивника, как бывает только осенью, отчетливо выделяются в хрустальной прозрачности воздуха в предзакатный миг — на рубеже дня и ночи.

И какая же благостная тишина западает в мою душу!

Так, переходя от одного к другому, встают то далекие, всегда милые воспоминания детства, то державно, все оттесняя, выплывает образ давно ушедшей из жизни, но оставивший неизгладимый след в моей душе, любимой женщины с ее доверчиво-радостной улыбкой, навсегда запечатленной вот в такой же тихий осенний вечер у до боли знакомого порога.

Такова власть природы над моей душой — самосильно вызывать в памяти дорогое невозвратно-прошедшее.

Но, грезя наяву, я не только не утрачиваю способности видеть, чутко воспринимать все, что окружает меня, но, кажется, даже обостренней слышу, вижу и бесшумно пролетевшую над моей головой серую с мягкими, круглыми крыльями сову, выслеживающую в жнивнике мышь, и зазмеившуюся над озериной первую ватную струю ту-

мана от вечерней прохлады. «Скоро! Теперь скоро!» — вслух выговорил я.

И тотчас же меня охватил жгучий охотничий озноб, а сердце сжалось в такой комок, так подступило, казалось, к самому кадыку, что стало трудно дышать.

И разом все отодвинулось, бесследно пропало: я уже целиком был во власти моего древнего неисцелимого охотничьего недуга.

Действительно, время полета утки с гольцов на просянища подошло. На островах возник такой шум, словно градовая туча низринулась на землю: «Или утьву потревожил орел, или уже снялись на кормежку»,— подумал я, невольно сжимаясь, врастая в копну.

И хотя в этом еще не было никакой надобности, я, судорожно сдвинув предохранитель своего ружья, напрягся, как перед стрельбой.

А тревога и впрямь оказалась напрасной: обеспокоенная кем-то кряква, черной тучей покружившись над гольцами, снова опустилась: «Конечно, орел: на кормежку утки летают небольшими табунами и, как правило, молча. Разве какая молодая крякушка-сеголетка или селезенек коротко прокрякают и тотчас же смолкнут...» А вечер теперь уже надвигался стремительно — видимость сокращалась с каждой минутой. Уток же все не было.

«Когда же, да когда же они начнут?!» — волновался я.

И наконец дождался: в неясном, обманчивом свете угасшей зари заметил первый табунок летящих на просянища уток. Но летевшие прямо на меня утки вдруг побочили и прошли много левее моей засидки.

Раньше меня заметил крякв Кадо. Это я понял потому, как он вздрогнул и, выставив голову из-за моей спины, слегка приподнялся с лежки. Еле заметным движением дотронувшись до его загривка, я успокоил страстного своего помощника. Табунок скрылся из моих глаз где-то в глубине полей. «На Митяйку, конечно, на Митяйку напорются»,— решил я. И действительно, вскоре один за другим полыхнули два выстрела. «Не выдержал — ударил засветло по облетным. И конечно, вышиб пару, а может, и больше»,— и осуждая и завидуя удачливому пареньку, подумал я.

Вслед за дуплетом Митяйки загремели выстрелы справа.

Табунки уток, насколько хватал глаз, теперь уже

кружились над полями. Некоторые без облета, почти отвесно, вытянув лапы, опускались на просяница и не взлетали даже после выстрелов моих товарищей: так прикормились они здесь.

Лет нарастал с каждой минутой, но вся птица проходила много левее моей копны.

Охотники теперь уже стреляли только дуплетами. Огненные брызги взметывались и взметывались над полями.

«Все палят, а я... Господи, да когда же! Когда! Вот тебе и центральное место». Обида и зависть, подлая черная зависть грызли меня.

Неуютно и душно почувствовал я себя в своем скрадке. В горле першило от затхлой плесени преющего проса. Я расстегнул ворот ватника, но не ощутил облегчения. Померкла задумчивая прелесть тихого осеннего вечера. Близкая к копне озерина, так скрашивавшая унылое однообразие просяниц, теперь казалась мне безобразным мутным бельмом. Даже выстрелы товарищей, всегда радовавшие меня удачей нашей охоты, весельем на стану, счастливым возвращением домой, теперь, точно кнутом, обжигали мою поясницу: «Словно заговоренный. Ждал, ждал, готовился, а на поверку — пустой номер...» — невольно возникали жалкие слова.

Не отрываясь ни на секунду, я все смотрел на свою далеко уходящую к Иртышу озерину, вдоль которой шла основная масса утки на просяница. Но летящие вдоль озерины прямо на меня табунчики, не долетая, вдруг круто взмывали вверх и, побочив, уходили в сторону Митяйки. «А что, если перебежать левее?» — подумал я. Но неожиданно, не спереди, откуда я ждал уток, а сзади с шумом, с треском крыльев большой табун кряквы упал чуть ли не на голову мне, облепив мою копну со всех сторон.

И я и Кадо оцепенели: утки так безбоязненно-дерзко и жадно сразу же защелочили, зачмокали, ошмыгивая тяжелые кисти проса, и были так близко, что до них можно было дотянуться стволами ружья. «Нажрутся, потянутся к озерине, привстану и в угон!..»

Но утки, или услышав нас, или испугавшись подбирающегося к ним хорька, вдруг разом взмыли и, обдав меня ветром от крыл, замельтешили над моей головой с таким истеричным кряканьем, что я не выдержал и, чувствуя, что «мажу», дважды пропуделял по ним.

От растерянности я как вскочил во весь рост из теплого своего гнезда, так и продолжал стоять не менее минуты. Рядом со мной, на верхушке копны, очутился и выскочивший из скрадка Кадо, отчетливо выделяясь на ней белоснежной своей рубашкой.

Табунок крякв, низко летевший над озериной прямо на мою копну, снова круто взмыл и, побочив влево, уже скрывался из глаз, когда, поспешно всунув патроны, я снова безрезультатно отсалютовал по ним.

Я опустился на дно скрадка и, резко рванув за ошейник, грубо втащил за собой, очевидно, не менее меня сконфуженного пса: никогда раньше Кадо не позволял себе после выстрела без команды выскакивать из засидки.

Сняв шапку с вспотевшей головы, я подставил ее холодной струе, тянувшей от озерины.

Осенняя ясная ночь равнодушно-спокойно смотрела на меня миллионами далеких лучистых глаз. Справа, из-за заиртышского нагорья, на безбрежный простор неба медленно выкатывался огромный совершенно круглый диск луны. И от луны и от далеких звезд с их дрожащими ресницами — поля, казалось, тоже струили серебристый свет.

И луне, и звездам не было никакого дела до моей огорчительной неудачи. Утки по-прежнему кружились по всему полю, но все так же исправно облетали мою копну.

Выстрелы же товарищей все гремели и гремели в ночи, и за каждым из них я представлял себе, как с характерным звуком удара о землю падали то ржаво-коричневые, налитые жиром кряквы, то полновесные дымчато-голубые, краснолапые селезни...

Наконец стрельба смолкла. Я понял, что Иван, Володя и даже Митяйка вернулись на стан. И хотя ожидать уток уже было совершенно безнадежно, я все еще ждал счастливого налета... Иной раз упорное это ожидание вознаграждалось — скрашивало неудачу.

«Охотника кормит не год и даже не час, а иногда минута»,— всегда в таких случаях вспоминались мне слова отца. Но и это мое сверхупорство не помогло: уток точно метлой вымело с просяниищ. Я встал на верхушку копны и увидел пылавший у палатки костер. На фоне огня маячили фигуры всех моих друзей.

— Ну, Кадошенька, за гриву не удержались, а за хвост и подавно,— сказал я.

И Кадо, точно поняв мое огорчение, не бросился весело вперед, как он всегда это делал, а, понуря голову, поплелся следом. Только позже я понял, что преданный мне пес не забыл, не простил еще обиды, пережитой им в злополучной нашей копне.

* * *

Это воистину была зоря испытаний и моим нервам, и... моей совести. Да-да, и совести, друзья охотники!

Как на исповеди, расскажу все без утайки. От места ночных моих терзаний до нашего стана было не менее полутора километров. Сокращая путь к палатке, чтоб не обходить довольно протяженное колено озерины, я круто повернул влево к полям, где охотился Митяйка. Шел медленно, остро переживая неудачную свою зорю и обдумывая, как правдоподобнее объяснить друзьям не просто обидную, но и позорную для всякого уважающего себя охотника нескладиху. Испытавшие подобное отлично поймут меня: кому из нас не совестно выглядеть «мазилой», вернуться к друзьям на стан «в протопоповском звании», «пустым, как турецкий барабан», по всегда язвительному в таких случаях определению злоязычного Митяйки.

Оглянувшись, я не обнаружил бредущей за собой собаки. Высоко подняв голову, Кадо шел по стерне к черневшей весенней водомоине... Легонький ветерок тянул мне в лицо. «Куропатки!» — подумал я и поспешил к собаке. Кадо встал. Я послал его вперед и ждал шумного вылета куропаток. Но Кадо прыгнул в водомоину и, припав на передние лапы, накрыл подстреленного крякового селезня: «Митяйкин, он стрелял в эту сторону»,— подумал я и, взяв подранка, подвесил его к ягдташу.

На площади не более чем в двести — триста сажен мы подобрали еще трех потерянных Митяйкой крякв. Кадо с его редким чутьем исправил положение. «Вот и мы с добычей,— криво улыбнувшись, подумал я.— Скажу, что стрелял всего только два раза и оба красивыми дуплетами...»

Но с каждым шагом к стану настроение мое не только не улучшалось, а наоборот, дошло до крайнего раздра-

жения и на неудачу и на самого себя. Подобно тому, если бы я на помосте перед многочисленной толпой зрителей поднял фальшивую пятипудовую штангу, поднял и горделиво раскланялся перед одураченными людьми.

Первым мое возвращение заметил Митяйка и побежал навстречу. Он всегда ревниво пересчитывал добычу каждого из нас и всегда до болезненности остро переживал, если его «обстреливали» и даже во много раз отличные стрелки Иван и Володя. Перед каждой охотой самолюбивый парень держал пари с Володей, что уж теперь-то обязательно, обязательно победителем будет он.

Взглянув на скромную мою добычу, Митяйка не выдержал и с веселым лицом выкрикнул:

— Четыре штучки! Не богато, но, как говорится, все же не попом. А я — восемь, Володьша из своего «единорога» — десять, Иван — ну, за Иваном и сам дьявол не угонится! — у него глаз кошачий,— он шестнадцать. Однако что-то вы, Николаич, стреляли нынче совсем мало. Я всего насчитал четыре патрона,— смягчая торжествующую издевку, выговорил он и стыдливо опустил озорные мальчишечьи свои глаза.

Ни слова не ответив ему, я подошел к палатке, молча отвязал уток и бросил их в общую кучу.

Ликование мальчишки, обстрелявшего меня, усугубившее и обиду и боль от редкостной неудачи на охоте, которую я так долго ждал, гнусность, что думал присвоить себе чужую добычу, что не сказал Митяйке сразу о подобранных его утках, а как своих бросил в общую кучу,— переросли в такое отвращение к самому себе, какого я до сего времени еще никогда не испытывал на охоте. С детства родители воспитывали в нас такое обостренное чувство стыда, что соврать в чем-либо серьезном было так же немыслимо, как немыслимо бывает проглотить жабу.

Я подошел к костру и подробно рассказал о своей неудаче.

— Как будто кто-то заговорил мою засидку. Вижу, летят вдоль озерины прямехонько на мою копну, но, не долетев сажен полсотни, шарахаются вверх и влево на Митяйку.

Четыре патрона сжег и... как без дроби!.. А этих четырех крякв подобрал Кадо недалеко от Митяйкиной за-

сидки. Так что, Митенька, ликуй сегодня, ты действительно обстрелял и меня, и даже Володю...

Я помолчал. Молчали Иван и Володя, а Митяйка нервно переступал с ноги на ногу, порывался что-то ответить мне, но не говорил, а только как-то по-детски растерянно моргал глазами.

— Ну, а присвой я, утаи эти две пары твоих уток, я бы сам себе плюнул в душу... Как бы посмотрел я тебе в глаза, Митенька... А дома — жене?! Да и вся охота для меня была бы испорчена.

Отец, ещё мальчишке, говорил мне: «Бойся, сынок, вранья: раз соврал, два соврал — укоренишь дурную привычку — одеревенеет сердце, не будет чувствовать лжи».

Оправдывая свою неудачу, я говорил запальчиво, не заботясь о словах, в которые облекал мысль, но с каждой минутой чувствовал себя чище, счастливей:

— Вот так-то, Митенька, и оскандалился я: на стан явился, как в старину говаривали псари, с хвостом промежду ног... Ты же сегодня заслуженно отличился, значит, законно хвост трубой, а голову высоко...

И тут случилось то, чего никто из нас не ожидал, раскрасневшийся во время моей речи, как помидор, Митяйка подошел ко мне вплотную и настойчиво потребовал:

— Николаич, дайте мне в морду! Изо всей силы дайте... Это я на озерине, на поворотном колене к вашей копне из камыша куклу завязал: шибко обидно мне стало, что братка выгнал меня с облюбованного места, да еще и хитрованом назвал. Ну, думаю, раз хитрован,— буду хитрованом... и я схитрил, чтоб утки отворачивали на меня...

Другой бы... А вы мне этими двумя парами Володьку обстрелять помогли...

Митяйка был взволнован не менее меня и не менее меня сбивчиво исповедывался в гнусном своем поступке. Очевидно, и ему не легко досталась победа над самим собой. Я, конечно, не выполнил горячей просьбы Митяйки.

— Николаич, напрасно ты не дал Митьке в морду. За такие штучки подобной непроходимой шельме вполне следовало бы. Но ты образованный — тебе видней. Может быть, ты и правильно сделал: сейчас ему и вдвое

больней, и на дольше запомнится. Скверно, что щенок настроенье всем изгадил. Теперь у меня кусок даже Володьшиной жарехи в горло не полезет,— сердито выговорил Иван и пошел помогать нашему повару: теребить, палить и даже разделывать уток на ужин. И что меня несказанно удивило, Володя не возразил, хотя раньше он никого и близко не подпускал к своей «кухне».

Для всякого дела, чтоб овладеть им в совершенстве, нужны прирожденная к нему любовь, пытливость ума и огромное терпение. Всего этого у нашего шеф-повара хватало с избытком. Уток для варева, для жаркого он всегда выбирал сам.

— К каждой породе птиц свой подход должен быть, каждая хороша на своем месте. Да и в породе они тоже не одинаковы. Например, чирок-трескунок и чирок-грязнушка. И тот и другой осенью жирны, как свечки. Но грязнушка тиной относит, а трескунок в жаркóм, что твоя перепелка... Даже отеребить, опалить и выпотрошить птицу надо со смыслом, чтоб ни жиринки не потерять, не продымить — картинности тушки не испортить.

И этот ревнивый наш чародей сегодня допустил Ивана и теребить, и палить, и потрошить опаленных на «быстром» огне уток: Володя отлично понимал, что бригадир все-то еще «кипит» и, не будь здесь меня, он бы набил морду «непроходимой шельме» Митяйке: «За готовкой скорей отмякнет — всем легче, веселей будет...»

В коммуне нашей вторым неписаным, но незыблемым правилом в отъезжих полях было: какая бы охота ни задалась, что бы ни случилось, на стану должно царить дружное, веселое согласие — отдых душе и телу.

А вот сегодня веселья не вытанцовывалось.

С каким-то особенным рвением Володя старался с приготовлением «царского», как он называл, своего ужина. Шесть самых крупных, жирных, не старых, а сеголетошних крякв, распластанных на куски, вначале были «до подрумянки» поджарены на сковороде, потом переложены пластами репчатого лука, лаврового листа, проперчены и залиты янтарным утиным жиром лишь с двумя кружками воды («доброе мясо — само сок дает, поставленное на угли «умреть», как выражался Володя, до настоящего «смака»).

Митяйка сегодня тоже лез из кожи: вычистил все наши ружья, напоил и выкормил лошадей овсом, что обыч-

но делал я, и теперь старательно «накрывал на стол». Вместо скатерти рядом с палаткой он не пожалел — постелил свой новенький брезентовый плащ.

Ворчавшее под крышкой жаркое Володя наконец снял с углей и торжественно поставил рядом с Митяйкиным плащом.

Мы поспешно подвинули ему свои миски, но Володя медлил и минуту и две. Только вдоволь насладившись нашей нетерпежкой, он, окинув нас таинственным взглядом, вынул из объемистого своего рюкзака литр водки, презентованный ему прокурором в премию за ремонт ружья.

Я взглянул и на повара и на бригадира — больших любителей выпить — особенно после охоты. Подернувшиеся влагой глаза их разгорелись на объемистую посудину под пробкой и сургучом.

Переглядываясь с Володей, бригадир как-то особенно плотоядно облизывал губы: так приятно ошеломила его эта неожиданность (водку на охоту мы брали довольно редко).

Лицо добряка Володи излучало неподдельную радость. Даже я, не пьющий в обычное время, но на охоте не отказывавшийся от «доброй стопки», тоже с «теплотою во взоре» обласкал неожиданный Володин презент.

Округлым, стремительным, не без претензии на поварской шик движением руки Володя смахнул все еще подрагивающую от пара крышку с исходящей аппетитным ароматом утятины. Не спеша доверху наполнил каждому из нас миску «царского» жаркого и только тогда бережно, словно драгоценность, взял в руку литровку.

За свою жизнь я видел немало артистов не только «вкусно» выпить, но и «красиво» открыть бутылку. Некоторые из любителей делали это виртуозно: легким прикосновением ладони о донышко. Иные, «закружив голову «веселой даме», как-то так умело ставили ее на стол, что любая пробка вылетала из горлышка бутылки «как пробка», не потеряв ни капли огненной влаги.

У Володи был свой секрет раскупоривания бутылок с водкой, в безотказности и красоте которого мы не раз убеждались на охоте.

И сейчас, взяв литровку «за талию» могучей своей дланью, он обвел нас загадочно-гордым взглядом фокус-

ника и, приподняв ее над импровизированным Митяйкиным столом, быстро опустил на средину плаща.

То, что произошло вслед за сим, всех нас повергло в соляные столбы: разбитое «в соль» донышко литровки брызнуло в разные стороны: под плащом по недосмотру спешащего, усердствующего Митяйки оказался небольшой камушек, о который и разбилась бутылка.

Что тут было?!

Но я ограничусь лишь стереотипной фразой старинных романистов: «перо бессильно описать дальнейшее». Не умолчу только о том, что, когда, приподняв залитый водкой плащ, разобрались в причинах трагикомедии, Иван все-таки закатил братцу изрядную пощечину.

— Вот тебе и за то, и за это! — прошипел он.

* * *

Ничто так быстро не сближает людей, как охота, испытываемые ощущения, подобных которым нет. «В поле съезжаются — родом не считаются», так уж исстари заведено: цель охоты — общее удовольствие.

На охоте главное — не мешать друг другу, не оскорблять самолюбие товарища, не смеяться не только над его неудачей, но и не охаивать его оружие и собаку.

Оттенки охотников разнообразны, как и сама природа человеческая. Есть охотники-промышленники, для которых охота является средством к существованию. Есть отъявленные хищники-браконьеры, охотники-спортсмены, любители бродить с ружьем в свободное время, так называемые «поэты в душе».

Круг добрых товарищей на охоте, особенно в длительных отъезжих полях — основа основ здорового, радостного отдыха.

Мои спутники — Иван Корзинин и слесарь Володя — отличные, опытные охотники, с которыми я прошел полный курс охотничьей школы, не ради куска мяса. Хотя и для них и для меня в то время охота являлась не только радостным отдыхом в нелегком труде, но и подспорьем в скромном жизненном бюджете. Для меня же — кроме того — она была еще и могучим средством «возвращаться к самому себе»: сливаясь с природой какой-то частицей души, я ощущал себя богаче в познании окружающего меня мира.

Сегодняшний же случай коварства Митяйки, возмутивший всех нас, выбил меня из того бодрого, радостного настроения, какое обычно бывало у меня всегда на охотах.

Иван и Володя после сытного ужина спали сном праведников. Я не спал. Не спал и Митяйка.

«Юность души — дар неба людям честным и правдивым. Охота до старости сохраняет молодой и душу и тело человека:

Благо тому, кто предастся во власть
Ратной забаве: он ведает страсть,
И до седин молодые порывы
В нем сохранятся прекрасны и живы...—

невольно вспомнились мне некрасовские строчки. Какие же порывы сохранятся у Митяйки, когда он в таком возрасте уже...»

Ход моей мысли прервало легкое прикосновение к моему плечу руки Митяйки и его шепот:

— Николаич, вы не спите?

Я повернулся. Он приблизил свое лицо к моему уху и зашептал:

— Чтоб вы знали, что я не такой уж хитрован и жадюга, которого и на охоту-то брать не стоит, как сказал братка, я с радостью жертвую вам своих монахов...

— Каких монахов?..

— Ну стариков-чернышей, в подстепинском яру — видимо-невидимо... Еще, когда бежал от вас, с далька заметил, что крайние к подстепинскому венцу копешки усеяли какие-то черные, как головешки, птицы: грачи, думаю, да опять крупны больно... Я припал к земле, присмотрелся — батюшки, монахи! Дай, думаю, из-за копен... Не оскорблю ли которого. Подвинулся саженей с двести — заметили, снялись и попадали в подстепинский яр: «Вон вы где хоронитесь! Ну, думаю, подождите до завтрева, завтра я с Альфочкой пропишу вам ижицу!..»

А вот теперь передумал — решил вам передать своих монахов. Утром, пока Иван и Володя дрыхнут... Все они в ежевичнике, в шиповнике. Одним словом, как в кассе — голой рукой бери!..

Я приподнялся, сел на постели. Выпалив без передышки новость, Митяйка тоже сел. Я предложил ему выйти из палатки.

Луны уже не было. Над полями лениво волочились по небу низкие набухшие тучи. Вот-вот должен был начаться мелкий затяжной дождь. Мы стояли и молчали. Осенняя ночная свежесть сменилась какой-то удушающе-густой, тепловато-липкой влажностью, отдающей и острой прелью опавших листьев, и уксусными запахами перестоялого вина.

Тишь, безлюдье глухих, унылых полей, нависшие хмурые тучи, текущие в бесконечную даль вселенной. И я, малая песчинка в этом великом круговороте жизни, какой-то частицей своей души неразрывно слитый с родной землей, стою, до дрожи пронизанный величием окружающего меня мира.

Из всех времен года я больше всего люблю осень. Может быть, за то, что осень — лучшее охотничье время. А возможно, за то, что не броская, а даже как бы застенчиво-скромная наша природа осенью, с ее трогательной, всегда щемящей мою душу поэзией умирания, с землей, дышащей усталым покоем (она отдала свое людям), глубоко трогают — «возвращают меня к самому себе».

Вот и сейчас покой и радость были в моей душе.

Ни тоски, ни сожаления о прошедших весне и лете, о горестной моей неудаче не навевала мне и нынешняя осенняя ночь, а лишь покой и тихую, созерцательную радость...

И вместе с тем, всем своим существом я ощущал, что стоящий рядом со мною, «пожертвовавший» мне своих «монахов» — Митяйка мятется душой — ждет моих слов, которые помогли бы ему вновь ощутить себя равноправным товарищем в дружной нашей коммуне.

«Но что сказать ему?..»

Обостренная с раннего детства способность откликаться на зов чужой души подсказала мне, что бороться с подлостью своей натуры, на что толкнула Митяйку его неуемная охотничья страсть, новой подлостью против своих товарищей — нельзя.

— Вот что, Митя, я понимаю, что воевать самому с собой нелегко, но уж если ты осознал, а я чувствую, что — да, то как же ты мог подумать... допустить хотя бы на минуту, что я смогу так оскотиниться... пойти один, без тебя, без Ивана и Володи — стрелять тетеревов...

— Но ведь и я и они настрелялись до отрыжки, а вы...

— Погоди!..

Это был долгий и строгий разговор с Митяйкой, из которого я тогда понял, что изменение внутреннего облика человека — дело далеко не легкое, что требует оно длительного времени и не пощечин только, как думает Иван, а более сложных и тонких средств воздействия на человеческую душу. И тогда же я твердо решил на каждой нашей охоте, при всяком подходящем случае воспитывать у моих товарищей бережное, хозяйское отношение к природе: «Ты редактор охотничьего журнала, пишешь разные статьи, печатаешь рассказы, а на охоте и сам срываешься и, не осуждая других, поощряешь этим лютое хищничество «венца природы».

Правда, ни Иван, ни Володя уже не бьют, как другие, самок весною, а летом — слабокрылую молодежь, не душат собаками подлетышей, не стреляют по старкам от выводка. Но и в этом не твоя заслуга, а доброе правило большинства городских охотников...»

Лениво занимался рассвет. Накрапывал мелкий, как сквозь сито, дождь, с характерным немолчным шепотом, но вскоре смолк, стих. Погруженный в свои мысли, я забыл и о дожде и о Митяйке, который давно уже ушел в палатку и «добирал» недобранное в эту злополучную для него ночь.

Устроившийся под долгушей Кадо проснулся, подошел ко мне, потерся о мои колени, но незамеченный отошел к палатке, покрутился на одном месте и свернулся калачиком. Пасшиеся в кустах кони были не видны, только изредка слышались их всхрапы да позвякивание кандалов на ногах корзинкинского Барабана.

Как всегда перед утром, природа словно бы притихла и терпеливо ждала рассвета.

Я стоял, не шевелясь, прислушивался к тому, что творилось вокруг меня. Но кругом было тихо, словно все спало предутренним сладким затяжным сном.

И на душе у меня было так же тихо, словно на молитве. Откуда-то из далекого далека на один только миг выплыло незабываемо милое лицо с трогательными ямками у губ. И тут же растаяло.

Как всегда на охоте с момента выезда из дома все житейское, суетное отодвигалось, уходило куда-то. Какое-то почти бездумное ощущение легкой осчастливленности безраздельно владело моей душой.

Подобное состояние, когда все мои мысли и чувства уходили в самые глубины души, когда я пребывал в подобной, почти бездумной отстраненности от всего, мне как-то по-новому открывался мир, и я называл «возвращением к самому себе». И за это-то радостно-бездумное отстранение от всего житейского, за что-то вечное, примиряющее со всем миром, за органическую связь с родной землей я и любил с глубокой, непреодолимой страстью охоту.

А утро все же наступило. Хмурые, тяжелые тучи унесли воздушные реки. Горизонт раздвинулся: из-за Иртышского нагорья пробрызнули скупые негреющие лучи осеннего солнца. И снова во всей огромности передо мной раскинулись безлюдные печальные просянища.

Вековые поймы распаханы! Осохлый жнивник пашни без конца и края. Лишь кое-где бугорок, едва соследимый глазом, как девичья грудь под рубашкой. И какие травы росли на этих лугах! Сколько исчезло прозрачных, как слеза, родниковых озерин и котлубаней! Какое приволье было здесь и для местовой водоплавающей птицы! Пять, шесть лет, а там и просо перестанет родить на обезвоженном выпаханном лугу. Жнивник. Осохлый жнивник.

И тишина. Тишина до звона в ушах.

Но вдруг эту тишину раннего утра пронзили, словно упавшие из глубины неба, прощальные стоны отлетающего косяка журавлей.

Подняв голову, я долго глядел вслед крылатым путникам, пропавшим уже и со слуха... Поднятое мое лицо обдала невесть откуда набежавшая густая струя ветра. Я повернулся к озерине, на берегу которой стояла наша палатка, и увидел, что по всей ее середине, точно под незримым взмахом чьей-то широкой ладони, по-осеннему мертвая, свинцово-тусклая вода ожила, серебристо зачешуилась, в то время как закраины озерины были все так же спокойны и тусклы.

А я все стоял, смотрел, думал, почти не думая... «Не буду стрелять ночью по стаям — столько гибнет подраненной птицы!..»

Какими путями в моей голове возникла эта мысль, я и сейчас не смогу объяснить. Но, очевидно, кого, чью даже самую черствую душу, в эту раздумчивую осеннюю пору не растрогает неизъяснимая грусть русских полей?!

Так и простоял, продумал я, почти не думая, весь ос-

таток ночи до запоздалой побудки моих товарищей. И не чувствовал ни усталости, ни сна ни в одном глазу.

О счастливая пора молодости! Ведь и такая бездумно-светлая ночь — тоже счастье. Я не люблю несчастных людей, да и вряд ли кто любит их...

* * *

Я с трудом разбудил своих товарищей, спавших тем крепким сном, каким спят только дети да охотники.

С заспанными, но, как всегда на охоте, какими-то особенно радостными лицами вылезли они из палатки и, потягиваясь до хруста в суставах, перебрасываясь односложными фразами, оглядывали небо, ближние и дальние окрестности лагеря.

Поднялись и наши собаки и, тоже разминаясь, потягиваясь сначала на передние, потом на задние ноги, закрутились вокруг Митяйки, выполняющего в отъезжих полях роль главного собачея.

На этот раз главсобачей усердствовал с особым воодушевлением: на охоте со старшими ему всегда хотелось показать, что он не только не помеха, а наоборот, совершенно незаменим.

Помимо собак Митяйка добровольно взялся и за обязанности конюшонка: сбегал к лошадям, расковал и привел Барабана к долгуше.

Костя, услышав оживление на стану, вытянув шею, с веселым ржанием тоже поспешил к палатке: кони знали, что здесь их ждет овес.

У затеплившегося костра Володя уже орудовал со своим хозяйством: полкотла «царского жаркого» (как ни ели, а ужин в один прием не осилили) уже разогревалось и вместе с висевшим на треножнике чайником обещали аппетитный завтрак.

На красноярских просянищах, как всегда, мы стояли два дня. За это время обычно все было обхожено, узнано. Прикормившаяся, но сторожкая в пролет птица отбита, и угодья утрачивали интерес.

Зайцы, в изобилии водившиеся по прииртышским тальникам, кроме одного-двух — на варево собакам, в эту пору нас не интересовали. Порядочный табунчик белых куропаток еще в прошлом году Митяйка с Альфой истребили вчистую. Да и настрелянная дичь с вынутыми пот-

рохами, но в пере, с обязательной щепотью соли, вдутой через камышинку в горловины уток, хотя и прекрасно сохранялась,— все же требовала возвращения домой.

Ели молча: бригадир все еще злился на Митяйку за разбитый литр водки, а Володя разговор во время еды приготовленного им кушанья считал чуть ли не оскорблением поварскому его таланту. Митяйка хранил молчание, готовясь обрадовать всех своими «монахами». Я же, все еще пребывавший под впечатлением ночных моих настроений, тоже молчал.

Бригадир наш любил порядок во всем. Когда содержимое котла и чайника было опустошено, Иван, глядя на меня, спросил:

— Николаич, ты спишь чутчей всех нас, да и проснулся, видно, чем свет, не слышал — на зорьке — не переговаривались куропачи?

— Откуда им взяться, когда их еще в прошлую осень Митяйка с Альфой вымели под метлу...

— Значит, до вечера, до утей доведется снова культурненько на боковую. Долог день до вечера, когда делать нечего,— выговорил Иван и вновь было настроился лезть в палатку, но тут уж Митяйка не вытерпел:

— Братка, а я столько насмотрел монахов, что их и за день не перебить. И мы с Николаичем решили... Одним словом, мы с Кадо, а вы с Володьшей с Альфочкой — натешитесь до самого кадыка...

— Да ты что репы обтрескался? Откуда здесь быть косачам,— все еще злясь на братишку, суровым голосом оборвал он его.

— Вот те крест во все пузынько, братка! — Митяйка перекрестился.— Своими глазыньками в подстепинском венце, как в курятнике!.. Пусть только пообгреет,— тогда их хоть ногами топчи!..

— Ну, уж так и ногами,— помягчел бригадир.

— А ведь, пожалуй, ребятушки, вполне фактично! там и шиповник, и ежевика, рядом просо. Одним словом — манность небесная там выпала! — уже окончательно уверовавши, загорелся Иван.

— Недушевередно, ой как бы недушевередно покроить чернышам романовские полушубки — для-ради разнообразного трофейного сортименту...

В особо подъемные минуты, как всегда, бригадир прибегал к фигурным словечкам.

— Да ведь он, перелинявший-то косач, сейчас суплошеннейшая картинность: черный-черный, аж синий! А отъевшийся на ягодах и просе — один черныш спроть двух крякушек потянет...

Спасибо, Митька, хоть ты, сукин кот, и здорово обремиэил нас с литром, но так и быть — прощаю за твою смышленую глазастость...

Находка Митяйки воспламенила даже и тяжкодума Володю:

— Вот нам и работенка: до самого вечера всех до одного косачишек расшурупать можно. Ну, а ночью, как поется в романце: «На прощанье — шаль с каймою...» — до будущего года во все колокола отзвоним по крякушкам!

Фраза ли слесаря Володи («всех до одного косачишек расшурупать можно») или и без того закравшаяся в эту ночь мысль о необходимости перевоспитания моих товарищей и подтолкнула меня на решительное предложение:

— Иван Поликарпович, план охоты на сегодняшний день хорош... Но...— я замялся, опасаясь, поймут ли, не буду ли я выглядеть в их глазах Дон-Кихотом. И, подумав, решил покамест полностью не раскрывать своих карт и насчет тетеревов и ночной стрельбы по уткам.— Но до охоты на чернышей я предлагаю пойти с Кадо и Альфой поискать подранков: уверен, что и у Володиного, да и у твоего скрадка в отлете не одна кряква валяется...

— Ну, тут уж такая стопроцентная фактичность, Николаич, что ее и ко́лом не отшибешь — я с тобой полностью балансируюсь. Ночь — она и ночь — не уследишь, какая на подбой...

Так и решили. И разбившись на две партии: я с Кадо и Митяйкой, Иван с Альфой и Володей отправились по пашне к местам вчерашних охот на просянищах.

* * *

Мне всегда казалось, что умница Кадо и дома и на охоте понимает не только выражение моего лица, интонации моего голоса, но и каждое сказанное мною слово. Вот и сейчас, лишь только я внес свое предложение пойти искать подранков, Кадо стремительно кинул лапы мне на грудь и, словно в благодарность на мгновение крепко

прижавшись ко мне, метнулся на просяница. Иван и Володя с Альфой отправились туда же.

Но, оказывается, не одни мы решили заняться поисками подранков после ночной охоты: за первой же излучиной нашей озерины, впереди, саженях в ста от нас, здоровенный, уже выцвелый лисовин нес в зубах к прибрежным тальникам селезня.

Кадо и Альфа, подозрившие зверя, во все ноги бросились к нему. Я окриком вернул Кадо, и он, нервничая, просительно взвизгивая, покорно поплелся вслед за нами, тогда как Альфа с захлебистым лаем, как по зрячему зайцу, заложилась и понеслась по жнивнику к лисице.

Селезень, очевидно только со сломанным крылом, крутил головой, судорожно бился, мешал лисовину набрать скорость.

Иван и Володя издали залпом ударили по лисице. Напуганный собаками и стрельбой лисовин бросил добычу, наддал, словно от стоячей, отрос от Альфы и скрылся в прииртышских тальниках.

Альфа поймала селезня и с победным видом принесла его Ивану.

Такое удачное начало поисков подранков подхлестнуло нас, и мы с Митяйкой и Кадо, поспешив к Володиной засидке, вскоре же нашли в жнивке трех мертво-убитых и одну подраненную крякву.

С каждой новой найденной близ Володиной засидки уткой лицо самолюбивого молодого охотника все мрачнело и мрачнело: от вчерашнего торжества Митяйки, «обстрелявшего» слесаря, остались лишь грустные воспоминания.

Через час мы сошлись у палатки. Иван и Володя, кроме отобранного у лисовина селезня, тоже подобрали еще две кряквы.

Подобранных уток мы положили на долгушу. Получилась внушительная куча. И вот тогда я и сказал те слова, о которых думал на рассвете и все сегодняшнее утро:

— Иван Поликарпович, Владимир Максимович, с вчерашними Митяйкиными четырьмя кряквами мы подобрали одиннадцать потерянных уток. А сколько ушло легко зараненных, обреченных на бесполезную гибель?!

И это у нас, будем говорить прямо, неплохих стрелков и с такими собаками!!! А сколько портят птицы беспардонные палилы?!

С сегодняшнего дня я не стреляю ночью, на шум, по стаям. При свете зари — да. Но ночью — не буду! Не могу! Совесть не разрешает!..

И вообще — охота должна быть охотой, а не бойней. Человек и на охоте должен оставаться человеком, но не волком в овчарне...

Митяйка в прошлом году перебил весь табунок белых куропаток — омертвил здешние острова. А нынче мы собираемся «вымести под метлу» обнаруженных им тетеревов!..

Я волновался, говорил срывающимся голосом:

— Вы, конечно, вольны поступать, как вам угодно... И если вас, добрые мои друзья, не устраивает моя компания, ну что ж — разойдемся...— Не отрываясь, я смотрел на своих товарищей и чувствовал, что их и ошеломило сказанное мною, и что они глубоко задумались, как им поступить в данном случае: за годы совместных охот нас крепко связала настоящая охотничья дружба — одна из крепчайших мужских дружб,— не допускающая и мысли охотиться один без другого.— Решайте, а я пойду посижу.

Сказав все, что собирался сказать, я почувствовал себя так легко, радостно, будто я высоко поднялся над самим собою.

Не просидел я и двух минут на берегу озерины, как друзья подошли ко мне.

— Николаич, ты человек форменный, ученый,— разные статьи, заметки, доклады докладываешь на охотничьих съездах... И мы не один год вместе охотимся... И гордимся перед кузнечанами, шубниками, что вместе... А сколько у нас в городу еще ненормально-серых, темных, как пивные бутылки...— Бригадир волновался не менее меня. Он передохнул и, силясь еще что-то добавить, только беззвучно шевелил губами. Наконец, справившись, продолжил:

— Не за горами поле за дрофами, а куда мы без твоего Кости, без твоей долгуши. А по первоснежью — в монастыри — к Джеке — за волками. Одним словом, как охотились, так и будем вместе соблюдать культур-

ность... Видно, со старинкой надо кончать...— тяжело вздохнув, закончил бригадир.— С каждым годом умалеются птица и зверье!

* * *

Я внимательно наблюдал за друзьями, опасался, что вынужденное их согласие — не стрелять ночью по стаям, по сути ставившее крест на добычливых охотах под Красным яром,— огорчит их, но ни Иван, ни Володя ничем не выдали себя: отличные стрелки и ночью, особенно Иван, они были люди и думающие, и с твердым характером. Только Митяйка, все время прятавший от меня глаза, как-то неестественно был суетлив. Как главсобачей он развил необычайную энергию: обежал ближайшие к нашему стану тальники и «застукал» пару зайчишек — на «собачий плов». Мгновенно освежевав их, сготовил кулеш — «хоть сам ешь» — похвастал он. Половину скормил, остальное накрыл мешком: «чтоб дух не выходил».

И вообще сегодня Митяйка как-то особенно усердно ухаживал за собаками — выкупал, вычесал их, готовясь к волновавшей его охоте по обнаруженным им «монахам».

— Братка, разреши и остатки молока — оно вот-вот скиснет — выпоить Альфочке.

— Да сколько же его там осталось? И если кормить, то только и Кадо не обидь,— отозвался бригадир.

— А я водичкой его разбавлю...

— Ну-ну, скорми, да посудину вымой.

И в этих словах уже засыпающего бригадира я не уловил раздражения: «Значит, душой приняли, а не из одного расчета»,— окончательно успокоился я и тоже собрался вздремнуть до охоты по чернышам.

А за палаткой Митяйка громко, весело разговаривал с собаками:

— Да пейте же, сучкины дети!.. Ах, вы обиделись?.. Извините великодушно!..

— Братка, Николаич, послушайте, сколь же умны наши псюги. Я им смешал молоко с водой, они молоко выпили, а воду оставили...

Но ни заснувший уже Иван, ни я не отозвались на его шутку.

«Даже и Митяйка не так уж расстроен»,— подумал я и, заглянув в свою душу, снова почувствовал себя счастливым.

* * *

Прежде чем убедить или хотя бы поколебать кого-то в «сторону добра» — надобно победить себя. Всю дорогу до подстепинского венца я, отлично знавший безудержную пылкость Митяйки на охоте, убеждал его не горячиться, не стрелять — на «авось», «не видя неба», а с выдержкой, с разумом: в крепи легко в собаку, а то и в спину товарищу посадить заряд...

Еще у стана мы разделились. Иван с Володей и Альфой направились в дальний край венца, мы с Митяйкой и Кадо — к его началу, чтоб, сходясь к центру, проневодить весь яр. Ни в коем случае не бить тетерок, стрелять в меру, не делать подранков.

— Выдержишь? — Я поглядел Митяйке в глаза... И не сморгнет. Я ждал, что он, как всегда, с легкомысленной улыбкой перекрестится и ответит: «Вот те крест во все пузынько...» Но Митяйка твердо ответил:

— Выдержу!

На наше счастье день действительно выдался ясный и довольно жаркий. Насохшая после полудня стерня проса шумела под ногами.

На поле, убранном небрежно, всюду были следы жировавшей птицы: перья, утиный, тетеревиный и голубиный помет. И не только в узкой полосе пашни, где просо было сложено в копны, но и по всему просянищу с валяющимися на стерне тяжелыми гроздьями: «с каждой — тарелка каши».

Даже Митяйка не выдержал и, подняв из-под ног целую горсть потемневших от дождя брунистых, тяжелых стеблей, с мужицкой суровостью в голосе сказал:

— Исполу собирали. Да за такую уборку глаза изо лба выбивать и в тюрьму сажать!..

Дорогою мы подняли несколько запоздавших с отлетом настолько ожиревших перепелов, что они, пролетев сажен двадцать, камнем падали на просянища. Мы не стреляли в них: у нас не было патронов с бекасинником.

А солнце сияло по-летнему: мы обливались потом.

Благостную прохладу подстепинского венца почувствовали издалека.

Заросший шиповником и ежевикой, крутой, местами сажен до тридцати и больше венец гигантской зеленой подковой опоясал все пространство когда-то заливных

Красноярских лугов. В таких изобильных кормом, труднодоступных и человеку и собаке крепях старые черныши-монахи теряют брачное и к концу лета набирают новое, лаково-черное с синеватым отливом перо,

Подстепинский венец как раз и представлял из себя, как говорят ружейные охотники, ту «заразистую» крепь, в которую с гладкошерстной собакой лучше и не соваться — на первых же порах она в кровь изрежет себе и чутье, и брыли, и брюхо. Проходив в такой «заразихе» час-другой, собака непременно начинает «чистить шпоры».

Но мой крупный, богатырски сложенный Кадо, с густой шелковистой псовиной лаверак, не знавший истому и в подобных крепях, смело ринулся в колючие заросли шиповника и ежевики.

Я свистнул его — «к ноге!».

— Сядем! — предложил я Митяйке.

— Строжайший уговор: я иду по верхнему краю яра, ты — по нижнему. Кадо пустим в середину: сверху мне отлично будет видна стойка собаки. Команду Кадо я буду подавать громко, чтобы и ты слышал и изготовился. Как правило, сорвавшись, тетерев летит вниз, иногда вдоль венца и очень редко в гору. Бей только угонных и над головой. Боже упаси, стрелять в мою сторону! Понял?

Осыпанное капельками пота лицо Митяйки, его диковато сверкающие, полубезумные глаза ясно говорили мне, что и половины моих слов не дошло до его сознанья, но он утвердительно кивнул. Вытянувшись на животе, лежавший рядом с нами Кадо, раздув чутье, втягивал волновавшие его запахи. Я положил руку на загривок собаки: по телу Кадо волнами прокатывалась дрожь, а в глазах его жило то же нетерпеливое ожидание, что и у Митяйки.

Приказав Митяйке обождать, покуда мы с Кадо пролезем береговые кусты и поднимемся на бугор, я стал продираться через густую кромку волчевника.

Из всех птиц, на которых мне приходилось охотиться, тетерев меньше всякой другой дичи волновал меня... Я хорошо «навскидку» стрелял по тетеревам, и потому, что стрельба по ним в наших местах была самая легкая — тетерев почти всегда летает по прямой,— и потому, что на Бабушкином зимовье, где протекала моя охот-

ничья юность, тетеревов мною было убито больше всякой другой дичи.

И все же я волновался, потому что отлично сознавал — охотиться с молодым, до заполошности азартным стрелком, в узких крепких, почти насквозь простреливаемых местах, значит, и себя и собаку подвергать смертельной опасности.

Не успели мы с Кадо, которого я все время держал у ноги, пролезть береговой волчевник и подняться вполовину бугра, как из-под наших ног с грохотом сорвалась пара черныщей и понеслись вниз на Митяйку. Вслед за вылетом с молниеносной быстротой прогремел дуплет. Сраженные монахи упали в заросли ежевики. Сноп дроби веером осыпал ежевичник, в который я только что собирался шагнуть. Одной из дробин, возможно с рикошета, меня больно стегнуло в правое ухо. Мне показалось, что я почувствовал даже горячий вихрь от дроби у самой головы.

Я обезумело закричал:

— По-о-одлец! Убье-е-ешь! Митька-а, убьешь!

А Митька, не слыша, не видя ни меня, ни кустов, уже ломился через прибрежный волчевник за убитыми им — изумительным по красоте дуплетом — черныщами.

— Стой! Стой, скотина! — остановил я наконец появившегося рядом со мною ошалевшего от счастья парня.

Кадо одного за другим подал краснобровых красавцев петухов, и я передал их счастливому молодому охотнику, все еще не испытывавшему ничего, кроме острой радости от первого в жизни дуплета по черныщам.

Только приняв из моих рук тетеревов и разглядев бледное взволнованное мое лицо, Митяйка понял причину моего волнения. Он, словно подломившись в коленях, вдруг безвольно опустился у моих ног и, чуть не плача, заговорил:

— Николаич! Простите! Больше не буду!.. Никогда не буду! И, ради бога, не рассказывайте братке!.. Он изобьет. Он никогда не возьмет меня больше!..

«Что предпринять?! Как обезопасить и себя и Кадо от подобного же повторения?..» Мне было искренне жаль молодого горячего охотника. С полчаса мы проговорили о только что случившемся, припомнили не один трагический случай на подобных охотах. А поговорив, стали про-

должать охоту. Но теперь уже Митяйка был и осмотрителен и стрелял просто отлично.

А я... Я, кажется, никогда еще не пуделял так, как в этот раз. И что самое главное, потребовав от Митяйки стрельбы только в меру, палил, не считаясь с расстоянием, и больше половины взятых мною чернышей собака поймала подраненными.

Мне непонятны были причины моих промахов. Вот Кадо, как всегда высоко подняв голову, потянул в ежевичник. Сверху мне хорошо видна была работа собаки: его беломраморная рубашка резко выделялась в зелени.

Вот он встал. Я приготовился и крикнул: — Пи-и-илль! Оглушительный взлет петуха. Я нажимаю гашетки и раз и другой, а тетерев, все убыстряя и убыстряя разгон, летит вниз. Выстрел Митяйки — и черныш камнем падает на жнивник.

Трясущимися руками я вставляю новые патроны и посылаю явно озадаченного моими необычными промахами умницу Кадо. И вновь почти то же самое. «Как без дроби!..» — недоуменно шепчу я.

Возможно, виною всему был пережитый мною испуг или отвратительная охотничья зависть и жгучий стыд за свои промахи перед наблюдавшим неудачную мою стрельбу Митяйкой.

А возможно, была повинна и необычность стрельбы с крутика по стремительно опускающимся тетеревам — судить не берусь. Но, очевидно, подобно тому, как никакой, даже отличный музыкант или шахматист не сможет всегда одинаково хорошо сыграть партию, и самый искусный стрелок не может поручиться за то, что он не наделает промахов на охоте.

Из всей злополучной моей стрельбы запомнился лишь мой тоже необычный дуплет по чернышам. Вырвавшиеся из нижней кромки венца два старых петуха полетели в разные стороны: первого из них я срезал на подъеме, и, круто повернувшись к второму, уже далеко отлетевшему на луга тетереву, выстрелил в угон. Петух «свечой» стал подниматься вверх. И, поднявшись так высоко, что был уже еле виден, сложив крылья, упал на жнивник с такой силой, что у него раскололась грудь: одна дробина ему попала в спину, а вторая — в хлупь; потеряв управление, тетерев все забирал и забирал вверх, пока не умер в воздухе.

Выстрелы Ивана и Володи заметно приближались. Вскоре мы сошлись. Бригадир, как и я, тоже шел по верхнему краю венца. И так же, как и я, сегодня он стрелял на редкость неудачно.

Митяйка торжествовал: и меня и Ивана он «обстрелял» чуть ли не вдвое.

Но ни у кого из нас не было убито ни одной тетерки, хотя их и немало поднималось из-под собак.

Это была вторая моя победа за сегодняшний день. И она скрасила горечь моей позорной стрельбы...

О случае с рискованным дуплетом Митяйки по чернышам ни я, ни «виновник торжества» никому не рассказали...

* * *

С вечерней, довольно удачной зори по уткам — стояли мы ее в другом конце просянищ — вернулись рано. Поужинали тоже рано, легли спать и долго не спали: каждый передумывал второй день нашего отъезжего поля, который, как казалось мне, вольно или невольно, каждого из нас переводил в какой-то высший класс нашей охотничьей жизни.

Молчание прервал бригадир:

— А ведь, пожалуй, по правильной научности все это придумал ты, Николаич. Вот лежу я и рассуждаю. И чистосердечно сознаюсь, только сейчас по-настоящему до моей душевной внутренности дошло, что ведь можно же и охотнику удержаться от волчьей жадности. Хоть и трудно, но можно. И так у меня на душе прояснело, словно бы после причастья. Великое дело сознательность, что ты не такой скот, как, например, Ника Пупок...

Ни Володя, ни Митяйка ни словом не отозвались на «исповедь» Ивана. Я тоже промолчал: мне казалось, что сейчас всякие мои слова на эту тему излишни.

* * *

Встали — едва прорезывалась заря: щадя лошадей, возвращаться в город мы решили по холодку.

Наспех позавтракали, тщательно уложились, запрягли выкормленных овсом лошадей (мне казалось, что и кони с здешним прекрасным пастбищем и с такими пор-

циями овса расстаются с неохотой) и старым своим следом покинули гостеприимную излучину озерины на просяницах.

Черное пятно кострища, кусты тальника, сиротливо торчащие колышки, удерживавшие нашу палатку, остались позади. У меня невольно защемило сердце: «Прощайте, просяница! Доведется ли еще раз побывать здесь!..»

Я чувствовал, что, решив не стрелять ночью по стаям, ездить за утками в далекие эти места нам не было больше смысла.

Володя и Иван сидели, как-то нахохлившись. Зато Митяйка был весел: «обстреляв» всех по тетеревам, он все еще переживал радость победы над «стариками», как он называл нас.

И хотя красивый его дуплет по чернышам чуть не стоил жизни и мне и Кадо — дуплет этот чаще всего вставал перед его глазами. Об одном только жалел он, что кроме меня его дуплет не видел никто, а самому, по понятным причинам, рассказывать о нем было нельзя.

Митяйка ликовал: он то и дело спрыгивал с долгуши и наперегонки с собаками то уносился вперед, то снова усаживал их на линейку: счастливая юность придавала всему золотистый колорит.

Одолев наконец трудный участок колдобистой луговой дороги, мы стали подниматься на Подстепинский венец. Придорожные кустарники были щедро облиты росой. Иван, не отрываясь, смотрел на тетеревиные угодья и, не сдержавшись, сказал:

— Д-да-а действительно косача здесь депо!..

Взнявшись на вершину венца на тракторной дороге, я остановил лошадей. Знакомая, так волновавшая нас всегда картина обширных красноярских просяниц целиком открылась нашим глазам. Длинные темные гривы островов, стальная, широкая, величаво-текучая лента Иртыша, серебристые языки песчаных гольцов со скопищами на них птицы. Паривший в небе над гольцами орел, сложив крылья, наискось рассекая воздух, ринулся вниз на кружившуюся стаю уток.

Я тронул лошадей. Кони с места пошли крупной — дорожной рысью. Стальные тарелки на осях плавно покачивающейся рессорной долгуши мелодично зазвенели.

Иртыш, острова, гольцы, просяница заметно уходили

из глаз. «Прощайте, прощайте, увижу ли я вас еще!..» — мысленно повторил я.

Но странно, уже не жалость расставания с любимыми местами, а ощущение пережитых счастливых минут, связанных с отказом и моим, и моих товарищей от истребительных ночных охот, каким-то новым внутренним теплом вновь согрели мое сердце. Я давно уже сознавал, что незримо, потаенно, но неотвратимо в природе идет процесс не возрождения, а омертвения, оскудения ее. И что не только нельзя быть равнодушным к происходящему, а необходимо бороться за ее сохранение, как за самого себя, потому что человек и природа нерасторжимы. Делу ее охраны стоит отдать всю свою жизнь. И она — многострадальная наша матушка-природа, как родная мать, отплатит тебе за все здоровьем, бодростью духа до седин.

За дрофами

(Второе отъезжее поле)

— Только первые утреннички с инейком — всеабсолюдно точный сигнал для сборов на дудаков. При нетерпежке езживали мы в степя и раньше, но не в редкость конфузные обсечки получались. И дудаки были, и убивали, а погода супротивничала: днями жара, ночами — воспаренье. В азарте забирались верст за сотню — с возвратом не успешишь. А она, пичужка-матушка, какую ни подвалишь, без малого пуд нежнейшего мяса — киснет...

Раз проквасили, два проквасили, покойничек Василий Кузьмич, уж на что заркай на эту дичь был,— сорвал с головы картузишко, хлопнул об землю и заклялся: «Чтоб я, охотник, да занапрасно такую редкую птицу губил! Да разрази меня громом-молоньей стрелять по ней не по времени!..»

Необычно длинную для степенно-сдержанного, знающего цену бригадирским своим словам Ивана Корзинина — тираду эту он произнес, чтоб охладить избыток горячей крови своего бурнопламенного братца Митяйки.

Как и перед отъезжим полем на Красноярские просяница за пролетной кряквой, вся наша охотничья коммуна собралась у меня.

И если тогда «заводилой» был слесарь Володя Напарников, то сейчас в этой роли оказался Митяйка Корзинин.

Лучше всех нас осведомленный в охотничьих делах городка нашего, он разнюхал, что компания кузнечан в пять человек, на купленной в складчину у заульбинского пахаря Гришеньки Кодинцева чалой кобыле и на его же тележонке, сегодня, рано утром, выехала за дрофами на Отраденские пашни.

— Не промылиться бы нам, ребятушки! Кузнецы — убьют, не убьют — распугают, гоняйся потом за ней!.. Уж я-то знаю, как за нашараханной птицей!.. Уж это самое, самое последнее дело! Ждать, ждать и вдруг на пустоплесье.

И вы, Николаич, и ты, Володя!.. Ну что же вы-то молчите, как туясы?!

В жару Митяйка хватал то одного, то другого из нас за руки. Но мы выжидательно смотрели на бригадира.

А Иван, выговорившись в самом начале, тоже молчал. Наконец он не выдержал и по-бригадирски твердо отрезал:

— Обождем первого инейка.

— Да ведь выбьют же, снимут пенки!..— чуть не плача, выкрикнул Митяйка.

— Всю не выбьют — степь велика. Наше — будет перед нами,— впадая в свой обычный тон, спокойно парировал выкрики младшего брата Иван.

— До каких же пор ждать?! Не пьется, не естся... Каждую ночь сплю, как на гвоздях, верчусь, верчусь, выбегаю — инея жду. Не знаю, как до утра дотерпеть... Да ведь так годить — хужей, чем родить. Патроны с крахмалом снарядил. Барабана все время сечкой кормлю. А кузнецы теперь уже палят! — На глазах у паренька блестели слезы.

— Вот что, Митяй,— голос старшего брата потеплел.— Об чем без смысла и так нервенно кипятишься ты? Возьми в толк: Гришенькина лошаденка кость — на кость. Из плуга да в борону. Как говорится — возит и воду, и воеводу. Ну куда они успешат на ней? А у нас и Костя и Барабан — это первое. Второе: ну пускай до ближних — Отраденских пашен дотянет она их, а по пашням, по целине с пятерыми — да они через денек-другой и телегу и кобылу на себе возить будут!..

У нас же вся степь. Мы, как на крыльях — куда схотим — туда и летим. Хотя бы на ту же Джантору или на Алибек, а там дудаков вдесятеро больше, чем на Отраденских.

И последний довод о Гришенькиной кляче и уверенный тон, каким он был высказан бригадиром, успокоили молодого охотника.

— Ну что ж, придется ждать первого инея! — с тяжелым вздохом выговорил Митяйка.

Наконец дождались. Ночь перед выездом в степь не один Митяйка спал, «как на гвоздях».

— На березе лист мешаться начинает, значит, вот-вот дохнет Сиверьян Сиверьяныч: тучи закутерьмились, и крыльцы у меня разломило — не сегодня-завтра, ребятушки, ждите перемены погоды. Теперь как ни упирайся бабье летячко, а хребет у него вот-вот треснет,— обрадовал нас старик Корзинин.

И хребет у затянувшегося после первых сентябрьских перепрысков, стронувших северную утку, «бабьего лета», и впрямь треснул. Последние вздохи минувшего лета, незримое шествие Сиверьяныча, как предательские нити седины в волосах стареющей красавицы, действительно просверкнули в зеленых кудрях березы у дома Корзининых. Первые золотые монетки на ней раньше всех нас заметил Митяйка:

— Значит, был уже он, братцы вы мои, первый-то инеек, да я проворонил его. Уж теперь-то, теперь, Иван Поликарпович!..— занесся было Митяйка. Но Иван, ничем не обнаруживая радости, спокойно, словно дело шло о выквашенных овчинах, которые приспело время вынимать из чанов, сказал:

— Пожалуй, всеабсолюдно началась разлюбезная перемежица в степи — днем и в блузе сопреешь, а ночью — в шубу запросишься.

Действительно, и зримо и ощутимо на южном Алтае начиналась та — самая поэтическая, наполненная затаенной осенней грустью — пора, которую с таким трепетом, начиная с соловьиной весны и знойного лета, так нетерпеливо ждут охотники за дрофами.

— Итак, завтра! Думаю, что теперь в самую тахту!..— На сей раз, изменив своему правилу, не без ликующих ноток в голосе сказал бригадир.

Этот вечер наша охотничья коммуна коротала у Корзининых, слушая бесконечные рассказы Поликарпа Мефодиевича о старопрежних его «дрофиных одиссеях». Все мы были настроены восторженно: безудержное вображение в неотступных картинах каждому из нас рисовало всегда заманчиво-таинственную степь с ее серебряными ковылями и древними шорохами в них. Каждому чудились щемящие сердце удачи и приключения начинающейся кочевой жизни.

* * *

Люба охотнику-устькаменогорцу заиртышская степь. И не потому, что она родная ему, с детства приросшая к его сердцу. А потому, что не похожа она ни на какие другие — обычно выжженные, бурые уже с середины лета, до одурения уныло-однообразные плоские пространства,— неповторимой сменой своеобычных своих пейзажей, перемежающихся почти через каждые двадцать — тридцать верст равнин с невысокими, но живописными по очертаниям сланцевыми хребтами, с камышистыми озерами у их подножий. С извилявшимися степными омутистыми речками, по крутым берегам которых, склоняясь долу, и там и сям прижились вечные плакальщицы ракиты.

С холмами, опупками, выпершими из недр земли, словно бы искусственно насыпанными давно исчезнувшими древними племенами — могильными курганами, источенными по солнцепекам сурчиными городищами, а по сиверам — густо заросшими волчевником и шиповником, надежным пристанищем тетеревов.

Но главное украшение нашей заиртышской степи — Монастыри — горный массив с его вонзившимися в небо конусообразными, подобными гигантским сахарным головам вершинами, в ясную погоду видными отовсюду за много-много десятков верст.

Куда бы ни заехал, Монастыри то в легком голубоватом флере, то словно с залитыми тушью гранями своих пиков высятся перед тобою, как путеводный маяк.

А тенистые их ущелья и то развалистые, то крутобокие лога и овраги с прозрачными родниками, бьющими из недр земли! И сколько же в этих логах малины, черной смородины и ежевики!..

А примонастырские высокогорные озера и рядом с ними привольные «джейлявы» [1] с живописно разбросанными на них круглыми, как тюбетейки легендарных степных батырей, белыми кошемными юртами, со стадами овец, лошадей, коров, движущихся по вечерам к аулам сплошным потоком. Блеяние ягнят и козлят, звонкое ржание жеребят, мычание телят, привязанных у юрт на волосяных арканах, чтоб не высасывали пригнанных на дойку кобылиц и коров. Крики пастухов, досиза загорелых ребятишек, джигитующих на неоседланных конях.

[1] Джейлявы — летние пастбища и стоянки казахов.

Оживленные возгласы казашек в белоснежных жавлуках, сливающих кобылье, коровье, козье, овечье молоко в кожаные бурдюки, в деревянные сбойки — на кумыс, на масло, на курт, на иримчик.

В воздухе плавают острые запахи овечьего сыра, кислой козьей шерсти. Летний вечер — самые счастливые часы дня на привольных джейлявах кочевников. У юрт зажигаются очажные костры. В казанах варится пахучая баранина. Слышится мелодичное треньканье домбр, заливистый смех девушек с звенящими от серебра косами, затеваются игры, песни. Здоровые, сильные люди: всюду жизнь, любовь, ревность. И все это необычно ново, ярко для горожанина...

Да, люба, люба охотнику-усткаменогорцу его родная заиртышская степь!..

* * *

Митяйка и я на дроф ехали впервые. И как все, что неизведано еще, запечатлевалось с особенной яркостью. Даже переправа на «самолете»[1] через Иртыш вместе с отрадненскими хохлами, как зовут устькаменогорцы степняков «тавричан», выходцев из бывшей Таврической губернии, возвращающихся домой с базара на своей пароконной бричке, и разговор Митяйки с ними о дрофах запомнились мне со всеми подробностями и интонациями медлительного, певучего их говора.

И старый, седой-седой, с какой-то даже про́голубенью, с темным и твердым, словно подсохший боб, до глянца выдубленным солнцем лицом хохол и, видимо, его сын — еще совсем молодой, с только-только режущимся черным усом, широколицый парубок, в одинаковых домодельных коричневых свитках, на вопрос Митяйки — появились ли на их полях дрофы — долго глубокомысленно молчали, переглядывались между собою, словно никак не решаясь выдать важную государственную тайну, и наконец старик разродился невразумительными, с какой-то натугой произнесенными словами:

— Та черты ихы батька знае — мабуть и прийшлы, тильки мне до них ни якого дила... Вот, мабуть, Опанас бачив...

Но и Опанас после такого же длительного раздумья

---

[1] Самолет — плашкоутлый паром.

тоже не обрадовал Митяйку и еще тягучей, точно с невероятным усилием выкатывая из глотки каждое слово, пробубнил:

— У прошлую годыну гуртовались, а нони ни бачив... Да и ни к чему они мне ваши дрофы, тильки зазря хлиб жруть...— Оттрудился и с полнейшим равнодушием отвернулся от Митяйки.

Все это и мне, и Ивану, и Володе показалось таким смешным, что мы не смогли удержать улыбок.

И только возмущенный Митяйка (как это можно не интересоваться дрофами?) плюнул и проворчал:

— Его даже дрофы не интересуют! О штоб ты сдох, мазница!..

Мы уже переправились через Иртыш, уже проехали казачий поселок Меновное, а оскорбленный в самых сокровенных охотничьих своих чувствах Митяйка все еще ворчал:

— Ну и жмот — потерянных колосков на жнивах пожалел!.. И харя-то какая-то, как ржаная булка!..

* * *

За первым же подъемом на невысокий мягкий увал, с которого нам открылось ровнейшее плато ковыльной степи, лишь кое-где тронутое плугом, Митяйка уговорил Ивана и Володю взять бинокли: «Чем черт не шутит... А вдруг да!..» Мы стали готовиться к встрече с дрофами. Иван и Володя в минутные остановки, встав на подножки линейки, осматривали каждый свою сторону. Я и Митяйка затаенно ждали результатов их наблюдений. Но ни тот ни другой, не удостоив нас ни одним словом, молча опускались на линейку, и я вновь трогал лошадей. Снова под колесами линейки однотонно шипел зернистый, хрустящий песок.

Обширное плато за первым увалом было столь ровно, что идущая по нему чуть-чуть найзволок дорога словно бы упиралась в небо.

Все дальше и дальше ходкой дорожной рысью уносили нашу «охотничью каравеллу» добрые, резвые кони. Казалось, что и лошадей радует и гладкая, шипящая под колесами дорога, и манит широкий простор степи.

Вот мы уже и переехали обмелевший, только-только замочивший ободья нашей линейки, бурный весною Ка-

раузек, с полосой прикараузекских пашен, а даже и признака дроф не было. По рассказам же старика Корзинина, еще лет с десяток тому назад дудаки попадались и не доезжая первого увала. «А уж с Караузька — повсегда начинали охоту. И сколько же мы ее били! А что этого, дудачьего пера по степу, как в добром курятнике!..»

«Исчезает, в глубь степей уходит дрофа. Прав Иван, что удержал выезд до времени: не раньше, как за сотню верст встретим мы их...»

Погруженный в думы, я не заметил, как сидевший с противоположной от меня стороны глазастый Митяйка, спрыгнув с линейки, схватил что-то с придорожного полынка и, повернувшись к нам, ликующе крикнул:

— Во-о-от он-о-о, ро-о-одное!

В юношески-звонком крике Митяйки было такое же ликованье, какое, очевидно, было в голосе колумбийца-матроса, который первым увидел землю. Крупное желтое, изузоренное черными и белыми вилюжинами перо дрофы, с чуть розоватым подпушьем, переходило из рук в руки.

Внимательно рассматривавший перо Иван уверенно сказал:

— Со спины. Срубленное картечиной, со скользом — без крови...

— Кузнечане! Будь они прокляты!.. Я говорил тебе, братка, надо было раньше. Я их — заполошных, знаю. Они и сами не убьют, а нам нагадят... Вот еду и все мне кажется — вычистили они уже все!..— с тоской в голосе закончил Митяйка. Но улыбавшийся одними губами Иван, не обращая никакого внимания на причитания братца, сказал:

— Трогай, Николаич. До Джакижанычева озера засветло во что бы то ни стало надо успеть добраться...

И «каравелла» вновь покатила по гладкой степной дороге.

«...Такое же оно, как было тогда, или обмелело, усохло?» — думал я, подъезжая к довольно высокому и далеко протянувшемуся по степи сланцевому хребту, у подножия которого раскинулось запомнившееся мне на всю жизнь богатое разнообразной дичью степное озеро Джакижан.

На злополучном этом озере у меня, тогда еще тринадцатилетнего юнца, разорвало мой первый шомпольный

дробовичок. И водонос и конюшонок у квартировавшего в доме моих родителей страстного охотника, отставного подполковника Жузлова,— я скопил три рубля. Дробовичок мой мне казался верхом изящества и сокрушительности по бою.

За усердие, с каким я ухаживал за лошадьми подполковника, он взял меня с собою на охоту на озеро Джакижан, где и случилось это несчастье.

Наш стан на восточном берегу озера, за́води, плавуны, обширное главное плесо, высокие кочки на берегу, прибрежная темно-зеленая осока и густые камыши — все, все стояло перед моими глазами.

Иван, очевидно, чтоб скоротать время в дороге, рассказывал нам о своих прежних охотах и ночевках на Джакижане, а я видел себя подкрадывающимся к уткам, в азарте первых удач, позабывшим обо всем на свете.

«Узнаю ли я то место, на котором я зачерпнул в стволик тины и выстрелил?..»

Мы поднялись на гребень хребта, и я невольно остановил лошадей. Когда-то подступавшее к самому подножию хребта, уходившее в глубь степи, ныне же далеко отбежавшее, уменьшившееся вдесятеро, словно безнадежно больное, умирало оно в безводной степи.

Высохли, исчахли изглоданные скотом густые когда-то камыши. И даже ископыченные в пыль отарами овец и коз, высокие, жирные кочки выглядели жалкими бородавками на солончаковом приозерном лугу.

И все же я узнал место нашей стоянки по чудом уцелевшей наусух-высохшей, когда-то косматой зеленой раките, вблизи которой был колодец с холодной пресной водой.

А главное плесо? От него осталась обмелевшая лужа не более полуверсты в окружности, обрамленная реденьким камышком и рыжей осочкой. Правда, и на ней мы увидели немало утьвы, преимущественно чирков, широконосок и лысух, но каким же все-таки жалким выглядел когда-то полноводный, зеленый Джакижан, на котором в огромном количестве водились и шилохвости, и кряквы, и атайки.

— Двигай, Николаич, засветло надо успеть запастись свежинкой на добрую жареху,— разомкнул уста наш молчаливый шеф-повар, слесарь Володя.

Я тронул лошадей, и мы быстро скатились на облюбованную лужайку, недалеко от засохшей ракиты с ее колодцем.

В минуту лошади были распряжены, с задка долгуши снят вместительный фанерный ящик с кухонным хозяйством Володи и даже лучиною для растопки костра в степи на случай мокропогодицы.

Больше всего волновался шеф-повар:

— Вот что, братцы, вы идите за птицей, а я и сухих конских котяшков пособираю,— они пожарче любых березовых дров будут, и за водичкой, и картошечки-моркошечки, лучку для жарёхи начищу...

Обрадованный Митяйка (он боялся, что его оставят собирать аргал) быстренько опоясался патронташем, взял в руки ружье и кинулся было на озеро «обзирать окрестности»: еще с хребта зоркий его глаз приметил себе мысок с осочкой и камышком, глубоко вдававшийся в середину плеса. Но бригадир остановил его: скатившееся за горизонт уже более чем наполовину солнце красной закатной своей краюшкой золотило и небо, и жалкие остатки разрозненных кочковатыми перемычками, словно осколки разбитого зеркала, озерных лужиц. Вот-вот и погаснет оно.

И в степи, как всегда, сразу же вплотную прихлынет огромная темная ночь.

— Вот что, Митенька, ты со своими самоходными астрилябиями моментом убежишь на ту сторону Джакижана, а как только мы с Николаичем сядем в скрады и я тебе свистну — стрель по первым попавшимся. В крайности — вхолостую.

И как же перекосилось лицо Митяйки от плана старшего брата: «Раз стрелю первый — вся утка шарахнется на них, а ты щелкай зубами!..» Но возражать бригадиру на охоте, да еще на дрофиной, не решился, и через несколько минут на своих «самоходных астрилябиях» Митяйка уже огибал западную кромку Джакижана.

Мы с Иваном тоже взяли ружья. Он — дореволюционную тулку шестнадцатого калибра, я, не доверяя своей зауэровской двадцатке, по совету друзей, на дрофиную охоту вооружился навотновской садочницей десятого калибра. С непривычным ощущением ее громоздкости и тяжести вложил увесистые пузатые патроны, снаряженные шестеркой, и мы пошли.

Иван направился к тому самому мыску, о котором мечтал Митяйка. Я было хотел остаться на ближней излучине озера, но бригадир удержал меня:

— Пойдем вместе, Николаич, от первого же стрела Митьки она вся пойдет вдоль мыска, и ты со своей пушкой только норови в разбор, в разбор табуна — сразу вывалишь целую улицу. А я по близу на подхвате буду...

Мы засели на длинном, хорошо укрывшем нас камышистом мысу недалеко друг от друга.

Иван свистнул и раз и другой, но пришипившийся на противоположной стороне Митяйка молчал. А солнце уже скрылось, и только оранжевые его отблески еще полыхали и в небе, и на замалиновевших лужицах озера.

— Вот, чертов хитрован, никак не лопнет: ждет, когда мы откроем огонь! — проворчал Иван и, не выдержав, сердито крикнул: — Стреляй ссу-у-к-ки-ин ко-отт!

И только тогда Митяйка «лопнул».

Вслед за его выстрелом, гулко многократно повторенным в ущельях близлежащих гор, все сущее в кочках, в осоке, в камышах Джакижана с испуганным кряканьем поднялось в воздух.

Табун жировавших на плесике чирков-трескунков, летевших над самой водой, вывернулся из-за нашего мыска и налетел чуть ли не на голову Ивана, но он пропустил их и, подсвистнув мне, крикнул:

— Помни, в разбор!..

Заметившие Ивана чирки шарахнулись от него и перед моей засидкой всем табуном подставили себя на самый выгодный для стрелка боковой выстрел.

Раз за разом громыхнув по ним из своей садочницы, я действительно вывалил из табуна «целую улицу».

Поднявшееся с Джакижана все птичье царство заметалось надо мной и над Иваном. Но я уже не стрелял больше, и потому, что плохо различал в темноте налетающих птиц, и спешил засветло собрать убитых и подраненных мною чирков.

Один за другим гремели дуплеты Ивана, и каждый раз с сочным шлепком падали в воду, в грязь убитые им утки.

На противоположной стороне несколько раз выстрелил и Митяйка. Было уже совсем темно. С собранными чирками я подошел к стоящему во весь рост Ивану и был свидетелем совершенно изумительного дуплета: точно

камни, выметнутые из пращи, стремительно неслись два чирка, и, словно сожженные двумя снопами красного огня, взлетевшими в воздух, они упали у моих ног.

Четырнадцать утиных душ — чирки и широконоски — вот трофеи нашего внезапного налета на Джакижан.

От пылающего костра, пахнувшего кизячным дымком, навстречу нам выбежал успевший уже вернуться Митяйка. В руках он держал какую-то большую, узкую, нескладно-длинноногую, длинноклювую, с редким рыхлым оперением птицу.

— Фи-и-и, какой дребедени набили: чирчишки, широконожки,— умышленно переиначил он название соксуна-широконоски.— А у меня, Николаич,— косая сажень мяса! Вот! — И он протянул нам свою добычу.

— Смотрите — желтая-прежелтая, один жир!..

Иван взял птицу, взглянул на нее и, размахнувшись, швырнул в темноту ночи.

— Ухалица, лягушатница! — презрительно сказал он огорченному Митяйке.

* * *

Первая ночь в степи! Жаркое синеватое пламя от насохших, как порох, шариков конского аргала, клокочущее в котле, залитое жиром ароматное утиное жаркое, сердито плюющийся в носок вскипевший чайник, пахучий кизячный дымок, таинственное молчание ночи, вплотную — до самого костра, а отвернись — до самых ресниц окутавшей огромную, живую степь,— забуду ли я когда-нибудь эту первую ночь на пороге неизведанной, заманчивой долгожданной охоты на дроф!

Должно быть, и мои товарищи испытывали нечто подобное. Мы как-то необычно быстро, почти молча, поужинали (на зорьке, по холодку, до жары собирались добраться до основных дрофиных мест), устелились, укрылись потеплее, а ночь, как и предполагал бригадир, была холодной, и легли. Вскоре Иван и Володя заснули. Беспокойно ворочался только одержимый неуемной охотничьей страстью Митяйка, да лежал с открытыми глазами я.

Вскоре из темной мглы ночи над дальним краем степи выплыл кривой, сильно ущербленный месяц, пропали

мелкие и вырезались крупные низкие звезды, как-то необычно знобко дрожащие, словно золотые махровые астры.

От ущербленной луны, от крупных дрожащих звезд, чудесно преображая ковыльную степь, катились зеленые волны.

Я смотрел на небо и слушал ночь. Величавый звездный шатер, казалось, колыхался перед моими глазами. И все та же вселенская тишина комарино звенела в моих ушах. Изредка она нарушалась лишь всхрапами наших коней, пасущихся по близу с долгушей, на сочной отаве.

Даже утки не крякали на Джакижане: напуганные нашими выстрелами, они разлетелись на дальние озера и на речку Уланку.

Кажется, все же я засыпал, но, очевидно, на малые минуты и снова смотрел на небо, на степь, покрывшуюся блестками инея: «Значит, день будет жарким, а это самое главное для удачной охоты на дроф». В притушенных усталостью мыслях смутно, как на недопроявленных пластинках, одна за другой проносились картины охоты на степных гигантов, где-то доживающих свою последнюю ночь.

* * *

И я и Митяйка проснулись одновременно: на востоке только-только начинало отбеливать.

Вслед за нами поднялся Володя и, шумно отфыркиваясь, начал умываться из брезентового конского ведра. Мы тоже присоединились к нему — сбросили шапки и ватники. На темной, сочной зелени отавы и даже на ворсе моей барсучьей дохи, под которой я спал, матовым серебром отсвечивал иней. Ледяная вода приятно обжигала, освежала лицо. Предзаревое холодное утро, близость встречи с дрофами словно наливали нас такими запасами энергии, что мы не знали, на что нам израсходовать ее. Митяйка поймал лошадей и, захватив ведро, повел их к колодцу на водопой. Володя уже разогревал остатки от ужина и кипятил чай. Мне не терпелось начать укладку постелей, но бригадир, любивший, как говорил о нем Митяйка, понежиться под тулупом, еще

лежал и иронически посматривал на обуревающее нас нетерпение.

Но вот поднялся и он и благодушно заговорил:

— За такую ночь убитой, нахолодавшей дрофе никакой дневной жар не страшен, только призакрой от солнца, и все равно что на леднике — антик-маре с гвоздикой!..

Митяйка рысью примчал к долгуше и, насыпав в торбы овса, подвесил их лошадям.

— Жуйте на доброе здоровье, ребятушки! Теперь все от вас зависит: сколь полопаете — столько и потопаете...— И он любовно похлопал Барабана и Костю по тугим их бокам.

От лошадей Митяйка было метнулся к нашим постелям, но я отстранил его, свернул и, тщательно уложив одежду на линейку, прочно, как это было сделано вчера стариком Корзининым, увязал ее веревкой. Только патронташ, ружья да два бинокля оставил сверху. Вблизи костра, на отаве, валялась брошенная вчера бригадиром убитая Митяйкой выпь, невольно остановившая мое внимание. Я много раз поднимал на охотах выпей, всегда державшихся в страшных крепях, сотни раз слышал их протодьяконски-октавистое буханье весною, так гармонически дополнявшее разноголосые ликующие весенние концерты птиц в утренние и вечерние зори. И вот теперь — растрепанная, с окровавленными и намокшими от инея редкими, встопорщенными перьями, тонкая, словно вытянутая в длину — «косая сажень мяса», как удачно назвал ее Митяйка, показалась мне такой безобразной и в то же время так ненужно загубленной, что я не утерпел и с горечью сказал:

— Зачем ты убил ее, Митя? В природе так все целесообразно, так гармонично, а ты без нужды осиротил Джакижан...

Я чувствовал, что порчу и себе, и Митяйке, и всем моим товарищам настроение в это необычайное, какое-то звонкое зябкое утро перед такой охотой, и все же не мог сдержаться: бездумная мальчишеская жестокость у хорошего по сути парня, выбившего всех без остатка белых куропаток на Красноярских просяницах, лишившего чудесные места их веселых утренних разговоров, перекликов... И вот теперь снова эта выпь, с ее потаен-

ной жизнью и могучим бычиным голосом, взвинтили меня.

— Скажи, зачем? — повторил я.

— Не ходи босиком — не подвертывайся под горячую руку!..— попробовал было отшутиться Митяйка. Но никто на его шутку не отозвался.

Мы молча сели к котлу. Иван взял прожаренного до подрумянки чирка, с большим аппетитом съел его и только тогда нарушил молчание:

— С Митькой, Николаич, разговаривать все равно что бритву языком лизать...— Иван сердито отодвинул свою чашку.

— Еще вчера я хотел как следует отходить его этой выпью, да пожалел, а теперь фактично сознаю — напрасно пожалел. Кто же, как не наш брат охотник, должен не допущать подобное зловредство.

Меня, когда я много младше тебя был, покойничек Василий Кузьмич за такую же самую убитую мною по глупости выпь — ею же так изгвоздал, что я на всю жизнь запомнил: «Не губи, говорит, кого не положено. Я, говорит, весенний голос этого, как в бочку бучила, больше других птиц уважаю: гудит он все равно что большой колокол в христовую заутреню». А ведь Василий Кузьмич простой мужик-плотник был, ты же семь классов окончил... И батюшка наш, который тут же случился, не только не заступился, а прибавь, прибавь, говорит, ему, Кузьмич, чтоб знал, в кого и когда стрелять...

Митяйка сидел, уставя глаза в землю. Положенный в его чашку чирок лежал нетронутым. Кони доели овес, Митяйка вскочил и начал охомутывать их.

* * *

«Молодость — это когда все впервые» — не помню уже, кто и при каких обстоятельствах сказал эти слова. Я повторил их сейчас потому, что они полностью соответствовали и тому моему жизненному периоду, и первичной остроте моих тогдашних впечатлений.

Кони были запряжены, фанерный ящик с уложенной в него Володиной кухней поставлен и прочно пристегнут ремнями к дробинам в задке долгуши. Митяйка уже вскочил на подводу, а никто из нас не последовал его примеру: мы молча стояли рядом с нашим бригадиром

не менее минуты. Митяйка не выдержал, озорно качнулся на рессорах долгуши и, ломая напряженность, сказал:

— Не линейка, а спальный вагон! Да садитесь же, мужики, скорей!

Но бригадир, неукоснительно соблюдая правила и своего отца, и его спутников, с которыми он еще мальчиком езживал на охоты за дрофами, выдерживал положенное время (так перед отъездом в дальний путь в глубоком молчании присаживались на минуту-другую наши предки).

Наконец Иван снял шапку и, правда, не перекрестясь, но с молитвенно-строгим лицом, как и на просяницах, проговорил те же — кабалистические, якобы помогающие в этой охоте, три слова, которые всегда произносил в степи и подобных случаях знаменитейший на всю округу стрелок Василий Кузьмич Сухобрус: «Безотменно! Бесспоронно! Безубойно!»

Я подобрал вожжи, и мы покатили к заветным «джейлявам» на речке Джанторе, где, как заверил нас наш бригадир, мы «безотменно» встретим первые табуны дроф.

— До этого и не пяльте глаза по сторонам, и не накидывайте бинокли: во-первых, туман, во-вторых — дудаков в этих местах нет. Сколько раз по этим местам мы ни проезжали, сколько ни зепали — только дорогое время зря проводили. Видно, не климат ему здесь, а может быть, корм неподходящий, нет любимой его испрогорько-горькой, как перец, колючей, зеленой травки. Одним словом, пустодол! Зато уж на Джанторе!..

Слова в устах многоопытного нашего бригадира всегда были столь весомы, что мы отложили всякую мысль о возможной встрече на этом, как образно выразился Иван, «пустодоле», и сидели, каждый уйдя в самого себя. Только Митяйка не удержался и сказал: «Лётом бы перелетел на Джантору!»

Степную речку Уланку, что протекала в пяти-шести верстах от Джакижана, переехали у двух косматых, толстоголовых ив, в тумане показавшихся нам фантастическими существами. За Уланкой тотчас же свернули с набитого тракта влево по кочевой, но тоже довольно торной дороге к аулу Марсека. Я, по свойственной охотникам привычке, старательно запоминал кратчайшую дорогу к дрофиным «палестинам».

Невидимые из-за тумана шпили Монастырей оста-

лись вправо. Верст двенадцать прорысили мы до солнца, но вот он и аул Марсека с его пустыми еще зимовками. Неподалеку у самой дороги — протянувшаяся подковой куртина с зарослями шиповника, дерезы, дикого миндаля с несметным количеством тетеревов в ней, о которых нам говорил старик Корзинин. Но, спеша, мы решили не останавливаться. Все же Митяйка соскочил с линейки и, покуда мы огибали куртину, выпугнул и убил трех перелинявших сине-черных, словно обтянутых бархатом, петухов. Сияющий, он подбежал к нам и, остановившись и состроив строгое лицо, как это сделал утром Иван, выкрикнул: «Безотменно! Бесспоронно! Безубойно!» С каждым вещим словом он бросал нам черныша. Мы все, в том числе и наш бригадир, дружно рассмеялись выходке озорного паренька.

Поднявшееся солнце прогнало туман. Над нами голубым шатром раскинулось безоблачное небо, проткнутое шпилями Монастырей: через каких-нибудь два-три часа снова жаркий солнечный день жадно обнимет степь. Но эти краткие часы перехода от ночного холода, когда и в ватнике знобко, а лица, шеи и даже руки морковно-красны от утренника, к безжалостному владычеству белевшего от собственного неистовства полуденного солнца — самые благодатные для преодоления бескрайних пространств.

В эти часы так пахуч воздух, пропитанный и горьковатым душком полынки, и тягучим чуть сладковатым настоем из чабреца и шалфея, так чист и стеклянно-прозрачен, что самые дальние хребты сланцевых гор с лепящимися у их подножий аулами видны с такой отграненной четкостью, словно вы смотрите на них в стекла многократного бинокля.

Вот толстый казах, в меховом бешмете, в малахае и огромных с кошемными айтпаками кожаных саптомах, верхом на тщедушном стригуне-третьяке, подхватив веревкой копну сена-«осенчука», медленно волочит ее к жалким, желтым, как сурочьи норы, слепленным из глины, навоза и камня зимовкам.

Стригун выбивается из сил, то и дело останавливается, а он, тяжелый, грузный, сидя на жеребенке, неистово колотит его ногами по поджарому животу.

О вольный, детски-беспечный сын степи! Целый день протаскивает он пять копнушек негодного, скошенного

глубокой осенью сена с луговины до зимовки — когда сложенные на арбу их за один раз так легко доставить на зимовку. А зимовки — холод, чад, вонь.

«Но ведь уже идет и обязательно придет и сюда техника, а с ней и новая жизнь — сотрет с лица земли эти древние, недостойные человека, почти первобытные становища кочевников. Да, все это уже отжило, все обречено на снос...»

Я невольно поймал себя, что с момента выезда из города здесь, в степи, я живу лишь одними ощущениями: мозг мой как бы начисто выключен из повседневного, привычного круга мыслей о жизни, о мире со всеми его противоречиями. Здесь я наедине с природой, с глазу на глаз с самим собой. И не потому ли, даже после самой краткой поездки на охоту или на рыбалку, я всегда чувствую себя обновленным, заряженным новым запасом сил, как после длительного южного курорта...

И словно в подтверждение мелькнувшей мысли взгляд мой поймал беркута, с хищным клекотом ходившего высоко в небе, на широких косых кругах. Казалось, даже и не двигая крыльями, он плавал над небольшим, среди бурой ковыльной степи, темным островком дерезы. И вдруг стремительно, с свистящим шумом упал в островок и через мгновение тяжело взмыл с заловленным, прижатым к животу зайцем. Все выше и дальше, дальше понес он жертву к кручам Монастырей. А я все следил и следил за ним. Вот он уже обратился в точку и наконец пропал из глаз, но в напряженных моих зрачках теперь уже и небо, и сахарные головы Монастырей, и степь начали такой же каруселью кружиться с каким-то шелестящим шумом, не то от летящей вокруг солнца земли, не то от потревоженных ветром ковылей, не то от повторяющегося, как эхо, свистящего шума крыльев беркута, низвергнувшегося на зайца...

А кони рысили и рысили. Долгуша мягко покачивала нас на своих рессорах. И я и мои спутники, разнеженные качкой, точно заколдованные бескрайней ширью степи, бездонной глубиной голубого неба, не то дремали, не то, как и я, почти бездумно наблюдали, как перед глазами проплывают плешины солончаков, волны колышащегося ковыля, островки таволжанника и дерезы, вихрастые, жесткие, точно проволока, кусты чиевника. И как неожиданно среди этих одонообразно бурых высохших трав

вынырнет все еще ярко-зеленый, какой-то особо упорный куст, или даже одна-единственная былинка сверхстойкой травы, сохранившей и сочность стебля и весеннюю яркость листьев, словно нестареющая красавица среди дряблых, полумертвых старух.

До святости я люблю свою степь за безграничную, как материнское сердце, ее широту и покой — так моряки любят море, таежники — тайгу. И мне радостно, что я люблю ее до святости: у каждого человека непременно должно быть за душою что-то святое.

* * *

Чем ближе подвигалось время к полудню, тем все больше и больше ожесточалось солнце. Кони наши все чаще и чаще начинали пофыркивать. Ноздри их побелели от выступившего и сразу же сохнувшего на храпках соленого пота. А ни озера, ни колодца и даже близких признаков обетованной речки Джанторы: степь и степь, лишь кое-где пересеченная невысокими увалами, усыпанными раскаленным щебнем.

И хотя благословенная речка Джантора, с обещанными на ее джейлявах дрофами, была, очевидно, все еще далеко, но Иван и Володя в минутные остановки уже не выпускали биноклей из рук.

Митяйка и я тоже внимательно всматривались в степные дали, особенно в те ее места, где топорщились кусты чиевника, полыни, согнанные осенним ветром в островки шары перекати-поля. Обнаружить дроф в зарослях, да еще если они залегли,— далеко не просто. Пасущихся дроф выдают лишь их взблескивающие на солнце перья.

Поле наблюдения было распределено: я и Иван обзирали правую, Митяйка и Володя — левую сторону дороги.

На горизонте показался казах, кочкою трясшийся на седле. Ехал он без дороги к какому-нибудь аулу, чтоб рассказать очередную степную новость и поесть мяса у тамыра.

Казах заметил нас, очевидно, раньше, чем мы заметили его в наши бинокли, потому что, направляясь к нам наперерез, спешил, то и дело помахивая камчой [1].

---

[1] Камча — плеть.

— Слава богу! — обрадовался Иван казаху.— Уж он-то разъяснит, где они, родненькие...

Немолодой, крупный, широкоплечий казах ехал на гривистом сером меринке. И тоже, несмотря на жару,— в меховом бешмете, в барашковом малахае и тяжелых саптомах. Круглое, добродушное лицо его еще издали расплылось в приветливой улыбке. Как и мы, казах явно обрадовался встрече с нами в этой безлюдной молчаливой пустыне.

Иван, неплохо говоривший по-казахски, ответив на приветствие путника, спросил его:

— Джолдас, дуадак курдымба? (Товарищ, дроф видел?)

Казах еще больше оживился. Плоское, широкое его лицо стало словно бы еще шире:

— Курдым! Онау,— показывая камчой в сторону ближнего увала, сверкая белоснежными зубами, заговорил он.— Коп да бар! (Видел! Вон там дроф очень много!)

Иван поблагодарил наблюдательного путника. Мы постояли немного. Казах протянул Ивану руку и сказал: «Кош!» (прощай). Иван соскочил с долгуши, благодарно потряс большую мягкую руку джолдаса и ответил: «Кош!» И мы разъехались.

— Будьте спокойны, как ни коротка была наша встреча, а всех нас, и особенно наших лошадей, безотменно запомнил. Через десять лет спроси его, и он, как Айвазовский, в точности обрисует,— довольный известием о близких дрофах, наш бригадир не преминул щегольнуть даже знакомством с живописью.

— Это тебе не мазепы на пароме, которые не только дроф у своей околицы, а и тебя-то самого в упор не видят,— отозвался Митяйка, все еще злой на тавричан-новоселов. Обрадованные новостью, мы еле заметной в ковыле кочевой дорожкой покатили к указанному нам увалу.

И хотя бригадир наш не раз в городе подробно просвещал нас, как вести себя при подъезде к дрофам, где ложиться во время нагона, сколько выносить переда при стрельбе по кажущейся медлительности стремительных в полете гигантов, мы вновь так же внимательно прослушали его. А говорил он, как всегда, со строгим видом — уверенно, твердо, по-охотничьи точно отобранными словами:

— При подъезде сожмитесь вприлип друг к другу — словно бы один человек. Головами не ворочать, глаз на дудаков не пялить и, боже упаси,— не указывать руками...

Лег — умри. Налетят — вскакивай только, когда почуешь, словно бы от ихних крыльев ветром тебя с земли отдирает. А ежели пешки идут — когда услышишь, как двошат: «Хок-хок...»

Мы были уже недалеко от длинного, полукольцом протянувшегося увала, и, хотя ехали все время в подъем, я все подгонял и подгонял лошадей.

Заранее, без нужды, плотно приникший к моей спине Митяйка дрожал крупной дрожью. Тогда же и я почувствовал, что и сам тоже дрожу, точно в пароксизме лихорадки: «Спокойно, брат, спокойно!» — безуспешно пытался я остепенить себя. Даже флегматичный, оживлявшийся только за готовкой охотничьих блюд присяжный наш кок Володя, и он вот уже дважды осматривал картечные патроны для своего длинноствольного «единорога».

Лишь Иван внешне выглядел совершенно спокойным. Но мы-то хорошо знали, что и он, с его склонностью к показной бригадирской солидности, к всегдашней осанистой выступке, к наивному щегольству подслушанной хлесткой фразой, тоже волнуется не меньше каждого из нас.

Близкая встреча с необычайно сторожкими, умными, крепкими на рану степными богатырями взбадривала, кипятила всех нас одинаково.

Перед самым подъемом Иван полушепотом, с изменившимся строгим лицом сказал:

— Николаич, передай Митьке вожжи — он будет загонщиком!..

Я охотно передал вожжи огорченному пареньку и тотчас же ближе к боку подвинул свою тяжелую садочницу.

Еще десяток, еще пяток сажен до гребня развалистого, усыпанного блескучим мелким щебнем увала, на который мы поднимались по широкой изложине.

Потемневшие от пота кони наконец вынесли долгушу на самый хребет увала. Редкая картина развернулась перед нашими глазами.

Огромная Джанторинская долина со множеством то больших, то малых, то протяженно-длинных, то совершенно круглых ярко-зеленых площадей и площадок,

словно и не тронутых зноем богатейших «джейляв», посреди которых взблескивала на солнце извилявшаяся речонка, как бы со всей степи собрала сюда на жировку наших сторожких отшельников — «страусов».

Только вблизи увала, на который мы поднялись, на смежных с ним невысоких холмах и отвершках пять табунов дроф, мирно пощипывая зелень, паслись в разных концах джейлявы. Некоторые лежали, нежась на солнце, некоторые играли, гоняясь друг за другом. Отдельные, атлетически-широкогрудые, с круглыми, высоко поднятыми белесо-голубыми головами дрофичи и по величине, и по манере держаться с какой-то сановитой сторожкостью выдавали себя как главари табунов.

Так близко пасущихся дроф я видел впервые и, несмотря на строгий бригадирский запрет, залюбовался ими: подобного величия и красоты, соединенной с могучестью, я до того не встречал в нашем птичьем царстве.

Митяйка с честью выдержал первое испытание загонщика, от искусства которого в охоте на дроф зависит добрая половина успеха: не повернув головы, не задержав лошадей ни на секунду, а лишь потянув вожжу коренника и побочив лошадей вправо от ближайшего к нам табунка из двенадцати дроф, он неспешно ехал, словно бы мимо и как бы даже удаляясь от них. Для начала многоопытный наш бригадир решил применить к не напуганным еще дрофам так называемый «круговой классический» подъезд. Он негромко сказал брату: «Подальше, подальше — попробуем закружить...»

Пасшиеся недалеко от кочевой дорожки дрофы спешным шагом начали уходить к небольшому холму... Шли они, как овцы, рассыпанным строем и время от времени что-то склевывали.

Сзади табунка, саженях в трех, то и дело поворачивая голову в нашу сторону, прихрамывая, шел здоровенный, толстоногий дрофич-усач.

Первые дрофы уже поднялись на холм и скрылись за ним, а дрофич все еще опасливо оглядывался на нас, как бы спокойно, как обычные путники, удалявшихся по кочевой дорожке. Но вот наконец скрылся за холмом и главный их страж.

На охоте, как на войне, при изменившейся обстановке мгновенно меняется и тактика боя. Бригадир все так же негромко, но властно сказал:

— Мы соскакиваем и бежим, а ты, Митька, езжай!

Долгуша как ехала, так и покатилась дальше, стуча колесами по щебнистой дороге и этим удаляющимся стуком вводя в заблуждение сторожких, скрывшихся уже за холмом дроф.

Спрыгнув с линейки, мы понеслись к холмику. Я бежал крайним справа, крайним слева — Володя, бригадир — между нами.

— Николаич, ты бьешь правых, Володя — левых, я в середину табуна!

В какой-то миг я окинул взглядом своих товарищей. Что это были за напряженные лица! Каким огнем горели их глаза! Но я тотчас же все внимание сосредоточил на близком уже холме, напряг всю быстроту ног, чтоб не отстать от друзей.

Выскочить на холмик — дело минуты: дрофы оказались не далее тридцати — сорока шагов от нас.

В стволах моей садочницы были патроны с двухнулевой дробью, пересыпанной крахмалом. И «единорог» Володи и тулка Ивана — с картечными патронами (в расчете на довольно дальнюю стрельбу с подъезда).

Напуганные неожиданным нашим появлением на холме дрофы бросились врассыпную и, поднявшись против ветра на крыло, замелькали перед нашими глазами.

Три дуплета потрясли воздух. Из пары улетающих от меня вправо дроф одна упала, грузно стукнувшись зобом о землю, расстелив веер из багряно-желтых перьев, а второй дрофич после выстрела судорожно выбросил прижатые к животу ноги и, как-то странно ныряя, точно пытаясь задержаться в воздухе, пролетев с полверсты, опустился на совершенно открытом месте и залег.

— Ра-а-нен! И этот ра-а-нен! — победно закричал я.

Товарищи — превосходнейшие стрелки и опытные дрофятники пропуделяли: их подвела облетевшая птиц волчья картечь.

А я!.. Я уже держал за пушистую мягкую шею свою первую, не слишком, правда, тяжелую — фунтов тринадцать — самку из породы «джурга» (иноходец).

Убитую, еще горячую дрофу Володя тотчас же выпотрошил, выбросил набитые зеленью кишки, оставив только печень, сердце и заросший салом пупок величиною

с кулак. Операцию эту необходимо проделывать немедленно — иначе нежное дрофиное мясо будет испорчено. Наш кок объясняет это рассасыванием желудочных соков от проглоченной дрофами горькой, напоминающей перец, колючей травы.

Табуны дроф, потревоженные выстрелами, в этой части джейлявы ходом пошли в горы, на лежку до вечерней прохлады.

Оставив Митяйке убитую дрофу, я, Иван и Володя отправились к подраненному петуху. Вот тут где-то он снизился и залег, и, хотя место было совершенно голое,— лишь мелкий серовато-белый камень да выжженный тощий ковыль,— сколько мы ни кружили по склону сланцевого хребта, петух словно сквозь землю провалился.

Не менее получаса прокрутились мы, как вдруг сзади Володи, с места, рядом с которым мы уже проходили, сорвался дрофич и скрылся за ближайшим выступом утесика.

Выскочив на гребень, мы снова внимательно стали наблюдать за подранком. Низко, над самой землей, тяжело промахав не более двухсот сажен, дрофич снова снизился и залег рядом с гребнем второго сланцевого отвершка: перелететь за гребень у него уже не хватило сил.

Бригадир пошел в обход, а мы с Володей остались на нашем увале и, не спуская глаз с дрофича и с показавшегося за гребнем отвершка Ивана, сигналили ему.

Вот Иван уже — против лежащего чуть ниже его подранка. Мы махнули, чтоб он спускался прямо вниз. Иван вышел из-за гребня. Дрофич тоже заметил его, но только плотнее прижался к земле.

Громыхнул выстрел, и белогрудый великан-дрофич, последний раз взмахнув крыльями, вытянул длинные черные ноги.

Иван принес петуха и передал его мне:

— Поздравляю, Николаич! Широкодушно поздравляю! — И бригадир и Володя смотрели на меня и улыбались хорошо, открыто. Я принял из рук Ивана свою добычу: такого веса (в дрофиче оказалось 29 фунтов) степную птицу в своих руках я держал впервые.

Ощущение счастья неудержимо распирало меня. Должно быть, я бессмысленно улыбался, но силился

скрыть свою радость от товарищей и не мог. «Пусть не совсем чистый, но все же дуплет по дрофам!.. И в первую же охоту!.. Да такого великана!..»

Через минуту, когда я овладел нервами, я передал Володе выпотрошить дрофича и полушутя-полусерьезно выкрикнул: «Безотменно! Бесспоронно! Безубойно!»

* * *

Удачное начало, обилие дроф — разгорячило нас. И несмотря на то что лошади, да и сами мы были порядком уже утомлены и длительным переездом и неспадавшим зноем, все же решили продолжать охоту.

— «Бей грача — сгоряча»,— говорил художник Шишкин,— вспомнил почему-то теперь Шишкина наш «ученый» бригадир и хитровато подмигнул мне.

— Обязательно, обязательно еще надо одну-другую, а то какой же суп с большими печенками из двух-то,— охотно поддержал Ивана и Володя.

Перебивая один другого, мы громко обсуждали наш первый подбег к дрофам и нашу стрельбу. Все мы, кроме загонщика, были радостно возбуждены, но паренек наш был мрачен. Неукротимая охотничья страсть Митяйки заволакивала его душу поэзией того, как писал один из охотничьих классиков, «неизъяснимого наслаждения, которому и настоящие-то охотники не придумали приличного наименования и меткой клички». И вот они — дрофы, об охоте на которых он столько мечтал: «А ты только загонщик, свидетель чужой стрельбы!..»

Я отлично понимал состояние Митяйки, но облегчить его участь — взять на себя роль загонщика — мне тоже не улыбалось...

Убитых дроф уложили в задок долгуши и накрыли брезентом.

— Трогай вон к тем дальним четырем дудакам,— приказал Митяйке бригадир,— попробуем нагоном. Уж больно я обожаю их визуально, на выбор, какая побольше да помягче,— расшутился бригадир.

— Да не к этим, а вот к тем,— указал Иван брату пасущихся далеко на отмете на совершенно ровной степи четырех крупных дроф.

И мы поехали. Саженях в двухстах против спокойно пасущихся дроф бригадир шепнул Володе: «Падай!»

И шеф-повар, сидевший, низко пригнувшись, на противоположной от дроф стороне долгуши, упал за кудлатый шар перекати-поля.

Вскоре у небольшой выбоины ту же команду бригадир подал и мне, и я тоже растянулся пластом. Подальше, за сурчиной лег сам бригадир.

Степь только кажется гладкой, как тон: зоркий глаз опытного охотника всегда найдет укрытие.

Митяйка объехал дроф и стал закруживать, «поджимать» в нашу сторону сторожких птиц.

Я лежал, как мертвый, кажется, даже боялся дышать во всю грудь. Шея моя затекла, но я все ждал того могучего свиста крыльев налетающих гигантов, которые «словно отдирают охотника от земли». Но... не дождался: очевидно, заметившие кого-либо из нас, или по другой какой причине, дрофы поднялись и полетели не на нас, а в сторону загонщика.

Мы собрались у долгуш

— Обсечка! — сказал бригадир.— Пощупаем других: на охоте удача с неудачей рядом живут, как говорил Лев Толстой,— вновь скаламбурил наш образованный бригадир.

И верно, почти в точности так же, как и в первый раз, мы неожиданно перегнали большой табун дудаков почти через такой же холм и тем же, уже испытанным способом, перехитрив дроф, побежали к ним.

На сей раз я бежал, как мне казалось, совсем легко, уверенно-весело. Но когда до гребня оставалось не более шести-семи шагов, у меня вдруг заколотилось и потом словно бы разом остановилось сердце: я замер — не в силах сделать ни одного прыжка. Иван и Володя были уже на холме и в два дуплета вырвали из табуна двух дрофичей. А я так и простоял, даже не видя из-за гребня падения убитых ими птиц.

Что со мной сталось? Не знаю. И ни тогда, ни много позже не смог объяснить причины. И сердце и легкие у меня, «как у лося»,— утверждали все знавшие меня по охотам товарищи.

Может быть, от волнения? Но во время подбега я, как мне казалось, был совершенно спокоен.

— Это ты досконально перегорел при первом подбеге, а сейчас оно и отрыгнулось,— авторитетно объяснил бригадир.

Убитых дрофичей друзья бросили к моим ногам. Я с трудом сдвинулся с места, и мы пошли к долгуше.

— На этом сегодня пора кончать. А уж я, будьте уверочки, таким супецом из больших-то печенок накормлю вас, что и вовек не забудете! Митяйкиных же косачей обжарю, разрумяню и с помидорчиком — на легкие дорожные закусоны! Некупленное,— как не побаловать пузынько! Мы не где-нибудь — в Джантаринском краю!..

Наш молчун так разошелся, его доброе лицо так вдохновенно сияло, что Митяйка, склонившись ко мне, шепнул: «Того и гляди, поэт Пузынькин начнет сочинять стихи...» Язык у Митяйки действительно был острый. Почти каждого усть-каменогорского охотника он наградил меткой кличкой: скажет, как тавро выжгет.

Мы подъехали к речке Джанторе и на крутой излуке с удобным водопоем и зеленым выпасом распрягли усталых коней.

* * *

«Так вот они какие большие-то печенки! Спасибо «поэту Пузынькину» — знает толк в еде!» Суп из свежих дрофиных потрохов действительно получился незабываемым: жиру — не продуешь, а потроха и особо — печенки показались мне не менее нежными и вкусными, чем прославленные налимьи. До кастрюли с аппетитно поджаренными в сухарях тетеревами мы даже не дотронулись.

Вечер с каждой минутой свежел, ночь обещала быть не только с инейком, но даже и с заморозком. Убитых дроф, вынув из распоротых огузков ковыльные затычки, мы разложили на земле, чтоб они набрали ночную температуру.

Четыре дрофы, из которых только одна «джурга» — остальные крупные петухи,— у долгуши придавали внушительный вид нашему стану.

— Это же княжеская охота! — не выдержал, восторгнулся я. Бригадир снисходительно улыбнулся и, очевидно, умышленно, как бы между прочим, заметил:

— Десять лет тому назад на этом же самом месте перпендикулярно лежало двадцать семь убитых дуда-

ков,— сказал и замолк, сосредоточившись на тщательной подготовке постели на ночь.

Зная склонность бригадира и на охоте к еликовозможному комфорту на стану, я не стал отвлекать его от дела, которого он, как Володя готовку пищи, не доверял никому: «Раз замахнулся — непременно расскажет»,— подумал я.

Мы обстоятельно подготовились к ночевке под звездами — на толстой мягкой кошме, на ноги надели валенки, на головы — шапки. Я укрылся своей непробиваемой ни клящими морозами, ни ливневым дождем барсучьей дохой (с густой, серебряной ее ости вода скатывалась, как с гуся).

Володя и братья Корзинины укрылись «полдесятинным — коммунарским», как окрестил его Митяйка, из бараньих овчин одеялом и наслаждались под ним заслуженным отдыхом. Рядом с долгушей, мирно пофыркивая на зелени джейлявы, паслись закованные в железные путы кони: теперь я надевал кандалы и на Костю.

Уставившись в небо, мы лежали молча. Ночь в степи, как подметил тот же Митяйка, «кралась на кошачьих лапках». Вслед за опустившимся солнцем сразу же потускнело серебро ковылей, погасли отблески зари на дальних хребтах. А вот уже пропали и самые ближние из них. Широкий мир сузился до размеров нашего стана. Лишь груда багрового аргалового жара в костре хищным зрачком сверлила ночь. Низко, на самые плечи степи, опустились крупные звезды. А вскоре, как и вчера, только чуть попоздней, из-за дальнего гребня увала выплыл ущербленный огрызок луны. А с ним — прихлынула, обняла наш стан огромная таинственная тишина, какая бывает только в степи. Кажется, что ты один во всем мире — такая тишина!

И действительно, бригадир начал свой рассказ. Он был как-то особенно благодушно настроен сегодня, то ли от «незабываемого» Володиного супа с большими печенками, то ли от нахлынувших воспоминаний о давней ночевке на этом же месте в дни его юности.

— Да, здесь лежало не четыре, как нынче, а двадцать семь дудаков — перпендикулярно, ряд к ряду, как в «гивометрии»! — повторил Иван.

— Тогда я еще таким, как Митяйка, пареньком был. Наш главный заправила, покойничек Василий Кузьмич,

и облюбовал это место под стан. И мы три осени становались здесь. А вот сейчас и кострище заросло — не знатко. В точности, как в песне: «позарастали стежки-дорожки...» Все забывается. Даже такого азартного, такого широкодушного охотничища, такого силача, добряка, весельчака, как Василий Кузьмич,— и того многие уже забыли...— Иван опять надолго замолк. Мы тоже молчали. Несмотря на страшную усталость, спать не хотелось: в моих глазах все еще стояли пасущиеся на джейлявах дрофы. «Действительно, на какое место привел Иван!..» Меня всегда поражала память нашего бригадира: он отлично помнил не только где и когда становали, но где и при каких обстоятельствах были убиты особо крупные дудаки.

Иван знал, куда привести нас: место, когда-то выбранное знаменитейшим на всю округу охотником — левшой Василием Кузьмичом, было исключительно удобное, и находилось оно в центре обширной Джанторинской долины с излюбленными местами жировок кочующих на юг дроф. Степь с кормными зеленями, с перемежающимися увалами и щебнистыми холмами, на темени которых, в тени валунов, сторожкие гиганты-кочевники, искусно маскируясь, любили отдыхать в знойную пору дня. Место это Митяйка окрестил — «степногорье — дрофам раздолье».

— Здесь, как в депо,— продолжил свою речь бригадир,— мы до отрыжки натешивались по дудачкам. И сколько же перебили их!..

Однажды за двое суток, трое их — батяня наш и они, два брата Василий и Николай Кузьмичи (я тогда в загонщиках натаскивался) — двадцать семь штук убили. И все один одного баранистей!

Кончили охоту, честь по форме сложили дудаков, а самим и сесть некуда. Да если бы и сели, без того — коням в упор...

На охоту же мы выехали почти в то же время, как Митька нынче сепетил,— до инеев.

А уж атмосфера стояла — не то што в глотке — в носу сухо!

Идут они все, кроме меня, тихим бытом на своих на двоих и за грядушки держатся.

Едем день, едем другой — ведь даль-то какая! Только вижу, мой Кузьмич (он шел с подветерку) как-то подо-

зрительно посматривает на меня. Раз взглянул, два взглянул да и говорит: «Ну что ты, Иванка, обзираешься так!» А я молчу. И самого меня до нестерпимости давно уже мерзотиной пришибало.

Тогда я взял да и сказал: «Василий Кузьмич, приподнимите брезент, пожалуйста!»

Приоткрыл он, а по дрофам черва кишмя-кишит...

Кузьмич сменился с лица. «Стой!» — закричал. И давай он их одного за другим на обочину дороги вышвыривать. Вот тогда-то и схватил Василий Кузьмич с головы картузишко, как я уже рассказывал вам, хлопнул его об землю и страшной клятвою заклялся не ездить до инейных утренников и не набивать дудаков свыше меры...

«Не мясники же мы в самом деле! Должна же у нас совесть быть. И хоть без охоты я жизни себе не чаю и по своему характеру — через годик-другой спился бы. Но ведь и после нас такие же охотники народятся — надо и об них подумать!»

Вот он каков был Василий-то Кузьмич! Иван замолк и на этот раз окончательно: вскоре из-под «полудесятинного коммунарского» одеяла до меня донесся согласный носовой свист братьев и могучий храп «поэта Пузынькина».

* * *

Я лежал с открытыми глазами, слушал ночь и думал о знаменитом стрелке без промаха левше-плотнике Василии Кузьмиче Сухобрусе, которого отлично помнил, хотя и встречался с ним только в раннем детстве, а взрослым — лишь раза два на коротких воскресных охотах по уткам в пойме Ульбы.

И тогда высокий, широкоплечий, с талией горца, весь какой-то легкий на своих длинных сухих ногах, с красивой кудрявой русоволосой головой, с большими серыми орлиной зоркости глазами, силач, оборовший в заезжем в наш городок цирке борца-тяжеловеса, лихой гуляка и весельчак поражал меня своей душевной широкостью и добротой. Но то, что я узнал о нем во время нашего отъезжего поля от бригадира, по-новому раскрыло мне Василия Кузьмича. Уже одно его неистовство из-за на-

прасно загубленной Иванкой выпи, его слова: «Не губи, кого не положено. Я весенний-то голос этого, как в бочку, бучила больше других птиц уважаю: гудит он все равно, что большой колокол в христовскую заутреню» — мне осветили новые грани его отзывчиво-чуткой к красоте природы поэтической души.

«Вот он истинный охотник! Вот оно, постоянное-то общение с природой, которое питает мудрость, вызывает в человеке жажду добра, рождает в его душе великое острое ощущение самоконтроля, без которого охотник — не человек, а волк...»

Заснул я не сразу. И мысли, роившиеся в моей голове, и ночь под звездами с чьими-то невнятными, таинственными голосами в этой безлюдной степи, рядом со спящими где-то здесь близко древними сторожкими птицами-великанами, которых так безжалостно, часто неразумно истребляет человек, еще долго не давали мне спать: «Простой плотник, неграмотный мужик, сбросивший с головы картузишко и заклявшийся не губить дроф больше меры. Слова: «Не мясники же мы! И после нас народятся охотники — надо и об них подумать» — на всю жизнь запомнились Ивану. Ни одно доброе усилие не пропадает даром... Дрофы еще сохраняются в самой отдаленной глубине степи... Рано или поздно придется. Рано или поздно...»

Уже засыпая, как в бреду, я шептал какие-то слова. Но в усталой моей голове уже шумело, кружилось. И сам я словно бы тоже плавал, кружился в безвоздушном пространстве.

И вместе со мной плавала, кружилась и гудела вселенная.

* * *

Больше всего мне нравилось в этом отъезжем поле неторопливое, без суеты, без нервоза, спокойно-благодушное настроение всех членов нашей охотничьей коммуны. Даже Митяйка, имевший все основания быть недовольным скромной ролью загонщика, успокоился после обещания бригадира сменить его: «Будешь стараться нагонять дудаков на самые наши головы — положу в цепь!»

И как же старался, как мастерил этот способный, достойный корзининский отпрыск во второй, не менее, а даже более удачный день охоты в Джанторинском степногорье!

Отоспавшись на славу, встали мы, когда уже поднялось над степью солнце, и первым делом убрали, хорошо укрыв в задок долгуши, каменно-затвердевших, нахолодавших за ночь дроф. Выкормили лошадей, неспешно, обстоятельно позавтракали, запили крепчайшим чаем и только тогда все так же спокойно стали готовиться к новым встречам в новых местах с непугаными дудаками, которые к этому времени должны были уже спуститься с увалов, выбраться из чиевников, где они ночевали, на открытые зеленя джейляв.

Мне казалось, что я неплохо знал своего бригадира по прежним охотам на уток, тетеревей, белую и серую куропатку, на зайцев и лисиц, но только на охоте по дрофам бригадирский его талант раскрылся во всем блеске. Только теперь я по-настоящему оценил и его богатейший опыт, перенятый им еще в юности у таких охотников, как Василий Кузьмич и старик Корзинин, и большую наблюдательность, и совершенное знание повадок этой редкой, сторожкой, и надо прямо сказать, катастрофически исчезающей птицы.

Едешь, едешь по необъятной равнине, по ковыльной крепи, не видевшей плуга от сотворения мира, а дроф нет. Вот почему довольно большие участки степи, по которым мы проезжали, совершенно не интересовали нашего бригадира: «Ее тут не может быть, и глаза просматривать нечего»,— коротко замечал он.

Дрофа, ведущая скитальнический образ жизни, любит задерживаться на местах летних стоянок казахов: охотница собирать рассыпанное у очагов пшено, которое казашки поджаривают и едят вместо хлеба, как страусы — склевывать стекляшки, осколки разбитой посуды, не любит свежеобработанных полей, но охотно держится на обезлюдевших пашнях с ранними озимями.

Дудака за его массивность и как бы увальневатость, за склонность в жаркую пору крепко залегать в ковылях, в кустах чиевника и иногда подпускать подъезжающих на лошадях охотников чуть ли не вплоть прославили патентованным дураком. В действительности же это на редкость умная и сторожкая птица. Особенно строга она

во время своих перекочевок к югу, когда сбивается большими табунами.

Часто охотники, махнув рукой, даже объезжают такие табуны и сосредоточивают все свое внимание на небольших табунчиках и лишь в самый разгар жаркого дня.

Вот и сегодня мы прорысили, не задерживаясь, добрый десяток верст, покуда не выехали на длинную ковыльную гриву, полого спускающуюся в долину, тоже с холмами и тоже с взблескивающей на перекатах мелкой речонкой.

— Уж на Алибеке-то обязательно, обязательно их депо! — снова произнес Иван излюбленное свое слово, по его понятиям означающее массовое скопление.

И впрямь, как и на Джанторе, здесь мы обнаружили дудаков и не спеша наметили на удобном месте для залегания стрелков и маневров загонщика табунчик в восемь штук пасущихся дроф. Точный подсчет каждого табуна необходим и загонщику и каждому стрелку, чтоб после стрельбы и вторичного подъезда к ним пересчитать улетающих и искать оставшихся, крепко затаивающихся подранков.

Уже в самом начале дня мы взяли трех дудаков с любимого Иваном нагона. Особо памятен был первый загон Митяйки, когда дрофы всем табунком «напоролись» на бригадира, лежавшего в яме, оставшейся от заброшенного очага на открытой зелени джейлявы. Подпустив дроф «на штык», Иван вскочил на колени и с криком: «Вы куда-а-а?!» уставился на них стволами своей тулки. Растерявшиеся дудаки «затоптались» в воздухе у него над головой, и он сделал по ним дуплет, как по сидячим.

Оборвался, грузно ударившись о землю, старый усатый петушище, а второй, пролетев версту, опустился на зелень джейлявы. Подобрали и его. Он оказался уже мертвым. При потрошении обнаружили пробитое картечью сердце — столь крепок дудак к ране.

И еще дважды блестяще провел нагон наш молодой загонщик, во время которых и бригадир и Володя убили четырех дудаков. Но за все это время я ни разу не выстрелил по налетающим дрофам, не ощутил несравнимого ни с чем ликующего вздрога сердца при гулком

падении сраженного точным выстрелом крылатого гиганта:

«Не везет! Дьявольски не везет!» — огорченно рассуждал я, изо всех сил стараясь не показать товарищам вида, что я убит этим роковым невезеньем.

Но бригадир, хорошо знавший шельмоватого братца, разгадал причину: Митяйка больше надеялся на них, чем на меня. И после моего намека о невезенье, обращаясь к Митяйке, сурово сказал: «Что ты все только на меня да на Володю, а Николаич, видно, свидетелем у нас будет!..»

— У дроф свои головы, а к тому же и крылья! — ехидно огрызнулся Митяйка и потупил глаза.

— Вот что, гусь лапчатый, ты мне не наводи тень на плетень! И раз навсегда прекрати этот свой жулябский бакчисарайский фолтан-болтан, иначе!..

— Да что ты взаправду, братка, насыпался на меня! Что я их на вожжах, что ли, на Николаича поверну? — все так же, не глядя ни на кого из нас, проворчал Митяйка.

И тогда бригадир, поняв, что не перезубатить языкастого братца, изменил тон:

— Вот что, Митя, нагонишь на Николаича, и я сразу же подменю тебя. На охоте стрелять должны все. И сам ты, при сноровке, как когда-то выучил меня Василий Кузьмич, лишь только увидишь, что дудаки в мешке и стрелков им не миновать, тоже за милую душу можешь напор на них сделать и которого картечью окропить... При таком же, как сейчас, положении и моя и Володина удачи сплошным конфузом и тебе и нам обертываются.

— Ну что ж, попробую по твоему совету — напор сделать, чем черт не шутит, авось и на Николаича налетят...— охотно согласился Митяйка.

И надо сказать, просьба ли бригадира и его обещание о подмене подействовали на коварного загонщика, или судьба сжалилась надо мною — только мы довольно быстро нашли новый табунок в тринадцать штук, очевидно, не пуганных еще дроф, пасшийся в полуверсте от нас. Мгновенно, учтя и ветер и расположение других кормных джейляв, куда обычно летят потревоженные дрофы, бригадир скомандовал Володе: «Ложись!»

Володя на всем ходу упал за куст чиевника, а мы,

не снижая хода, зарысили параллельно пасшемуся табунку.

— Пойми, Митька, Николаича я кладу в центр — на него и мастери.— Вскоре Иван скомандовал и мне: — Падай!

Я свалился с подножки долгуши в заброшенный шурф, скрывший меня от дроф совершенно. Сажен через пятьдесят, в гривке ковыля, лег бригадир. А Митяйка на том же рысистом разгоне быстро околесил табунок дроф и, заехав ему в тыл, неспешно стал «поджимать» двинувшихся от него в нашу сторону дудаков.

Сняв шапку, я с замирающим сердцем наблюдал за искусными манипуляциями загонщика, который, негромко посвистывая, все время будто бы ехал и мимо дроф, но с каждым поворотом все сокращал и сокращал расстояние между дрофами и нашей цепью.

Однако, как только он замечал беспокойство дудаков, могущих раньше времени подняться на крыло, Митяйка сразу же, отвернув как можно дальше и прекратив свист, снова как бы уезжал от них. Этого было достаточно, чтоб вожак и дрофы успокоились и начали кормиться, а некоторые даже затевали игры или ложились понежиться на солонец.

Вот одна из них, вытянув узорчато-белое на окрайках перьев крыло, словно ладонью, стала подгребать струйки солонцовой пыли и опахивать себя ею. Так же купаются, принимают пылевые ванны домашние куры.

Из шурфа мне были хорошо видны и дрофы, и ухищрения загонщика, и мертво лежащие на флангах мои товарищи: такой скрадок в охоте на дроф в степи — редкая, счастливая случайность.

А Митяйка все колдовал и колдовал. В этом загоне он воистину превзошел самого себя. Глядя на него, я думал: «Действительно, как на вожжах. Чертовски талантлива вся династия Корзининых...»

Вот он уже в шестой раз сделал легкий загиб к дрофам, как бы отъезжая от них, но в действительности и сократил расстояние и изменил направление уклонявшегося было от центра нашей цепи табунка.

И все же, очевидно, этот назойливый «попутчик» всерьез обеспокоил дроф: они затоптались на месте, как овцы... Но до дудаков от загонщика было уже не более ста шагов. И весь табунок находился в «мешке».

Вот тогда-то Митяйка и решил воспользоваться советом старшего брата — он круто повернул долгушу и во весь опор пустил коней прямо на дроф. Тпркнув на лошадей, он бросил вожжи и прямо с линейки ударил по поднявшемуся ближайшему к нему петуху. Сбив его первым выстрелом, вторым пропуделял по табуну.

С треском крыльев, слышным даже в моем шурфу (так близко Митяйка подогнал к нам дроф), табун замахал прямехонько на мой шурф.

Весь мир умер для меня. Только дрофы, огромные, багряно-желтые, низко и кучно всем табуном летевшие на мой скрадок!

Что-то жгучее мучительно-сладостно стиснуло мое сердце. Подскочившее, казалось, к самому кадыку сердце вот-вот выскочит или, не выдержав, остановится, и я снова не смогу вскинуть ружья. Но садочница уже у плеча. А табун все так же, не сворачивая, как по струне, стремительно надвигается на меня. И действительно, теперь я почувствовал, как от сильных взмахов крыл, сотрясающих воздух, меня точно отдирает от земли.

Впереди, вытянув изголубо-пепельную шею, увенчанную крупной усатой головой, с поразительной быстротой приближается ко мне престарелый вожак. Вот он уже не далее двадцати шагов от меня: я уже вижу его круглые темные глаза. Неудержимая дрожь трясет меня, и все же я тщательно ловлю, выцеливаю усатую его голову и нажимаю на спуск. Но... раздался лишь слабый щелк курка. А дрофич, низко пронесясь над самой моей головой, уже вне выстрела плескал крылами в солнечных бликах над степью. Казалось, что он не летит даже, а светящимся колесом катится над ковылем.

Уже вне выстрела были и летевшие рядом и за ним остальные дрофы. Все же ближе других ко мне оказалась последняя, очевидно, молодая самочка, по которой я и выстрелил из левого ствола садочницы. Дрофа вся изогнулась в воздухе и с распластанными, словно бы вдруг окостеневшими крыльями, уже не двигая ими, а как бы паря, медленно опустилась на степь. Опустившись, она сделала по ковылю еще несколько неуверенных, мелких шажков и упала на правый бок.

Когда я подбежал к ней, она, вздрагивая веером распущенной хлупи, еще силилась приподнять голову, еще смотрела на меня большим, уже стекленеющим, тем-

но-коричневым глазом. Густая рубиновая капля крови проступила на кончике ее клюва...

В этот момент я был далек от всякого чувства жалости к ней. Все мое существо было пронизано первобытно-слепым, кричащим торжеством счастья.

Схватив дрофу за еще горячую нежную шею, я поднял ее над головой. Только тогда, вспомнив о неудаче с петухом и раскрыв садочницу, я убедился, что произошла осечка. Это была четырнадцатая дрофа, убитая нами за два дня.

* * *

На солнцезакате отаборились на Алибеке: возвращаться на Джантору, где дроф уже крепко понастегали, как выразился бригадир, было и далеко, да и лошадей мы сильно измучили непрерывной ездою по целине.

И как Митяйка ни настаивал сделать хотя бы еще один загон (теперь-то он уже рассчитывал лечь в цепь), Иван решительно отказался.

— Коней во взят остановим. А нам на них еще — ой, ой.

— Ну ладно, братка, но зато завтра с утра пораньше и дотемна!..

Счастливый Митяйка вынужден был примириться с печальной необходимостью раннего привала. Убитого им петуха каждый из нас должен был взвесить на руке («отменную от всех» тяжесть), рассмотреть во всех деталях и усатую голову, и бороду в четыре перышка, как «у китайца».

— Вот она, картечь-то что значит! Куда ваша нолевка, Николаич, противу моей «волчатницы»: я его не ближе, как на полста сажен стеганул. Одной угодило и за глаза хватило!..

Парень был на седьмом небе.

На крутом берегу Алибека мы «перпендикулярно» разложили на ковыле всех дроф. Своего петуха Митяйка умостил в центре на кочку. Картина получилась столь внушительная, что паренек не мог налюбоваться на нее. Собирая аргал для костра, он носился по степи, не чуя ног под собою, и то и дело возвращался к стану посмотреть на трофеи охоты.

— Сейчас бы фотоаппарат и увековечить для потомства в «Охотнике Алтая»! — сказал он и пытливо посмотрел на меня.

— Не знаю, Митенька, поблагодарило ли бы нас потомство за такой снимок? — отозвался я и замолчал.

Иван пытливо взглянул на меня и, как мне показалось, тоже осудил братца:

— Тебе лишь бы похвастать: «набили больше других!..»

Промолчал только увлеченный поварским своим делом Володя.

В эту ночь я долго не мог заснуть — хоть зашивай глаза!

Огорчения Митьки начались утром, когда обнаружилось, что запас овса кончается. Осталось всего лишь на две кормежки.

— Я говорил, я говорил, надо было брать два куля: овсом коней никогда не надсадишь! — кипятился Митяйка, почувствовав, что приходится думать не об охоте, а о возвращении домой.

Я умышленно не принимал участия в разговоре, азарт во время охоты прошел, картина — груды окровавленных застывших дроф, лежавших на посеребренном инеем ковыле,— меня не только не радовала, а удручала.

Чуткий Иван, очевидно, понял мое состояние и, не глядя на меня, резко оборвал брата:

— Ты бы и три куля взял — тебя только послушай. А долгуша и без того просела на рессорах. И сколько же еще можно бить, когда и самим сесть будет некуда. Да ты на небо взгляни — тучи кутермиться начали — вот-вот размокропогодится, а по солонцу — не то что пара, тройка на одном перегоне уконьтрипупится...

Я понял — бригадир еще ночью думал так же, как я, как когда-то рассуждал Василий Кузьмич: «Охота — не бойня, и охотник — не волк...»

* * *

Снова ночь под степным небом, но теперь уже сильно затянутым свинцовыми тучами. Снова я был наедине с самим собой и природой.

Ночь, степь, где-то совсем близко под охраной чутких старых петухов оберегаемые от волков, лис и даже хищ-

ных харьков табуны; вполглаза дремлют дрофы, чтоб днем начать свою не менее тревожную кочевую жизнь.

Тысячи тысяч лет — степь и дрофы. Нельзя представить степь без дроф, как город без голубей.

И эта белеющая вблизи стана груда мертвых редких птиц — обыкновенная бытовая охотничья картина, которая не только не смущает, а в какой-то восторг приводит Митяйку...

Убитая мною молодая самочка, сделавшая последние неуверенные шажки по степи, в предсмертной агонии веером распустившая хлупь, с рубиновой каплей крови, проступившей на кончике клюва,— в эту ночь — грустных и даже сентиментальных, на взгляд многих моих собратий, размышлений — вновь и вновь началось активное внутреннее продвижение и укрепление мысли, зародившейся в моей душе еще на Красноярских просянищах: при всяком удобном случае воспитывать в охотнике разумного хозяина, отучать его от слепого инстинкта жадности, унаследованной от волосатых наших предков. В первую очередь и в самом себе крепить высокое чувство самоконтроля: «Служение природе — служение народу. Народ не может, не должен жить на опустошенной земле. Вот что наполнит твою жизнь! Делать, что любишь, в важность чего веришь всей душой...»

Заснул я очень поздно, а на рассвете нас разбудило моросящее, оседавшее на наших лицах нечто среднее между дождем и туманом, что охотники зовут бусом или мжичкой.

Еще с вечера «кутермившиеся» тучи утром оказались началом той мокропогодицы, которой так опасался наш опытный бригадир.

Мы наскоро позавтракали, загрузили долгушу багажом и дрофами и тронулись. Громоздкая и тяжелая поклажа на солонцовых участках дороги вынудила нас слезать с долгуши и идти пешком.

К полудню дождь усилился настолько, что вязкий солончак обратился в необыкновенно липкую белесую грязь, наматывавшуюся на колеса такой массою, что глубокий след от долгуши был похож на след от трактора.

Выездившиеся спаровавшиеся наши кони, напрягая могучие крестцы, добросовестно выполняли нелегкую работу.

Закинув за плечи ружья, заряженные утиной дробью,

мы с Иваном пошли вперед в надежде стрельнуть по серым куропаткам или по табункам садж, изредка стремительно проносившихся вблизи дороги.

О стрельбе дудаков не могло быть и речи. Но судьба как будто решила посмеяться над нами, испытать нашу твердость: совершенно неожиданно над дорогою мы заметили пару летящих дроф. Мы инстинктивно присели и разом ударили по налетевшим искусительницам.

Дрофы даже не изменили полета.

— Ты в какую стрелял? — спросил я Ивана.

— В левую.

— И я в левую.

Переговариваясь, мы не переставали следить за улетавшими дудаками. Но вот один из них плавно опустился на зеленую отаву, рядом с ним опустился и второй дудак.

Нагнавшие нас Володя и Митяйка, видевшие опустившихся дроф, упросили Ивана подъехать к ним.

— Ведь это распоследний, последний раз! — чуть не со слезами умолял Митяйка.

Мы свернули с дороги на целину. Но лишь только сделали попытку объехать дроф, как одна из них поднялась и полетела по направлению к горам Крик-кудака (Сорок колодцев). «Значит, вторая подранена и залегла»,— подумали мы. Подъехав ближе, мы нашли ее мертвой: вся она была избита утиной дробью.

— Ур-р-ра-а, пятнадцатая! — выкрикнул Митяйка.

Мы с Иваном переглянулись. Я чувствовал, что он хотел что-то сказать, но не сказал. Бригадир лишь поспешно снял патронташ и вместе с тулкой положил их на долгушу.

Я сделал то же самое, но при этом сказал еще со школьных лет запомнившуюся фразу Киплинга: «Ненасытны рука обезьяны и глаза человека...»

Друзья

«Отчий край, родительский дом, дорогие близкие люди и даже животные — спутники, с которыми прошла значительная пора нашей жизни,— с годами словно врастают в нас.

«Памятью сердца», крепчайшей из всех видов памяти, храним мы их.

Как искра в кремне, они сокрыты в нашей душе, но достаточно прикосновения огнива, чтоб вспыхнули рассыпчатой сверкающей гроздью.

О родном Южном Алтае и дорогих мне людях, научивших меня видеть и понимать мир во всей его сложности и красоте, я уже не раз писал в своих книгах, как бы платя им сыновнюю дань за все, что они дали мне. Но я все время считаю себя в неоплатном долгу перед моими друзьями, по справедливости олицетворяющими и усердие, и безграничную преданность,— домашними животными — лошадьми и собаками, доставлявшими мне не только много радости, но и не однажды спасавшими мою жизнь...»

Эту запись в своем «Междуреченском дневнике» я обнаружил по возвращении из Москвы, куда на две недели уезжал по неотложному делу. И тогда же, под свежим впечатлением от рассказа сына о том, как без меня он с Дымкой ходил «на охоту», заплутался в лесу, а пес вывел его к лесной сторожке,— я решил написать рассказ, посвященный четвероногому своему другу, пленявшему меня добрым характером, умом, бесшабашной отвагой и какой-то особенной собачьей гордостью.

В деревнях и на лесных кордонах, всегда переполненных злобными дворнягами, Дымок вел себя с завидным достоинством. Сквозь строй ожесточенно лаявших на него псов он проходил с высоко поднятой головой, не обра-

щая на них никакого внимания. Лишь время от времени он показывал им острые белые зубы, и они тотчас же умеряли свой пыл.

Но достаточно было мне приказать: «Возьми их!» — Дымок самоотверженно, в акробатическом, молниеносном прыжке и почему-то всегда по-беркутиному — сверху — набрасывался на самую дерзкую и крупную из них (на собак, меньших себя по росту, он никогда не бросался) и давал ей ожесточенную трепку.

Необычайно подвижный, пружинисто-легкий, воплощенная страсть и энергия, Дымок, казалось, не знал, что такое усталость. Даже после самой продолжительной охоты по первому моему позывному свистку он готов был снова ринуться в лес, чтобы так же самоотверженно служить мне.

О таких, как Дымок, собаках сказаны точные, меткие слова: «Его и хлебом не корми, только на охоту возьми».

На охоте же Дымок поражал меня и моих друзей-охотников универсальными полевыми качествами: с одинаковым упоением он работал и в лесу и на болоте. Подавал убитую дичь в руки и, хотя не делал стойки, но, почуяв птицу, умерял быстрый свой поиск и осторожно подводил к ней. С лаем гонял лису и зайца, бесстрашно и неотвязно держал медведя. Из множества сибирских лаек, с которыми приходилось мне охотиться, Дымок был самой одаренной собакой.

Дома пес всегда был одинаково ласков к своим, недоверчив и строг, внимательно наблюдал за каждым движением постороннего, пока хозяева не скажут ему: «Дымка, это свой человек!» Только тогда он снова становился и веселым и ласковым членом нашей семьи.

Дымок не переносил не только резких слов в свой адрес, но даже и обидного для него грубого тона: оскорбленный, он подолгу лежал с низко опущенной головой и подходил к обидевшему только после полного примирения.

Об охотничьих подвигах Дымка, о его уме и поведении дома, изумлявших всех знавших его, можно было бы написать целую книгу. Вот почему, выслушав похождения сына с Дымком в лесу, я сел за стол и написал этот рассказ. Перепечатав рукопись на машинке, я прочел его жене и сыну.

...С отъезда хозяина в Москву прошло две недели. Дымок затосковал. И раньше Алексею Рокотову часто случалось уезжать в лесничество, в район, но через несколько дней он возвращался домой.

Дымок всегда выбегал ему навстречу за дальний поворот тропинки. Там он подолгу лежал, положив голову на кочку. Заслышав приближение хозяина, пес с лаем пускался ему навстречу.

Восторг Дымок проявлял бурно: он подпрыгивал, лизал хозяину руки, кидался то к лесной сторожке, то возвращался. И, словно не веря своему счастью, бросив лапы на грудь долгожданного своего друга и повелителя, дрожал и прижимался к нему всем телом. В дрожи собаки хозяин чувствовал и трепет долгого ожидания и безграничную радость встречи, ключом прорывающуюся наружу.

По лаю, гулко отдававшемуся в лесу, жена и сынишка знали, что Дымок уже встретил хозяина, и сами выбегали ему навстречу.

Теперь же давно прошли все положенные сроки, а глава дома не возвращался.

Подошло время охоты — веселых выходов за тетеревами и глухарями в лес, за утками на болото. Тоска Дымка обострилась. Пес заметался, заскулил; поднявшись во весь рост у стенки, обнюхивал шейку ружья, еще сохранявшую запах рук хозяина, разыскивал охотничьи сапоги, куртку и вытаскивал их на крыльцо. Собрав все необходимое для охоты, как он делал это при хозяине, пес ложился у вещей и ждал.

Друг и повелитель обычно бросал работу, покорно одевался и снимал со стены ружье. Теперь же, сколько раз ни собирал охотничьи вещи Дымок, хозяин не появлялся. Пес поднимал голову и начинал выть.

Жена затыкала уши и убегала в комнату. Гордюша сердился и ругал Дымка. Оскорбленный пес уходил в лес и лежал там, иной раз несколько часов кряду, не отзываясь на зов мальчика. На следующий день все повторялось сначала.

— Измучился, истерзался он. Гордюша, возьми ружье и поди с ним, отведи ему душу,— сказала мать.

Радостно оглушенный словами матери, Гордюша вскочил на табурет, снял отцовское ружье и ягдташ. Пес

с лаем метнулся к домику, повизжал и вновь помчался к лесу и снова вернулся к крыльцу.

С тихой улыбкой мать выбрала все патроны из сумки, разрядила ружье и вышла проводить сына.

Ошалевший от радости Дымок описывал стремительные круги по двору, но лишь только Гордюша с двустволкой за плечами и хозяйка спустилась с крыльца — собака с победным лаем бросилась в глубину леса.

— Он кричит «ура! ура!», правда, мама? — Гордюша с трудом сдерживался, чтобы самому не броситься вслед за собакой и тоже не закричать «ура!».

— Чур, уговор, Гордюшенька, недолго и недалеко,— беспокоиться буду...— Мать вернулась домой.

Лишь только она отошла, мальчик пронзительно свистнул в свисток, как это делал на охоте отец, когда Дымок убегал далеко. Через минуту пес был возле Гордюши.

— К ноге! — Мальчик погрозил пальцем собаке. Дымок покорно пошел рядом.

Сверкал безветренно-жаркий августовский полдень. Темная, сочная листва не шевелилась. Деревья, травы разморились, пожухли. Густой смолистый дух струился из бора. Высокие рыжие сосны, словно подкопченные снизу, казалось, курятся, как зажженные восковые свечи.

— Самое, самое время, Дымушка! В этакую жарынь тетерева и глухаря голыми руками бери!..— вспомнив слова отца, сказал мальчик.

Они уже порядочно углубились в лес. Хорошо знакомая Чибисова полянка, светлые березняки остались далеко сзади. Пошли острова темного ельника с густыми зарослями малины, черносмородинника, костеничника, с высокими муравьиными кочками: излюбленные кормные места выводков тетеревов, где мальчик с отцом и Дымком не раз бывали на охоте.

— Ну вот, а теперь — ищи! — наконец приказал Гордюша.

Собака махнула в крепь малинника. Узкая ее морда с острыми ушами и пушистый загнутый хвост, точно челнок в основе, замелькали в зарослях. Поиск Дымка был пружинисто-легок. С высоко поднятой головой, с раздутыми черными ноздрями Дымок, казалось, не дотыкался до земли.

Сколько времени прошло, Гордюша не смог бы сказать: час, два, больше? Куда зашли они? Обо всем забыл мальчик: стремительный поиск собаки на галопе, волнующе-медленная подводка, прыжок и шумный, обжигающий взлет тетерева.

Дымок напряженно ждал выстрела и падения птицы, но птица улетала. Собака укоризненно смотрела в глаза спутнику: «Что же ты, братец?..» — казалось, говорил ее взгляд. И начинались новые поиски. Дичь была всюду.

Но вот Дымок напал на свежий наброд старого глухаря. Глухарь кормился на костеничнике и, потревоженный, оставляя за собой парной, удушающе-густой запах, побежал в крепи папоротника.

Дымок отлично чуял глухариную дорогу. Ближе, ближе. С галопа собака перешла на скорый шаг и шла уверенно, как путник по тропинке. Потный, со сбившейся на затылок фуражкой, со слипшимися на лбу волосами Гордюша не отставал от Дымка.

«Близко!» — прочел мальчик в горящих глазах собаки. А птица все бежала и бежала. Дымок понял, что старый опытный глухарь с места кормежки бежит в крепь соснового подлеска и взлетит в гуще его. Дымок оторвался от соблазнительного следа, «сошел с тропинки» и забежал навстречу удирающему глухарю. Так не раз поступал он на охоте с хозяином.

«Ты хитрый, а мы хитрей!..» — если бы мог сказать, сказал бы Дымок.

Он не ошибся: путь глухарю в крепь был отрезан. Между Гордюшей и собакой оказался куст колючего шиповника. Из куста разило тем же парным сладковато-теплым запахом птицы. Дымок, вытянувшийся в струнку, пошел к кусту так осторожно, точно он наступал на гвозди.

Ближе, ближе — Гордюша сжимает незаряженное ружье в трясущихся влажных руках и так же, как Дымок, крадется к раскидистому таинственному кусту.

«Еще! еще!» — все существо мальчика сосредоточено на одном: как можно ближе подойти к кусту с сидящей в нем птицей.

По необычному поведению Дымка Гордюша тоже давно понял, что идут они по глухарю и что тяжелого, не перелинявшего еще «старика» собака может поймать.

— Дымушка!.. Собаченька!..— шептал Гордюша

и умоляющими глазами смотрел на верного друга. Дымок был уже в двух шагах от куста шиповника и уже занес лапу, чтоб сделать еще шаг. Гордюша подошел так близко, что, протянув руку, мог бы достать куст. Ружье ходуном ходило в его руках. Но поставить лапу Дымок не успел: из куста со страшным треском взорвался пепельно-серый матерый глухарь. Глаза птицы под карминно-красными бровями на один миг отразились в расширенных зрачках Гордюши.

Глухарь ли, испугавшийся мальчика, замялся на сотую долю секунды во время вылета, или Дымок, наученный горьким опытом охоты «без выстрелов», сделал молниеносный прыжок, но только собака лежала в самой середине куста, а огромный старый глухарь, пригибая ветки сильными крыльями, бился в ее зубах.

Обдирая лицо, руки, Гордюша тоже прыгнул на собаку и глухаря. Схватив прикушенную птицу за толстую горячею шею, он поднял ее и, не в силах сдержать радости, пронзительно закричал: «Ура! Ура-а!»

Счастливый Дымок, с глухариными перышками на морде, подскочил к Гордюше и лизнул его в щеку.

Опомнившись, Гордюша схватил друга за шею: «Дымушка, Дымушка!» — шептал он и душил собаку, и прижимался к ней лицом, залитым горячим потом и расцарапанным в кровь.

Гордюша подцепил добычу за шею к охотничьей сумке, как это делал отец, но огромная, тяжелая птица на ходу била его по пяткам и цеплялась за траву: идти было нельзя. Мальчик вскинул глухаря на плечо и пошел.

Только теперь Гордюша обнаружил, что солнце уже опускается за горизонт. Жар свалил. Разгоряченное лицо освежила прохлада.

Опьяненный удачей Дымок бросился было на новые поиски, но Гордюша грозно крикнул: «Назад!» Собака недоуменно вернулась к нему.

Мальчик тревожно озирался вокруг: в этой части леса он никогда не бывал с отцом. Поляна, по которой они преследовали глухаря, кончалась у голубоватого соснового подлеска. Дальше высилась стена строевого сосняка с островками черных, как ночь, елей, и только на самой кромке старого бора кое-где светлели березы.

— Куда это мы с тобой забрались, Дымушка?!

Псу очень хотелось охотиться в прохладу, когда птица выбралась из крепей на кормежку, и он бросился к смешанному лесу: там, на полянах, они больше всего встречали с хозяином и тетеревов и глухарей.

— Наза-ад! — вновь раздраженно закричал Гордюша, и Дымка тотчас же вернулся.

— Куда ты завел меня, балбес?!

На лице мальчика собака видела и недовольство им, Дымком, и растерянность, и испуг, но не могла понять причины.

— Домой! Пойдем домой! Дымушка!..— настойчиво повторил мальчик, и, отлично поняв его, пес бросился прямо. Не соблазняясь уже больше искать дичь, Дымок бежал вдоль кромки смешанного леса. Изредка он останавливался, поджидая Гордюшу, и снова пускался в том же направлении, успокаивающе помахивая пушистым калачом хвоста.

Но чем дальше шли они, тем тревожнее становилось на душе мальчика. Ему казалось, что они идут уже очень давно, а ни луговины с опытными посадками и окружающими их толстыми березами, ни Чибисовой полянки все нет и нет...

«Никогда такого темного леса я не видел. Солнце вот-вот зайдет. Мама глаза все проглядела и больше не отпустит на охоту...»

Радость удачи с каждой минутой меркла, сменилась вначале тревогой, а вскоре страхом.

— Дымчишка!..— Собака покорно вернулась к мальчику.

— Тебя спрашивают: куда ты ведешь меня? Ведь дом наш там,— указал он в противоположную от лесной сторожки сторону. Пес теперь ничего не понимал. Только тревога в голосе Гордюши насторожила его. Дымок подскочил к другу, лизнул в щеку и бросился в прежнем направлении, но, оглянувшись, увидел, что мальчик стоит на месте. Собака тоже остановилась, поджидая.

— Туда! Туда пойдем,— указывая в обратную сторону, сердито закричал Гордюша, но Дымок не двигался.

Солнце опустилось до половины за щетинистую гряду леса и светило только небольшой краюшкой.

— Пойдем, глупая собака! — со слезами в голосе закричал мальчик. С умильным визгом Дымок подбежал

к Гордюше и стал вертеться вокруг него, добродушно взлаивая и припадая к земле: пес изо всех сил старался вернуть другу то веселое настроение, какое было у него весь день.

Собака бросалась вперед, возвращалась, лизала руки Гордюши. Дымок уже и сам теперь спешил домой: там его ждали сытный ужин и ласковый голос хозяйки. Возвращение с охоты пес любил так же, как и выход на охоту. Но Гордюша бросил на траву глухаря, снял ружье, охотничью сумку и, подпрыгнув до первых сучков высокой старой березы, проворно полез на нее.

Дымок поднял голову и следил за всеми движениями друга. Выше, выше. Гордюша спешил засветло оглядеться с березы, определить потерянное направление и вернуться домой, хотя бы ночью. Вот и последние сучки березы. Над головой просторное зарозовевшее небо, далеко под ногами земля и уставившийся на него с явной тревогой повизгивающий Дымок, а кругом лес и сверху такой же бескрайний, пугающе-непонятный, как и с земли.

На западе, от зари, вершины деревьев были лиловы и сверху походили на луговину с озерами полян. На востоке — темны и сливались со свинцовым же горизонтом: не разберешь, где кончается лес и где начинается небо.

Гордюша спустился с березы.

— Когда мы выходили из дому, солнце стояло над головой. Значит, идти надо много правее...— вслух рассуждал мальчик, не обращая внимания на собаку.

Дымок прижался к нему и тихонько толкнул его холодным носом в ладонь. Но и на это расстроившийся мальчик не обратил никакого внимания. Пес скребнул лапой коленку Гордюши и просунул голову ему между ног: так всегда он выражал ласку и покорность...

Гордюша оттолкнул его, взял ружье, глухаря и пошел в противоположную сторону.

Пес вначале долго еще оставался на том же месте, потом взвизгнул и бросился за мальчиком. Догнав Гордюшу, он забежал вперед и встал боком. Мальчик обошел его, но Дымок снова забежал вперед и снова встал поперек хода Гордюши.

В раздражении Гордюша толкнул собаку ногой. Ды-

мок, казалось, только и ждал этого. Он бросился от мальчика обратно и вскоре скрылся в траве.

— Дымка! Дым-ка!..— чуть не плача, закричал Гордюша, испуганно озираясь вокруг; но Дымок не появлялся. Гордюша решил свистнуть, схватился за то место, где висела у него сумка, и ахнул: сумки не было.

— Дым-ка! Дыму-у-шкаа! — умоляюще начал звать собаку Гордюша.

Спрятавшийся в траве пес словно вырос перед мальчиком. Гордюша похлопал себя по тому месту, где висела сумка, и сказал:

— Потерял! Ищи! Ищи! Папину сумку! Сумку! — повторял он, все время похлопывая себя по левому боку.

Дымок отлично понял друга и бросился в глубину леса. Мальчик остался ждать собаку. Стыд за утерянный на первой же охоте отцовский ягдташ на время вытеснил у него все другие чувства.

— Только бы найти сумку! Только бы найти! — шептал он.

Вскоре Гордюша услышал бегущего пса. Ягдташ собака несла в зубах, а ремень волочился по траве, заплетаясь в ногах, и Дымок ловчился, то перепрыгивая через него, то бочась и пятясь.

Гордюша подбежал к другу и схватил драгоценную сумку.

— Умная собака! Милая собака!..— Он похлопал Дымка по спине и, надев сумку, еще раз пощупал ягдташ.

— Теперь осталось выбраться. Выберусь, не надо только трусить... Мужчина не имеет права трусить,— громко сказал Гордюша припомнившуюся фразу из недавно прочитанной им книги.

Скрылась и краюшка солнца. Сумерки укутали деревья. На травы пала роса. Идти в темноте стало много труднее.

— Мужчина не имеет права трусить,— срывающимся голосом повторил Гордюша и устало поплелся за собакой.

Пес бежал все быстрее и быстрее, измученный мальчик с тяжелой птицей в руках с трудом поспевал за бегущим псом.

Вечер перешел в ночь. Деревья, кусты изменили очертания. Пни, выворотни казались поднявшимися на дыбы

медведями. Подозрительные тени, непонятные огоньки замелькали между стволами сосен: «Волки!..»

Гордюшей овладевал ужас, как он ни боролся с ним. Если бы не уверенно бежавший впереди веселый Дымок, мальчик залез бы на дерево и стал дожидаться рассвета.

Мысли о матери тоже подгоняли Гордюшу: он представлял себе, как она волнуется, ищет, ждет его сейчас: «Теперь уж никогда не отпустит на охоту...»

А ночь с каждой минутой становилась чернее. Кочки и ямы встречались все чаще и чаще. Колючие лапы ельника больно царапали разгоряченное лицо. Совы кружились над собакой, норовя вкогтиться ей в спину. Дымок останавливался, поднимал голову и подпрыгивал, клацая зубами. Летучие мыши крутились так близко перед глазами Гордюши, что колебание воздуха от их крыл ветром обдавало лицо мальчика. Слева неожиданно захрустел валежник. Крупно вздрогнуло и словно оборвалось сердце Гордюши: «Медведь!» Дымок со злобным лаем бросился на невидимого врага и загремел в темноте, откатываясь в глубину леса. Мальчик стоял, не двигаясь. Вскоре он услышал захлебистый лай Дымка и злобное хрюканье осажденного барсука.

— Дымка! Дымка!

Лай смолк, и собака беззвучно появилась у ног Гордюши: она еще вся была охвачена пылом битвы. Шерсть на загривке была вздыблена, пес дрожал от негодования: «Зачем ты позвал меня так скоро... Я бы ему, бродяге!..» — казалось, хотел он сказать мальчику.

— Пойдем! К маме пойдем, Дымушка!.. — Гордюша боязливо озирался вокруг, ожидая появления медведя. Ему снова стало казаться, что они давно идут совсем, совсем не туда.

— Да куда, куда ты завел меня, гадкий пес?! — сердито выкрикнул он и, решительно повернув вправо, полез прямо через колючий ельник.

И тогда Дымок подпрыгнул, сорвал с головы мальчика фуражку и бросился с нею в том же направлении, в котором он бежал до встречи с барсуком: он давно уже чуял запахи дыма от большого костра, разведенного хозяйкой, слышал ее крики и вел к дому кратчайшей дорогой.

— Никогда... никогда теперь не пойду один на охо-

ту...— громко разговаривал мальчик, отгоняя одолевавший его страх.

...Когда в багровом дыму большого костра Гордюша увидел тоненькую фигурку мамы, сердце его забилось так радостно, что он не выдержал, поднял над головой глухаря и закричал:

— Смотри! Смотри!..

Затерявшаяся в лесах милая сторожка под тесовой крышей, дворик, все такое родное — было рядом. Тревоги, страх, леденившие сердце мальчика, растаяли бесследно. Захотелось даже скрыть, что они заблудились с Дымком. Гордюша, словно вынырнувший из глубокого, страшного омута, в котором он задыхался, тонул, хватив свежего воздуха, почувствовав землю под ногами, ощутил прилив новых сил: подняв глухаря над головой, он побежал к домику. Мать тоже бежала к нему навстречу.

— Мама, смотри!.. Слушай! Да слушай же, мама!..

Мать прижала сына к груди и счастливо засмеялась.

Глухаря повесили на то же место, где они подвешивали дичь, принесенную с охоты хозяином.

Дымка вылакал вначале все жидкое из чашки, потом принялся за вкусные куски. Не торопясь съев их, он облизал чашку, лег у костра и стал внимательно слушать рассказ Гордюши. Когда глаза хозяйки устремлялись на него, он громко постукивал хвостом, точно подтверждая: «Так, в точности так было...»

Я закончил чтение рассказа и как всегда с невольным замиранием сердца взглянул на первых своих критиков: в искусстве я больше всего боялся фальшивых нот, зачастую совершенно незаметных самому автору, а режущих ухо слушателей.

Но сегодня и жена и сын, как показалось мне, и смущенно и необычно долго молчали: «Значит, не дошло... А может, в чем-то перебрал или упростил, ведь заблудиться ночью в лесу ребенку — не шутка. Да и состояния матери я не раскрыл...»

— Ну что же вы? — не выдержал я.

И только тогда, очевидно, многое переживший во время моего чтения мальчик бросился ко мне и быстро и сбивчиво заговорил:

— Не так!.. Про Дымку, про глухаря, про барсука — все, все в точности, а про меня — не так... Я обманул и маму и тебя. Сказал, что только чуточку, чуточку заблудился и что хотя и струсил, но немного: опасался, что больше не отпустите одного с Дымкой. А я так испугался, так испугался, что даже плакал... И на березу тоже не легко забрался — срывался раз пять — рубаху и штаны порвал и до крови рассадил ногу. Вот теперь все чистая правда!..

Сын так разволновался, что его начала бить крупная дрожь.

Мать, оттащив сына от меня, прижала его к своей груди и заговорила с ласкою в голосе:

— Что же тут стыдного, если ты сплутал и испугался. Я бы тоже испугалась. Да и по зареванному твоему лицу я и так догадалась, как испугался ты. А вот что теперь признался во всем — хорошо.

И я — грешница,— она перевела взгляд на меня, помолчала немного и продолжила:— я твердо уверена, что отец с умыслом написал в рассказе, что он якобы во всем поверил тебе: хотел испытать — сознаешься ли ты или не сознаешься, что немножко прилгнул нам? Не мог он поверить этому, потому что сам в твоем возрасте, конечно, плутал не раз ночью в лесу.

И хотя в книжке и правильные приведены слова «мужчина не имеет права трусить», но в укор этого поставить тебе нельзя — эдаким неправдоподобным бодрячком выглядел бы ты в его рассказе...

Под руками матери, от ласковых ее слов, мальчик затих.

Я посмотрел на жену благодарными глазами: каким-то шестым чувством мать безошибочно угадала, что, утешая сына, она одним выстрелом убила двух зайцев.

— Рассказ свой я переделаю заново. Ты совершенно права: рассказ и не продуман и не прописан.

В Костромских разливах

Об Алексее Силыче Новикове-Прибое — Силыче, как звали его мы,— хочется и говорить так же просто, как детски проста и ясна была его душа.

О Новикове-Прибое — писателе, о матросе-революционере писали многие. Я хочу сказать о Силыче в той обстановке, в которой особенно широко распахивалась чудесная его душа: в природе, на весенней охоте, когда он, житель города, неустанный труженик за письменным столом, как бы превращался в того добродушного милого деревенского парня, каким он был на заре своей человеческой весны.

...Мы были знакомы уже много лет. Встречаясь на писательских вечерах, в книжной лавке, непременно сводили разговор к любимой обоими охоте. И боже, как мгновенно загорались его глаза, как менялось и хорошело крупное, усатое его лицо!

Весною 1935 года судьба столкнула нас на охоте. Поздним февральским вечером, когда в Москве бушевала настоящая сибирская пурга, мою работу прервал вдруг телефонный звонок.

По первым же фразам я узнал автора прославленной «Цусимы».

— Не спите? Не оторвал от дела? А я не могу работать: душа затосковала по охоте. За стенами черт знает что творится, я же грежу наяву — вижу себя то в долбленке на вежском всполье, то в шалаше на тетеревином току. И представьте, в гуле ветра явственно слышу бульбуканье чернышей.

Прощаясь, Алексей Силыч неожиданно для меня спросил:

— А не хотите ли весной составить компанию?.. Есть у меня дорогое местечко. От многих москвичей держу в секрете и знатно охочусь там.

Силыч яркими красками нарисовал привольные места волжско-костромских, маловежских разливов, где когда-то охотился Некрасов и где он написал своего «Деда Мазая».

Я согласился.

До сборов на охоту мы хорошо обговорили все, связанное с поездкой.

О времени выезда Силыч должен был получить телеграмму от преданного ему местного охотника Михаила Григорьевича Тупицына.

Третьим нашим спутником намечался большой оригинал в жизни, старый холостяк, безудержно-страстный охотник, поэт, по самую маковку влюбленный в русскую природу, Дмитрий Павлович Зуев, в то время секретарь Силыча, позже — постоянный очеркист-фенолог «Вечерней Москвы».

Невозможно передать захлебисто-эмоциональных рассказов пылкого, юношески увлекающегося Дмитрия Павловича и всегда смешных, добродушно-незлобивых повествований Силыча в вагоне.

За зиму все мы натосковались о природе: каждая лужица на полях, малиново зарозовевшая от вечерней зари, каждый перевиденный из окна вагона поющий на скворешне скворец, глянцево-черный, белоносый грач на обочине дороги вызывали трепет в наших душах.

Мы чувствовали себя школьниками в первый день каникул.

Ехали всю ночь. И конечно, не сомкнули глаз и, безусловно, пели бы, если б не боялись обеспокоить спящих соседей по купе.

Самый старший по возрасту из нас был Силыч, но, право же, он был, пожалуй, более всех нас и оживлен.

Все — от позы спящего, раскинувшегося молодого цыгана с кудрявым чубом до необычайно объемистого рюкзака Дмитрия Павловича, не помещавшегося ни на какой полке и с грохотом падавшего чуть ли не на каждой остановке,— вызывало смех.

Силыч буквально содрогался всем своим квадратным, плотно сбитым, «матросским» телом. На глазах его выступали слезинки.

Так мог смеяться только здоровый, сильный человек простой и ясной души.

Зуев извлек из чехла своего «голланда» и начал превозносить его достоинства.

— Какой баланс! Какая законченность линий! — Вскинув бескурковку, он прищелкнул языком.— Не ружье — Аполлон Бельведерский!.. Друзья мои, дорогие мои друзья! — повернувшись в сторону спящего цыгана и умерив голос, как великую тайну, упоенно зашептал он нам.— В прошлом году в этих же самых Вежах заветными патрончиками с концентратором, которые я называю «до-става-лочка-ми»,— Дмитрий Павлович выразительно протянул изобретенное им слово,— я делал настоящие чудеса.

Чирка, притом самого что ни на есть из мелкотравчатых мелкотравчатого грязнушку, через весь затон стеганул!..

Рассказчик вскочил и так выразительно взмахнул рукой, что мы и без слов поняли, что сталось с злополучным чирком-грязнушкой.

Силыч не выдержал, тоже вскочил с сиденья, извлек из чехла достаточно потрепанный, но еще добротный «зауэр», сложил и, в точности копируя Зуева, вскинул ружье к плечу.

— Не «зауэр» — Гермес! Сын Зевса и Майи! — подняв палец, торжественно изрек Силыч и посмотрел на меня хитровато прищуренными глазами.— А как бьет! — Силыч тоже опустился на лавку и так же таинственно зашептал: — Не поверите, осенью в прошлом году, на даче, сорвалось оно со стены и... на стеклянные банки с вареньем. Семь штук вдребезги!.. Что было с женой! А ты говоришь — чирок!..— И Силыч первый закачался, содрогаемый безудержно-заразительным смехом.

...В Кострому приехали на рассвете. Утром же погрузились в горкомхозовский катерок и мимо знаменитого Ипатьевского монастыря вышли на неоглядные поймы Волги и Костромки.

— Ну вот мы и на разливах! Теперь только гляди да слушай, сибирячок!..— Силыч шутливо подтолкнул меня локтем.

Картина действительно открылась поразительная. Весною в этих «мазаевских» местах водополье поистине безбрежно.

«Всю эту местность вода поднимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит

до страсти свой низменный край...» — невольно вспомнились мне незабываемые со школьной скамьи некрасовские строки.

Насколько только может охватить глаз — вода.

Далекие колокольни церквей, вертящиеся крылья мельниц на гривах, смешанные леса — все кажется сплошным всопольем.

Спрямляя путь, катер мчится по затопленным полям и покосам. Вершинки тальника да макушки камышовых метелок напоминают нам, что летом здесь луговые озерки. Сейчас же под легким ветром бегут по всему водополью кудрявые барашки. Не различишь, где Волга, где Костромка,— слились, смешались их разливы, радуя душу своей бескрайностью.

И если мы, «сухопутные моряки», как шутя называл меня и Зуева Силыч, ликовали, любуясь открывшимися просторами, то как же радовался он, вырвавшийся из каменного города старый морской волк!

Ни на секунду здесь не было безмолвия. То гоготали пролетающие на север вереницы гусей, то с серебряными трубными кликами проносились в голубых весенних небесах, сверкая, как нитки дорогих жемчугов, лебеди, крякали, пищали, свистели на разные голоса утки и кулики всех пород.

Весенняя жизнь на разливах ярка и поэтична.

— В Вежах и дома, и амбары, и бани на сваях! — сказал Силыч.— Нигде этого, кроме здешних мест, не увидите! Нигде, даже в твоей благословенной Сибири! — И он легонько толкнул меня в бок.— От самого двора — в лодку, и хоть за полсотни верст ступай. А уж дичи насмотришься, гомону птичьего наслушаешься! Кончится охота, а еще несколько дней в ушах кряканье утиное будет стоять,— заметно волнуясь, подогревал мое воображение Силыч.

Только теперь, попав в эти широкие, благословенные места, я понял, почему Силыч в зимнюю пургу позвонил мне, сибиряку, ежегодно охотившемуся на знаменитых просторах Барабинско-Чанских озер и рассказывавшему ему не раз о богатствах родной природы: патриот и сын своей земли, он захотел показать мне, что и здесь, почти рядом с Москвой, те же богатства и красота, что и в «далекой» моей Сибири!

Внимание мое привлекла необычная туча, появившаяся на безоблачном горизонте. Я, не отрываясь, стал смотреть на нее. Очертания тучи стремительно менялись, она уменьшалась, уменьшалась и наконец совсем пропала.

«Да ведь это же гуси!» — подумал я, но опасался высказать вслух предположение, чтоб не оскандалиться в глазах двух по сути мало еще знакомых мне охотников.

Катерок мчался в сторону смутившей меня тучи.

Вскоре я ясно стал различать качающуюся на волнах разлива живую серую массу птицы.

— Гуси! Да ведь это же гуси! — выкрикнул я.

— Где? Где гуси? — заволновался близорукий Зуев, поспешно вставляя в глаз стеклышко монокля.

— Да вон же, вон же они! — указал зоркий Силыч.

Упавшей на воду серой тучей, огромным живым островом колыхались на волнах гуси.

— Гуменника здесь скапливается в эту пору большие тысячи. Тундра еще в снегах, а на здешних просторах ему раздолье — вот он и жирует тут каждую весну недели по две, по три. Попробуй возьми его голой рукой,— сокрушенно сказал Силыч, отвернулся и стал смотреть на перелетающих от катера уток.

Я и Дмитрий Зуев долго еще глядели на гусей, пока они, слившись с горизонтом, не пропали с глаз.

— Королевская дичь! Удел родившихся в сорочке счастливчиков! — как всегда цветисто-восторженно заговорил Дмитрий Павлович.— Свалить бы парочку, а там и умереть можно...

Силыч повернулся к нему и, сощурившись в улыбке, сказал:

— Оставь тщетную надежду, казаче, и сосредоточь все свои помыслы на утьве: это верней. Я здесь охочусь не первый год и не взял ни одного. Михаил Григорьич — местный и охотник первой статьи, а за всю жизнь, как он сознался мне, убил всего трех штук, и то случайно... Нет, уж я предпочту селезней в сумке, чем гусей в небе.

Экспансивный Зуев тяжело вздохнул, я промолчал.

Впереди, на узкой длинной гриве, показались Вежи — небольшая деревенька с домами, с амбарами и даже с банями, построенными на сваях.

* * *

С полудня захолодало, насупило: от свинцовых туч, казалось, вот-вот начнет попархивать снежок.

План выезда в ночь на дальние разливы срывался. Силыч нахмурился, заходил по комнате.

Хозяин и проводник по охоте — Михаил Григорьевич Тупицын — высокий, белолобый, рассудительный человек успокаивающе заговорил:

— Не спешите, настреляетесь вволю. А вечерком я вас на зорьку за деревню свезу: селезнишки и там полетывают. Крякуши же у меня порядочные. Особенно ваша, Алексей Силыч. Не утка — балык с медом!..

Лицо Силыча прояснилось.

— Схожу-ка посмотрю я несравненную свою Солоху,— надев шапку, Силыч вышел из комнаты.

Вернулся он веселый, радостно потирая руки, еще у порога заговорил:

— Действительно во всей форме крякушка! У меня ровно бы и не бывало еще такой обольстительницы. Чуть только шваркнет селезень в сараюшке, как она дастдаст: не поверите, не селезень я, а так бы, раздув зоб, и бросился к ней, такая у нее страстишка в голосе!..

Низкорослый, но как-то особенно матросски добротно широкий, в охотничьих сапогах, в старом, потертом клетчатом пиджаке, повеселевший Силыч выглядел таким несокрушимым крепышом, такой радостью светилось крупное, усатое его лицо, что в комнате, казалось, разом стало светлее.

Силыч сел к столу со своим охотничьим ящиком и стал не спеша, серьезно, как и все, что он делал, разбирать и укладывать по патронташам патроны.

Погода, как часто это бывает весной, еще ухудшилась: разбойничьи засвистел северный ветер.

Зуев посмотрел в окно, безнадежно махнул рукой и пошел за перегородку прилечь.

Силыч, увлеченный патронами, был все так же безмятежно благодушен. Он проверил ружье, смазал мазью сапоги.

— Перед охотой на дню по два раза смазываю,— сознался он в слабости неукротимого охотника, так хорошо известной и мне и многим собратьям по страсти.

До вечерней зари было еще очень далеко, но Силыч уже стал посматривать на часы.

— А ведь, пожалуй, пора, Михаил Григорьич... Пока то да се, шань-шамань, пока едем, пока скрадочки делаем — в самый раз получится...

— Пора — так пора,— согласился покладистый Туницын.

Зуев без зова выскочил из-за перегородки, и начались сборы.

* * *

Мы сели в лодку у самых огородов, и быстрое течение вскоре вынесло нас за околицу деревни.

Погода портилась все больше и больше, начал пролетать снег.

— Забиваться на одну зорю далеко не резон, Алексей Силыч, а поверну-ка я к любимой вашей старушке,— сказал Михаил Григорьич и подрулил к гриве с залитыми кустами ивняка, с кочками и мочажинами.

Силыч оглядел «пейзаж».

— Узнал. Вон она, моя прошлогодняя ракита — под ее сенью я взял пять селезеньков за зорьку с несравненною моей Солохой. Ну, доброго добра вам, браты запорожцы,— как-то особенно молодо и тепло сказал Силыч.

Он захватил корзинку с тревожно заговорившей в ней крякушей и выскочил из лодки.— Красота-то, красота-то вокруг!..— Надо было видеть усатое его лицо в этот момент!.. И восторг художника, влюбленного в родную землю, и предвкушение сладостных минут свидания с глазу на глаз с целым миром издревле волнующих душу охотника звуков и шумов пробуждающейся весны, с затопленными ивняками, со знакомой старой, дуплистой ракитой и оживающими почками.

Поехали дальше. Оставшийся Силыч застучал топориком, подновляя прошлогодний скрадок.

Завистливо поглядывавший в сторону Силыча Зуев метров через триста тоже выскочил из лодки.

Маленький, щупленький, с горящими глазками: чувствовалось, что и он «не чуял земли под ногами».

Еще в лодке Дмитрий Павлович не говорил, а как-то односложно, восторженно вскрикивал, а при появлении подозрительной затопленной корежки, издали похожей на утку, поспешно вставлял в глаз смешной свой монокль.

Вскоре и мы с Тупицыным загнали лодку в прибрежные ивняки и тоже высадили круговую утку.

Ветер дул со стороны Силыча, и мы отлично услышали, как начала работать знаменитая его крякуша. Это действительно была «несравненная Солоха». После первой же истошной ее «осадки» прогремел выстрел, вскоре второй и третий.

Наша утка все еще самозабвенно купалась, чистилась, потом выбралась на кочку и задремала.

Молчала и крякушка Зуева.

Солоха снова заголосила, и снова прогремел выстрел Силыча.

— Не утка, а красный перец! Ей ни ветер, ни дождь, ни снег. Не допустит она до наших разинь-монахинь ни одного селезня: всех к себе переманит,— сказал мой спутник.

Снег усилился, и вскоре земля, кочки на гриве побелели.

Табун больших кроншнепов, прижатый непогодой, спустился на мочажину метрах в ста от нашей засидки.

Длинноногие, с ятаганоподобными клювами птицы, посидев с минуту совершенно неподвижно, разбрелись по мочажине и занялись кормежкой.

Я, не отрываясь, наблюдал за кроншнепами. Дул ветер, шел снег, все больше и больше белела земля, и темно-серые таинственные птицы теперь уже резко-контрастно выделялись на мочажине.

Из-за ветра я не слышал голосов птиц, но мне казалось, что они все время покачивают гнутыми своими носами, о чем-то переговариваются на своем кроншнепином языке.

«Наверно, собираются заночевать в этих кочках»,— подумал я и вздрогнул, услышав шепот Тупицына: «Летит!»

Я повернулся и не далее десяти метров от себя увидел разом застелившего от меня весь мир голубого, краснолапого селезня, летевшего на призывный крик Силычевой Солохи.

Выстрелы наши почти слились. Но я отчетливо сознавал, что выстрелил уже в убитого Тупицыным падающего крякаша. Сознавал и не смог удержать пальца, нажимавшего гашетку.

Кроншнепы сорвались — улетели куда-то в седую замять.

Мы отстояли зорю, но селезней уже больше не было. Зуев просидел без выстрела.

— Да разве с лихой такой соседкой позарится какой-нибудь дурак на печальное мое чучело! — огорченно сказал Дмитрий Павлович, усаживая в корзинку свою «молчальницу».

Силыч сиял: он был счастлив, как ребенок. От полноты чувств не мог сидеть в скрадке и пошел по гриве с добычей и отличившейся Солохой нам навстречу. Четыре краснолапых кряковых селезня величественным жестом он бросил в нос лодки и рядом с ними осторожно поставил корзинку с уткой.

— До чего же, до чего же хорошо, братишечки, ухватить зорьку и спрятать ее на самое дно души! — с юношеским пылом сказал Силыч.— За два часа помолодел лет на тридцать. Ну что, что еще, кроме охоты, может так врачевать и тело и душу?! С охотой, мне кажется, и не состаришься никогда,— снова улыбнулся он во все лицо и сел в лодку.

...За столом с шумящим самоваром Силыч торжественно налил по стопке водки.

— На крови, сказывают, и матросы пивали...— На лице его был праздник.

Мы поздравили «короля зари» и выпили.

Силыч выпил, густо крякнул и сказал:

— Хорошо, только посудина мала. Повторим, браты запорожцы?..

Повторили.

На улице, недалеко от дома, молодежь запела песни. Силыч приблизил раскрасневшееся лицо к стеклу окна, долго вглядывался в темноту ночи и, озорно подмигнув мне, пошутил:

— Погода будет — девки заревели.

— Весной они у нас перед всякой погодой ревут,— отозвалась хозяйка.

Силыч предложил пойти послушать песни. Мы оделись и вышли.

Ветер, холод, но девушки, притулившись в затишке, пели. Мы долго слушали молодые их голоса.

В хоре особенно выделялся чудесный грудной голос одной из невидимых нами певуний. Казалось, она поет

одна, так непохож был ее низкий, бархатный голос на крикливые резкие голоса ее подруг.

Мы слушали только ее. Силыч и Зуев вслух стали представлять себе девушку.

Зуеву она рисовалась гибкой, как лозинка, кареглазой и прямоносой, с копной каштановых волос, повязанных кашемировым цветным платком.

Силыч озорно подтолкнул меня локтем и решительно запротестовал:

— Готов спорить на четвертуху водки — голубоглаза, курноса, здоровая, толстокосая северянка. И пахнет от нее и только что сломленным белым грибком, и горячим ржаным хлебом. Ах, где мои семнадцать лет?! — смеясь, закончил расшутившийся Силыч.

Девушки прекратили пение и затеяли пляску. Мы вернулись в дом.

...Утром, несмотря на дурную погоду, на трех лодках решили плыть на дальние гривы.

— Дома на печи погоды не выберешь: на солнцевсходе — ветер и дождь, а в обед, может, и разгуляется,— радостно блестя глазами, торопил Силыч и нас с Зуевым, и хозяина.

Устоять против напора Силыча было немыслимо, да и мы с Зуевым по этому вопросу во мнениях с ним не расходились.

На открытых глубоких плесах озер гуляли белогривые волны. Мы старались плыть вдоль берегов по мелякам.

Несмотря на отвратительную погоду, птицы на воде и в воздухе было много. Внезапное похолодание «осадило» ее на этих удобных, кормных просторах. Но меня снова поразили не утки, а табуны гусей, возвращавшихся с утренней кормежки на середину огромного озера: я все время наблюдал за их полетом.

Михаил Григорьич сказал мне:

— Кормятся они вон на той голой, как колено, гриве с зеленями, а отдыхают на самой середине чистого озера: попробуй ухвати их.

Стан мы раскинули у длинного затона, соединяющегося с двумя многокилометровыми гривами. Одна — пахотная, с изумрудными зеленями озими, другая — изрезанная озерками и протоками, заросшими кустарниками,

тростником, покрытая высоченными кочками, вся в топях, в мочажинах.

— Самый притон утьвы и куликов всех пород. Натешишься, сибирячок, не хуже, чем в своей Барабе,— пообещал Силыч и, забрав Солоху и патронташи, отправился на «любимое местечко», куда-то на перешеек между озер, как сказал он мне и Зуеву.

— Десятки раз зимой мне это мое местечко во сне снилось! — обернувшись, прокричал он нам. И снова большое квадратное лицо его стало вдохновенно-восторженным, как перед долгожданным, радостным свиданием.

— Кому скучно станет — подваливайте на выстрелы: места у меня на всех хватит! — крикнул Силыч и, уже не оборачиваясь, пошел в глубь гривы.

Дмитрий Павлович облюбовал себе тоже знакомый ему, заросший по берегам камышами и осокой затон, из-под другого берега которого он своими «доставалочками» так блистательно в прошлом году срезал чирка-грязнушку.

У меня из головы не выходили гуси. Тупицын посоветовал мне пойти с ним на озера в глубину гривы, но я отказался, решив заняться наблюдением за гусями, скопившимися в несметном количестве на середине широкого чистого плеса. Вот-вот они должны были лететь на кормежку.

Я решил точно засечь линию их пролета на озими и с озимей на воду.

Вскоре загремели выстрелы Силыча и Зуева, а я, затаившись в кустах, недалеко от нашего становища, в бинокль наблюдал за купающимися, отдыхающими гусями.

За день я не выстрелил ни разу: боялся отпугнуть гусей. Утки же, как назло, налетали на верный выстрел. Зато картина с гуменниками для меня теперь была совершенно ясной, план встречи с ними созрел.

Вечером счастливые мои спутники вышучивали меня всячески. Как всегда, начал Силыч:

— Гуси — священная птица — Рим спасли, а ты, жестокосердный сибирячок, их бить думаешь. Нет, как хочешь, а это неблагородно с твоей стороны (на охоте Силыч со всеми быстро переходил на ты).

За день погода не только не прояснилась, а напротив, пошел нудный затяжной дождь.

Мы вытащили наши челны, поставили их с наветренной стороны «на ребро» и скрывались под ними от дождя.

И такая непогожая, весенняя ночь была полна волнующих шумов, свиста птичьих крыльев, гусиного гогота и переплеска волн у берегов.

После жирного ужина из свежей утятины и двух добрых стопок спутники мои вскоре заснули. Я взял карманный фонарик, остро отточенную шанцевую свою лопатку, заменявшую мне и топорик, с которой я не расставался в продолжение последних десяти лет на всех моих охотах, и пошел к намеченному днем месту — на гриву с зеленями.

Место для засидок я выбрал в гряде мелкой прошлогодней полынки, насмотренной днем в бинокль.

В вершине и устье гривы я отыскал две весенние теклинки [1] и оправил их, приспособив для засидок. Посередине же, в бровке полыни, вырыл яму, замаскировал ее сухобыльником и тою же полынью и вернулся на стан.

Спать я уже не мог — развел костер и стал греть чайник. Чуткий Силыч поднял голову, посмотрел на меня и спросил:

— Все плануешь?

— Планую.

— Ну плануй, плануй, а мы селезеньков бить будем...

Дождь перестал, но ветер дул с тою же силой. Все проснулись и выбрались к костру из укрытий.

Я рассказал о своем плане «генерального сражения» с гусями и предложил Силычу и Зуеву затемно пойти со мной в заготовленные и для них скрадки и ждать возвращения гусей с гривы на плесо.

Зуев вспыхнул, как порох, и бросился к необъятному своему рюкзаку отбирать патроны с крупною дробью. Силыч отказался:

— Утопический роман! А я человек реальной политики. Каждые три моих фактических селезня в сумке с успехом заменят одного твоего мифического гуся в небе. И потом, опять же — совесть, совесть надо иметь, чтоб бить спасшую Рим птицу,— ухмыляясь в вислые, «моржовые» усы, отшутился Силыч.

— А может, они не спасли совсем, ведь это же только предание,— ответил я Силычу.

---

[1] Теклинка — канавка, след вешнего ручья.

— Ну аллах с тобой, ты, я вижу, тоже из упрямых. В меня.— И Силыч засмеялся так весело, что толстые усы его запрыгали.

Попили чаю, я налил термос, и мы с Зуевым отправились, чтоб затемно засесть в скрадки. Силыч остался у костра «слушать предрассветье», как выразился он.

Дмитрий Павлович всю дорогу расспрашивал меня о сноровке в стрельбе по гусю, о поведении в скрадке.

Я просил его не горячиться, не стрелять по первому прилетающему табуну («разведчикам»), не выскакивать из скрадка за подранком, а добивать его выстрелом, подбирать убитых лишь после охоты, стрелять же только в утренний пролет гусей с кормежки на воду.

— На рассвете не стреляй: и свет обманчив, и ночующий на воде гусь близко — увидит вздыбившийся после выстрела табун и изменит линию залета на гриву. Облетят гуси эти места и при полете с гривы. Ветер дует от нас — стрельба им будет слышна. Другое дело утром, когда они соберутся на озими и, разбившись на мелкие табунки во время кормежки, полетят на воду.

Я посадил Зуева в скрадок на дальнем конце гривы, в теклинке, пожелал ему ни пера ни пуха и зашагал обратно, к своей яме.

Мой скрадок был недалеко от берега озера. Начинало отбеливать. Шквальный норд-ост, вздымавший громадные волны, на заре как будто начал призатихать.

Гуси с воды на кормежку пошли, лишь чуть забрезжило. Летели они без крика. Возникали неожиданно и шли низко над нашими головами. Сделав обычный облетный круг, садились на зеленом бархате озимей.

Я лежал мертво в своей яме и только слушал гогот многотысячной стаи, шум и хлопанье крыльев, доносившиеся до меня, когда гуси буквально закрыли мою гриву.

Сколько пролетело их через наши скрадки?!

Рассвет наступал медленно. Зарю объявили невидимые жаворонки и блеявшие в высоте бекасы.

Воздух был напоен тонким ароматом оттаивающей земли; после долгой зимы он так волнует душу охотника.

Силыч и Тупицын уже начали стрельбу: заглушенно доносились к нам звуки их выстрелов.

Озера, камыши, топи и мочажинники с каждой минутой наполнялись многоцветными шумами, голосами. Все жило, бурно, радостно давало о себе знать: гоготало,

крякало, свистело, пищало, квакало. И все эти сложные шумы и голоса, как удары огромного подводного барабана, могуче покрывали всегда таинственные уханья водяных быков — токующих выпей.

Попив чаю из термоса, не спеша я стал готовиться к встрече с гусями: времени у меня было более чем достаточно.

Совсем рассвело. Открылись дальние озими на гриве, усеянные табунами сторожкого гуменника.

Жирующий гусь отдыхал, набирался сил, чтоб лететь на просторы тундры, к побережью Северного Ледовитого океана.

Я разложил в скрадке патроны с нолевкой и зарядил ружье.

«Только бы не подвел, не разгорячился Дмитрий Павлович». Я все время тревожно посматривал в его сторону.

Но и Зуев лежал мертво.

Внимание мое привлек отменный, пронзительный крик сторожевого гусака, и вслед за ним огромный табун с отчаянным хлопаньем крыльев, на время поглотившим гомон гусей, поднялся в воздух.

Я похолодел: «Кто потревожил их?!»

Вскоре все выяснилось: рыжая, по-весеннему неприглядная, клочковатая лиса с пойманным гусем в зубах воровато потянулась пахотной бороздой куда-то в дальний конец озимей.

«Не одни мы, оказывается, охотимся за гуськами»,— подумал я.

Испуганная стая, покружившись, снова уселась на зелень, и долго тревожно переговаривались птицы, словно обсуждая неожиданное происшествие.

Время лёта приближалось. К сердцу подступало щемящее, сладостное волнение. «Только бы, только бы Зуев не разгорячился...»

Я не сомневался в успехе: «Гуси пойдут на воду вполветра, старой, знакомой им дорогой».

Ни наблюдать окружающий меня мир, ни думать связно я уже не мог в эти мгновения. На миг выплывут то лица провожающих меня на охоту жены и двух моих сыновей, то вспомнится какая-то давно забытая фраза из рукописи, то мотив любимой песни.

Так перед боем в сознании бойца отдаленно и смутно проносятся дорогие нежные образы.

...Чего я опасался, то и случилось. Первый же табун гусей накрыл скрадок Дмитрия Павловича так густо и низко, что он, вмиг забывший все мои наставления, ударил по ним дуплетом.

Один мертвый и второй раненный в крыло гусь упали на низкую голубую полынку.

Два гуменника! И один из них ранен: Зуев выскочил из засидки и помчался за удирающим подранком.

Табун гусей с обезумелым криком бросился врассыпную. Часть гусей, метнувшись после выстрелов в сторону, налетела на мой скрадок, часть побочила еще дальше и захватила левую крайнюю теклинку, куда я предполагал посадить Силыча.

Сжавшись в комок, не ворохнувшись, я просидел в своей яме и лишь мысленно проклинал горячность Зуева.

Дмитрий Павлович наконец догнал удирающего, подлетывающего гуменника и упал на него. Пригибаясь, озираясь и на сидящих на озимях гусей, и на меня, Зуев подобрал убитого и плюхнулся наконец с трофеями в свою теклинку.

Стаи сидящих на гриве гусей, тревожно погоготав, снова смолкли; новый табун сорвался с зеленей и, облетев зуевскую засидку, широким фронтом пролетел малой частью над моей ямой и основной массой над левой, крайней теклинкой Силыча.

Я снова не ворохнулся. Колебание воздуха от гусиных крыл, достигавшее меня, отодвинулось, пропало.

«Не заметили! Теперь пойдут. Но основная масса повалит левей. Эх, Силыч!»

Я знал, что сидящие на гриве гуси внимательно наблюдали за этим пропущенным мною без выстрела табунком.

Неизъяснимый подъем духа, охватывающий в такие минуты охотника, делает все его движения размеренно-точными, глаз — зорким, руки — твердыми.

И еще, что замечал я не раз в подобные минуты,—это обостренное видение того, что будет: где пойдет зверь, птица, как и где лучше всего выбрать момент для выстрела.

Только сейчас я до очевидности понял, что при таком сильном ветре лучше всего стрелять гусей в угон, что вырыл я свою яму очень близко к воде.

Гуси, как и предполагал я, в основном пошли через

теклинку Силыча. Но при шквальном ветре, сбиваемые им с выбранного направления, и при таком обилии птицы на озимях, конечно, они захватывали и меня.

Вот длинная колышущаяся вереница их с криком сорвалась с гривы и закрыла горизонт.

Я уже различал толстые, пепельные шеи крайних гусей, прижатые к животам желтые лапы.

Вся масса их накрыла теклинку левей меня: «Эх, Силыч! Эх, Силыч!»

Я пропустил стаю через голову и раз за разом ударил «под перо».

Первый гуменник, изогнувшись в воздухе, упал метрах в десяти от ямы, на самом берегу. Второй — чуть подальше, на воду.

В высоких волнах я увидел только мелькнувшие белые его подкрылья, и гусь пропал.

«Буду стрелять «вштык»,— решил я, хотя и знал, что встречная стрельба и менее убойна, и более заметна для сидящих на гриве птиц.

Вновь живая колышущаяся в воздухе вереница гусей всем центром накрыла левую теклинку.

«Эх, Силыч! Эх, Силыч!» — не переставал тосковать я.

...Девять гуменников упали на сушу, три — на воду, в волны, и озеро поглотило их, угнав к противоположному далекому берегу.

«Если стихнет ветер — возьмем»,— думал я. Но ветер не стих, и они погибли, расклеванные воронами.

Так ошибка в выборе места ночью испортила настроение. Бесцельно погибшие птицы, зверь меня расстраивают всегда во много раз сильнее, чем чистые промахи.

О Зуеве в момент пролета гусей я забыл, хотя и знал, что шарахавшиеся от моей встречной стрельбы гуси не могли не налетать и на него. Как сквозь сон слышал я его поспешные дуплеты.

И вот он, ликующий, кричащий, размахивающий четырьмя тяжелыми гуменниками, стоит передо мной.

Это был триумфатор. Казалось, он вырос на голову. Я смотрел на его лицо, и слова упрека, готовые сорваться с языка, замерли.

— Да это же поэма! Сон наяву!.. Это же на всю

жизнь!.. Эх, Силыч! Эх, Силыч!..— вслух произнес он наконец те же самые слова, которые я шептал в горячке стрельбы, когда гуси пролетали над левой теклинкой.

...Радость удачи не полна, не так ярко ощутима, когда она не достояние всех близких, сдружившихся на охоте товарищей.

Что-то вроде стыда испытываешь всегда перед милыми людьми, когда тебе одному выпала такая завидная доля.

То же самое ощущали и мы с Зуевым, когда подходили со своими трофеями на стан.

Силыч издалека заметил нас и побежал навстречу. Но вот шаги его стали все замедляться и замедляться. Потом он остановился, круто повернулся и пошел к костру.

Мы положили связки гусей, а он все сидел, отвернувшись, и ковырял веточкой в золотой груде нагоревших углей.

Когда он повернулся к нам, лицо его было уже спокойным и обычным: со смешинкой в прищуренных глазах. Но теперь смеялся он уже над самим собой:

— Вот тебе и утопический роман!.. Так старому дурню, так тебе...— Силыч еще хотел что-то сказать обидное для себя, но только махнул рукой.

— А теперь, хлопчики, дернем-ка, как говорят в Севастополе, по доброй собаке за вашу королевскую удачу!..

Тягостная минута сломалась и бесследно пропала: Зуев начал захлебывающийся, вдохновенный рассказ.

...Мы сидели у жарко пылающего костра. Силыч старательно «накрывал на стол» — резал колбасу, сало, хлеб. «Заготовлял пыжи»,— шутил он.

Котел с дымящейся дичиной стоял в центре.

Подняли стопки. Силыч на мгновение задумался, потом вскинул голову и, оживленно блестя умными, добрыми глазами, сказал:

— За жизнь, за охоту, друзья мои! Пусть же процветает она и волнует наши сердца еще долго, долго!

Из толстых туч наконец пробилось весеннее солнце, согрело и зазолотило все. В затоне заплескалась рыба. Над нашими головами с юга на север летела птица.

— А теперь споем, братцы, мою любимую... «Как задумал сын жениться».— Веселый, счастливый Силыч упоенно закрыл глаза.

* * *

...И как же резнули меня по сердцу перечитанные вновь слова, написанные о Силыче его ближайшим другом и спутником по многим охотам — писателем А. Перегудовым:

«Прощаясь, я крепко поцеловал его и, выходя из палаты, оглянулся. Он лежал с закрытыми глазами, крепко стиснув зубы. На его скулах вспухли желваки и по щекам бежали слезы...

...29 апреля (1944 г.) я получил телеграмму, и спазма перехватила мне горло: неугомонный охотник, человек, ненасытно любивший жизнь, моряк, исколесивший моря и океаны, причалил к последней пристани...»

Валерьян Правдухин

Памяти друга

Более полстолетия я не расстаюсь с ружьем: много пережег пороху и, конечно, немало перевидал разных охотников. Но дело даже и не в длительности моей охотничьей жизни, начатой очень рано, а в том, что мне выпала судьба быть одним из организаторов первого советского охотничьего журнала.

За десять же лет редактирования журналов «Охотник Алтая» и «Охотник и пушник Сибири» приходилось общаться и охотиться с такими охотниками, которых знают не только в нашей стране, но и далеко за ее рубежами. Назову известнейшего орнитолога и знатока охотничьего оружия С. А. Бутурлина, составителя фундаментальных «Основ охотоведения» — профессора Д. К. Соловьева, автора популярной книги «Дерсу Узала» — В. К. Арсеньева, широко известных в охотничьем мире «снайперов пера и выстрела» — Валерьяна Правдухина, Ивана Арамилева, Н. А. Зворыкина, Николая Зарудина, Кондратия Урманова, Афанасия Коптелова, Василия Кудашева. Да всех и не перечислишь!

Со многими из них меня связывали многолетние совместные охоты и тесная дружба.

Написать о всех невозможно. Да и не все умеющие стрелять или даже пишущие об охоте — охотники, в том высоком понимании и толковании этого поэтического слова, как понимали его классики русской литературы и матерые охотники — Аксаков, Толстой, Тургенев.

Одним из тех, для кого охота, общение с природой были насущной потребностью, источником живой жизни, я считаю лучшего своего друга, человека широкого размаха и редкостной души, автора замечательной книги, к сожалению, давно уже ставшей библиографической редкостью, «Годы, тропы, ружье»,— безвременно погибшего в 1937 году Валерьяна Павловича Правдухина.

О первом, личном, знакомстве с Валерьяном Правдухиным приведу несколько строк из его книги. Делаю я это с целью «одним выстрелом убить двух зайцев»: хотя бы в выдержках ознакомить читателей со стилем письма моего друга и в то же время проникновенными словами самого автора передать ощущения, пережитые им в дни, когда он, одержимый хроническим своим недугом охотничьего бродяжничества по стране, из Ленинграда приехал к нам в Новосибирск. «Просидишь шесть месяцев в комнате, у печки, за столом, проваляешься на кровати, и незаметно душа очерствеет, отвыкнет от природы. Перестаешь думать о травах, о зверях, о птицах. Успокоишься и считаешь, что так оно и надо: жить тебе в тупиках комнат, под городскими немыми звуками, с пустенькими чувствицами, и без запахов полей, без звериного напряжения, без простых больших волнений. И уже нет желания выбраться на холодноватый простор полей, бродить опушками... Чужаком становишься природе и миру! Так было со мной в тот год. Всю зиму я не был на охоте...»

И вот Валерьян Правдухин уже в Новосибирске, где в двадцатых годах он с Сейфуллиной и Емельяном Ярославским создавал журнал «Сибирские огни».

«...Пошел ввечеру в городской сад... и увидел я под забором земляную плешину, на ней старую траву, пытавшуюся по весне снова ожить, зазеленеть. Эта плешина, а над ней холодноватое голубое небо, свежие весенние запахи так потрясли меня, что я готов был тут же лечь на землю, прижаться к ней, слушая ее дыхание. И когда ночью прибежал к Зарубину Ефим Пермитин — Ефимий, как зовут его друзья, жадный и вдохновенный охотник,— и стал сманивать нас за Колывань на Тойские болота, я понял, что отказать у меня нет сил...

...И вдруг в ухо до жути близкое, по-домашнему спокойное: «га-га-га-га...» Ищу испуганно птиц в небе и не вижу. Но ведь гогот рядом. Да где же они? Трясет озноб. «Га-га-га...» Еще ближе... Вот они. Прямо на меня, низом, по земле, за кустами, летят штук двенадцать гусей спокойным, ровным треугольником. Красиво, ритмично покачиваются, и уже видны их темные носы, сероватое оперение... Не шевелюсь. Шепчу:

— Спокойно, друг, спокойно...

Встать успею, лишь бы не свернули. Вот они. Серые,

черноватые, круглые, живые гуси. Впервые в жизни вижу так близко стаю. Впервые пожираю глазами вольный лет диких гусей. Они наплывают на мой куст. До них метров сорок, уже можно стрелять. Но я не буду целиться сквозь густые ветки. Я не побегу к ним навстречу.

Спокойно, друг, спокойно! Пропусти их набок, на поляну. Быстро меняю позу. Стволы выкинуты на голубую полоску неба, где должны проплыть птицы. Мгновение огромно. Небо нависло надо мной в немом и жгучем ожидании. Гуси вылетают на поляну, чуть-чуть обеспокоенные. Крепко, уверенно целюсь в передового. Две четверти вперед. Жму гашетку. Спорый удар заряда отзывается во мне крепким поцелуем. Гусь мертвым грузным комом стукается оземь. Есть! Второй выстрел делаю в радостном ознобе, не целясь, прямо по смешавшейся и загоготавшей стае! Это всегда промах. Ну, ничего, почин сделан. Гусь убит. Вот он. Лежит, раскинув крылья по снегу. Взвешиваю его на руке. Тяжелая, крепкая птица. Осматриваю со всех сторон. По черному носу — желтое кольцо. Гусь-кольценос, гуменник...

— Милый гусь,— шепчу я успокоенно. И уже по-другому, без зависти, слушаю буханье по сторонам...

...Ночью скачем обратно в Колывань, простившись с Тойскими болотами. Мороз, холодные просторы, светло и ясно. Дремлем. Снятся гуси, слышится их вольный гогот. Снова летят под луной белые лебеди. Пермитин задумчиво поет песни и рассказывает, как прошлой осенью он неделю скакал по полям за улетающими гусями, как три дня гонялся по озеру Чаны в челноке за лебедями».

Совместная охота эта, так правдиво и живописно переданная Валерьяном Правдухиным в очерке «На гусином займище», и положила прочное начало нашей дружбе.

На титульном листе объемистого томика второго издания книги «Годы, тропы, ружье», бережно хранимой в моей библиотеке, надпись: «Ефимию Николаевичу Пермитину с надеждой твердой вместе протопать не одну охотничью путину. Побродить с ружьем в наших просторах и сжечь не один костер под ситцевым небом Родины. Автор. В. Правдухин. 21 октября 1932 г. Москва».

Надежда, высказанная Валерьяном Правдухиным в автографе, сбылась: вскоре из Сибири я переехал в Мо-

скву, а Правдухин и Сейфуллина (Валерьян Павлович был мужем Лидии Николаевны) из Ленинграда тоже перебрались в столицу.

С тех пор, вплоть до черной осени 1937 года, мы встречались почти ежедневно и охотились только вместе: «протопали не одну охотничью путину. Сожгли не один костер под ситцевым небом Родины».

Весну мы обычно встречали на лабзах — в непролазных, рыжих камышах родной моей Сибири на озере Чаны, окружностью до восьмисот километров. Там мы слушали всегда волнующий охотничьи сердца гогот сторожких местовых гусей, любовались неисчислимыми станицами пролетной крикливой казары, величественными табунами доверчиво-кротких, почти бесстрашных лебедей (в Сибири по ним редко стреляют), стремительными косяками утьвы всех пород, как сетью кроющих апрельское небо над обширной низменностью знаменитой Барабы.

Лето — на родине Валерьяна. Полтора, а то и два месяца мы плавали по излюбленному всей большой дружной семьей братьев Правдухиных «седому Яикушке» — песенному Уралу: в глубоких, кружащих пену омутах его ловили богатырски сильных, буйных на уде сазанов, в ковыльной приуральской степи стреляли пугающе-трескучих на взлете куропаток и стрепетов.

Осенями гоняли дымчатых «подцвелых» русаков в опустелых, по-зимнему гулких подмосковных полях и перелесках.

И как же радовал красивый выстрел друга по мелькнувшему между елок зайчишке-выторопеню, дуплет по налетевшим осенним жирным крыжням уже в темноте, уже отстояв зорю: «на шум крыльев», по внезапно возникшим силуэтам!..

Я нисколько не преувеличу, сказав: мы не только сдружились, но душевно сроднились друг с другом. Охотиться в одиночку нам уже не доставляло радости.

Да разве и можно представить себе что-нибудь лучше, как, набродившись и порядком устав за день, вдвоем с другом весенней ночью сидеть у пылающего костра, смотреть на звездное небо над головой и слушать задумчивый переклик-посвист, точно в пастушью свистелку, неторопливых кроншнепов на мочажине! По мелодично-тонкому позвякиванию определять крошечного куличка-

воробья, угадывать истерические выкрики авдоток и веретенников в пойменных лугах. А припав ухом к оживающей земле, улавливать и таинственные вздохи бездонно-топких бочагов и хрустально-ломкий звон родника, пробивающегося из ее недр.

А осенние ночлеги у ометов пахучего сена! Огненные чаши рябин в перелесках. Пустынные желтые поля с пронзительным чиржиканьем потревоженных, скликающихся куропачьих табунов. С незабываемыми запахами чабреца, спелой полынки и кизячьего дыма из далекого аула.

И опять костер, и опять звезды над головой. И сладкая дремота под грустное курлыканье отлетающих журавлей.

Или утрами прохладный осенний воздух, как крепкое вино, и на степных ковылях, на прибрежных песках — серебряной пылью — иней.

И сколько же перечувствовано, переговорено! Охотникам хорошо известно, что нигде так не раскрывается душа человека, как у костра.

В одном из писем ко мне, к сожалению, пропавшем вместе с моим архивом в 1937 году, Валерьян высказал свое понимание охотничьей дружбы. Я передам запомнившиеся его строки, может быть, и не совсем дословно, но верно по смыслу: «Застольный друг до порога: выпил, закусил, поболтал — и прощай. Друг-охотник делит не рюмку вина и хмельную застольную болтовню, а трудности, и не редко большие, охотничьих поездок, удачи и огорчения, а порою и смертельную опасность. На медвежью охоту, как в бой, можно пойти только с подлинным другом.

Я всегда удивляюсь, сколько прекрасного написано о любви и как мало и вяло о мужской дружбе. Только Пушкин в стихотворении «Друзья мои, прекрасен наш союз» да Гоголь в «Тарасе» сказали настоящие огненные слова о «святом товариществе». Но и они далеко не исчерпали этой благородной темы. В меру сил хочется написать о дружбе. Жизни человеку, по сути, отмерено так мало, а сделать хочется так много. Пишу, не разгибаясь. Устал чертовски. Надеюсь, и нынче отдыхать будем вместе. И конечно, весной на Чанах, а летом на седом Яикушке...»

Валерьян признавал отдых от работы только на охо-

те. Задолго до сборов, еще только думая о них, он уже чувствовал себя, как юноша перед первым свиданием: «Не старею, потому что не убывает, а с годами как будто нарастает волнение перед охотой»,— как-то, смеясь, сказал он мне. Но надо было видеть его лицо, когда мы выезжали на охоту!

«Хорошо оторваться от угрюмого городского мира! Я ощущаю подъем и радость от предчувствия таежных приключений»,— пишет он в очерке об охоте в Саянах.

С понятной мне гордостью Валерьян говорил: радуюсь, что не знаю, как открываются двери в прославленных писательских домах отдыха и санаториях.

В одном из своих очерков (а во всех них, как в зеркале, отражалась вся горячая, правдивая его душа) он писал: «...Мы положительно похищали людей у их жен, из их квартир. Мы бежали как малолетние заговорщики. Пока не сели в лодки, мне все казалось, что вот кто-то задержит нас. Наша поездка походила на путешествие юношей, начитавшихся Фенимора Купера и тайно удиравших от родителей и педагогов. Лет через пятьдесят человек, вероятно, будет уже не в силах покидать каменные мешки и уходить без цели в природу. Разве что на курорты, жалкие приукрашенные человеческие загоны, томительно скучные для здорового человека».

Темпераментный, не дилетантски поверхностный, а профессионально образованный, разносторонний спортсмен широкого профиля: первоклассный стрелок, охотник-турист, рыболов, шахматист, теннисист — Валерьян Правдухин был здоров и телом и духом.

Надо иметь стальное сердце, прекрасные легкие и неутомимые ноги, чтоб поспевать за выросшими в горах, в тайге охотниками-проводниками. Валерьян охотился на Алтае, в Саянах, на Кавказе, на Урале и, соревнуясь в выносливости с ними, не только не срамил себя, но нередко вызывал даже восхищение не щедрых на похвалы спутников-зверобоев.

Приземистый, широкогрудый крепыш, с большой головой, с выпуклым лбом и крупным мясистым «поповским» носом, как шутя говорил он, на первый взгляд Валерьян казался неповоротливо-медвежеватым: при среднем росте он весил свыше девяноста двух килограммов. Но на охоте, на теннисном корте я не видел более подвижного человека.

В маленьких, чуть близоруких глазах его (Правдухин постоянно и даже на охоте носил очки) сверкало столько юношеского азарта и прирожденной беззлобной насмешливости, что смотреть на него всегда было приятно.

Как-то, поймав мой устремленный на него взгляд, он похлопал себя по широкой груди и, чуть прищурившись, сказал:

— Коняге кнута не надо. Был у нас в детстве такой. В возу ли, под верхом ли — все рвется. Чем крепче держишь его, тем он азартней прет. Бывало, все губы удилами разорваны, храпка в крови, а он только головой потряхивает и таково весело стрижет ушами: чувствуешь, горит у него сердце, так ему бежать охота...

Добродушный, склонный к тонкой, умной иронии, он и над собой подсмеивался с такой же незлобивостью, как и над близкими ему людьми. Волевой, хорошо воспитанный, ровный, он резко менялся лишь при отчаянном невезенье на охоте.

— Сам себе противен становлюсь, а побороть себя не могу. В охотников, утверждающих, что они лишены отвратительного чувства зависти к удаче товарища, я смутно верю. Самолюбие стрелка проснулось во мне еще в ранней юности, с первым удачным выстрелом по белой куропатке... Давай присядем,— неожиданно предложил Валерьян.

Мы сели на копешку накошенного камыша. Дело было на одной из весенних гусиных охот на озере Чаны. Мы возвращались с утренней зори. Я нес трех гусей, Валерьян — одного, подраненного в крыло. Шел он очень хмурый, молчал. Я тоже чувствовал себя неловко. Зорю мы стояли на разных углах большого озера, и густая стена камышей, разделявшая нас, скрывала нашу стрельбу. Но выстрелы друг друга мы слышали отлично. «В чем дело?» — недоумевал я, но не расспрашивал, знал, что он все расскажет сам.

— Я не верю в стрелков без промаха,— снова заговорил Валерьян.— Иной раз разгорячишься и такого пуделя пустишь, что самому совестно станет. Оглянешься и перекрестишься: слава тебе господи, никто не видел, сгорел бы со стыда. В точности, как сегодня. Два раза подряд как без дроби выстрелил, а потом вот этого гусишка в крыло подранил. Упал он далеко и направился со льда в камыш. «Уйдет»,— думаю. Открыл пальбу! Бе-

гу, а он от меня бежит и здоровым крылом подмахивает. Разгорячился — очки у меня запотели, шапка свалилась, патроны из патронташа сыплются... Ты бы видел — умер бы от смеху.— И Валерьян засмеялся так по-детски, заливисто, что и я, представив себе картину преследования подраненного гусишки, захохотал вместе с Валерьяном.

В смехе бесследно исчезло дурное настроение от неудачной зори. Нас ждали товарищи и сытный завтрак в уютной избушке дяди Максима на знаменитой Емелькиной гриве. Мы хорошо отдохнули, а Валерьян продолжал сидеть, но уже не с хмурым, а с каким-то обмякшим и даже сияющим лицом. Потом он вынул портсигар, достал папиросу и, не закурив, мял ее в пальцах.

— Белые куропатки и моя охотничья юность — нераздельны,— вдруг вернулся он к начатому, но не законченному, очевидно, из-за волнения рассказу. И снова задумался и на минуту умолк, точно всматриваясь в далекое уже свое прошлое. Потом как-то глуховато покашлял и заговорил:

— Все так живо, точно это было только вчера. Хочешь, я расскажу тебе эпизод, который я считаю одним из удачно написанных в книге? — закрасневшись, как девушка, спросил он меня.

Я отлично помнил эту динамически остро, пластически зримо и необычайно правдиво написанную сцену из «Запахов детства», но с радостью согласился: мне хотелось проверить, такое же ли она произведет на меня впечатление в его пересказе, как в самостоятельной читке отработанного авторского текста.

Дрожащими пальцами Валерьян закурил папиросу и, жадно затянувшись, начал:

«— Пиль! — очень тихо, почти одним шевелением губ, но так напряженно, что я вздрогнул, прошептал он короткое, волнующее, как выстрел, первое слово.

Цезарь с натугой шагнул раза три и снова остановился, круто повернув лобастую голову влево. Сейчас вылетят куропатки. Они уже порхали в моих глазах. Я страстно ждал их вылета и еще больше боялся этого. Я медлил, стараясь найти в себе спокойствие. Но оно не приходило...»

Глаза Валерьяна были расширены. Он стоял весь устремленный вперед с напряженно выкинутым ружьем. Передо мной возник одиннадцатилетний широколобый

Валька со своим замечательным псом Цезарем, вымоливший у отца ружье и собаку и отправившейся с ними завоевывать право на самостоятельную охоту.

И вот Валька близ найденных куропаток молит бога помочь ему: «Ну что тебе стоит осчастливить меня навсегда. Ведь я никогда больше ни о чем не буду просить тебя. Ей-богу!»

До этого я никогда не слышал его чтения. И оттого ли, что оно происходило в необычной обстановке, в природе, на охоте, или он настолько перевоплотился в своего героя, но я был ошеломлен.

А Валерьян читал все с нарастающим накалом и с такой выразительной жестикуляцией, что я ясно видел все происходящее на поле с широколобым упрямым Валькой, Цезарем и белыми куропатками.

«Весь мир сосредоточился теперь для меня вот здесь, в этой корявой березке с редкими зелеными листьями, как бы искусственно налепленными на белые ветки.

И вдруг — булькающий беспокойный клекот в траве, мелькание белых крыльев: матерая старка уселась на ствол березы, застыв рядом с корявым суком. Она смотрела на меня черными, как смородина, глазами. Вместе с выстрелом и густым дымом из-под дерева с шумом вылетела вся стая. Цезарь рванулся вперед. Не добежав до березы, опал на передние лапы, прополз по траве, хватая бившуюся в траве птицу.

— Есть! Уф!

Дрожащими руками, оправив бережно крылья, уложил я в мешок свою первую добычу. В мешке еще раз ощупал ее: есть! Никогда, ни раньше, ни позже, мне не доводилось видеть куропатку на дереве, а тут — такое счастье! Но я, конечно, никому никогда не расскажу, что я стрелял ее сидячую. Да и кто подумает это? Цезарь меня не выдаст...»

Валерьян оборвал чтение, сел и поспешно стал закуривать потухшую папиросу. Потом долго курил и смотрел на зыбучие разливы камышей. Я тоже молчал: мне было ясно, что друг мой сейчас совершал рейс в далекое свое детство.

В Москве я перечитал страницы его автобиографической повести и поразился, с какой точностью он пересказал текст на охоте.

Валерьян Правдухин обладал феноменальной

памятью, необычайным ви́дением художника и обостренным чувством природы. Это был человек воистину сыновне влюбленный в родные приуральские свои степи и, как никто другой, умевший живописать их сердечно, просто и впечатляюще.

Вновь и вновь я перечитываю страницы его книги и каждый раз поражаюсь точности его языка и свежести образов. Большое, горячее сердце автора я чувствую в каждой его фразе.

Не могу удержаться, чтоб не привести отрывка из описания родных мест Валерьяна и опять с одной-единственной целью — хотя бы в выдержках ознакомить читателя с давно исчезнувшей, умершей почетной смертью (зачитанной до дыр) книгой моего друга.

«Каждое лето в течение десяти лет я приезжал сюда месяца на два, чтоб бродить без устали по степям. До сих пор помню я каждый шубинский овражек, лесок, всякую березку в степи. А сколько красных, алых, розовых утренних зорь видел я в шубинских полях! Сколько багровых, сиреневых закатов погасало на моих глазах! Какие острые, яркие молнии и огневые сполохи прорезывали ночное небо! Зори тогда мне казались рассветом моей собственной жизни. День в степи всегда напоминает человеческую жизнь: он также прекрасен и долог, он также мгновенно уходит в прошлое. До сих пор я не смог отыскать ничего в мире глубже и шире синеющих полевых далей, слаще запахов степного увядания, чудеснее буйного весной разнотравья, пахнущего на зорях, как материнское молоко. В эти мгновения человек ощущает себя частью земли, а не отдельным существом. Живые, мягкие запахи вечеров, острые чистые ароматы утра, пряные соки дневного зноя,— как рассказать о них людям, никогда не ощущавшим их?

Если бы со мной приключилась история «Пана Твардовского», о котором я когда-то читал, если бы мне вернуть юность, я бы провел ее опять в степи. Чудесен рассвет жизни среди природы. Я благословляю судьбу за то, что многие дни мои овеяны степным дыханием.

Помню, меня настигла гроза на речке Губерле. Я скакал домой верхом на рыжем иноходце, конечно, без седла. Под ногою я чувствовал большую шишку на животе у лошади: она еще жеребенком напоролась в воде на острый кол.

С запада надвигалась на нас грузная, сизая, грозовая туча. Рыжий нес меня на своей спине быстро и мягко, как в лодке. Брызнули крупные капли теплого дождя, лошадь перешла в карьер.

Бешено мчались мы по узкой тропе меж спеющих полос овса и ржи.

Высокие колосья хлестали меня. Зеленая ржаная ость засыпала грудь и спину лошади. Пряный цвет овса обдавал меня сизыми брызгами пахучей пыли. Земля томилась живой вечерней прохладой: кто-то родной тепло дышал на меня. Верещал коростель, страстно булькал в густой траве перепел, тонкой жалейкой стонал в долу веретеник. На западе, пониже грозовой тучи, высокими кремлями багровых огней разгорался закат.

Тогда от переизбытка счастья, подлинного, как сама природа, я думал:

«Неужели же человек может быть несчастным?»

И отвечал:

«Нет...»

Жизнелюб. Не только в юности, но и в зрелые годы он не мог, не хотел верить в то, что человек может быть несчастным.

— Для хныканья у меня просто нет времени: столько надо еще поездить по стране, посмотреть, поохотиться. А главное, написать обо всем увиденном. И не просто написать, а непременно — хорошо. Да это же высшее счастье, которое только может выпасть на долю человеку. А что критики меня не замечают, так это не суть важно,— как-то сказал он мне со всегдашней умной своей улыбкой.

Но я-то отлично чувствовал, как тяжело ранили его и согласные нападки рапповской критики на ряд опубликованных им работ и почти гробовое молчание о изданной и переизданной, благодаря усилиям А. С. Новикова-Прибоя, книге «Годы, тропы, ружье».

— Не важно-то не важно, но ведь это же в сотни раз суживает круг читателей книги! И кому польза от этого? — с грустью заметил я.

— Только бы издать «Яик уходит в море» — заговорят! — с несокрушимым оптимизмом ответил мне Валерьян.

Я знал, что выпуск большого многопланового романа-эпопеи об уральском казачестве, над которым Валерьян

работал много лет, задерживается в издательстве молодым, чрезмерно робким редактором, и старался помочь своему другу чем мог.

В том же издательстве и в то же время готовился к печати основной труд моей жизни — роман о сибирском крестьянстве. И тоже, сколько с ним было связано надежд и треволнений!

В октябре 1937 года книги наши, наконец, вышли в свет. Мы обменялись авторскими экземплярами. И, конечно, прочли друг друга в первые же две ночи, но встретиться, чтоб обменяться мнениями о своих работах, нам уже было не суждено.

В очерке «Последние выстрелы», замыкающем книгу «Годы, тропы, ружье», в двух последних его абзацах Валерьяном написаны как бы пророческие слова: «Мог ли я, мальчишка, тогда думать, что этот такой обычный, простой и чудесный мир когда-нибудь уйдет от меня? И что все имеет конец? Теперь отца уже нет в живых, а через два, самое большое три десятка лет не станет и меня. Но и сейчас не могу себе представить, что я когда-то не буду ходить по этой земле, перестану дышать ее теплыми запахами...

Над пароходом, над моей головой в черном клочкастом небе летела казара. В глубокой заводи под яром тяжело взметнулась какая-то крупная рыба. Так же, как четверть века назад, на ятови перевалился жирный осетр, а вверху гоготали гуси, пересекая мир с севера на юг».

Да, все имеет конец. Жизнелюб, пламенный охотник, превосходный русский писатель, человек нежнейшей, поэтической души — Валерьян Павлович Правдухин — уже более четверти века не ходит по этой земле, не дышит ее теплыми запахами. Пусть же хоть этот краткий «охотничий» очерк мой будет скромной данью незаслуженно забытому, проникновенному живописцу родной природы.

Содержание

Пермитин Е.

П 27 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. Друзья; Страсть.— М., Худож. лит., 1980.— 447 с.

Том включает повесть «Друзья», воссоздающую картины гражданской войны на Алтае, и объединенные в книгу «Страсть» рассказы, посвященные охоте и природе.

П $\frac{70302\text{-}202}{028(01)\text{-}80}$ подписное Р 2

Ефим Николаевич
Перминтин

Собрание сочинений

Том 4

Редактор З. Кондратьева
Художественный редактор С. Гераскевич
Технический редактор Т. Таржанова
Корректоры Т. Медведева и Т. Филиппова

ИБ № 1632

Сдано в набор 22.02.79. Подписано в печать 27.07.79. А 02863. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 23,52. усл. печ. л. 23,77 уч.-изд. л. Заказ 2006. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 40 к.

Издательство «Художественная литература». 107078. Москва, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 220005, Минск, Красная, 23